

ISSN 0130-7673

НОВЫЙ МИР

10



1994

НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Издается с января 1925 г.

№ 10(834)

Октябрь, 1994 г.

УЧРЕДИТЕЛИ:

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР», АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО «ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ „АРМАН”»,
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОТКРЫТОГО ТИПА
«БИОТЕХНОЛОГИЯ», АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«БАНК „САНКТ-ПЕТЕРБУРГ”»

СОДЕРЖАНИЕ

ЕЛЕНА ИГНАТОВА — Не узнавая языка, стихи	3
НАДЕЖДА КОНДАКОВА — Ты уходишь как воздух в строку, стихи	9
АЛЕКСАНДР ЧЕРНИЦКИЙ — Мы можем всё, истерн	12
КОНСТАНТИН ВАНШЕНКИН — История болезни, стихи	60
ВИКТОР АСТАФЬЕВ — Прокляты и убиты, роман. Книга вторая	62
«В ПЕТЕРБУРГЕ МЫ СОЙДЕМСЯ СНОВА...» — Григорий Марк, Владимир Гандельсман, стихи. Предисловие И. Муравьевой	111

ВРЕМЕНА И ПРАВЫ

МАРК КОСТРОВ — Вариации переходного периода	115
---------------------------------------------	-----

РЕЛИГИЯ И СОВРЕМЕННЫЙ МИР

АНДРЕЙ КУРАЕВ — Новомодные соблазны	127
-------------------------------------	-----

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

Д. ШТУРМАН — Дети утопии. Фрагменты идеологической автобио- графии. Окончание	162
----------------------------------------------------------------------------------	-----

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

АЛЕКСАНДР КУШНЕР — Среди детей ничтожных мира. Заметки на полях	196
--------------------------------------------------------------------	-----

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Л. АННИНСКИЙ — Спасти Россию ценой России...	214
ВЛ. НОВИКОВ — «Горе от ума у нас уже имеется». Письмо Юрию Тынянову	222

(См. на обороте)

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

229

Марк Липовецкий. Трагедия и мало ли что еще.

Алена Злобина. Бедные люди.

Елена Тихомирова. Полет без иллюзий.

Ирина Сурат. Памятник Зайцу.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

В. Н. ТРОСТНИКОВ — «Красно-коричневые» — ярлык или реальность?	240
ЗАРУБЕЖНАЯ КНИГА О РОССИИ	251
КНИЖНАЯ ПОЛКА (7)	254
SUMMARY	256

Редакция журнала «НОВЫЙ МИР» еще раз уведомляет зарубежных книгораспространителей, что законным образом отправляются зарубежным читателям только номера «НОВОГО МИРА» в специальном экспортном исполнении — в белой (а не голубой) обложке с эмблемой «NOVY MIR».

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Если вы не являетесь подписчиками «НОВОГО МИРА» и хотите купить отдельные номера журнала за 1993 — 1994, а также и за другие годы, вы можете это сделать в нашей редакции по адресу Малый Путинковский переулок, 1/2 (м. «Чеховская», «Пушкинская», «Тверская», за кинотеатром «Россия») ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 11.30 до 16.30.

Наложным платежом журнал не высылается.

«НМ».

ЕЛЕНА ИГНАТОВА



НЕ УЗНАВАЯ ЯЗЫКА

* *
*

Плотней, чем в смерть, — в ночную пелену
деревня отошла ко сну.
Движенье медленное в край,
где звезды каплют с высоты,
где вырастают страшные цветы,
в багровых маках май.

Деревня медленно сползает в белый пар.
Качаются блестящие рога
коровы спящей. Влажный глаз телка
сморгнет звезды постылое сиянье,
и громче в нас ночами бормотанье
о том, что эта нищая земля
дала нам тело наше и поля.

Все глубже в ночь... Плышет небесный путь,
телега прыгает поспешно в темноту.
И если скажут «родину забудь»,
не верь — ты не прошла последний путь
своей земли за мертвую черту.

Ступай, родимая. Пора покинуть нам
юдоль дневную, кануть в те края,
где предками настояна земля,
где кровь их бродит, где трава ногам
как вечный плен. Где жутким их богам
не в бельма заглянуть, но повалиться в ноги...
Сгодятся наши хрупкие хребты,
чтоб вымостить царьградские дороги.

* *
*

Что отвечу тебе? Коли эта земля не мила,
ее горькая нежность, ее одряхлевшие горы,
так постромки сорвать и лететь закусив удила —
нету в этом позора.

Я останусь. Осталась. У этой земли я в долгу —
прежде века сносив, передам ей дареное тело.
Преломи же свой хлеб — я поймать половину смогу
здесь в волопазлепа

Мы увидимся? Нет. Разве в смертную злую пургу,
растворившую плоть, разносящую душу на хлопья...
Чашу гнева принять или страны менять на бегу
равно — доблесть холопья.

Родственники

1

У мамы был любовник. Он приходил
каждый вечер, ее жалея.
Пробираясь по коридору вдоль бочек
с прелой солониной, одичалым пивом,
«Темные аллеи, — бормотал, — темные аллеи...»

Мамин любовник погиб на Дону.
Она молила морфию в аптеке,
грызла фуражку, забытую им...
Его зарыли в песок, вниз лицом.
Кто скажет, сколько пуль спит в этом человеке?

2

Как хорошела в безумье, как отходила
и серебрела душа, втянута небом.
А за вагонным окном и мело и томило
всей белизною судьбы, снегом судебным.

Как хорошела. Лозой восходили к окошку
кофты ее рукава, прозелень глаза...
И осыпалась судьба — крошевом, крошкой.
Не пожила. И не пожалела ни разу.

Родственница. Деятнадцатый год. Смерть в вагоне.
Бабы жалели и рылись в белье и подушке:
брата портрет — за каким Сивашом похоронят? —
да образок с Соловков — замещение иконе, —
хлебные крошки, обломки игрушки...

3

Снега равнинные пряди. Перхоть пехоты.
Что-то мы едем, куда? Наниматься в прислугу.
Наголодались в Поволжье до смерти, до рвоты,
слава те, Господи, не поглодали друг друга.

Зашевелились холмы серою смушкой.
Колокола голоса, как при Батые.
На сухари обменяли кольца в теплушке
Зина, Наталья, Любовь, Нина, Мария.

Хлеб с волокном лебеды горек и мылист.
Режется в черной косе снежная прядка...
Так за семью в эти дни тетки молились,
что до сих пор на душе страшно и сладко.

4

Хвойной, хлебной, заросшей, но смысл сохранившей и речь
 родине среднерусской промолвив «прости»,
 я просила бы здесь умереть, чтобы семечком лечь
 в чернопахотной смуглой горсти.

Мне мерещилась Курбского тень у твоих рубежей
 в дни, когда я в Литве куковала, томясь по тебе.
 Ты таких родила и вернула в утробу мужей,
 что твой воздух вдохнет Судный ангел, приникнув к трубе.

Ибо голос о жизни Нетленной и Страшном суде
 спит в корнях чернолесья, глубинах горячих полей,
 и, нетвердо язык заучив, шелестя о судьбе,
 обвисают над крышами крылья твоих тополей,

Голубиная Книга и горлица, завязь сердец...
 Сытный воздух, репейник цветущий, встающий стеной.
 Пьян от горечи проводов, плачет и рвется отец,
 и мохнатый обоз заскользит по реке ледяной...

5

«Обоз мохнатый по реке скользил, — твердит Овидий, —
 и стрелы падали у ног, а геты пили лед...»
 Изгнанничество, кто твои окраины увидит,
 изрежется о кромку льда и смертного испьет.

И полисы не полюса, и те же в них постройки,
 и пчелы те же сохраняют в граненых сотах мед —
 но с погребального костра желанный ветер стойкий
 в свои края, к своим стенам пустую тень несет.

Нас изгоняют из числа живых. И в том ли дело,
 что в эту реку не глядеть, с чужого есть куста...
 Изгнанничество, в даль твою гляжу остолбенело,
 не узнавая языка. И дышит чернота.

6

Спим на чужбине родной.
 Месяц стоит молодой
 над Неманом чистым, над тихой Литвой,
 тот же — в Москве и Курске.
 Речи чужой нахлебавшись за день
 так же, попав в Гедиминову сень,
 здесь засыпал Курбский.

Милое дело отчизна — полон,
 черный опричник, малиновый звон
 во славу Отца и Сына.
 Жизнь коротка. И с тяжелой женой
 можно заспать на чужбине родной
 память. А смерть обошла стороной.
 Милое дело — чужбина.

Как образуется ложь на губах?
Слов раскаленных не выстудил страх,
желчь не развела кристаллов словесных...
Жилиста правда и ломит хребет
кровным. И правда твоя предстает
Курском разбитым, сожженным Смоленском.

«Господи, их порази, не меня!
Господи, этих прости — и меня!
Боже, помилуй иуду, иуду!»
И засыпает в глубоких слезах...
Сердце плурует в литовских лесах,
слово забывши, не веруя в чудо.

Но большеглазых московских церквей
свет ему снится и голос: «Андрей,
зерна — страданье, а всходы — спасенье!»
Первый петух закричал вдалеке,
клевера поле в парном молоке,
зерна, прилипшие к мокрой щеке,
и — сквозь зевоту жены — «Воскресенье!».

* *
*

Вот я прямо иду, на север. Морошка, корни,
больно, больно ступать! Болото тебя прокормит.
Затянуло крапивой заброшенный лагерь, вышки.
На Египет спешат эти птицы, из речки вышли.

Оперенный иероглиф летит — а зрочки вдогонку,
вот я прямо, на север, а смерть отошла в сторонку,
сердце ищет смоленских трав — валерианы, мяты...
Духом нищие на земле — перейдя, богаты!

Я богатство свое раздарю, расточу заране,
а болото прокор... А там не ступай — поранит,
а тропинки не бой... Сойди же, о ради Бога!
Слава Господу, призрящему нас на Его дорогах!

* *
*

Что делать, брат?
Как Хлебников, кочуя,
каспийским побережьем грань косую
пройти, потом уставя смутный взгляд
на туркам подарённый Арарат —
и умереть водянкою в деревне?
Что делать, брат?

Елабуга и хвойная темница
там, где веревку мылит Царь-девица
для двери, за которой рай ли, ад?
Забыта безымянная могила...
Что делать, брат?

По коммуналкам ленинградским вволю
 намыкаться и умереть от боли
 (воспеть тени и Петров посад),
 найти прохладу почерневшей крови,
 мемориал прославив в Комарове.
 Что делать, брат?

Есть чердаки в немецких городишках
 для тех, кто розы прививал к не слишком
 разросшимся дичкам советских куш,
 для Авеля, назвавшегося — Каин,
 где отыскать окраину окраин?
 Что делать, брат?

* *
 *

М. Маркишу.

Время чеховской осени, Марк,
 для нас — цветов запоздалых.
 Еще не вошли во мрак,
 вера и твердость, вера и жалость
 поддерживают наш шаг.

Я не знаю, как там, а здесь —
 пыльные тени солдат Хусейна,
 газ отравный, ужас осенний...
 И все же ты есть, я есть,
 и Иерусалим хрустальный
 стекает вниз ручьями огней,
 а небо в алмазах отсюда видней,
 чем с нашей родины дальней.

Время медленных облаков,
 звук струны и луна в ущербе...
 Доктор Чехов, не стоило так далеко
 заезжать, не стоило знать языков,
 чтобы сказать: «Ish sterbe».

* *
 *

Как я тоскую по архитектуре житья
 послевоенного — под виноградной бетонною гроздью,
 где, как зверок на ладони, пригрелась семья,
 воздух тайком добывая на черном морозе.
 По лихорадящей родине, вынесшей ад —
 кровью налит ее сумрак и гноем рассветы,
 и переключка: «убит... виноват... виноват...» —
 и запекаются губы стыдом и ответом.

Господи, нас разметало, как мертвый сорняк,
 взрывом отбросило, ядом смертей опило,
 из глубины униженья спрошу Тебя так:

— Господи Боже мой, что с моей родиной было? —
Что, обернувшись, увижу? Окоп и бетон,
парка победы цветы, черепа и колосья,
голос о маме, о брате, платке голубом
под виноградной бетонною гроздью...

* *
*

Зима на убыль. Ветер тянет мьельней,
грязь чавкает со вкусом под ногою,
дрожашее пространство и нагое
для глаз затруднено, преизобильно.
Поэт со мной, москвич с лицом изгоя,
взглянув окрест, проговорил: «Морильня».

Но посмотри: телесность, кротость, страх,
предродовое напряженье воли
я чувствую и в поле и в холмах.
Как роженица, путаясь в подоле,
земля в своих границах и морях
встречает полдень в крепости и боли!

Поэт застыл с улыбкою слепой,
над нами к небесам восходит птица...
«И наша жизнь, — я говорю, — постой,
как капля хмеля в чаше золотой,
Бог ведает, во что пресуществится
в отчизне милой, родине святой!»



НАДЕЖДА КОНДАКОВА



ТЫ УХОДИШЬ КАК ВОЗДУХ В СТРОКУ

Ого-род

огурец весь в пупырышках хруста
возвращенного в храм языка
из суглинного лона искусства
из районного хора ДК
он на грядке лежит как на блюде
на тарелке своей НЛО
знать не зная о чуде и блюде
в темнотах словаря своего
О, город! Ого, род! В огороде
бузина ну а в Киеве «Рух»
а в народе разруха в народе
только жалкие взгляды старух
огород это русская почва
это почта от нас в никуда
это то что нас точит и то что
огуречного рода орда
Ого, род! У безродности выгнав
бесприютного мира словарь
ты последний у времени вызов
и последний его государь
огурец весь в пупырышках страха
весь в ознобе и злобе ножа
и своя тебе ближе рубаха
и чужая чужее душа
ого-род
окорот
рот и око
и под этим подводим черту
путь от Хлебникова до Блока
как на лифте стремглав в черноту
в пустоту кровеносной системы
и в бескровность того словаря
где запретные вечные темы
разбазарены жалко и зря

Ночной аукцион

воздухоплаватель я тебя не понимаю
плаваю в воздухе и воздыхаю о том
древнеегипетском или славянском не знаю
нежном пространстве какому служу животом
в том кто я есть неповинны ни воздух ни память
странных вещей окружающих сон мой и быт
вольной взлетать и кружиться над миром и падать
в мир что по горло чесоточным хламом забит

сбыт бы найти мне для царственной ружляди этой
 чтоб напоследок в ореховом ветхом трюмо
 слиться навеки с волшебнo стареющим светом
 в коем Марина любовнику пишет письмо¹
 воздухоплаватель ты не любовник мне даже
 в четверть страницы твоя уместилась глава
 чтобы в пространстве в заброшенном нервном пейзаже
 слово в мурашках от счастья светилось едва
 крыльев муаровых не изготовить вручную
 прыгать с горы? но Поклонная скрыта гора
 вот и теку по течению в темень ночную
 вот и пугает недвижимая эта дыра
 воздухоплаватель это тебе незнакомо
 кома пространства родного тебя не страшит
 мертвого хлама и мертвого русского дома
 страшно тосклив и безудержно радостен вид

Свод

Свод непрозрачной бумагой обернут
 тает от влаги тяжелая тишь
 что же ты дождик небесный оболтус
 праздно в жестяные лужи стучишь
 ты ли не почвенник где-то в изгнание
 ты ли не западник в русской глуши
 что ж охраняешь ты павшее зданье
 и разрушаешь его этажи
 крыша поехала влево и вправо
 ломкие струи шуршат как фольга
 и не дает геростратова слава
 спать по ночам вот и вся недолга
 на таратайке протацишься мимо
 сонных ментов и ворованных слов
 ГКЧП — вот и вся пантомима
 русского спора из разных углов
 был бы улов миражей и видений
 дождик не ныл не царапалась мышь
 тут и явился бы праздничный гений
 тут и пророк бы сгодился глядишь
 ишь как опять затоварило небо
 и от чахотки избыточна речь
 значит опять тебе тупо и слепо
 это пустое пространство беречь

Археологический атлас СССР

в этой жизни я проживу здесь
 в жизни другой мне подберут место
 хотя говорят останется только пыль смесь
 времени и контекста

в жизни этой я подберу слова
 друг к другу плотнее притру их как гайки
 хотя говорят достаточно для естества
 черного хлеба полпайки

¹ Марина — см. Цветаева, Мнишек, Кудимова etc.

в жизни другой прыщавые два юнца
мне скажут «бабушка» или «девочка» не надо плакать
хотя говорят не выбирают мать и отца
только надкусывают мякоть

персиковый или глины сырой вкус
мне безразлично зачем забивают рот паклей
в жизни другой я бы не дула и в ус
крови своей не отдала ни капли

но в жизни этой я проживу здесь
в каждое слово сцезу свои капилляры
ибо только в этой стране и только днесь
поэты как мамонты популярны

На том берегу

1

Проходя по больному апрелю,
по Господним и нашим страстям,
ты боишься Фому и Емелю
и не веришь иным скоростям.

Потому вдоль неубранной свалки
ты уходишь — как воздух — в строку,
а мужчина, ничтожный и жалкий,
остается на том берегу,

где жила ты в неверье и страхе
как в руинах, сгоревших дотла,
где смирительной нету рубахи,
чтоб размером тебе подошла.

И уже потому не помеха
на груди этот крест голубой.
Неразрывное сильное эхо
да ниспосланный ангел — с тобой.

2

как ребро умирая в Адаме
во Христе как душа оживу
и поверю в несытое пламя
и закончу в гноище во рву
этот круг неразрывен и узок
этот путь не ведет никуда
для таких же как я трясогузок
брать умевших собой города
но когда зазевавшись однажды
на исходе седмицы страстной
вдруг почувствую ненависть жажды
и сырой холодок за спиной
я шагну к поврежденному храму
удержавшись за воздух простой
и двухтысячелетнюю драму
вдруг наполню своей пустотой.



АЛЕКСАНДР ЧЕРНИЦКИЙ

*

МЫ МОЖЕМ ВСЁ

Истери

1*

Пытливый прохожий одолеет лишний квартал, чтобы полюбоваться нами: я и Лешка — примечательная пара. Особенно когда выгружаемся на перроне Павлиняса. Это название выложено крупными черными буквами языка главного племени на левом крыле вокзального строения; на правом крыле — темные гематомы, следы кириллицы.

Лешка выбрасывает клунки из тамбура, я ловлю внизу. Освобождаясь от нас, вагон вздыхает и расправляет рессоры; мы приступаем к навьючиванию. С каратэшными гиками, иначе — грыжа, мы забрасываем на спины рюкзачищи. Впрягаемся в колесные сумки. Движемся к подземному переходу. Мы мерно раскачиваемся, как профессиональные верблюды; в одном — метр шестьдесят роста, в другом — верные метр девяносто, любителям диссонансов есть на что посмотреть. У Лехи широченные плечи, за которыми работа инструктора по туризму, он привычен к насебетаскации, как мул, и ноги его всегда в форме, ибо по нашему городу он передвигается исключительно на велосипеде с прицепом, едва доставая педали. Я — существо куда более изнеженное, давно погасившее порыв к физическим упражнениям в нескольких бешеных стройотрядах. Еще прежде я выиграл у мамы битву за сутулость, и это качество моей спины общеизвестно; под хорошим гнетом я вовсе складываюсь пополам — локти стучат о колени. Если кто-то полагает сравнение с верблюдами заезженным, извольте: шимпанзе с орангутангом в походной колонне.

Комедианты любой страны вволю натешили зрителя разницей в габаритах героев, но мы — не шуты и работаем не на сцене. Мы — кормильцы и работаем на базаре. Туда-то мы и направляемся; мы — великие гуманисты — кормим народ, а народ кормит нас и наших домочадцев; у нас с народом в обе стороны «люблю».

Сейчас народ с нежностью наблюдает, как мы готовимся к спуску в подрельсовый тоннель. Лешка берется за наши тачки спереди, я — сзади:

— Взяли!

Штанга в воздухе. Сто килограммов сметаны, творога, муки, колбасы, суповых концентратов и сливочного масла ползут над ступенями. Я смотрю на Лешкин рюкзачок и вспоминаю сонного таможенника, бредущего ночью сквозь сумерки общего вагона, население которого: а) спит; б) делает вид, что спит; в) пытается уснуть; г) думает, что спит. Мы с Лешкой принадлежим к невнятной последней категории, поскольку чересчур свыклились с опасностью, чтобы относиться к малодушной второй, но везем такое количество контрабанды, что не в силах разделить радость с первой. Кроме этого, пассажиры категорируются по высоте занимаемого положе-

* Первые шесть глав опубликованы в альманахе «Конец века» (1994) как самостоятельное произведение под названием «Европа минус». — Автор.

ния. Мученики низшего класса едут внизу сидя, мученики высшего класса едут под потолком лежа, а мученики среднего класса на вторых полках чувствуют себя божьими избранниками, и лишь проверка паспортов может убедить, что это не сплошь евреи.

Вдруг спотыкающийся посреди нашего рая человек в плаще и фуражке вздрагивает и включает электрический фонарь. Видимость прекрасная — очевидно, батарейки свежие. С боковой третьей полки свисает чудовищная туша. Потрясенный таможенник поднимает руку и приступает к ошупыванию, под матерым брезентом хрустит.

— Кто хозяин этого рюкзака?

Проснувшись, я постепенно осознаю, что происходящее имеет отношение к нашему дуэту. Лешка, впавший было в игноранс, пытается совершить на своей третьей полке разворот, дабы оказаться с высоким гостем лицом к лицу, и сдвинуто шепчет — будто обосрался:

— Я... я... я...

— Кто хозяин этого рюкзака?! — рывкает латыш, и мученики всех рядов немедленно перестают мучиться, им интересно.

— Я, я!

Лешка наконец отвечает разборчиво; его измятый носатый фейс появляется в вышине над фуражкой проверяльщика.

— Что здесь?.. Чипсы?

— Не, хлопья кукурузные. — Лешка сокрушается, что не чипсы; он по-прежнему старается говорить поглуше, будто в вагоне едут его соседи по дому или коллеги по работе, а не такие же спекулянты; в его голосе — забойный белорусский акцент.

— А это? — Таможенник щиплет днище рюкзака. — Тушенка?

— Не-е-е, — тянет Лешка с таким сочувствием, словно у латыша только что умерла мать. — Молоко консервированное...

— А, молоко...

Латыш отчего-то разочарован — любопытно, как бы реагировал на тушенку? Он подозрительно всматривается в Лешкин рюкзак для переноски байдарок и альпийского снаряжения, который исполинским орлом оседлал узкий проход, грозя в любую минуту прибить и покалечить. Наконец проверяльщик машет рукой и уходит. Лешкина душа исполняет песнь, которую телепатически слышит весь вагон.

...Выбравшись из тоннеля, мы према на базар, в нормальных городах это рядом с вокзалом. Самый тяжелый — в буквальном смысле — этап завершается, он далеко не самый опасный. Началась операция меньше суток назад, когда голодными хищниками мы с Лешкой набросились на полоцкие гастрономы. Свинопляска на несколько часов — очереди, нормы отпуска, паспорта, перерывы, санитарные дни. Затем дома, вечером, — все развесить, упаковать. Поцеловать жену, детей. Сесть в последний автобус. Доволочь этот кошмар до железной дороги и спрятаться за спящими ларьками. Дождаться ночной лошади «Воронеж — Рига». Не попасться на глаза белорусским ментам при посадке. Не привлечь внимания белорусских таможенников на границе. Потом — латвийских, «кто хозяин этого рюкзака?». Не попасться павлинянской политуре при высадке... Хотите нашего хлеба? Что, стыдно? Трудно? Не умеете? Тогда не жалуйтесь на дороговизну. Жалуйтесь на лень.

Вчера издохла календарная зима, и светит солнце — в марте ему еще нельзя верить. Морозец в несколько градусов нам по нраву — после железнодорожной духоты и дозы, принятой за завтраком. В таких поездках частенько приходится взбадриваться, стресс изгонять. У меня при себе обычно разведенный спирт в литровой фляге, а у Лешки — две-три маленькие фляжки с домашним вином, одну мы сегодня ночью грохнули за удачную посадку, когда на третьих полках угнездились.

Мы вкатываемся в ворота бойкого субботнего базара; граждане и неграждане Латвии с надеждой глядят на наши баулы и сбиваются в свиту, на почтительном расстоянии ожидающую, пока мы выберем место.

Основной прилавок тянулся под навесом вдоль тыльной стены здания рынка. В субботу выбирать не из чего, все места забиты; в самом дальнем углу нам удалось потеснить пожилого чувака, нахохлившегося над произведениями литературной «классики». Что ж, в Польше мне приходилось торговать запиленными отечественными грампластинками из личной фонотеки — по доллару за штуку, однако попсыра не была тогда моим единственным товаром. Время винила и личных библиотек ушло, и нужно абсолютно не уважать собственное время, чтобы в выходной простаивать на базаре над грудой макулатуры. Зато рядом с Тургеневым и Фонвизиним мы навалили настоящий продукт.

Колбаса! Масло! Сметана! Спички!.. Полукольцо клиентов быстро превратилось в толпу, которая стозево алкала нашенских кормов. Мы не успевали отсчитывать сдачу; час такой круговерти сделает из кораблей пустыни королев Англии. В прошлые атаки на павлиняские желудки кривая везла куда медленнее, и до отхода поезда никак не удавалось заглянуть в гости к двадцатилетней аборигеночке Дайге, тюльпанщице с блюдом в серых глазках. Сегодня мы с Лешкой, похоже, — монополисты, вот отчего ажиотаж. Я обзрел прилавок вдаль сколько мог: за мужичком с бесполезными текстами чрезмерно морщинистый дедок разложил на газетке всевозможный железный хлам, дальше фифа с лицом заведующей базой реализовывала жвачку с сигаретами, виднелась бабка с безобразно связанными шапочками-петушками (в такие поголовно рядаются молодые мастурбаторы), торчал на всегдашнем месте пивной человек со своим бочонком — словом, все местные. В последний раз нас здорово обломали конкуренты — два бугая с бабенкой и невообразимым количеством кур и сосисок, из нашего же города, впрочем; они добрели до пункта облегчения раньше и, соответственно, заняли место ближе ко входу; половина покупателей просто не доплывала до нас.

— Леша, Саша, здравствуйте!

— О, Наталья Степановна! Доброе утро!

Милая Наталья Степановна, дорогая наша пенсионерка-антифашистка, любезная помощница в святой борьбе за полноценное питание жителей Латвийской республики! В ее квартирке — два шага от рынка — мы оставляли до следующего раза непроданный полиэтилен и непроданную еду — ту, что не склонна к порче. Или пили чай, переводя дух перед броском на Ригу. Или вместе обзванивали ее соседей и знакомых, чтобы сдать им неразошедший мясной товар. Помогая нам с Лешкой, Наталья Степановна не только разнообразит свою жизнь, но и бьется за демократию. Молодость она провела в древней белорусской столице — Новогрудке — и ко всем землякам относится с нескрываемой симпатией: нас она сама когда-то отыскала на рынке и затащила к себе в дом.

— Сейчас я вам, ребята, чаю в термосе принесу!

— Ни в коем случае, — закричал я поверх голов. — Опозорите перед всем Павлинясом, где ж это видано, чтобы почтенная женщина молодым торгашам...

— Вот закончим, сами к вам придем! — уверил Лешка.

И мы вернулись к расчетам. Для таких, как мы, следует выпускать калькуляторы с одним действием — умножением. Вначале мы сходились с покупателем в цене за килограмм, затем умножали ее на вес кусочка — я на своей доисторической «Casio», а напарник на лилипутской «Электронике» с солнечным питанием. Пока солнца хватало.

Сзади хлопнула дверь. Из-за наших спин вышла клуша лет тридцати пяти, с интегральной торгово-закупочной рожей, в белом распахнутом халате. Она чуть приостановилась близ нашего аттракциона и, глядя в сторону, сообщила:

— Этими продуктами здесь нельзя торговать. Убирайте!

Впервые сегодня наши уши побаловались акцентом; в порядке и подборе слов тоже чувствовалась легкая скованность, нерусскость. Женщина растворилась в кутерьме, но я успел вспомнить: в одну из суббот она уже донимала нас угрозами, а пошла бы она ..., ответработник павлинянского торжка!.. Проблема поважнее: мужичок в ветхой железнодорожной фурахе сунул за палку колбасятины самую крупную купюру, какая бывает в этой с-стране, не разойтись. И у Лешки нема, торг лишь начат, господя!

— Обождите минутку, сейчас найдем вам сдачу... А вам чего, бабуля, маслица? Пожалуйста, этот кусочек подойдет?..

Лешка, майн херр, известный ссуль:

— Сашка, Сашка, может, прикроем лавку на полчасака, а?

А сам все вываливает, вываливает из гигантского рюкзака почти одного с ним роста — наклоняться не надо, рвать цветы легко и просто.

— Брось, Алексей, мало ли мы китайских предупреждений слышали.

— И мне палочку, и мне...

— Молодой человек, у вас еще сметана есть?

— А почему сметана?

Я с тоской представил, как придется упаковываться, навьючиваться, где-то в кустах или пусть даже у Натальи Степановны отсиживаться, а тут самый пик, и оттого реально навестить сучонку Дайгу, которую бросил муж неподалеку от вокзала в двухкомнатной квартире, где мы ни разу так и не были. Впрочем, окинуть ристалище внимательным взором я не забыл. Чепуха, все тихо. Ни в Польше, ни в Латвии, ни в России не случилось у меня неприятностей на базарах. Поглощенный работой — пляшут зеленые цифирьки по дисплею, отличный творог, девушка, можете попробовать, полужирный, кстати, уксус берите, граждане, втрое дешевле, чем в ваших магазинах, — правым локатором я разобрал неприятные звуки:

— Полиция, там полиция приехала...

Батюшки: Наталья Степановна вернулась. И — бочком, бочком к Лешке подбирается, к нему ближе. И — с отчаянными жестами. Но я только что озирался, какая, к черту, полиция?!

Торговец и покупатель — охотники. Их взаимодействие состоит из обмена добычей, и от этого они азартны. Вышарапывая друг у друга деньги и, соответственно, товар, оба попадают под обоюдный гипноз. Мир перестает адекватно восприниматься, а мир, как известно, состоит из опасностей. Послушайте, сколько творческой радости в руладах, выводимых продавцом картошки на далеком восточном базаре: «Тапуах адома, ше́кель вахёци!»¹ При этом он подмигивает вам, хохочет и шевелит ушами с растущими из них седыми кисточками.

Старушка, обмотанная вдовьим платком, сняв крышку, пристально изучала консистенцию сметаны в литровой банке; парень моих лет в телогрейке благодарил за купленную колбасу; старый путеец терпеливо ждал сдачу; женщина в зеленом пальто с лисой нюхала масло (да не волнуйтесь, мы прогорклого не возим, нам еще здесь бывать и бывать!); молодой папаша с дитем на шее протягивал деньги за пакет сладких кукурузных колечек. В такой миг бросить все и пойти делать кораблик — невозможно.

— Саша, Леша, полиция!

Чтобы наскоро очистить прилавок, нужно минуты три; куда прикажете бежать потом с таким весом — мы продали едва десятую часть? Цвикнула неглубокая мыслишка: как-нибудь вывернемся, максимум — штраф, который вовсе руки развяжет, да и не по наши души та полиция.

На лице Натальи Степановны мольба смешалась с недоумением, седая челка поднялась из-под мохерового берета вопросительными знаками; так безумно храбрые верные разведчики предупреждают о надвигающейся войне, а им не верят, недаром данное недоумение изготовлено почти из материала берета: оно — махровое.

— Муниципальная полиция. Предъявите ваш сертификат.

¹ Картошка, шекель с половиной! (*Иерит.*)

Приятный мужской голос с заметным акцентом говорил за моей спиной. Я обернулся. Красавчик — не более сорока, без головного убора, в теплой армейской куртке — держал передо мной аусвайс. Там не было ни одной русской буквы. Приплыли.

— Здравствуйте. Это хорошие продукты, — сказал я; к хорошим продуктам продолжали тянуться руки; Льва бы Толстого, бездельника, на мое место!

— Немедленно прекратите торговлю и все складывайте, — сказал красавчик недостаточно, на мой взгляд, жестко.

— Одну минуту, нужно хоть с людьми рассчитаться...

— Давайте быстрее.

За Лешкиными плечищами тоже трамвайным гвоздем торчал полисмен с юными усишками. Когда, откуда?.. Ах, пардон, да мы же обосновались прямо перед дверью служебного хода в помещение рынка, оттуда пять минут назад выбегала толстая белохалатница; заложила-таки, паскуда, и объяснила, как в нашем беззащитном тылу оказаться!

Из толпы — как в кино — полетело:

— Оставьте их в покое!..

— Дайте людям спокойно торговать!..

— Сделали в магазинах цены для буржуев, теперь последний кусок отнять хотите?..

И — тихо, шипя, сквозь зубы:

— Фашисты!..

Подлинной любви не найти в конференц-залах и на площадях (там народ лжив). Она встречается лишь на базарах, здесь любят искренне — животом.

Красавчик нервничал: ему не нравилась реакция публики и наша медлительность. Во времена, когда он еще не собирался служить в полиции, особенно муниципальной, он усвоил, что «фашист» — это нехорошо. Играв в войну, он непременно хотел быть «нашим». Сейчас он хотел быть строгим.

— Быстрее... Вам что, не ясно: это — полиция! — рявкнул. — Соберите вещи и садитесь в машину.

— И мне палочку, пожалуйста! Без сдачи. — Какая-то женщина упорно тянулась к прилавку; если она купит колбасу у нас, а не в магазине, то выиграет аккурат на буханку хлеба.

— Прекратите! — зарычал бывший «наш».

Лешка аж присел. Он топтался на месте. Его руки еще не поверили в то, что от выгрузки надо перейти к погрузке, и выписывали в светлом мартовском воздухе невнятные коленка — он как бы уже и упаковывался, но продукты оставались там, где их накрыло слово «сертификат».

— Если я продам ей колбасу, то смогу рассчитаться вот с этим мужчиной. — Я кивнул на поджидающего сдачу. — Мы же еще ничего не натрговали.

Бешеными глазами красавчик смотрел на меня, на этот раз крыть было нечем. И вообще...

— И вообще, господин полицейский: вlepите нам штраф и отпустите с миром. Зачем куда-то ехать?

Неумолим. Мы, Владимир Владимирович, такого еще не проходили. Слышите?

Не слышит. Во-первых, агностик, а во-вторых, семнадцать лет как мертв.

Передавая железнодорожнику деньги, я окинул толпу в последний раз. Лица светились симпатией к спекулянтам-гуманистам и горели ненавистью к правоохранительным органам. Именно так: светились и горели. Пламенели. Главное сострадание читалось, естественно, в морщинках Натальи Степановны: эх, ребятки, ребятки...

Мы принялись скидывать добро в безразмерные вместилища. Любящие нас рассасывались, и скоро обнаружилось, что за их спинами ждет

полисмоби́ль — раздолбанный бежевый «Москвич» с любезно раззявленным багажником. На дне его, среди каких-то железок, лежал большой эмалированный (тут и там по белому разбросаны, конечно, черные пятна сколов) таз. Мой стальной нерв трепыхнулся в гадком предчувствии, едва бездонная память подсунула аналогию. В целом Антон Павлович — жуткая скучища. Сто лет назад, провидя такую мою оценку, он решил подразнить в отместку и выписал — помните? — прошловекового мента, шествующего по центральной площади провинциальной дыры с полным тазом конфискованного крыжовника. Язва.

Случайное облачко экранировало робкое еще светило, и кино стало черно-белым. Левые двери в машине не действовали, и все, включая водилу, заползало справа. Я сидел размазанный по заднему сиденью; слева — Лешка с серой от невезухи маской и увеличившимся по той же причине до неприличных размеров носом; еще левее — красавчик инспектор; впереди справа расположился худой-седой старикан в черном драпе. Из-за тесноты я не мог обернуться, но знал, что в заднем стекле увижу только поднятую крышку доверху набитого багажника, — кольчужка оказалась столь коротка, что по здоровой клунке мы с Лешкой держали еще и на коленях.

Компания, нас повязавшая, выглядела совершенным сбродом. Едва выродок всемирного машиностроения тронулся, чтобы пересчитать стуком расхряпанных рессор дефекты асфальтового покрытия Павлиняса, я спросил:

— Извините, я могу узнать, куда вы нас везете?

— В муниципальную полицию города Павлиняса. Вы задержаны за незаконную торговлю именем Латвийской республики! — сказал черный драп, не повернув головы, при помощи седого затылка; из его тона следовало, что Павлиняс — небольшой город, не больше Бостона.

Кошмарный акцент затылка не сулил хорошего сам по себе, но Лешка — он же не инженер человеческих душ — не учуял этого и ляпнул:

— Ну зачем так официально и сурово, мужики? Что мы, злодеи какие-нибудь, из России приехали? Мы из Белоруссии, это ж совсем другое дело...

— Попрошу вас... э-э... внимательнее выбирать слова. Я не мужик, а начальник муниципальной полиции Павлиняса и представляю здесь закон, — сообщил черный драп.

— Извините, ради бога, — запел я. — Мы только просим о снисхождении. Конечно, мы виноваты, но войдите в положение: у нас по двое детей и безработные жены. Понимаете? Мы не делали ничего плохого, все продукты свежие...

— А как вы их провезли через границу? — вступил красавчик. — Где таможенная декларация?

Издевается? Шутит? Видела бы твоя смазливая морда, как мы пересекали твою долбаную границу на третьих полках!

— Но нам никто не предлагал заполнять никаких деклараций...

— Значит, следовало самим обратиться к сотрудникам таможни.

«Кто хозяин этого рюкзака?!» Красавчик звучал устало. Он знал, что несет чушь. С декларацией нас захомутали бы точно так же, она не дает права торговать. За окном плыл дерьмовый городок, в таких обстоятельствах все населенные пункты сделаны из дерьма. И воняют крупным Сифом.

— Мы все делаем по закону! — вдруг отчеканил седой затылок.

Очевидно, он был непримиримее любого из своих подчиненных раз в двести. Можно предположить, что те, кто его назначили, еще круче и говорят с еще большим акцентом. На вершине этой иерархии — племенные вожди: архитекторы, художники, историки, этнографы, композиторы, скульпторы и, разумеется, писатели. Всю жизнь они мечтали о славе на избранных поприщах, но отовсюду торчали таланты русских и евреев. Обидно умереть в безвестности, последний шанс — граница, таможня и муниципальная полиция. В сравнении с этими демиургами наш красавчик

инспектор — добрейший дядя, милый штурмбаннфюрер, который прекратит избивание пленного и угостит его дорогой сигаретой. И старикану черное — к лицу.

Красавчик решил развить мысль шефа:

— Наши законы направлены на защиту наших фермеров, они не могут продать свою продукцию из-за ваших низких цен. Сельское хозяйство не может развиваться...

Вряд ли ему знакомо слово «демпинг». Лешка, завернутый на политике, опять погнался ахинею:

— Да поймите вы, господа, мы не из вражеской страны, у Белоруссии с Латвией отличные отношения, на днях наши премьеры должны встретиться...

«Москвич» — крайне уместное название — остановился у высокого крыльца скромного двухэтажного сооружения. Над входом куском заветренной жилистой говядины висел красно-бело-красный флаг — антипод белорусского, который обычно ассоциируется с заветренной свинойной.

— Пора забывать Союз! — торжественно объявил начальник полиции и вышел вон; именно так: «забывать», а не «забыть».

Сухопарый, в долгополом, как шинель, черном пальто, он четко перебирал матерыми варикозными копытами и более всего напоминал в этот миг работника гехайме штатс-полицай, избегающего по ступеням какой-нибудь комендатуры в фильме про войну. Очень недоставало фуражки с высокой тульей, за неимением старик ходил пока простоволосый. Когда прототипы его героя в черных лайковых плащах пронеслись гулками коридорами мимо закаменевающих часовых, мой дед воевал в морской пехоте.

Красавчик штурмбаннфюрер и усатый водитель напряженно наблюдали за разгрузкой своего поганого мусоровоза, будто мы могли подхватить центнер жрачки и слинять. Сверху за происходящим присматривали еще трое: у дверей околотка стояли два автоматчика в пятнистом хаки и крупная немецкая овчарка.

Наконец, шатаясь в порывах сырого балтийского воздуха, мы преодолели крыльцо и после яростной борьбы — Лешкин рюкзак не пролезал в дверь — оказались в сумеречном коридоре. По-деревенски скрипели половицы.

3

— Сюда, сюда, — поманил нас незнакомый полицейский. Он стоял у открытой двери, и хилый уличный свет, заползший таким образом в коридор, был ложным маяком, какие устанавливали во многих войнах, чтобы навести противника на скалу или мель.

В комнатке метров двенадцати находились: эффектно заложив руки за спину, начальник полиции и два стола. Один, расположенный у окна в виде буквы «т», был обсажен стульями и снабжен стандарт-комплект — настольная лампа, отрывной календарь, письменный прибор с термометром; другой стол, у стены напротив, был красноречиво пуст.

— Выкладываете все из сумок и рюкзаков сюда! — приказал черный драп; его торжествующий голос старался чеканить изуродованные слова, чтобы они падали с металлическим лязгом, будто по-немецки.

Я никогда не слышал, чтобы латыши препятствовали торговле промышленными изделиями, и именно в этот рейс мы захватили кое-что из барахла — пощупать спрос. С елеем в тембре я уточнил:

— Все выкладывать или только продукты?

— Нас интересует только продовольствие. Другие вещи кладите отдельно, вот здесь. Потом заберете.

Нас ожидала конфискация всего съестного! Я в испуге посмотрел на Лешку: к нему от таких емких заявок мог прийти кондратий. О подобном проколе я тоже ни разу ни от кого не слышал, максимальная мера из применявшихся — штраф в три доллара.

В комнате распахнулась вторая — торцевая — дверь, и бодрячком вошел исчезнувший было инспектор с открытым и мужественным ликом главного положительного героя Рижской киностудии. Он успел слегка разоблачиться и предстал во френче с превосходным, крупным и круглым нарукавным шевроном «Муниципальная полиция» — вышито не по-нашему желтыми нитками; погончики с двумя продольно расположенными звездами украшали плечи. Он у старикана, очевидно, вроде заместителя, смежные кабинеты — это удобно. Мы с Лешкой согнулись.

Через несколько немых минут красноречивый стол у стены превратился в гастроном; рядом с этим изобилием отдел сопутствующих товаров выглядел убого: спортивный костюмчик сомнительного итальянского кооператива, отечественные чехлы для автомобилей... Пока разворачивалась экспозиция, прибыли еще два полица, и стало тесно. Завершив работу, мы с Лешкой отошли от стола и потупились с видом скромных поваров, приглашающих дорогих гостей к дегустации. За окном по длинному крыльцу прогуливались охранники и подглядывали; собаку закрыл подоконник, но басовой струной дрожал натянутый поводок.

Публика приблизилась и вначале неуверенно и оттого медленно, а затем все быстрее и сноровистей стала перебирать пакеты с гороховым супом, батоны вареной колбасы, «пошехонский» сыр, пачки кукурузных хлопьев...

— Что здесь?.. Домашнее вино?!

Свет в глазах обнажил радость, шесть литров отличного вина из слив и красной смородины припер Лешка в подарок этим козлам, заняв у меня чудесную калиброванную канистру; на базарчике это произвело бы фурор и принесло бы сверхприбыль, не говоря о моральном удовлетворении от торговли в розлив. Мы секли исподлобья проклятую действительность — с отчаянием снаружи и надеждами внутри. Такие картины надо писать маслом на просторных холстах, а репродукции распространять на почтовых марках.

Суповые концентраты все же чем-то провинились: личный состав стал показывать друг другу пакетики и быстро заболботал, но непонятно.

— Срок годности — два месяца! — воскликнул наконец красавчик. — А этим супам уже два года!

Он сунул мне под нос дату изготовления. Леха, с-сучий потрох, в какой глухой деревне и по какой забытой цене откопал ты несчастный «Суп молочный с макаронными изделиями»? Захотелось прижать руки к груди и сказать: «Да что я? Вот: автора, автора просим!» Леха-автор стоял в позе растерянного шимпанзе, ожидающего продолжения. Хороший он парень, в свое время вдоволь намахался бело-красно-белым стягом на шумных сборищах, а на сессиях нашего горсовета, депутатом коего является, выступает по поводу и без повода исключительно на белорусском. Теперь его прополощут под красно-бело-красным. По-латышски.

Продолжение не заставило себя ждать. Просроченным на два года оказалось и концентрированное молоко, в банках которого сегодня ночью милый таможенник заподозрил тушенку. Милый? Сейчас все они милые — кроме этих. Как раз сейчас кто-то из них обнаружил за грудой колбас шеренгу литровых банок со сметаной. «Ну и?» — спросите вы. Баночки эти — весь наш город такими пользуется — вынесены с химзавода, сделаны из непривычного коричневого стекла и закрываются по резьбе пластмассовыми крышками, на которых крупно отлито: «реахим».

— Что это? — отдельно и чуть слышно произнес красивый штурмбаннфюрер, глядя на меня широко раскрытыми глазами; эти серые лужицы переполнились болью за невинный народ, предназначенный жидамасонами и прочими славянами к морю при помощи сметаны.

Полицаи трагически замерли, вероятно прикидывая, каких героев слепит из них масс-медиа, — в Павлинясе, мол, задержана банда иностранных отравителей. Я взял одну из банок, открыл крышку со словом «реахим» и...

Черный драп сделал невнятно ручкой и что-то промычал, кто-то уса-тый вздрогнул, остальные зависли в легком столбняке, мысленно проща-ясь со мной и крестясь слева направо.

Белешая тугая струя шириной в пять сантиметров перетекала из банки в мою пасть и прохладным водопадом опускалась в желудок, самостоя-тельно освещая путь в мрачном тоннеле пищевода. Восторженный Лешка посмел открыть рот:

— Да у меня в таких баночках жена варенье хранит!

Ах, зря: комментарий смазал впечатление, как смазывается прелесть уже слышанного анекдота. Я продолжал жрать сметану огромными глотка-ми, чтобы сожрать возможно больше. Точнее — оставить возможно мень-ше. Одолев полбанки, я сдался и в гробовом молчании, облизываясь и от-дуваясь, сказал:

— Если вы нас в чем-то подозреваете, засекайте время. Через сорок ми-нут все станет ясно.

— Прекратите балаган! — рявкнул черный поджарый драп с седым за-тылком и добавил несколько энергичных фраз по-своему.

Вернулась рабочая атмосфера. У одного из полицаев — самого толсто-го в коллективе — в руках появился лист бумаги, и вместе с худырбугиным в архаичных синих милицейских штанах он занялся тем, от чего нестерпи-мая грусть наполнила наши души, а нестерпимая вонь — наши головы. Судя по запаху, тощий ветеран охраны правопорядка был безнадежным алконавтом: у него явно не работала печень.

Вновь обратившись к нам, старикан объявил:

— Именем Латвийской республики эти продукты конфискуются!

— Как, даже водка? — Я захлебнулся обидой. — У нас по одной бу-тылке, это не на продажу!

Чистая правда: хань мы брали только на представительские расходы — сунуть кому-нибудь на пути следования, если случится заминка. В поза-прошлом рейсе на обратном пути нас заложили проводнице земляки, со-седы по отсеку в плацкартном вагоне, и нас, безбилетников, среди ночи сняла в Даугавпилсе полиция. Вся местная валюта, естественно, была об-зеленена; я занял очередь в кассу, а Лешка сбежал куда-то с представитель-ским нашим литром и вернулся спустя пять минут с деньгами, которых с лихвой хватило до дома. Собственно, аборигены часто спрашивали у нас водку на базарах, но сюда не имело смысла ее возить: в Польше навар на каждом бутылке на восемьдесят процентов выше...

— Водка тоже, — как бы даже и сожалея, кивнул инспектор и пригласил следовать за ним. — Сейчас составим протокол.

Вот и «заминка». Вот и «сунули».

— Но это наше личное, понимаете? Вечером мы должны быть в Риге на дне рождения. У бывшей одноклассницы. Не можем же мы прийти с пустыми руками!

— У нас водка продается везде и совершенно свободно. Если нужно — купите.

Это сказал старикан нам вслед с гордыми колоколами в металлизиро-ванном голосе. Вот, дескать, какая страна, даже водка есть. Он плюхнулся на стул и по телефону стал много говорить, употребляя слова «колбасас», «документас», «белорусас», — мы с Лешкой слушали уже из кабинета кра-савчика. Два полица добросовестно пересчитывали колбасу, и оттуда, куда нас усадили, были видны их зады — тощий в синем и толстый в хаки. Еще лучше мы видели молодого водителя с усачом постарше и еще каким-то типом в гражданской кургузой куртяшке, они уже несколько минут раз-глядывали и ошупывали наши комплекты чехлов для автомобильных кре-сел, которые в качестве промтовара и в количестве трех лежали на т-об-разном столе начальника муниципальной полиции Павлиныся.

Должностные лица, едва усевшись напротив клиента, внезапно вспо-минают что-то, вскакивают и уносятся — редко больше чем на час. Все симптомы этого профессионального психического расстройства немедлен-

но продемонстрировал добрый штурмбаннфюрер с роскошным шевроном. Стоило ему раскрыть Лешкин паспорт, как — словно кувалдой — осенило, и, что-то буркнув, он умчался. Тут же от наших чехлов отделилась фигура в гражданском и прилизилась. Я нашел, что это лицо могло принадлежать шакалу Табаки; люди с лицами гиен, лис и шакалов малогазачны и потому неинтересны (то ли дело собаки, козлы, свиньи, львы и даже красавчики грифы, несмотря на то, что также питаются падалью).

— Почем вы хотели продать чехлы?

Назвав цену, мы признаём, что чехлы привезены с целью наживы, и они разделят участь продовольствия. С другой стороны, трудно объяснить, для чего иного наш походный магазин украшают бордовые одежды для салонов «Жигулей».

— Чехлы не продаются, это подарок рижским друзьям, — подхватил Лешка тему дня рождения, не вполне, впрочем, уверенно.

— У нас много друзей в Латвии, — дополнил я и вспомнил, что собирался просить за комплект — в пересчете на баки — около десяти, продать же можно было в крайнем случае и за семь.

Поразительно быстро вернулся инспектор, и Табаки сделал вид, что безразлично смотрит в окно. Задумчиво так смотрит, а там периодически возникает фигура со складным автоматом Калашникова.

— Послушайте, — сказал я, когда красавчик начал заполнять бланк. — Мы вбухали в эти продукты по ползарплаты. В семьях не осталось ни копейки. Нельзя так жестоко — отобрать все. Мы вас очень просим: оставьте часть — ну, скажем, половину. Войдите в положение...

Добряк поднял прекрасные черты от бумаги.

— Мы и так поступаем очень гуманно. По закону следует не только изымать товар, но и штрафовать. Вы ведь успели кое-что наторговать, не так ли?

— Господин инспектор, что ж мы женам-то скажем? Поставьте себя на наше место...

— Каждый должен находиться на своем месте!

Вошли составители описи. Штурмбаннфюрер принял листок, взгляделся, и лицо его на наших глазах превратилось в ту маску патриотического гнева и отеческой боли, какую мы наблюдали уже в связи со словом «реакхим». Он заговорил, как и тогда, пятнадцать минут назад, растягивая слова, будто тужился:

— А есть ли у вас справка о прохождении радиационного контроля? Ведь ваша республика поражена радиацией... Да как вы смеее распространять эту отраву!

Неужто он всерьез? Кинуться бы сейчас через стол, вцепиться руками в гладко бритую шею и спрашивать трясущимися губами, сдавливая: «Всерьез ли ты, сволочь? Дорого ли тебе здоровье тех, кого мы кормим? Действительно ли веришь ты в излучение нашей чудесной свежей вчерашней колбаски, купленной в обычном магазине, о чем ты, гнусный лицедей, прекрасно знаешь?..»

— Вот-вот, смотрите, господин инспектор, — кричал мой бедный напарник, тыча пальцем в этикетку на молоке. — Город Глубокое, это же Витебская область, соседняя с Латвией, там радиации не больше, чем у вас!

Большого сторонника белорусской самостийности понесло. По обыкновению топя объяснение в несущественных подробностях, он принялся вещать о том, что север Белоруссии условно чист (столько-то кюри, проверьте!), о том, что продукты мы не сами делаем и они обязательно неоднократно тестируются, а уж что до молока, то он, Лешка, готов немедленно выпить банку или две (в чем я тут же усмотрел отвратительный плагиат) и что молоко из этой самой партии не далее как вчера пили его собственные дети, потому что свежего в гастроном не завозят потому что «у живёлагодоўле»² нет кормов потому что Высший Курултай Казахстана ре-

² В животноводстве (белор.).

шил все излишки зерна направить на развитие Байконура и олимпийских видов спорта потому что престиж нации определяют олимпийские медали и ракеты потому что так сказал Джон Фицджеральд Кеннеди потому что...

В мозгу красавчика забарахлило устройство синхронного перевода, затем оторопь достигла мозжечка, и пальцы, сжимавшие листок с описью, разжались. Я получил доступ, хотя и вверх ногами.

На русском языке, спасибо. Колбаса — девятнадцать палок, сметана — двенадцать литров, суповые концентраты — сто десять пачек, уксус — десять бутылок (приходите в родной цех, за три секунды надеваете противогаз, полуметровым крюком из арматурной проволоки открываете вентиль, и поток девятидесятипроцентной уксусной кислоты толщиной в руку наполнит подставленную тару), мука высшего сорта — четырнадцать килограммов... А это что?

Батюшки! Моя литровая красная фляжка с разведенным до водочной концентрации бельгийским спиртом, моя неразлучная подружка-путешественница, в книге рекордов твое место, а не в этой халупе, пятьдесят тысяч километров, сотни литров спирта, Румыния, Чехия, Венгрия, Турция, Польша, Словакия, Германия...

— Господин инспектор, фляжка-то при чем? Видите: из нее уже отпито, грамм сто пятьдесят не хватает. Поездки к вам очень тяжелые, сами понимаете, без этого — никак.

— Опись уже составлена и подписана начальником муниципальной полиции. Я не имею права ничего вычеркивать. — Он склонился над бланком.

Клочок бумаги в одном экземпляре, исписанный от руки и завизированный седым ксенофобом, в любой момент можно заменить чем угодно! Я посмотрел на описывальщиков, они все еще стояли перед инспектором. От гниющего бывшего мента тянулись мерзкие миазмы, непонятно, как его выносят коллеги. Сейчас, не вставая, крепким великосербским сапогом ближнему — как раз вялой щепке — в пах, а другой ногой, уже поднимаясь, в прелестную мордашку штурмбаннфюрера. И завладеть его пистолетом — наверняка в ящике стола. Лешка придержал бы второго, сального борова. Если заряжен, если сразу найти и снять предохранитель, можно успеть: в соседней комнате четверо, из них трое — кучно, возле чехлов, и черный драп в створе, в метре за ними. Снаружи охранники решатся стрелять через окна, от скуки они не раз проигрывали героические пьески с собственным участием. Лай собаки будет последним живым звуком; всаживая последнюю пулю в лоб, выпирающий из седины, я еще услышу разлетевшееся стекло и вдруг застыну, просверленный. По крайней мере мой последний глоток воздуха будет пахнуть не мясом прости-тутки-циррозника, а пороховой гарью.

Вся эта дымная, залитая кровью и солнцем картинка, вероятно, как-то проступила на моем лице: описывальщики вышли. И заявился средних лет усач, который стоял вместе с водителем и полугражданским Табаки. Он присел за соседний стол, набрал номер и стал быстро говорить в трубку. Зазвучали знакомцы — «документас» и «белорусас», а следом и свежачок — «палкас» в сочетании с «колбасас».

Красавчик сказал Лешке:

— Все, что значится в описи, я занес в протокол на вас одного, не возражаете? Чтобы не терять времени и не делить продукты.

Лешка — титан, в одиночку приперший столько корма на базар соседнего государства, — поставил подпись, а инспектор накрутил телефонный диск и, весь подбравшись (для чего поиграл старательно желваками), стал докладывать кому-то — разумеется, об операции по поимке нас. «Палкас колбасас» и так далее. В субботу подобные звонки — только на дом; едва ли не каждый муниципальный павлинянский полицейский, похоже, обязан информировать кого-то из истеблишмента. Например: главарь — мэра, красавчик — предсовета, усач — епископа. Если это не так, предположить остается одно. Все наши благодетели звонили женам — развлечь.

Мы вернулись в апартамент старикана. Унылые наши взгляды прощально лоскали «палкасы», «банкасы», «супасы» и «водкасы»; ах, до чего хороша моя канистра с Лешкиным винцом, ах, как налижется эта шушера к вечеру...

— Можете идти, — небрежно сообщил седой человек; торжественная часть окончена. — Заберите ваши сумки.

Сталь сменилась брезгливостью: он разговаривал с отработанным материалом. С мятым паром.

— Господин начальник, позвольте забрать фляжку. Представьте, в каком мы настроении, — капля спирта немного его скрасит.

Черный драп уставился в мои глаза, проверяя, соответствует ли их угодливость угодливости гортани. Убедившись в наличии положительной корреляции, милостиво молвил:

— Хорошо.

— Спасибо, — подобострастно прошептал я и, швырнув фляжку в сумку на колесиках, повернулся к столу с чехлами, чтобы...

— Не трогать здесь ничего!

— Но чехлы... Вы же говорили...

— Да, мы думали иначе, но нас поправили. Это распоряжение мэра. Если хотите спорить, будете это делать в присутствии телевидения. Хотите?

— И этот спортивный костюм отбираете?!

— И этот спортивный костюм.

Вот тебе и проба рынка, бабушка. Только не ляпнуть, что костюмчика с чехлами в описи нет, — составление новой займет пять минут, еще и табачки наши опишут как транспортные средства для извлечения...

— Господин начальник, костюм — не товар. Он же единственный, в подарок. Очень прошу вас: отдайте! Нам вечером в Ригу, на день рождения.

Седой затылок думал. Все молчали. Морщинистые руки помяли итальянскую ткань сквозь полиэтилен упаковки.

— Ладно, — сказал он. — Забирайте. Но больше никаких просьб, иначе лишитесь всего.

Через полминуты мы с Лешкой спускались с крыльца околотка, испытывая свинцовое облегчение.

— Спасибо за гостеприимство. — Внизу Лешка обернулся к охранникам: — Мы тронуты до самой задницы.

Красномордый мужик — тот, что таскал у левой ноги овчарку, — обиделся:

— А мы ни при чём, ребята. Мы их только охраняем.

Он обходился без акцента, это резало слух после полицаев.

— Как?!

— А вот так, — сказал второй автоматчик, высокий и курносый. — Мы в войске охраны края служим. То сюда пошлют, то на какой склад или мост.

...Давясь последним из прожитых часов, мы молча брели к полуденному солнцу — в сторону базара. Потешно подпрыгивали колесики пустых тележек. Одноэтажные дома и узкие безлюдные тротуарчики провозжали скорбный этап. Я rasseкал впереди, Лешка телепался в некотором отдалении. Абстиненцию необязательно вызывать химически — перепоем или передозняком: достаточно ограбить купца, эйфорирующего по поводу бойкого торга.

На ближайшем перекрестке стояли трое или четверо — в хаки. Я посмотрел на Лешку и решил, что сейчас он блеванет. Они стояли прямо на проезжей части, которой, кроме пешеходов по субботам, похоже, никто не пользовался. Они могли быть кем угодно — охранниками края, пограничниками, таможенными шмоновцами, политурой. Даже рыболовами или железнодорожниками. У одного, чернородого, я увидел на голове этакую альпийскую охотничью шапочку с пучком мелких перышек сбоку; ве-

роятно, охотники. Я чувствовал, что они провожают нас взглядами, — в отличие от домов и тротуаров, они при этом трепались и похохатывали. Я резко оглянулся на ходу. Так и есть, заотворачивались. За ними, у подножия пологого холма, еще виднелся двухэтажный хаус муниципальной полиции. У него в тылу засел фруктовый сад — должно быть, яблоневый. Деревья торчали вверх по склону, достигая каких-то лагун на гребне. Взмалошный ветерок пытался расшевелить красно-бело-красное мясо на флагштоке, но был бессилён, как правая рука импотента. В стороне от крыльца в позе кенгуру сидела немецкая овчарка, силуэт был великолепно освещен — собачка пур ле гран.

Близ железной дороги я остановился. Кирпичная кожа моего туристальпиниста заметно потемнела, будто ему квадратно-гнездовым методом насажали синяков либо долго возили мордой по чернозему. Широкие губы шевелились — разумеется, неслышно, — исторгая проклятия и подсчитываемая убытки. Свои я мгновенно прикинул: около десяти баков плюс угроханное время. Лучше бы сидел дома, рожая концептуальный роман «Происки от лукавого», уже триста машинописных страниц налукавлено, осталась какая-нибудь сотня. Только истерики не хватало.

— На-ка, Леш. — Я поднес к печальной роже вырванный из лап полиции сосуд. — Не кручинься. У меня как раз не было сюжета, чтобы воспеть эти места. Теперь бы еще сочинить возмездие — и я тебя увековечу. Из-под моего пера выпорхнуть в историю — большая честь.

4

Скоро мы пили чай на кухне у Натальи Степановны. Сама держательница явки усидеть не могла, а бегала по квартире, журила нас за неосторожность и возмущалась бессердечием обидчиков:

— Саша! Леша! Как же так, торговать прямо у служебного входа?! А курवेशка эта? Разве не знаете: замдиректора рынка!

— Знаем, она и в прошлые разы возникала, но все ведь обходилось...

— А еще, ребята, я вот что скажу. Соседка с третьего этажа, латышка, рассказала, она меня лет на семь старше. Начальник-то этот — седой, в черном пальто, — в полиции не впервой. — Наталья Степановна перешла на свистящий шепот. — Полицай он! Крови на нем вроде не было, потому как по молодости одурманенного, только выслали его куда-то вместе с семьей. А как суверенитет объявили, вернулся. Один.

Вещее мое сердце! Я поставил пустую чашку. Спасибо. У Лешки отпала нижняя челюсть — это означало, что он вышел из прострации и начал воспринимать окружающих. Правда, при высоком уровне меланхолии. Главарь муниципалистов прожил страшную жизнь. Ни в одной строчке ее не было точек. Она состояла из ожиданий, а между ними по правилам могут находиться лишь запятые. Седой затылок не был седым, когда запрятал за пазуху тяжелый булыжник и повесил на грудь мешочек с кладбищенской землей — акцент. Полвека акцент был единственным средством сказать о любви к отобранной родине и ненависти ко всему остальному. Эта чудовищная последовательность вознаграждена: он обрел вторую молодость.

Внутри меня мерно и неостановимо вспузыривалась ответная ненависть. От этого под свитером растегнулась пуговица на сорочке. Хорошо, не zipper на ширинке. Наши отношения с черным драпом приобрели то, чего им так не хватало, — завершенность. Теперь я мог бы смотреть на него сквозь прорезь прицела. В моем нынешнем положении это не менее комично, чем мстительные мечтания избитого сверстниками подростка когда-нибудь вступить в родной город на броне головной машины освободителей. Васек Трубачев и его товарищи. Мухтар в тылу врага.

Мы простились с нашей пятой колонной и, прихватив оставленный у нее в прошлый приезд десятикилограммовый кусок парниковой пленки, отправились — перебарывая отвращение — на базар. Два часа назад нас

вывезли оттуда в разгвозданном детище автозавода имени Ленинского комсомола павлиняские мусора.

В масках покупателей мы обошли место боевой славы. Торжище глохло, как всегда к концу первой половины дня. Не обнаружив ничего подозрительного, мы встали у самого входа, не за прилавком даже, а перед ним. Эти предосторожности теперь, после драки, были достойны полных идиотов. Вдобавок с неба исчезло светило — точь-в-точь как тогда, когда нас повязали, — связь человека с природой. Из закрывших его туч посыпалась бессмысленно-холодная крупа, и снаружи сделалось столь же гнусно, что и внутри нас. Еще по глотку радикального средства купцов-нелегалов! Мой глоток — сто грамм. Лешкин — семьдесят.

— Девушка, костюмчик как раз на вас, Италия! — поставленным голосом задирает я сорокалетних фей, окончательно увядших от дурной погоды.

Две недели назад погода была не лучше. Капитально облегчившись в Павлинясе, мы с Лехой рванули в Ригу, чтобы распродаться там в пух и прах. Последней, помню, сдавали борную кислоту — убойные количества ее я скупил дома в нескольких аптеках. Бухие, как трактористы, мы горлалили на два голоса посреди знаменитого рижского базара:

— А вот кислота, прекрасная борная кислота, пожалуйста!..

— Отличная борная кислота для травли тараканов и обработки помидоров!..

— Чудесная белая мелкая кислота!..

— Замечательная, лучшая в мире, очень дешевая кислота!..

Рижане мели борную кислоту, как пайковый хлеб, хотя никто до встречи с нами не подозревал о своей нужде в этой дряни. Неподалеку царпали темнеющее небо святыни Старого города — Домский собор, собор Петра и Павла с полуторатонным петушком на шпиле, Пороховая башня, Малая гильдия... У них у всех был подавленный вид: они лишились многолетнего поклонения приезжих, чего недавно не смели допустить в своих каменных раздумьях.

У приезжих нашлись другие занятия, ближе к вокзалу. Продавцы, не умеющие торговать, поначалу косились на нас с Лешкой, одна дура даже что-то вякнула, но скоро преимущества могучей горловой рекламы оценили все. И те, кто стоял с обувью, и те, кто с бижутерией, и те, кто с мясорубками, и те, кто... С началом сумерек мы рванули в меняльную контору и в тютельку успели на ранний — дополнительный — поезд, который ввели этой зимой, чтобы колбасный народ перестал брать штурмом вагоны. С него-то нас и сняли в Даугавпилсе полицейские: получив дубинками по пяткам, мы обвальным образом покинули уютные третьи полки. Собственно, билеты у нас были, но — до ближайшей к Риге станции, они играли роль посадочных талонов.

Далее в пути в общем вагоне никто ничего не проверял, и за символическую плату мы доезжали до самого дома; в позапрошлую субботу все общие вагоны скупил пацанва, мелкие билетные наварщики, потом эти недоноски топтались около касс и вполголоса предлагали за две цены. Пришлось брать в плацкартный, в нем незамеченными в десять раз труднее, но нам бы и это удалось, если бы не попутчики, коллеги по промыслу, среди которых тоже был безбилетник. Заложили. А так мирно с нами болтали, прежде чем мы заползли на верхотуру спать.

...Милые воспоминания. Все это было в позапрошлом веке.

И полчаса, и сорок минут, и битый час мы безуспешно сдавали полиэтилен и спортивный костюм — ничтожные ошметки великой поклажи. Костюм, хоть и итальянский, от снега намок и выглядел неважно; к пленке многие приценивались, но будто бы не имели с собой денег.

Если я предпочитаю на базарах по-азиатски зазывать покупателя, жонглируя при этом товаром (особенно удобно палкою колбасы), то верный напарник Лешка склонен, зажав вещь подмышкой, ходить вдоль рядов и тихонько предлагать ее самим продавцам; снимаю шляпу. Так мы и поступили: я остался курить и злоствовать с итальянским костюмом, а

Лешка уволокся с пленкой в крытую часть рынка, где изнуренное нашим демпингом фермерство вяло сбывало продукцию животноводства.

Рядом со мной за прилавком бригада украинцев не таясь предлагала масло и сыр, а за ними литовцы — майонез и печенье; ни одна собака не пыталась их не то что арестовать, но хотя бы элементарно пугануть, привести в чувство. Когда я намекнул хохлам, что сегодня свирепствует полиция, оба, пожилой и салабон, видимо папаша с сынулей, реагировали с той степенью индифферентности, при которой даже реальное прибытие карателей не способно включить инстинкт самосохранения. Хохлов можно понять: из каких-нибудь Черновцов до Риги они добираются без трех часов двое суток, стоя половину пути в тамбурах переполненных вагонов. Ночь они проводят на каменном полу Рижского вокзала, следя, чтобы не обокрали, и полиция, развлекаясь, гоняет их с места на место, а когда надоедает, развлекаться принимаются операторы моечных машин. Какая чудовищная нужда заставляет все это претерпевать ради двадцати пяти баков нетто, загадка жёлто-блакитного цвета.

Объявился Лешка. Пустой! Я готов был прижать к груди его зверскую физию, которая посторонним должна казаться попросту разбойной, и непонятно, а какие, собственно, параноики становятся его покупателями. Настоятельный совет, господа: первое время после разгрома ни в коем случае не оставайтесь в одиночестве. Если вы где-то и вычитали, что поверженный герой требовал для себя уединения, знайте — перед вами меланхолик и побыть одному ему понадобилось для последней мастурбации, после которой герой предполагает и вовсе удавиться с горя. Завидев своего урода, я воспрял. Я — сангвиник.

Здесь ловить было больше нечего. Важнейший показатель — соотношение числа продавцов и покупателей. Если величина этого эмпирического коэффициента в районе единицы, вы имеете дело, скорее всего, с небазарным днем или некоторым затишьем, связанным со временем суток; если наш коэффициент равен десяти, базару копец, и в ничтожном знаменателе этой дроби уже не покупатели, а нищие, ждущие сигнала своего вожака, чтобы кинуться к мусорным бакам за подгнившими фруктами.

5

Мир состоит из категорий, тяготеющих к постоянству, — из моды, привычек, традиций, обрядов... Самый подвижный интеллект не в силах противостоять этой структурированной пошлости. Я с детства люблю беленьких и миниатюрных, заставляю себя любить темных и крупных, но все равно предпочитаю беленьких и миниатюрных. Пошлость непобедима, вам повезло: каноны вестерна требуют говорить иногда о любви, и даже в истерне мы не вправе обойти эту тему. Повезло и Дайге — она беленькая и миниатюрная.

Я приметил ее, едва мы с Лешкой и клунками ввалились за прилавок павлиньеского торжища. Поначалу было на редкость ясно в пасмурном феврале. Она стояла метрах в четырех, за продавцами какого-то ржавого железа, — ее бледность контрастировала с морозом, а серая искусственная шубейка — с концом века; перед ней в прозрачном кубе горела свеча и сияли тюльпаны.

Выгружая из рюкзака творог и колбасу, я поймал ее глаза. Вдруг она подошла.

— Что хорошенького привезли, ребята?

Умопомрачительный акцент. Прелесть латышечка.

— Если бы знали, что встретим такую принцессу, захватили бы шоколад.

Как бы приняв титул, она капризно сказала:

— Неужели нечем меня угостить?

От эпопеи по доставке продовольствия до флирта — один шаг.

— Для тебя непременно что-нибудь найдем, я подойду через пять минут.

Лешка, в последний раз ухаживавший за девушкой, которая стала его женой, вывалил язык, как июльская колли. И замер, как ретривер в стойке. Никакое жесткое порно не доставило бы ему этого кайфа: он делался свидетелем прелюдии адюльтера, а это всегда шекоучий грех, потому что всякий свидетель мечтает быть участником. Особенно такой коротыш. Без меня у него никаких шансов. Длинные заметны.

Она отошла к покупателям, белые варежки с черными иероглифами, люблю женские руки в варежках, молодит и умиляет.

Через три минуты набравшей силу торговли я услышал те же капризные обертоны, в которых русские слова гнулись каторжниками в каменоломне:

— Ну где же ты? Я жду!

С женщинами нельзя угодничать. Это вредно, ибо вселяет в них презрение тигра к шакалу. Я ответил:

— Потерпи две минуты. Я пока занят, извини.

Когда схлынула первая волна любителей дешевой колбасы, я плеснул из красной литрухи в колпачок и пошел к зимним тюльпанам. Возможно, они произросли под пленкой, которую мы с Лешкой похитили с родного химзавода. За цветочным кубом я обнаружил пластмассовый стаканчик с пивной пеной на дне. Вот откуда такая общительность: малышка попиралась с бодуна.

Она умело выпила, и мы условились повторить.

В тот день я подносил ей по чутельке еще раза три и даже купил на запивку бокальчик пива у толстяка с подковой шкиперской бороды на круглой пивной ряхе. (Лешку толстяк поил бесплатно, потому что тот в каждый приезд угощал его домашним своим винцом.) Ни я, ни Лешка не замечали тревожных симптомов, пока Дайга не подошла — она уже больше времени проводила рядом с нами, мешая работать, чем около своих цветов, и даже свечка потухла, — и тем же голоском не спросила — требовала:

— Почему ты не хочешь меня поцеловать?

Разумеется, я ее приобнял и чмокнул в щечку. Девка обожралась: не боец.

Весь последующий час она катастрофически пьянела, верещала, кривлялась, позоря нашу фирму перед населением и забросив собственную торговлю. Серию перлов она выдала на посошок. Вначале жертва моей литрухи бросалась к каждому встречному с требованием вернуть ей перчатку (кажется, левую). Едва найдя перчатку в глубине собственной сумочки, она заявила, что мы с Лешкой должны немедленно идти к ней и что на Лешкину долю она пригласит подругу. Затем Дайга сверзилась с обледенелого настила, трусики голубые. Впоследствии нетвердый шаг превратился в невменяемую синусоиду, по которой наша цветочница и плелась с базара у нас в хвосте и которую прерывали два эффектных падения. Мне, истинному джентльмену, стало, признаться, не по себе, но помочь девушке было буквально нечем, руки сжимали поклажу: мы перли на электричку, чтобы в Риге допродаться и обменять выручку; единственный меняля Павлиняса — каждый знает его конторку в помещении вокзала — предлагал, как и положено монополисту, очень невыгодные условия, а латвийские деньги хороши, но цвет у них пока не зеленый: дома с ними делать нечего.

Переходя улицу, Дайга увидела легковую машину и с завидной твердостью застыла на ее пути. Это интернациональная черта: нетрезвые женщины всего мира имеют неодолимую тягу к езде в автомобилях — там их обычно рвет на обивку заднего сиденья.

Водитель затормозил, коснувшись бампером коленок нашей цветочницы. Чтобы не упасть, она обняла капот и долго не хотела его выпустить.

Околобазарный народ очень торчал. Мы поджидали на другой стороне улицы.

Наконец я вытянул из клоунихи адрес и возраст: двадцать лет, живет одна, через месяц бракоразводный суд. Ее мужа можно понять. Твердо пообещав, что в следующей раз непременно зайдем в гости, мы рванули в сторону вокзала — оставалось пятнадцать минут. Дайга ковыляла сзади, хватала нас за рукава матерых дорожных курток и требовала денег на такси. В субботу перед обедом здесь самое людное место Павлиняса. Мы, насколько позволяли клунки, прибавили и оторвались; оглянувшись на ходу, я застал последнее па: погоня поскользнулась и с высокочастотным воплем полетела в грязный сугроб за спинами чинной пожилой пары латышей, которые тут же схватили по микроинфаркту, а наша умница дернулась встать, смирилась с тем, что это невозможно, и, раскинув руки, принялась хохотать. В электричке до самой Риги я мучил себя несбывшейся картинкой: я достаю хохотушку Дайгу из сугроба, взваливаю на тачку и везу прямехонько к ней домой.

В прошлую субботу на Дайгином месте тюльпанами торговал усатый крепкий симпягя в хорошей одежде. Я вдруг сообразил, что память не удержала латышское название ее улицы, а газета, в которую был завернут колбасный сыр и на которой я записал жуткое слово, не сохранилась. Я пожаловался Лешке, и он буркнул, принимая деньги за пакетик огуречных семян:

— Дурак!

Хотя вообще-то я — педант; биографам и наследникам будет приятно возиться с моим архивом. Я подошел к усатому цветочнику, который привычно таскал на себе маску крупного деляги. Впрочем, он сразу извлек другую и обрел вид человека, не понимающего, о ком речь, — эта помешанная на скрытности порода общеизвестна. Лишь уяснив, что мои интересы далеки от коммерции, снизошел:

— Я ее уволил. Неделю назад мне звонили несколько раз: она валялась пьяная в городе — то у одного дома, то у другого. Мне такие работники не нужны.

«Я ее уволил!» Сраный цветочный жучила окончательно возомнил себя бизнесменом, хотя, на мой взгляд, вполне справлялся с работой самостоятельно, без наемных рук; небось и взял-то бедную Дайгу только потому, что та ему дала.

— Я обещал ей кое-что привезти, думал отдать здесь, на базаре... И адрес толком не помню — улица Пуркас... Пуркис... У вас, наверное, имеются координаты всех работников?

Сезам, откройся! «Работников» — вот золотой ключик.

— Правильно будет Паркас. Сейчас... — Он полез за записной книжкой.

Вернувшись к станку, я помахал перед Лешкиным носом:

— Сам дурак!

В прошлую субботу, как и в позапрошлую, двухчасовая лошадь унесла нас в Ригу. В крупном городе можно продать многое из того, что не возьмут в мелком. И наоборот. Важно только уметь абстрагироваться от Домского собора, Ростральных колонн или храма Василия Блаженного. Не задержавшись в Латвии еще на сутки, визит к Дайге нереально вписать в программу: домой можно уехать одним из двух поездов, которые с небольшим интервалом отправляются вечером. Короткое удовольствие не стоило такой жертвы, и лишь чрезвычайные обстоятельства могли помочь мне пополнить коллекцию хорошенькой латышечкой, а Лешке — узнать запах внебрачного коитуса.

...Мы катили тележки по припорошенному тротуару. Снегопад усиливался, скрадывая последние звуки молчаливого субботнего городка, и мы молчали, как молчат только униженные и оскорбленные. Мой коротыш и флегмат наглухо ушел в себя — я опасался, что к нему подкрадывается помрачение рассудка. Очевидно, последние душевные силы он употребил

на сбегивание тепличной пленки, когда вправлял мозги какому-то мяснику: «Желтый оттенок видите? Это светостабилизированная пленка! Ее наш завод только для своих работников делает! Она как диод: сюда кислород пропускает, а сюда — нет! Берите, серьезно вам говорю, не пожалеете! А толщина? Вы обратили внимание на толщину?! Сто двадцать микрон, толще не бывает! Она у вас три года простоит — гарантия!» Я затеял психотерапевтический спич:

— Если пересчитать на зеленые, мы выручили за пленку по пятерке на рыло, это компенсирует ровно половину затрат. Пленка-то нам ничего не стоила. — Я отчетливо вспомнил, как среди ночи десятикилограммовый метательный снаряд преодолел трехметровый забор родного предприятия, благодаря чему я заполучил межреберное растяжение в правом боку. — Кроме того, нас ждет женщина — это не какая-нибудь проститутка, денег не нужно. А представь на ее месте другую, которая потребовала бы с каждого еще по пять президентов! Причем в сравнении с мировыми расценками это крайне дешево; это просто смешно — групповая любовь за червонец! Таким образом, считай, что затраты мы вернули. Знаю, ты сейчас запоешь о неполученной прибыли, — сказал я, посмотрев на Лешку; его нос от переживаний приобрел форму крупной сопки, и, вообще говоря, в нем трудно было заподозрить человека, намеревающегося петь, хотя при словах «групповая любовь» его глаза — глаза без пяти минут вершителя суицида — чуть потеряли свою стеклянность, она растопилась. — Но вспомни времена, когда мы ездили в эти края не зарабатывать, а тратить: шлялись по кофейням и пивным, лазали по Старому городу, резвились в Юрмале... Давай, дружище, считать, что мы приехали в гости к любимой девушке; рабочий день неожиданно стал выходным. Это как в твоём цехе: ты приезжаешь на работу, а экстренные дела заставляют подписать у начальника цеха заявление на отгул и слинять. Договорились?

— Ладно, Сашка, хватит со мной будто с дитем или слабоумным. Лапшу писатели профессионально развешивают — мертвого уломают. — Леха прибавил шагу, и передо мной потянулись снежные бороздки от люфтящих колесиков его тачанки. — Что-то никакой Паркас не видать, скоро и город кончится.

Дома слева и справа казались нежилыми, их окна — бесчувственными, их палисадники — мертвыми. Ни души. И от этого еще более тошно. Бесплатной женщиной можно утешить такого, как Лешка, — ему предстоит исключительное приключение; что бы он ни болтал про лапшу, я — отличный утешитель. К сожалению, меня самого подобная оплата векселей не устроит. Кристаллы злости закупорили гортань и наполнили мои глаза. Ненавижу отдыхающие города, бурлить должно двадцать четыре часа в сутки, нон стоп. Здесь нечему и некому бурлить — это с особой остротой ощущаешь, когда крыжовник реквизирован для нужд молодого государства и идет снег. В такие дни в таких городках многие вешаются. Это правильно: зачем жить, если первого марта идет снег.

— Вон кто-то шкандыбает, нужно уточнить азимут, — сказал Лешка.

Объект двигался на нас еще очень далеко — от группки пятиэтажных домов, над которыми торчали кроны сосен; использовав богатейший опыт поисков женщин на улицах, я мгновенно определил по походке даму, причём стройную, высокую и кокетливую. Возможно, еще и умненькую, потому что на ее лице вдруг блеснули очки. Я криво улыбнулся. Мне было насрать. Даже если она сама предложила бы мне отдаться, я бы не счел долг муниципальной полиции Павлиняса погашенным.

Скоро я убедился, что прав: она оказалась очень хороша. Умная мордашка лет двадцати пяти за огромными стеклами, теплые дольки-шмольчики на фантастических ногах манекенщицы, короткий классный «дубль»... Жаль, мы никогда не встретимся в менее паскудный день в менее паскудном месте и я навсегда останусь для нее виденным однажды в снегопад нескладным спекулянтником с лицом цвета трупного яда. Поняла, что мы с вопросом, остановилась и... ответила по-латышки! Выпала

кучу слов изумительным голосом и с изящными жестами — подробнейшие указания, как добраться до улицы Паркас. Я переспросил. Сучонка кивнула, показав, что поняла, и вновь охотно зашебетала, каскадом разбрызгивая приветливые улыбки. Беглая латышская речь. Заткнувшись, она посмотрела на нас, выжидая, — то на одного, то на другого. Ждала еще вопросов.

А мы хором сказали «спасибо».

Она бодро удалилась.

А мы повернулись и смотрели на роскошно виляющую задницу и на высокие сапоги, которые, как у манекенщицы, ставились в снег строго по прямой. Она могла быть женой красавчика инспектора, потрясающая пара. И дети у них потрясающие.

— Чего выпучился? — сказал я ненужным голосом. — Ты ж хотел, чтоб у нас так было. Чтоб ты сам чужим дорогу на своем языке рассказывал. Флагом махал, бля, митинги. Басмачил ты. И она басмачит. Еще раз скажи «спасибо» — они добросовестно учили тебя сегодня. Я думаю, одним басмачом на свете стало меньше. День не совсем пуст.

6

Она не узнала, и недоверие сделало серые глаза менее прозрачными.

— Принцесса, паразитка, как ты могла нас забыть?!

— А-а! — сказала она нерешительно, но прозрачности прибавило. — Заходите.

На ней был халат из пестрой фланели, которая любую женщину делает уютной и теплой. Она явно укоротила его сантиметров на двадцать; тонкие бледные ножки не могли принадлежать супермодели, но могли успешно выполнять главную функцию.

Как я и предполагал, она почти нас не помнила, но это не имело значения. Мы сели рядком на тахте: Лешка, Дайга, я. Моя левая клешня тут же занялась массажем ее правой коленки. Я понес какую-то чепуху; тонус не располагал к красноречию, но женщины любят, когда с ними разговаривают, походя этим на многих домашних животных. Телевизор показывал про человекообезьяну. Другой мебели в комнате не было. Я попросил рюмки.

Пока Дайга копалась на кухне, Лешка приволок из прихожей, где лежал наш хлам, пол-литровую фляжку.

— Откуда?!

Так после восьми обысков подпольщик извлекает из не замеченного жандармами тайника секреты рейха.

— Настоящий рюкзак настоящий турист шьет сам. И делает глубокие карманы. — Лешка по-мефистофельски осклабился, иначе с его рожей не получалось. — Это вино я изготовил для себя. Его не сравнить с тем, что у нас отобрали.

— Дай-ка, — сказал я, быстро долил вино в мою красную литруху до полна, взболтал и перелил обратно. — Трезвая она нам не нужна.

Хозяюшка внесла рюмашки и расставила на табурете перед тахтой. На стекле имелись следы чьих-то пальцев или губ.

— В тот день на базаре ты была гораздо веселее. Впрочем, мы тоже. За хорошее настроение!

Я сразу наполнил по новой: между первой и второй не должно проходить более тридцати секунд.

— За безвизовый въезд из Белоруссии в Латвию и обратно!

Браво, Лешка! Я попросил поставить чайник и вызвался помочь. Подобная помощь заключается в том, чтобы обнять сзади хозяйку, стоящую у плиты; во-вторых, когда пошла мало, его вырубное действие повышают, потребляя горячим.

Грудки оказались мелкими и вислыми, но соски сразу встали. Далее, если Дайга владеет общеизвестным кодом, она должна решительно убраться мои руки и сказать «не надо».

Прохладно-синеватыми пальчиками она потянула мои лапы и сказала:
— Не надо.

Я немедленно подчинился и поцеловал ее в шею. Ни в коем случае нельзя показаться неуправляемым: женщины панически боятся маньяков. Даже в трех слогах слышался акцент. Вот что бывает, если в государстве, бутафорски поделенном на полтора десятка, неграмотно проводить национальную политику. При более компетентном руководстве лишние четырнадцать языков давно сдали бы в музей; сейчас это сделать, боюсь, поздно.

Под чайником веселился пропан. За окном были крутые крыши низких архаичных билдингов, на их черепице все толстел белый мех. Я поцеловал Дайге руку и сказал:

— Иди. Я принесу чай. А то Лешка может обидеться.

Послушное создание. Ожидая, пока уляжется мужественный пип, я осмотрел кухню. Она была не менее пуста, чем комната, не было даже шкапика для посуды, которая располагалась на прикрепленной к стене проволочной сушилке. Однако я вернулся на тахту взбодренным: прикосновения к незнакомкам бодрят не только художников.

Мы стали пить из чашек, рюмки я унес. В горячий сладкий чай я доливал до краев из фляги и рекомендовал делать большие глотки. Застенчиво (по-мефистофельски) улыбаясь, Лешка начал что-то рассказывать Дайге, но, как всегда, когда он произносил более двух фраз, потерял нить и задохнулся в уточнениях. Фильм про человекообезьяну закончился, и после рекламы пошла эстрада. Я поцеловал мочку маленького уха — туда, где дырочка для сережки. Наша безработная повернула голову, будто я ее хотел о чем-то спросить, а она собиралась ответить. Я лизнул угол ее рта — бесцветные губешки — и сказал:

— Мы будем танцевать, хорошо?

— Почему ты так мало меня поцеловал? — спросила она тем капризным (мерзким) голосом, какой я запомнил в позапрошлую субботу.

О'кей, вуман ин кондишн. Мы добавили громкость в телевизоре и вышли на середину. У бедняжки не было тафтинга, чтобы прикрыть давно крашенные доски. Гримасничая — думая, что кокетничает, — Дайга сказала:

— Как же мы будем танцевать втроем под эту медленную музыку?

— Мы обнимемся, — ответил я. — Вот так.

Мы двинулись черепашьим хороводом против часовой стрелки. Дайга хихикала. Лешка сопел и лыбился до ушей, как стюардесса в бизнес-классе рейса Шереметьево — Бен-Гурион. Он осязал плечи второй женщины в своей жизни и даже без продолжений будет помнить это вечно. Моя рука, то и дело нарушая замкнутость нашего полупьяного треугольника, разъезжала от Дайгиного лобка к Дайгиному подбородку, и Лешка поверх рвущей пасть улыбки пучил глаза.

Когда медленная пошлятина сменилась быстрой, хоровод распался, и нас затрясло порознь, как осколки империи: восторженного гнома Лешку, смакующего мгновения неизведанного, окосевшую Дайгу, смахивающую на собаку Павлова без мозжечка, и меня — с недрами, полными мрака, и оттого походящего на стреноженного кузнечика. (Собственно, и в добром расположении я не расположен к энергичным пляскам. Мои преданные искательницы приключений, мои подружки Таня и Аня, даже не пытаются вытягивать меня. Понемногу раздеваясь, они танцуют сами, а я лишь наблюдаю из кресла, отхлебывая двадцативосьмиградусную настойку. Это совсем другое дело.)

— Так неинтересно! — закричал я. — Мы должны изображать Бантустан, отмечающий Пурим. Для этого нужны набедренные повязки. Они к лицу всем людям без исключения, потому что это самая первая одежда. Праодежда! Ты хочешь танцевать в набедренной повязке, Дайга?

После добавочного чаю хозяйюшка была послана за полотенцами и скоро, заплетаясь хилыми ножками, принесла весь, я думаю, запас — пару застиранных махровых и непропорционально длинное кухонное с дурацким красным-зеленым узором и радостной кошачьей мордой.

— Вот это тебе особенно подойдет, — сказал я, поднимаясь с тахты. — Сейчас мы отвернемся, а ты обмотай вокруг бедер. Постарайся, чтобы котик оказался спереди.

Джентльмены галантно прикрыли глаза.

— А вы? Почему вы ничего не снимаете? — раздался голосок, каким об эмансипации не взывают.

Она стояла, обхватив себя скрещенными руками. Бедрышки были туго затянуты кухонным полотенцем. Кажется, она начала воспринимать нелепость стояния перед нами и от этого трезвела.

— Лешка, будьстренько превращайся в бантустанца. А у тебя, моя хорошая, котик на боку. Это не по правилам.

Пока Лешка, кряхтя от возбуждения, копошился за моей спиной, я повернул на Дайге повязку и осторожно поцеловал по очереди ее глаза, ленивые серые глазки с белыми бровками и ресничками, которые она не успела сделать черными, так как не ждала гостей. От нее приятно и печально пахло одиночеством. Попутно выяснилось, что трусишки на месте. Это хорошо. Движение вперед всегда есть эманация — поэтапное упрощение. (Погружение в холод легче дается разом, без постепенности, но путь в холодную воду не есть движение вперед. Это движение вниз.)

Оглянувшись, я впервые сегодня готов был рассмеяться: балбес стоял, прижав к совершенно лысой груди подбородком полу длиннющей клетчатой рубахи, и со старательностью вахтенного матроса крепил узел на талии. Сбрасывая с себя одежду, я заметил:

— Повязка носится много ниже, она недаром зовется набедренной. Посмотри, как элегантна наша умница: пупок на двенадцать сантиметров выше полотенца, сразу под верхней кромкой которого мы вправе ожидать заросли.

— Понял, понял, понял, — забормотал Лешка, точь-в-точь как ночью в Индре на третьей полке, когда состоялся бессмертный диалог «Кто хозяин этого рюкзака? — Я... я... я...».

— Поцелуй его, — попросил я, — он страшно стесняется. Он боится и не любит тебя.

— Как?! Ты не любишь меня? — возмутилась Дайга, нагибаясь, чтобы друг Лешка мог дотянуться. — Разве меня можно не любить?

Бедняжка ждала от жизни много нежности, но получала в основном другое. Лешка пошел багровыми пятнами, словно казнимый цветущим садом аллергик; его подвижные, слюнявые от волнения губы дотронулись наконец до прозрачной северной щечки; ткнулись раз, другой... Внезапно потенциальный прелюбодей забросил на плечи девушке могучие руки-крюки и заглотал разом хихикающий рот, полподбородка, левую ноздрю. Девушка встрепенулась от неожиданности, уперлась было кулачками, но тут и обмякла.

Лишь бы нежность.

В их ртах булькало, хлюпало, всхлипывало, плюхало, а я думал о том, что всего в полутора или двух километрах, в этом же городе, под этим же тусклым небом и под этим ненужным снегом, — двухэтажный неказистый особняк с высоким крыльцом, караулом, овчарками, а внутри стройный памятный старик в черном пальто, добрый красивый штурмбаннфюрер в хаки, их помощники-мародеры, но лучше всего в моей голове умещался стол, полный еды и питья, и все это вывезено, отнято нами у неуклюжей безобидной республики, охваченной массовой паранойей, и вмиг прохлопано. Я ощутил даже запах, сказочный запах, испускаемый грудой вареной колбасы, ее привозили в наш город из Миор, где вся продукция колбасного цеха подкапчивается и оттого благоухает, будто вкусная.

Они напоминали славную пару «вампир — жертва» из триллера. Когда мокрые лица разнялись, я решил, что Лешке хорошо бы прицепить фальшивые клыки, а слюни у обоих подкрасить.

— Сочная, правда? — спросил я Лешку, протягивая им рюмахи.

Чай кончился, и рюмки трансцендентно вернулись на табурет. Даме я предусмотрительно налил половину, дабы не перетитровать, как тогда, на базаре.

Стоит ли описывать дальнейшее?

7

На выходе из метро «Семеновская» меня встречали: крупный дождь и солнце. Зима окончательно деградировала. Несмотря на ранний час, уже — или еще? — работали алчные мартовские цветочки и ларьки с ярким товаром. Мимо струилось, привычно стараясь не видеть витрин, суровое «козье племя» — лет десять назад мы с единственным другом Серегой донимали его хмурыми будничными утрами, направляясь в институт. (Проснувшись в семь утра в мытищинской квартире Серегиной еврейки, мы выпивали бутылку водки под котлеты моего приготовления и маршировали к электричке, распевая: «Лет шестнадцать я вдовушкой была!» Угрюемые подземные переходы, заполненные шарканьем тысяч подошв, мы преодолевали бегом, с включенным на всю катушку кассетником, испуганные работяги вспархивали из-под наших ног, а благодарные за развлечение тоннели чудили с незнакомыми звуками, разбрасывая взамен каждой пойманной нотки по пригоршне.)

У одного из киосков я приостановился взять ликеру «Фейхоа» и водки «Блэк Дэф», хотя там, куда я направлялся, в таком выборе заподозрят, возможно, недостаток мужественности. Не удивлюсь, если обнаружу где-нибудь в углу посуду из-под украинского спирта и мерзкого азербайджанского портвейна.

На трамвайной остановке я достал из дорожной сумки любимую красную фляжку и сделал хороший глоток. Спирт натошак вместе с недосыпом — великолепный горячий завтрак. И он изумительно контрастирует со сверкающими холодными каплями, ползущими по лицу. Я почувствовал, как расширяются зрачки, достал сигарету. От первой же затяжки желудок перестал малодушно требовать пиццу, о которой этот попрошайка помнил всю дорогу: губа не дура. О, пицца!

Я презираю гурманов: их мозг переключал под диафрагму. В слове «вкусно» слышится животная похоть, единственная цель которой набить брюхо и лечь переваривать; не слушайте сказок об умеренности ценителей, все они ведут себя по-собачьи: чем вкуснее корм, тем больше и быстрее они в состоянии заглотить. Неизбирательная телевизионная реклама съестного тем и оскорбительна, что низводит меня до уровня этих ходячих желудков. Будь мой спинной нерв послабее, жующие лица из ролика в честь какой-нибудь шоколадки или даже жвачки вызывали бы в нем сильную вегетативную реакцию.

Единственное исключение делается мною для пиццы производства моей жены. Я ее хочу так же, как собака хочет сырую говядину; на этом, правда, сходство заканчивается, ибо я хочу пиццу до тех пор, пока она есть, а собаки и гурманы сгорают от страсти к деликатесам постоянно.

Сейчас шедевр при мне. Это не резиновое серое тесто со следами плавленного сыра, продаваемое на московских улицах; это не классический вариант из отходов итальянских ресторанчиков. Это — бурлеск из грибов, свинины, голландского сыра, зелени, особой приправы и томатного соуса; это импровизация, неизменно приводящая к отличному результату; это — мой завтрак, обед и ужин в первые сутки путешествия. Причем я запретил этой штуке сопровождать меня в торговых рейсах, ее удел — быть съеденной в поездках, совершаемых во благо русской литературы.

Надеюсь, пиццу по достоинству оценит тот, к кому я направляюсь.

Спустя четверть часа я стоял перед ободранной дверью квартиры в первом этаже мощного жилого сооружения, выстроенного тогда, когда у нас была великая эпоха. Две кнопки на двери огорчили меня: неужели его поселили в коммуналке? Подписей не было, и я дважды ткнул наугад. Тишина. Другую. То же. Я постучал.

Шаги — принято сообщать, легкие или тяжелые, но я не разобрал, — короткие, рядом с дверью находился. Возможно, увидел через окно и ждал, когда поскребусь. Щелк-щелк! Вот она, давно знакомая по фотографиям рожа. Улыбается; одет. В сумраке прихожей не видно, стар ли. Но без шинели, по-революционному распахнутой на обложке одной из книг.

— Доброе утро. Я рано, как обещал; рад, что не разбудил.

Ямка на подбородке — помните, прежде он был ею недоволен, а теперь? На голове курчавый куст с плоско подстриженным верхом. Свежевыбрит, однако мешки под глазами, вряд ли ложился этой ночью.

— Пожалуйста, проходите. Раздевайтесь.

О, какой родной запах: ацетальдегид, самый вонючий компонент перегара.

— Пили? — внезапно понимающе спросил я и так же внезапно подумал, что сказать сейчас что-то другое было бы пошло.

— Что, свежаком прет? — усмехнулся Эрик Вениаминович, полсекунды помедлив. — Сюда, пожалуйста.

Оттенки украинского выговора — форэва; послушать бы его английский или французский. В тембре звякнул интерес, и я ответил, входя в комнату:

— Мне трудно судить, на остановке около метро сам приложился, но больше похоже на вчерашнее.

— А я — за минуту до вашего прихода, свежак еще не должен чувствовать. Присаживайтесь.

— Слово «свежак» не из вашего словаря — скорее, пародируете мои труды, — сказал я, ощущая то душевное родство, какое всегда испытывал, читая его книги.

Он напомнил:

— Мне казалось, мы будем беседовать не о литературе.

— Безусловно... если сумеем удержаться.

Я огляделся. Вокруг также царила великая эпоха: шеренги салатových цветочков на вытертых и вылинявших обоях, железная кровать с высокой периной и решетчатыми спинками, большой деревянный круглый стол (за таким же я съел немало манной каши), ветхое строение с зеркалами на створках (в моем детстве это называлось трельяж), не менее обшарпанный буфет (его вместительное чрево хранило борщи и жаркое до появления холодильников), коврик на стене с вытканными оленями на водопое... Еще недавно здесь доживала беззубая карга, мамаша одного из московских приятелей французского гражданина Эрика Вениаминовича. Друзей-то у него нет и не было, только приятели, поочередно отработывавшие рядом с ним отрезки времени — до тех пор, пока исчерпаются и прискучат... Сентиментальность, которую я душу всю жизнь, сама схватила за горло. Ей помогали два неплохих аромата — хорошего одеколона и хороших сигарет: там, где я рос до восьми лет, было много похожих предметов, но никто не курил, а одеколон отца пах по-другому.

— Во всяком случае, не могу сказать, что в восторге от вашего словотворчества, — заметил хозяин, усаживаясь в расхряпанное старушечьим задком кресло; он выждал, пока стихнет скрип, и закончил: — Ваша англиканская языковая неоригинальна, формальна и никчемна: «лицо» меняете на «фейс», «карман» на «покит». Отдает архаичным жаргоном молодняка и одним из русских переводов Энтони Бёрджесса. Если вы читали его в оригинале, то обратили внимание на органичную, именно английскую идиоматику, а не примитивную перебивку с чужого языка... Что с вами?

— Извините. Очевидно, это ностальгия: за последние двадцать лет мне не часто доводилось встречать трельяж. — Я сглотнул, отмахиваясь от видений, выросших в допотопных зеркалах случайного жилища.

— Вот уж не думал, что создатель восточного ковбоя Андрея Ловкого, этого командоса с журналистским удостоверением, будет сидеть со слезами на глазах перед трухлявой вещницей, место которой на свалке. — Он говорил спокойно и дружелюбно. — С себя ведь ваяем, с себя! В последних творениях ваш любимец уже полностью лишен нервов и сомнений.

— Просто мы лишаем любимых героев собственных недостатков. Может быть, Андрей Ловкий — идеальный Александр Черницкий.

Этого безгранично откровенного и резкого в суждениях человека можно пронять только откровенностью и резкостью, что я небезуспешно продельвал, начиная с блистательного «пили?».

Уличный свет все больше теснил две электрические лампочки в потрескавшихся плафонах люстры, и можно было наконец разглядеть хозяйна. Эрик Вениаминович забарабанил пальцами руки, до того неподвижно лежавшей на столе, и поднялся.

— Чаю хотите?

Я встал. Он был на голову ниже меня, в черном батничке с погонами и в черных же тесных брючках. Я попросил разрешения снять пуловер и остался в серой итальянской тенниске за двадцать долларов и плащовых ливанских джинсах, приобретенных по бартеру моим бывшим заводом, тоже серых. Мы бы недурно смотрелись со стороны, я даже бросил взгляд в окно, за толстые двойные рамы с грязными стеклами, будто ожидал увидеть там бородастую ряху соглядатая. Дождь кончился, но Фортунаговская была безнадежно уныла. Другое окно выходило на Щербаковскую — по ней шел трамвай с рекламой сигарет «Кэмел». Захотелось курить. Еще больше захотелось проинспектировать несколько общих тетрадок на столе, и, выходя из комнаты, я споткнулся, зацепившись за них глазами; прежде доводилось видеть лишь черновики: а) отца-электронщика, подарившего мне свою монографию «Нормирующие измерительные преобразователи электрических сигналов» с надписью «Приятного чтения!»; б) Пушкина и Ленина — на репродукциях; в) особого сорта — из тех, которым лучше никогда не становиться беловиками, и жаль неплохих знакомых парней, рожаящих такую муру.

Кухня выглядела совершенно опустившейся со времени своей последней хозяйки. Шаткий столик, за неимением четвертой ноги прибитый когда-то к низкому подоконнику, посетили соленые огурцы, вареная колбаса и граненые стаканы. Бутылка «Блэк Дэф» дополнила эту компанию.

— Слишком по-русски, — сказал я, закуривая. — Как чаепитие в горящем доме. Вообще-то я думал, шей предложите; впрочем, мы не в Нью-Йорке.

В ответ на ровеснице моей — двухконфорочной газовой плите — загудел оплеванный поколением шкворчащих сковородок чайник. Хозяин ловко разлил водку и сказал:

— Извините, но я читал вас менее внимательно, чем вы — меня. И написано вами много меньше, так что не задирайтесь. С добрым утром.

— Салют!

Я откусил пол-огурца, вялого и пересоленного.

— Дрянь? — участливо спросил Эрик Вениаминович, увидав гримасу. — Я уже думал вчера, что лучше: им водку закусывать или водкой его запивать.

— Намек поняла: в десять на сеновале. — Я взял «Блэк Дэф» и плеснул еще грамм по пятьдесят.

— Признаться, «Кеглевич» лучше. — Эрик Вениаминович понюхал корочку. — Еврейский талант обнаруживается даже в производстве нашего национального напитка.

— Просто русские состоят из татар и евреев.

— Я татарин, мама моя из Казани, — серьезно кивнул он. — А знаете, я, пожалуй, понял, чем привлекает ваше творчество, — тотально вторичное в принципе. В ваших вещах всегда присутствуют именитые, как правило, соавторы: в их капканы вы ухитряетесь засунуть все конечности сразу — порой вам настолько удается коктейль из чужих находок, что создается ощущение вашей самобытности. Но главное, что вас спасает, — свирепая ирония, другими словами — цинизм.

Прожевав кусочек колбаски, я сморщился:

— Позвольте, я это поджарю? — и поднялся к плите. — Но согласитесь, мой труд нелегок. Представляете, как упираются Маркес, Ремарк, Генри Миллер, тот же Берджес, московские и уральские балбесы параллельщики и — не менее прочих — горячо любимый Владимир Владимирович, когда их за волосы приходится втаскивать на устроенный в виде гигантской мясорубки жертвенник, под смотровой площадкой которого, в ущелье, алчно вращается беспощадный шнек? Без цинизма такую работу исполнить невозможно.

— Впоследствии продукт желательно приправить прекрасной гомогенизированной лимонной пастой. — Он рассмеялся и потянулся открыть окно — в квартире еще действовало отопление.

Солнце принялось вправлять нам мозг прямой наводкой. Хозяин был старше меня на двадцать лет, но в отечестве мы прожили поровну. Лоб его обходился еще без морщин; каков мой срок хранения?

— Теплая явка, — заметил я, махнув очередную порцию, и внимательные глаза хозяйина озарились вспышками, как стволы охотничьего ружья при дуллете.

— Обратный путь был бы короче, если бы ты так далеко не забежал, — медленно произнес он мягким голосом.

— Это Рабиндранат Тагор? Собственно, что вас насторожило? — Я снова закурил. — Но я действительно не в силах поверить, что после двадцати лет в дисциплинарном санатории вас удовлетворит эта заброшенная коммуналка — даже в качестве временного пристанища. При всей вашей неприхотливости. Внутри я очень похож на вас, так что мне легко становиться на ваше место.

— Еще скажите, что многое из написанного мною — это то, чего не успели написать вы, — уже проходили... Колбаса сгорит.

Эрик Вениаминович сыпал заварку из железной коробочки с золотой полустершейся надписью «Чай азербайджанский» в не менее древний железный чайничек. Я выпрямился рядом; таким образом между газовой плитой и желтым закопченным потолком ноосфера уплотнилась до состояния черной дыры, о чем не подозревали скучные редкие фигуры, бредущие мимо по Щербаковской как на праздник.

— Местность хотите посмотреть? — спросил я, вороша колбасу. — Удалось добыть двухверстки: у напарника друга среди водных туристов, раньше они сплавлялись к морю по тамошним рекам.

— По Даугаве, которая Западная Двина? Там еще белорусский город Двинск, именуемый теперь Даугавпилсом, верно?

— Блеск, Эрик Вениаминович! Первая же ваша книга убедила меня, что вы не случайно знакомы с новейшей историей, но ваши знания казались более, э-э... масштабными. А Виленский край Москва в свое время презентовала литовцам, туда даже их столицу перенесли. Белостотчина оказалась под поляками, а Смоленская губерния... Обкорнали Белоруссию.

Очередная порция «Блэк Дэф». Колбаса хороша, когда горяча. Оттого, что состоит из крахмала, соли и туалетной бумаги.

Угадав мою мысль, хозяин сказал, кивнув в сторону Смоленской губернии:

— Там, где я живу, тоже научились такую колбасу делать — то есть чисто внешне такую. Никак не могут взять в толк, что в фарш нельзя добавлять мясо... Пока границы существовали только на бумаге, они никого не занимали. Теперь из этой бумаги сочится кровь.

— Так принести или посмотрите в комнате?

— В комнате, вечером. Когда придет А. Н.; у него большой опыт в podobных делах, и вместе мы прочитаем карту не по-дилетантски. — Эрик Вениаминович вскрыл пачку «Парламента» и впервые закурил при мне. А ведь где-то писал, что бросил. — Будьте добры, налейте чаю. Боюсь, мне пора прилечь... Да и вам стоит отдохнуть с дороги — кроме кровати в комнате имеется кушетка, вам будет удобно. Не возражаете?

— Вы хотите сказать, что заинтересовали А. Н.? — уточнил я, забыв о чае.

— Мы давно условились известить друг друга, если что-нибудь подвернется, — произнес, выпуская дым, хозяин; вокруг карих радужных облобок четко виднелись контуры мощных контактных линз.

Он жил в тепле и покое, к седым вискам изумительно подошел бы халат, но даже этот халат не сделал бы его более уютным и домашним, несмотря на задрипанный интерьер бывшей коммунальной кухни, лет двадцать не знавшей ремонта. Солнце, весна, миллионы читателей, признательность отечества, вернувшего ему гражданство, тут же рассыпавшегося и ищущего спасения, — полный ол райт, заросли лавра. И только голос, по-южному мягкий и оттого тоже уютно-домашний (посадить на колени несуществующих внуков и этим голосом про Нью-Йорк, про Париж), дал надежду.

Легкое каннибальство звучало в этом голосе.

8

Случается, скорость и повороты колеи сочетаются со стыками таким образом, что качка достигает резонанса и кажется, еще капельку и вся железная колбаса разбежится по откосам. Машинисту тоже так кажется, и он пытается избавиться от резонанса, сбрасывает скорость, но эффект достигается не быстро. Все равно что успокоить воду в раскачавшемся ведре.

Могучие фары пробивали ночь на несколько сот метров, но не могли насытиться, как отходящие анашты; впрочем, черный лес по обе стороны и редкие зеленые семафоры знали о краткотечности нашего бега — о ней не догадывался лишь самописец в центре приборной панели, сразу под лобовым стеклом. Этот тепловозный черный ящик десятками стрелок-перьев расчерчивал ролик диаграммной бумаги и при этом стрекотал приводными механизмами, как джазовый перкуссионист-виртуоз. Если украсит рельс тормозным башмаком рука изувера, мы покалечимся или сгорим, а перед правительственной комиссией предстанет самописец, у него достаточно прочный корпус; тогда большим животам придется вникать, какое из перьев рисовало скорость, какое — напряжение бортовой сети, а какое — расход топлива.

И еще придется гадать: какого черта валяли в кабине посторонние, не они ли устроили хабалу³, камикадзе.

— В Бигосове вам придется перебраться в вагон, какой там у вас? — сказал пожилой машинист, не отрываясь от дороги.

— Пятый, недалеко, — ответил А. Н. — Что, вас тоже трясут?

— Трясти не трясут, но иногда заходят. И ваши в Бигосове, и наши в Индре...

— Будь вас поменьше, могли бы во второй кабине отсидеться, — сказал помощник, парень лет двадцати семи, приятным незапоминающимся лицом с усами похожий на латыша, но не латыш.

Он то и дело оборачивался (как бы невзначай). За нашими четырьмя спинами впередсмотрящих у двери на поклаже расположился Эрик Вениаминович с девушками. Анечка и Танечка стояли того, чтобы на них оборачивались, у меня отменный вкус, и еще в детстве мама, сшив или связав

³ Хабала — диверсия (*иорит*).

себе что-нибудь, узнавала мнение не сестры или батюшки, а мое. Как это часто бывает, подруги поменялись цветом волос. Соломенная миниатюрная Аня с красивым славянским фейсиком перекрашена в шатенку — кроме имени и этого искусственного колера, ей нечем заставить Эрика Вениаминовича ностальгировать, и это хорошо. Она безукоризненно стройна, а современные пропорции подводят лишь в одном: рот невелик. Поэтому она многого не может исполнить — мешают зубы. Зато она потрясающе пластична, талантливо пластична, такой дар нельзя в себе развить без небесной помощи, и Эрику Вениаминовичу предстоит, возможно, оценить его.

Танюша — тяжелее и выше; грудь, живот, бедра и особенно зад — идеал большинства мужчин, и художники минувшего, творившие в дни, когда культура не разделилась еще на элитарную и массовую, гонялись за подобной натурой, дабы живописать ее на потребу толпе. У Танечки пламенное лицо метиски — прекрасные помеси выходят, к примеру, у русских с армянами, а также с некоторыми узбеками. Предположив, что распущенные ее волосы от природы вовсе не белы, читатель несколько не ошибется. Блондинистость шокирующе контрастирует с южным разрезом великолепной пары темно-карих глаз.

Любимое занятие моих авантюристок — танцы голышом в компании; их кумир — Эммануэль Арсан. Сейчас бы лучше Вера Фигнер. Или Фанни Каплан.

— Колбасу везете? — спросил машинист.

— Еще сметану, творог, — кивнул я. — Всего понемногу.

— Правильно, — сказал машинист. — Мне вся родня заказывает. В каждый рейс. Когда на всех не хватает, на базар к вашим бегут. Сейчас сумку одного только хлеба везу.

— Пусть они подавятся своими магазинами. — Похожий на латыша усатый помощник вдруг очень озлился. — Сколько они нам платят, так с этим не в магазинах, а в кирхи к ним ходить, святым духом питаться!

Свечение приборов не позволяло увидеть, но я почувствовал, как удовольствие расползается по лицу А. Н. — под густой русой бородищей. На татарской физии Эрика Вениаминовича вырасти ничего не может, поэтому удовольствие не маскировалось. Не зря, все не зря. Чтобы не нарваться на выборочный шмон, который на полоцком перроне устраивает транспортная милиция, после долгого ресторанного ужина мы взяли такси и вместе с клунками набились в раздолбанную «Волгу». Сесть в поезд решили дальше по пути следования, на глухой станции Боровуха, там ментуры и днем не встретить. Такой финт мы проделывали прежде с Лешкой не раз. Погнали вкрутала, тощими лесными асфальтами, проложенными благодаря соседству военного городка: на трассе Полоцк — Рига нас непременно тормознули бы белорусские гаишники, в Коптеве у них постоянный пост. Досмотр багажа разрешается теперь любому лицу в любой форме в любой из пятнадцати независимых резерваций. (Багаж находился в номере А. Н. и Эрика Вениаминовича, мы потому и выбрали «Двину», кабак при одноименной гостинице.)

Если неприятность может случиться — она случается. В полном соответствии с этим главным постулатом традиционной мерфологии посреди безобразно заснеженного еще леса лошадка бесовестно облажалась. Вначале шоферюжник пробормотал: «Где ж тяга-то?» — и мы заметили, что замедляем ход. Потом запахло горелыми полимерами. Мы встали. Из-под крышки капота лез дымок и от ночного холода тут же становился на четвереньки. Мы высыпали на дорогу, шоферюга открыл капот. Миленький, окажись толковеньким!

— Мать честная! — пропел миленький; в недрах моторного отсека резвились синие вонючки-огоньки. — Сейчас, сейчас, сейчас...

Он тронул рукой аккумулятор и ринулся в салон. А. Н. тоже провел пальцем по клеммам. Эрик Вениаминович пытался рассмотреть, сколько времени, но было пасмурно. Девчонки мудро помалкивали.

— Короткое, — сказал А. Н. — Тащи огнетушитель, шеф!

— Разряжен огнетушитель, — буркнул шеф; он уже откручивал клемму, изоляция на ней дымилась. — Сейчас массу сброшу, сейчас...

А. Н. нагнулся и стал дуть на огоньки, а я побежал к ближним деревьям:

— Девчушки, быстренько снег!

К нам присоединился Эрик Вениаминович, но, вернувшись, мы увидели, что гнусные пористые куски принесены зря: миленький шефчик лил на горящую проводку из какой-то фляги, я не сразу понял, что из отмывателя ветрового стекла.

— Светануть нечем, мужики? — спросил таксер. — Коротнуло где-то, найти бы. Подкапотная лампа у меня перегорела.

— Что-то у тебя, бля, все не слава богу: огнетушитель пустой, замыкание, света нет ни х...! — жутким голосом отчеканил ленинградец; так я в заводские годы разносил своих рабочих — изредка.

Разумеется, у каждого из нас был электрический фонарь со свежими батарейками, но достань я сейчас свой, суровый тележурналист скрутит меня в бараний рог — и будет прав. Я вытащил коробок:

— Спичками посвечу.

Порой спички удобнее шикарных зажигалок.

С минуту лицо миленького напоминало в отсветах жалкого пламени лист петрушки на третий день после грядки, и было неясно, как он попал в профессионалы.

— А! — вдруг издал он и повторил: — А! Стяжка лопнула, а они к коллектору, и — все... Оба плюсовые ж, суки.

Он принес моток изоляции и принялся под моим прожектором восстанавливать изоляцию, непрерывно вскрикивая и матерясь, когда дотрагивался в тесноте и спешке до раскаленного выхлопного коллектора. Именно к этой трубе прижались провода, идущие от аккумулятора и замка зажигания к стартеру.

— Повезло тебе, братец, — проскрипел зубами питерская знаменитость. — Если б не нашлось изоляции, задавил бы.

Он описывал полуокружности вокруг капота, туда-сюда. Эрик Вениаминович направился в кусты. Девушки курили и притоптывали от холода, хотя вырядились мы все основательно. Был договор не называть друг друга при посторонних. Я сказал:

— Лучше не нервнируйте нашего миленького, он оказался толковеньким. Занялись бы дамами. У вас, между прочим, фляжка полная.

Я сжигал спички целичком; ушло полкоробки, пока шоферюжник попросил:

— Дай здесь я сам светану, — и стал вывинчивать пробки из аккумулятора. — Мать честная! Да он, падла, выкипел!

— Неужели до дна? — спросил я с издевочкой.

— Не, не до дна. Но сетки все сухие.

— А воды у вас, разумеется, нет?

— Все есть, все! Только в гараже. Ладно, доедем. Проволочки бы какой, провода закрепить. — Он заозирался, будто среди леса среди ночи среди дороги поджидал его кусок податливой медяшки.

Из кустов с треском выломился Эрик Вениаминович. А. Н. пил с девчушками на заднем сиденье — у каждого из мужчин была при себе литровая емкость с водкой.

— Господи, да хоть веревкой прикрути! Опоздаем, ... твою мать! — заорал я, будто в родной операторной.

...Аккумулятор не только выкипел, но и разрядился; колымагу пришлось толкать метров сто, прежде чем один из цилиндров неуверенно зачвкал, а за ним другой, третий... Поезд уже давно вышел из Полоцка и, очевидно, стоит в Боровухе, собирая хитрецов вроде нас.

— Гони, вдруг отправление задержат!

В три часа ночи мы пронеслись по колдобинам военного поселка. Фонари горели только в районе КПП мотострелкового полка. Сразу за ним находился жилой дом, выстроенный по редкому для наших краев проекту, — семиэтажный с проходными подъездами; я познакомился с сооружением, когда подтаксовывал на личных «Жигулях», — был такой безденежный период, у меня еще не имелось загранпаспорта. Пассажир попросил подождать: нужно подняться наверх за деньгами. Впрочем, я быстро смекнул, что меня кинули. Продав пару минут, открыл дверь, и все стало ясно.

Вот и железнодорожный переезд на окраине. Перемигиваются-перезваниваются два красных фонаря: закрыто. Потому что втягивается наш поезд.

— Сколько до Адамова?

С подобным беспощадным и этаким холодным пылом А. Н. мог бы из директорского кресла спросить на селекторной переключке: «Когда будет пущен цех?» И так же, как насмерть перепуганный начальник цеха путано объясняет, отчего нельзя получить продукцию в ближайшие сутки, водитель ответил:

— До Струбков километров пятнадцать, а там в сторону, вправо, на гравийку — по ней еще километра три. Должны успеть вроде...

Гнал он неплохо. При встречных скорость не сбавлял. Правда, встречных и попутных теперь на рижской трассе кот наплакал, особенно в такое время. По лесу до адамовского переезда мы прошуршали в один миг. Переезд встретил точь-в-точь как предшественник — красными огнями. К нему медленно подкатывал наш поезд.

— Вот почему я никогда не заводил автомобиля. Самообман, — обреченно сказал Эрик Вениаминович и выразительно зевнул. — Поскакали дальше? Что там у нас?

— Борковичи, — тихо сказал водитель. — Там станция еще дальше от шоссе, километров семь.

— Тем более не нагнать, — сказал я и прыгнул из такси. — Давайте вещи, быстрее!

Тяжело вздохнули тормоза, и тепловоз остановился точно на переезде. Я подбежал к кабине, замахал, но крикнуть не успел.

— Залезай, не суетись, — раздалось с верхотуры. — Впереди красный.

— Как Владимир Ильич в Финляндию, — объявил Эрик Вениаминович. — По этой машине плачет Музей Революции.

Анечка с Танюшей рассмеялись, и вынужден был усмехнуться помощник машиниста, а ленинградец повернулся к французскому харьковчанину и дернул со страшной силой за рукав куртки.

В Бигосове мы вытряхнулись на безлюдную платформу. А. Н. вручил на прощание железнодорожникам бутылку водки, а прелестницы по моему указанию чмокнули в щечку обоих, после чего я обрел твердую уверенность, что даже у пожилого до самой Риги зарядит мучительная эрекция.

Мы без помех заняли места в общем вагоне. Было заметно, что он соскучился по пассажирам: половина полок пустовала, а вагоны этого не любят, полагая аншлаги главным основанием для высокой самооценки, как всякие общественные территории. За месяц многое изменилось; республика наша была в основном вывезена, а правительство наконец опомнилось от строительства дач и прочего воровства и задрало цены; теперь, даже добыв провиант, имело мало смысла волочь его соседям, и народ все больше пересаживался с чужих базаров на родные, чтобы торговать ввозимым от соседей шмотьем, — это внезапно стало выгодно; трещавшие недавно вагоны боялись остаться без работы и приветствовали входящих довольным кряхтением, как приютские старики.

Мои козочки, козочка Анюта и козочка Танек, преданные соратницы, уже год повязанные со мной общим и тайным от мужей (и моей жены, разумеется) отдыхом, калачиками улеглись копить силы вниз, а три крупных творческих деятеля полезли на второй ярус. На хрена нам Барбара

или Шила, если есть Анек с Таньком, подружки сорока восьми лет в сумме, работающие в горбольнице хирургическими медсестрами. Последнее обстоятельство является совпадением — совершенно случайным и крайне удачным.

Вообще группа из одних только мужчин всегда вызывает больше внимания, от нескольких путешествующих в наше время мужчин веет опасностью, но главное — в другом. Тонко организованной личности почти невозможно струсить при даме. Особенно при той, с которой еще нет, но намерен. Действующие лица успели перезнакомиться на прощальном ужине в полоцком ресторане «Двина» (это попросту хлев для алконавтов, но в наших краях все рестораны такие), и над столиком кружилось немало симпатий, в том числе взаимных. Ничего удивительного: собрались красивые люди.

Девчушек я уже описал. Внешне они практически бездефектны, как японские автомобили; серьезный недостаток далек от поверхности. Обе — яркие гетеросексуалки. Я бьюсь над их сближением, но до сих пор не заставил даже хорошенько поцеловаться. Кто-то может назвать меня придирой, но в моих глазах полное отсутствие гомоэротического начала существенно обедняет личность. Не терплю абсолюта.

В лицо Эрика Вениаминовича знают многие — по счастью, лишь в узком кругу читающей публики. У него стандартные черты, и даже если нам попадется читающий и знакомый с портретом человек, он вряд ли сопоставит и поймет, базарный рейс — не то место; максимум, на что хватает смелого воображения, так это представить писателя торгующим на книжном развале, как Эвелина.

Саша Н. зарос до зрачков крестьянской бородищей и казался подозрительно светлым, пока я не догадался, что он пользуется особым шампунем. В таком виде его не узнает телезритель. Особенно если этот юный петербуржец будет помалкивать. Впрочем, мы уговорились делать золото впятером.

Что до меня, то в детстве мама говорила, я на девочку похож, ангелок, особенно в косыночке после купания; ужасная походка и сутулая спина (я усматриваю меж ними неразрывную связь) не только многое портят, но и делают меня — при шести футах роста — самой, боюсь, запоминающейся фигурой нашего квинтета.

Одежда и содержимое наших баулов и рюкзаков продуманы до мелочей. Сперва хотелось, конечно, вырядиться в хаки, но мы — реалисты. Джинсы, брюки, легкие куртки, пиджаки; из хаки только брезентовые штормовки — одна на А. Н., отчего у него вид попавшего под сокращение геолога, другая — на Аниуте, которая в ней утонула, несмотря на подвернутые рукава, и выглядит старшекурсницей, отправившейся на пикник с хорошей ночевкой. На этот раз с нами обычные дорожные сумки и небольшие рюкзаки, по два места на рыло, никаких колесных вместилищ, не то что с Лешкой. Его рюкзачина, кстати, отдыхает с того исторического дня, когда доставил кучу подарков для полиципи-муниципи; полученная душевная травма вынудила моего низкорослого друга отказаться от базарной деятельности, и тому сыскались объективные вроде бы отговорки; даже воспоминания о пребывании в гостях у Дайги не способны были утишить боль бессмысленных потерь; теперь в Лешкиной семье не на что покупать ликеры, немецкую водку и цитрусовые с кокосами и бананами... (Мой суперхатуль-самострок белого цвета с ярко-красной сутажной оторочкой свободной Латвии так и не повидал. На его изготовление пошел целый МКР — мягкий контейнер, формой напоминающий огромный бурдюк, — из сверхпрочной синтетики, грузоподъемность до одной тонны, такие штуки применяются, как вы догадались, на бывшем моем заводе для транспортировки катализаторов на основе тяжелых металлов, висмута и молибдена. Жена сшила сумку-гигант исключительно в расчете на службу в польском направлении: тамошние таможни озабочены количеством мест на ездука, но не их габаритами. Жаль, мы с Лешкой никогда не сравнива-

ли в чистом эксперименте водоизмещение наших громадин; подозреваю, рюкзак бы уступил. Впрочем, бросить перчатку еще не поздно — пока я творю натуру и пишу с нее эту повесть, мне не составит труда устроить небольшую конкуренцию, и Лешка будет только рад поучаствовать в таком веселом деле, которое мы — он это знает твердо — непременно хорошенько запомним. Об итоге спора известим читателя особо.)

Мне ненавистны минуты избавления от сна. Кнопку бы — переноситься в бодрствование. Во сне человек слаб. Слеп, глух и нем. Размякшему и беззащитному, ему вдруг с ужасающе далекой перспективой открываются бесчисленные заботы, начиная с нудятины оправки, умывания и завтрака. Хочется снова укрыться в сон, но невозможно: аэродром разворочен бомбами из будильника, всюду дымящиеся воронки.

Все это не слишком огорчительно, если у вас нет желания go far, fly high. Тогда, просыпаясь, можно оставаться слабым. Тогда просыпаться можно без труда, даже с радостью, ибо слабый человек во сне может противостоять гнету весьма сильных обстоятельств и искать спасения в пробуждении. Жаворонки — слабые птицы.

Для сильной и гордой совы всякое пробуждение заключается в переходе из зыбкой разреженной атмосферы сновидений в зону высокого давления. Это движение против течения отбирает толику сил, но зато приводит нашу хищницу в состояние боеготовности. Сова просыпается медленно и трудно; открыв наконец глаза, она раздражается против тех, кого видит. «Это он, он все затеял! — думает сова, глядя на подстриженный куст, венчающий голову Эрика Вениаминовича, свежего и с любопытным носом в окне. — И эти сучки, Тани-Мани, дрыхнут хоть бы что, а пальцем тронь — и подскочат, готовые одновременно пить, е...ться и стрелять... И прилюдно плясать в чем мать родила. Ну-с, а где наш рейхсдиверсант номер один? Ах, вот оне-с, прибыли из коридорных далей. С толчка, должно быть, демиург хренов. Нам бы еще парочку таких в компанию: из публицистов — Сережу Ж., из музыкантов — Романа Н.»

Спустя минуту-другую сова смягчается и принимается проверять, насколько ясна в памяти плотная ткань задуманного. Все кажется тщательно взвешенным и верно решенным, и только наглость тут и там вздымается буграми, а кое-где тонкие ворсинки наглости пролезли мимо хитроумных нитей и торчат. Как огуречные семечки из осеннего говна. Наглость — другое имя для риска, а без риска в мире делается лишь работа по графику трудового распорядка. Вольный художник более прочих привык рисковать: обычно он не знает, востребует ли капризное общество его творение.

Ногам было холодно, и хотелось пи-пи-пи. Вновь открыв глаза, сова поймала блеск контактных линз любимого прозаика. Какой великолепный сюр: мы едем вместе! И куда! И на чем! И зачем! «Мы в двух шагах от подвига», — подумала сова и, сверзаясь со второй полки общего вагона, молвила:

— Скоро Павлиняс.

Поезд как раз пересекал дохлую речку — верный ориентир. Только листья, наконец вылупившиеся на деревьях, да поднимающиеся травы не позволяли спутать в сером зазаконном унынии позднюю весну с поздней осенью. Пейзаж ничем не отличался от того, что мы оставили перед границей, полтораста километров назад. Абсолютно одинаковые грязно-синие и грязно-красные трактора обрабатывали ту и другую землю при равных климате и плодородии, однако здешние люди старались разговаривать на другом языке. Чужая речь неслась уже из соседних отсеков вагона; благодаря именно этому обстоятельству мы чувствовали себя иностранцами и были ими. Народы безобидны, нации агрессивны — язык цементирует народ, и тот становится нацией. Мои спутники, уверен, думали сейчас о том же.

Все решилось, должно быть, в старой и странной квартирке на углу Фортунатовской и Щербаковской — в миг, когда я вынул из сумки книжку и громко прочитал:

— «Терпи, терпи, до чего дотерпишься. В один прекрасный день проснешься старый, как подметка, и все болит, и уже рука не сможет поднять винтовку». — В ответ прокуренная комната не издала ни звука; дождавшись, пока прогремит в темноте трамвай, я сказал: — У вас ведь мечта, Эрик Вениаминович, — мечта яркая, деятельная, сильная. И мне того же ох как хочется. И Саше, надеюсь, тоже. Побегать в охотку по городским улицам... Только зачем нам Бейрут? Где стоим, там и поле Куликово. Неужели еще не загорелись? Вы же самый пламенный публицист — из современных. Такие не только читателей зажигают, но самовозгораются! Из старых вас знаете с кем сравнить можно? С Владимиром Жаботинским. Чисто условно, конечно, по зажигательности. Пожалуй, он превосходил вас в беспощадности и меткости, но уступал в юморе; подобно всем великим деятелям своей эпохи, он был лишен этого чувства. Так вот, когда началась первая мировая, он бросил писать, а поехал сперва в Египет, а затем в Лондон, сколачивать легион из британских евреев. И сам был рядовым, а потом сержантом, а потом офицером. Три полка сколотил и добился отправки на Ближний Восток. Они от турок Палестину освободили.

9

Десять тридцать. Опоздание — час с четвертью, с тех пор как завелись таможни, это норма. Любая мыслишка могла неосторожно сконденсироваться в слова, кругом были торговые люди, и набралось уже прилично аборигенов. Моих именитых соратников не тяготило долгое молчание: они превратились в губки и впитывали все подряд — болтовню попугачиков, пейзажи, собственные ощущения. Творческая командировка. Анечка и Танечка, неотразимо хорошенькие в походном обмундировании, помалкивали бездумно — такое умение есть неотъемлемое свойство всех девиц вопреки расхожему представлению о женской разговорчивости. Впрочем, они сервировали на газете «Советская Белоруссия» завтрак (копченый сыр, сало, яйца) и глотнули из наших фляжек.

Мы сошли на следующей за Павлинясом остановке — спустя пятнадцать километров, в Лиелгаве. Поезд вспомнил, что его ждет Рига, и тронулся. Он был полон вкусной еды.

— О-ох! — крикнул ленинградец, когда мы остались на перроне одни. — Задница отваливается.

— Видели? — Эрик Вениаминович показывал на типовое здание вокзала. — От русского названия даже следы замазаны. И так — на всех станциях.

— Согласитесь, мой рассказ был точен. — Я потупил глаза.

А. Н. присел и делал наклоны, хрустя суставами. Он сказал:

— Интересно, решение депутатики принимали или железнодорожный начальник прогнулся?

— Депутатики, не сомневайся, — заверил Эрик Вениаминович. — Куда идем?

— Шоссе там. Придется чесать на глазах всего поселка, — сказал я. — И строек не видно.

— Было бы глупо завалить такой толпой на стройку даже в субботу. Местный народец не ленив и хорошо телефонизирован. — Ленинградец хмуро озирался.

Над нами фальшпотолком висела туча. Неслышно покачиваясь, она ползла на восток.

— Хорошо, обойдем вот этой тропкой, пока вдоль рельсов. Там, за железнодорожными сооружениями, вряд ли кто-то живет. — Эрик Вениаминович взвалил на плечи рюкзак и взялся за сумку.

Я обратился к девушкам, поскольку заметил, что действовать они начинают только после того, как чье-либо указание продублирую я:

— Нагружаемся и идем. Операция на четверть прошла успешно. Осталось чуть-чуть.

Ленинградец напомнил:

— Как договаривались, двумя группами на большом удалении, но в пределах видимости.

— Эрик Вениаминович, идите с Анечкой впереди, а Танюша потопает меж двух Александров. Это, говорят, к дождю.

На лицах моих спутников отражалось небо: они были серы. Даже французский гражданин, показавшийся мне спросонья бодрячком, не сумел спрятать усталость (дай бог мне в его возрасте так держаться). Хотя успел побриться. Очевидно, он спал не более двух часов. Это проступает в его книгах — пренебрежение ко сну.

Шоссе нам открылось через сорок минут. Руки отрывались, плечи ныли. Вместо укромной рожицы, обозначенной за дорогой на карте, здесь тянулись новенькие коттеджи. Красные черепичные крыши делали их европейцами. До ближайшего леса было, пожалуй, несколько километров. Когда половину населения страны составляют неграждане, гражданам проще обзаводиться виллами с красивыми автомобилями во дворах. Южная Африка.

— Южная Африка, — произнес Эрик Вениаминович.

— Сейчас не время для геополитических обобщений, — отозвался более темпераментный ленинградец.

Решили перетряхиваться в придорожных кустах. Мы свернули вправо на худосочную дорожку, ведущую по меже, разделяющей частные наделы, и брели до тех пор, пока от крайнего коттеджа не осталась видна только крыша. У плотного ряда кустов, тяжело дыша, повалились на траву. По близкому асфальту пролетали невидимые отсюда редкие субботние машины; помешать мог лишь какой-нибудь нетерпеливый водитель, остановившийся пур ле пти. Собирался дождь.

Выкурив второпях по сигарете (все, кроме А. Н., разумеется), мы растегнули рюкзаки с баулами и, подстелив клеенку, вывалили увесистое богатство. Все продукты сложили в три рюкзака — девушек и мой. Съели по паре бутербродов. Запили: вначале из легендарной красной фляги, затем из двухлитрового пластика с искусственным апельсиновым соком, который всю дорогу пер наш харизматический бородач. Я поднялся:

— Пошли, девчонки. Я научу вас торговать продовольствием. Главное — не принимайте крупные купюры, бывают фальшивые. Говорите, что нет сдачи.

...Крохотный базарчик в центре Лиелгавы опустел прежде, чем мы дотащились. Разложиться пришлось неподалеку, на бетонном бордюре крыльца, у входа в кооперативный гастроном. Тем, кто уже выходил с покупками, не повезло: у нас все было на четверть или на треть дешевле; мы же получали вдвое-втрое больше, чем платили вчера в полоцких магазинах (помню время, когда впятеро-вшестеро). Если, конечно, сопоставлять в пересчете на доллары.

Мы не собрали толпу, но и не стояли без дела. Бесперывно кто-то подходил, договаривался о цене, я перебирал клавиши малыша калькулятора, и кусочки масла, сыра и вареной колбасы, старательно развешанные накануне моей женой, а также моими подружками-медсестрами, уплывали в грустные жилища. Мы кормили своих: служащих, не сдавших языковой тест и оттого лишившихся работы; стариков, заработавших пенсии за бумажной прежде границей; строителей, воздвигавших коттеджи и живущих в древних клоповниках; их жен, батрачащих на кулацких фермах; их детей, уже выучивших язык, незнакомый собственным родителям, но не перешедших от этого в первый сорт.

Милые помощницы быстро схватили мою манеру: продавец не должен переминаясь с ноги на ногу, ожидая, пока покупатель решится; покупателю нужно помогать — искренне, любя.

— Берите масло, — говорил маленький Анек старушке, загипнотизированной банкой сметаны. — Хорошее масло, без воды, из холодильника досташь — не крошится.

Старушка уносила и сметану и масло.

— Молодой человек, купите колбаски, есть с жиром, есть без жира, — ослепительно улыбалась крашенная моя метисочка Танечка. — Берите, берите, все свежее. И вам хорошо, и нам домой пора, дети ждут. Вот, потрогайте оболочку, у плохой колбасы она склизкая, липкая...

— А спички почем, девушки?

— Возьмете один коробок — будет дороже, десять — дешевле...

Лиелгава много меньше Павлиныса; скорее всего тут муниципальной милиции нет вовсе. Либо нас никто еще не заложил, что было сомнительно: торговать в дверях продмага еще больший грех, чем на рынке. Так или иначе, через полтора часа мы отхлебнули, повесили на локти пустые рюкзаки и зашагали к станции, хотя до шоссе было рукой подать, — конспирация.

...Гения автобиографической прозы и гения телевизионного репортажа застали спящими — на той самой клеенке. Добро они распахали по трем хатулям, ручки которых предусмотрительно связали между собой. Заодно хатули служили подушками. Очень, подозреваю, жесткими. Мы расправили на траве (большей частью жухлой прошлогодней) рюкзаки и легли на них рядом, я посередке. Мрачное балтийское небо, которое всю зиму забрасывало наши края ненужным слякотным снегом, и сейчас вмещало мегатонны дармовой влаги, но случился запор. Оно пыжилось изо всех сил и даже накачалось отварами коры крушины и жостера; действие этих лекарственных растений проявляется не сразу; возможно, мы отдохнем сухими. И без того предстоит проворочаться часа четыре на холодной земле.

Меня грели две передвижные биологические печечки. Поворачиваясь с боку на бок, я машинально дотрагивался губами до их чердачных фонарей, и в ответ они прижимались еще теснее. Было не ясно, куда деть продрогшие копыта, — я мастерил их и так, и этак, но безрезультатно. Точнее, делалось все холодней. Продрав наконец злые глаза, я обнаружил бесподобную картину: перед моим носом ленинградец исполнял приседания на одной ноге, а поодаль, бешено пыхтя, отжимался Эрик Вениаминович. Упражнение, избранное А. Н. для прогрева двигателей, сложно совершать на неровной почве. Присаживаясь в очередной раз, он вдруг истерически затрепыхал крыльями, но равновесия не удержал и, не будучи Икаром, не взлетел, а повалился со всего маху на наше дружное трио, и отчаянный сдвоенный визг взмыл к бессовестно черному для восьми часов с четвертью небу.

— Бляпardon! — крикнул А. Н., отталкиваясь от наших тел широкой спиной, чтобы подняться, но мои ничего не соображающие печурки запутались у него в ногах, и он рухнул вторично.

От смеха Эрик Вениаминович бросил отжиматься, а я на этот раз без труда оторвал чертов сон. От нашей возни переполненное небо вздрогнуло и непроизвольно выронило несколько капель — так семя иногда сочится против желания владельца. Лишнее электричество продолжало держаться за тучу, но взамен бородатое лицо А. Н. стало похожим на разъяренный мордоворот Зевса из книжки «Мифы Древней Греции», дело за пучком юрких молний. Он поднялся с земли. Танечка потирала коленку (жаль, она сейчас в брюках, не то и вам бы захотелось там потереть). Анек еще хохотала.

— Прекрати ржать, — приказал я. — У Саши революционное понимание смеха: смеются над поверженным врагом. Придя к власти, он пустит тебя в распыл первой.

— А мы с господином Черницким станем подписантами. Обратимся с просьбой о помиловании, напомним о заслугах. Помилуешь?

— Не идиотничай, Эр, — попросил ленинградец с интонацией «и ты, Брут!» и швырнул в меня парочку молний. — Где будем ужинать?

— Здесь, — твердо сказал Эрик Вениаминович. — Легче нести в желудке, чем в руках.

...Мы загрузились в десятичасовую местную электричку из Риги. Дождь любезно повременил, но, едва вагоны забубнили свое тук-тук, в

природе начался стрём. Чернота не переставая оплевывала водяной дробью, и свистел из всех щелей ветер. Мы поприветствовали этот добрый знак: А. Н. разрешил каждому один бульк.

Пятнадцать минут езды скоротали за вялым подкидным дураком, практически не переговариваясь, и немногочисленная публика вряд ли получила представление даже о нашей национальности, не говоря уже о гражданстве, оставшиеся три сумки на пятерых ничего не объясняли. В такое время коробейники, отстрелявшись на базарах и в меняльных конторах, сидят уже в других поездах — пьют, спят, прикидывают навар, мечтают о домашнем триумфе (хотя дома, как правило, некому оценить по достоинству величие подвига кормильца); эти поезда несут коллективную усталость на восток — в Полоцк, Витебск, Смоленск и Воронеж. Мы еще не отстрелялись.

И не устали: пришло второе дыхание.

Благодаря исключительности развлечений.

...Павлиняс был тих, как библиотека. И все еще сух. В щедро освещенном портике у входа в вокзал манкировали обязанностями двое в хаки. Оба были увешаны всем необходимым для разгона столичных демонстраций: дубинки, наручники, переговорные устройства, кобуры... Они любезничали с двумя крупными кобылками, одетыми по моде позапрошлого сезона, — лишь среди женщин данной подгруппы встречаются еще любительницы мужчин в униформе. Один балбес как раз гордо приподнял для осмотра баллон с дезодорантом слезоточивого действия, подвешенный к ремню слева от мудей. Должно быть, спецсредство произвело впечатление: компания окончательно развернулась к нам спинами и направилась вокруг здания, чтобы выйти в город, а там, надеюсь, отыщется свободная квартира, в которой поблядушки задействуют стандартный сценарий далекой Хелен Роулэнд («Мужчина, добившись первого поцелуя, умоляет о втором, требует третий, смело делает четвертый, принимает пятый — и терпит все последующие»). Обычный уличный мент оттого малоэффективен, что ноцует дома, а на работе занимается чем угодно, отмазываясь с помощью рации, рассуждал я, уходя в арьергарде нашего гуська в противоположную часть темноты. Поэтому на серьезные дела тяжелые грузовики привозят казарменных мальчиков с полегшими от бромида натрия пипонами. В масках и вязаных шапочках-подкасниках. Мальчикам хорошо быть суровыми: они не знакомы с местными девками, не участвовали в гешефте местных жуликов и их мамы живут далеко.

Страшно раскачивая из стороны в сторону плечи (как аэропланы над правительственной трибуной) — такие вот мы амбалы, — правоохранители скрылись следом за своими крысами в густой тени общественной уборной; мы пересекли пути.

И углубились в ту улочку, по которой полтора месяца назад катили с Лешкой пустые тележки — ограбленные и униженные, под безнадежно падающим снегом. Редкие фонари освещали одну сторону — очевидно, из экономии. Ни души. Короткие и свирепые порывы ветра со стороны Лилгавы бросали нам в лица запах грозы. В такие минуты начинают моцион подлинные романтики.

У большого гастронома, где литовцы, помнится, торговали слобой с маком и подовым хлебом, стоял человек и курил. Его лицо складывалось из теней разной плотности, и разобрать можно было лишь усы, в темноте кажущиеся очень пышными. Эрик Вениаминович с Аньком (ростом они очень друг другу подходят, коротыши) миновали его, не сбавив шага, и свернули в ближайший переулок. Мы остановились у гастронома, и А. Н. спросил:

— У вас, случайно, не «Прима»?

— Нет, — равнодушно ответил мужчина. — «Пегас», фабрики Урицкого.

— На это я и рассчитывал: наша дама предпочитает с фильтром.

— С удовольствием угощу ее. — В голосе усатого впрямь появилось тепло; он был в кожаной кепке, свитере и костюмной паре, с зонтиком наготове. — Все будет нормуль. У вас еще тридцать минут.

А. Н. посмотрел на меня. Я кивнул:

— Хватит с запасом.

Бандиточка Танечка вытянула сигаретку, и мы двинулись дальше, свернули направо. Завидев нас, тронулся авангард, состоящий из Эра с Анюткой. Мимо спящих частных домов, мимо тупо моргающих светофоров пустого перекрестка. В двух местах залаяли собаки, но быстро смолкли — они охраняли конкретные территории и не отвечали за чужие. Показалась железная дорога, крюк завершился. Вокзал — за рельсами справа. А к полусложенным зонтам отношение у меня, соответственно, сложное, ибо все они похожи на спящих летучих мышей.

— Опять по шпалам! — Эрик Вениаминович буркнул так громко, что мы услышали, несмотря на отставание.

Удаляясь от станции, в стороне от домов, мы прошагали метров пятьсот и затем вновь взяли левее. Весь маневр был зеркальным отображением утреннего обхода на окраине Лиелгавы. Сейчас был поздний вечер, и вместо густых придорожных кустов в ста шагах впереди на склоне холма показалась тыльная сторона двухэтажного здания. Нас отделяла от него полоса невысоких кривых деревьев, скорее всего яблонь. Им скоро цвести.

— Вот! — сказал я объединившемуся отряду.

По невидимому низкому небу широко прокатилась пустая бочка изпод моторного масла. Все вздрогнули. Нашим моторам сегодня нужна обильная смазка, без нее они наекнутя. Особенно если на верхотуре продолжат игры в ономатопею.

— Как настроение? — Ленинградец приобнял девчушек за плечи и взглядывался в лица.

— Нормально, — сказала прекраснозаядая Танька. — Трусим.

— Надо глотнуть, ребята, — попросила Анюша. — Вам, наверное, тоже не помешает.

Я никогда не видел их мужей. У Анны — сварщик. У Татьяны — директор небольшой, но вполне доходной фирмочки. В остальном они отличаются так же мало, как левая ноздря от правой. Оба самозабвенно ревнивы, отчего уже год прохлопывают наши оргии. Их свободное время — телевизор, поэтому представления о мире бесконечно дремучи. Чтобы повысить управляемость, подружки когда-то поклялись одна другой ввести квоты и с тех пор дают благоверным пять раз в месяц. Кроме того, Танька наговорила своему дурню гадостей о сварщике, а Анька наговорила своему гадостей о бизнесмене, в итоге рогоносцы едва знакомы; организовать совместный контроль помимо прочего им мешают классовая вражда.

— Ложись! — скомандовал А. Н. и бросился на землю; все за ним. — Сначала по глоточку.

Эрик Вениаминович прижался губами к Анечкиной руке (у нее кисть изумительной формы, у Танютки чуть пухловата) и произнес:

— Я всегда считал, что женщина лучше ориентируется в экстремальной ситуации. Представление о том, будто женщина только и способна бросить руль и крепко зажмуриться, — совершенная клевета.

Он врал, будучи весьма возбужден. Обстановочка что надо. На пороге грозы. На пороге нового дня. На пороге, за которым поджидают будущие воспоминания. Воспоминания-эверест, воспоминания-изюм, воспоминания-пуп, воспоминания-ядро, новое ядро памяти, ее расплавленная магма, без которой умирают в старости скучно и зря.

Добывая такие воспоминания, готов сойти с ума вице-президент.

10

Прощупал то, что под верхней губой. Всякий знает эту характерную выпуклость — будто стенка чайной чашки. Если череп правильно хранили, верхняя челюсть (уже белая, гладкая) продолжает удерживать зубы. Это лучше, чем беззубо оскалиться, как мне предстоит, если не кремируют. За несколько месяцев (недель?) букашки пожрут лишнее. Будет белое, гладкое, как у всех.

— Ползком вперед марш!

Тронулись цепью вверх по яблоневому склону. Танюшонок чрезмерно отключивала ягодичник, и я с сожалением отогнал прилившее вдруг стремление (не теперь; а вот бы теперь?!). Под салютом всех вождей скажу: я ее люблю больше, чем Анну. Чуток мелковата красивая Анек. И чуток быстройвата — порою она с такой скоростью вращает крестцом, что меня выталкивает наружу центробежная сила. Танек — в самый раз. К тому же она изобретательней и умелей.

Осталось метров тридцать. Два темных окна в нижнем этаже и два во втором. Стоп. С другой стороны строения — там, где парадное крыльцо (скрипучее, как студенческая кровать), — горел свет. Если бы не ветер, было бы совсем тихо. Мы здорово вспотели, и бешено колошматили в грудях желудочки с предсердиями. Ни в зону не надо, ни в Америку. А. Н. вытянул видеокамеру с инфракрасной насадкой и установил позади нас на миниатюрную складную треногу. И снова надел рюкзак — перед пластунским броском мы поменяли местами сумки и рюкзаки, запахав первые во вторые. С рюкзаком руки свободны. Крепкие руки людей в штатском.

За домом погас свет. Я обернулся. С некоторого возвышения, на котором находились смельчаки, часть городка представала видом сверху. Мгновение назад там были раскиданы малозначительные огоньки, фонари в основном. Пышноусый пунктуален: прошло ровно полчаса. В городе стало темно, как в кирзовом сапоге. На ноге у эфиопа. Ощущение близкой грозы трансформировалось в ощущение близкой бомбардировки, но, кроме нас, этого никто не ощущал. Отключение электричества не тронуло никого. Здесь не проживали писатели и ученые, уж возмутились бы. Здесь жили торговцы, крестьяне и рабочие трикотажной фабрички, жаворонки. Разве что расстроился где телефонат да и отправил спать свою пустую голову.

Проблему рикошета мы решили еще в Москве. Чтобы граната не сделала «ловите меня, родные!», отскочив от стекла, рамы или стены, ее нужно просто вложить в помещение. Предварительно разворотить окошко прикладом. Так вкладывают в корзину баскетболисты из профессиональной лиги.

Внутри зашумело — очевидно, кто-то споткнулся в темноте. А из-за угла... Из-за угла показался силуэт: человек с собачкой и блики на стволе. Бдительный, с-сука. Я все-таки полагал, что начать будет трудно. Ерунда. Стоит взять автомат, и ты — другой. Обычная метаморфоза, таких много случается. К примеру, в рабочей спецовке у человека даже походка меняется: шарканье — оттого, что сортность падает. Я нажал спуск.

Они кончились разом — пастораль и романтика. Хотя ночной яблоневый сад часто имеет вид первого и порождает второе. Больше всего поразила грохот. Будто я бил из счетверенной зенитки. Просто до того было очень тихо. Обернувшись, увидел, что мои спутники поливают по той же мишени. Она уже хрипела и визжала на два голоса. Медсестры, сцепившись, лежали в траве, но здоровяки «стечкины» удерживались стволами вперед, на окна. Во сне бьешь и бьешь в упор, а враг невредим. Когда взрослые дяди в три смычка занимаются этим наяву — перерасход боеприпасов. Которые на горбу и издалека, под колбасой и творогом. От которых целые сутки ныли плечи. Сейчас ничего не ноет: общий наркоз. Хотите попробовать? Натяните матерчатый шлем с вырезами для общечеловеческих ценностей — рта, глаз, ушей, носа. Вшелкните полный магазин. Придумайте цель, она — ничто. Начните ее добиваться, и у вас все пройдет. Только не забудьте снять предохранитель.

Эрик Вениаминович побежал туда, откуда мгновение назад явились покойный с покойной. Я, как договаривались, — к ближайшему окну и ткнул дулом черным, будто Иван Помидоров. Запах крови обворожителен, и все больше людей узнают об этом. Нам бы еще обоняние почутче. Если на вас набрасывается стая кайманов, рассеките ближайшего взмахом мачете, запах привлечет его товарищей, и вы, возможно, успеете уйти на скалы

под дружное чавканье. До первой крови? Ха-ха! До второй! До третьей! До последней! И помните, что отнятая у вас колбаса была продана через подставных на том же базаре.

— В рот... — сказал А. Н.

Заела чека.

— Возьмите мою, — предложил я.

Баскетбольная корзина приняла подарок. Это была противотанковая граната. Мы упали под окном, закрыв головы руками. Главное — уши, кому нужна контуженая интеллигенция? И рты должны быть раззявлены, это азбука. Нас подбросило. Клянусь, мы оторвались от земли сантиметров на двадцать. Хряпнувшись на место, я прикусил язык, и пресильно. Мог откусить. От неожиданности заорал. В доме тоже кричали, но по-другому.

— Ду-ду-ду-ду-дуф, — неслось из-за здания, — ду-ду-ду-ду-дуф...

— Ранены?! — А. Н. был взбешен.

Слезы выступили без разрешения. Сквозь боль я прошлепал кровью до во рту:

— Еще чего. Чтобы вы меня пристрелили, а потом обезобразили до неузнаваемости?

Мы уже подбежали ко второму окну. И повторили процедуру. На этот раз я сцепил зубы, как бультерьер. Но взрыв показался как бы не один — это внутри со счастливым треском проседал второй этаж. А. Н. рядом уже не было. С крыши летели куски черепицы. Оглянувшись на девчужек — они исправно прикрывали тылы, лишь бы случайно не выпалили в мой позвоночник, — я собрался было вперед, в обход сооружения, и напоследок поднял глаза. Кто-то лез в лишенное стекло окно второго этажа. Узковатое оконце — готика.

— Ду-ду-ду-ду-дуф, — сообщил я и добавил: — Это тебе, падла, не колбасу отымать!

Я неплохо распорядился пятью патронами. Коп был мертв еще наверху, прежде чем ухнул оттуда вместе с рамой, ибо летел без полагающегося вопля. Улегшись, он одну руку просунул в распахнутую форточку, да так и оставил — в затянувшемся прощании. Пока не тошнило.

— Ду-ду-ду-ду-дуф, — надсаживались с другой стороны, — ду-ду-ду-ду-дуф!

У меня были полные легкие радостного дыма, и я давно, целых пять или десять секунд назад, забыл про прокушенный язык; нет лучшего заместителя для кокаина, чем пороховая гарь. Я расстегнул было поясную сумочку, чтобы угостить верхнее окошко осколочным малышом, но убоился-таки промазать.

— Секите окна! — завопил я Танюше с Анечкой, не надеясь, что слышат, и устремился.

На ходу рубчатого малыша — в торец, что там у них, коридор? Разлился могучий крик, словно затычку вышибли; разлился и перешел в рычание. «Никто не уйдет живым!» — пел в моем мозгу сумасшедший Джим Моррисон. Занимался пожар. Скоро станет светло. На асфальтовой площадке перед домом стоял внимательный Эрик Вениаминович. Кто-то лежал на ступенях крыльца вниз головой. Правее и ниже — другой силуэт. Я услышал близкое стрекотание стартера и вскинул автомат... Ах, батюшки, слона не заметил! С противной от меня стороны из-за крыльца чуть светлел под беззвездной крышей неба передок легкового автомобиля. Так безобразен может быть только «Москвич». Особенно если он бежевый и участвовал в конфискации крыжовника у нищих торгашиков. Очевидно, А. Н. пытался завести драндулет. Вот что значит привычка к прямому эфиру: большинство людей в серьезной потасовке начисто утрачивают даже ту минимальную способность к импровизации, которой обладают в стандартных условиях.

— Дуф, дуф, дуф, — сухо сказал кто-то.

— Айряблябля-бля! — был отзыв.

Рассматривая машину, я не заметил, откуда раздался пистолет, но Эрик Вениаминович немедленно забарабанил по верхнему крайнему окну на фасаде, и трассеры ярко засвидетельствовали, что три дня в подмосковном Альберт-центре не прошли даром. А из «Москвича» вывалился, держась за правое плечо, А. Н. и полез под машину. Сколько же их там еще?

— Прикройте! — проорал я в ухо французскому гражданину; его близорукие глаза горели, как разгромленный объект.

Прежде чем надавить в очередной раз на крючок, он приговаривал:

— Я мальчик «сделай сам»!.. Я мальчик «сделай наоборот»!..

Все мы мальчишки «сделай сам» и «сделай наоборот». Я взлетел по ступенькам и ногой распахнул дверь. Задняя часть здания вовсю горела, но сюда добирались лишь отсветы. Знакомый коридорчик. Где у них лестница? Пальба на улице прекратилась. И слышались шаги. Даже босиком и на цыпочках не заставить разошедшиеся доски заткнуться. Еще не тошнило. Я начал на ощупь красться вверх. И там замерли. Пожалуй, было несколько дымно, внизу этого почти не ощущалось, а сейчас разъедало глаза. На втором этаже, должно быть, хуже. Вытащив из кармана куртки дефективную противотанковую чушку А. Н., я на всякий случай дернул скобу... Мать честная: она подалась! Вывалилась, на ... Звякнула в темнотище. И разожмись вдруг мои пальцы — крепкие пальцы человека в штатском, в которых так красив бесприкладный «калашников», — к свеженькому подранку нашей экспедиции добавится мокрое место. От меня. У хорошего писателя должна быть хорошая реакция — эта моя сентенция уже звучала в прессе. Не к месту (или как раз к месту) вспомнился юрмальский дешевый пансионат; где я довольно убого развлекался десять лет назад. Там тоже были деревянные ступени. Я вдохнул вонючий воздух и ужасно зарорал:

— Ураааааа!!

И ринулся с грохотом к коридору второго этажа. А едва достигнув, швырнул эту штуку в темную нору, подкрашенную багровыми бликами. И помчался, понесся, покатился обратно, но далеко не успел. Долбануло так, что я опомнился перед входной дверью, распластанный на полу. На спине лежали какие-то дрова. Пока выбирался, сообразил: лестничные перила. Деревянные, как в пансионате близ станции Майори. Шатаюсь, я вышел наружу. Выло небо. А. Н. не было видно: обратился, скорее всего, за квалифицированной помощью. Окрест расплзались звуки чудовищного проблева, устроенного Эриком Вениаминовичем, даже автомат отбросил и стоял на карачках.

— Что это с вами? — спросил Черницкий, подходя и радуясь личной победе. — Так вот надорветесь и будет грыжа.

И тут увидел в двух метрах от знаменитости нечто булькающее и подрагивающее, человекоподобное. И мгновенно предположил, что за жуть можно осветить фонарем, и засомневался самой ссулявой частью мозга (есть такая у всякого), стоит ли, но рука уже вытягивала фонарь, а большой палец искал кнопку. Есть люди, которым достаточно порнофильма вместо женщины, репортажа о событии вместо самого события и духовой подъебки в платном тире вместо ладненского АКСУ; эти убогие пользуются имитациями. Встречаются на земле и любители подлинных страстей. Недаром один хороший стилист — должно быть, Шкловский (Виктор который) — изрек что-то вроде того, что настоящий художник пишет кровью. Поддакнем и дополним: кровь можно применять любую, чужую или свою, лишь бы была свежей. Сейчас фонарь обнаружил фонтанирующий источник. Лежа на животе, на асфальте агонизировал калека. Взрывом оторвало до колена левую ногу, посеколо осколками и вышвырнуло в окно; тут и там из одетого в униформу тела истекали черные струи; руки произвольно пытались приподнять разбитую грудь — так обезглавленные птицы хлопают крыльями. Все-таки пока не тошнило. Эрик Вениаминович — больше романтик, а я — больше реалист. Вспомнив про птиц, я подумал о собаках города Павлиняса, отчего-то они молчали,

хотя пошумели мы предостаточно. Я нагнулся и ткнул желтый луч в лицо умирающего. Наверное, отбиты легкие: выпучив глаза, он пожирал воздух, но дышать было нечем. Когда доводится купить живую рыбу, я стараюсь раздуть ее побыстрее, а то жалко. Тоже: воздух есть — дышать нечем... Что?!

Клянусь, я знаю это лицо в полумаске трупа! Хайль, милый штурмбаннфюрер, Красавчик с мужественными чертами, почти без акцента; хайль, храбрый защитник фермерства, борец с демпингом, надеюсь, ты вручил жене долю от продажи нашей колбаски; хайль, фрау, возможно, именно вас мы с бедным Лешкой встретили в тот гнусный день, вас — изящную, длинноногую, в шикарных очках, по-императорски надменную, отказавшуюся признать владение нашим языком; хайль! Вдову ознакомят с результатом вскрытия. Он не успеет задохнуться. Ему выстрелят в затылок, и мучения прекратятся. Переведя автомат на одиночную стрельбу, я поднял ствол. Несчастный дернулся в последний раз. Я не стал открывать ему свое лицо. Во-первых, стаскивать и напяливать шлем некогда; во-вторых, в этом предсмертном узнавании перебор патетики; в-третьих, затеяно все не ради мести. Крохобор, мудила, мог спастись: отсиделся б на втором этаже, ни сгореть, ни угореть бы не успел. Пока мы его людей отстреливали — затаились. Когда машину угонять стали — сорвался. Как же без машины-то? Смотрите, замначальника муниципальной полиции поехал, на двух языках говорили люди.

Наверху громыхнуло, светануло. Я бросился на землю рядом с затихшей жертвой, а французский гражданин прекратил блевать, прислушиваясь. Слава богу, это всего лишь гроза и город по-прежнему без света. Прошло, поди, минут пять. Вот почему собаки молчат: грозы боятся. Я поднимаясь, намереваясь привести в чувство парижанина и бегло смотаться, но взгляд мой скользнул по Красавчику. Дождевая вода подхватила выбегающую из него краску и прибила к моим коленям: я оказался в кровавой луже. Этого мой героический желудок не вынес и сублимировался, появилось ощущение, будто его вмиг засосало в пищевод, а верхушка выпирает из гортани.

Угломониться и встать на ноги удалось лишь после того, как я полностью вернул природе заглоченный в Лиелгаве ужин. Хрестоматийная майская гроза вовсю гасила наш двухэтажный костерок: дом шипел и вонял белыми клубами. Отряд стоял вокруг автомобиля. Трыкытыкытыкыты! — надсаживался стартер. Трыкытыкытыкыты!

— Давайте попробуем его толкнуть, — сказал я, сплевывая всякую гадость.

Вымокнув, девчонки были по-особенному хороши. На Танечкиной шейке болтался автомат А. Н. Брючки, заправленные в высокие шнурованные ботинки, не срадовали изумительно крутых бедер, я даже задержал на них луч фонаря, такая исходила пронзительная призывность. И намочшая штормовка чудно сочеталась с вороненым убийственным станочком на животе; маленькая белая рука сжимала, повиснув, «стечкина». А вторая амазонка кинулась ко мне:

— Ты цел? Все в порядке? Родной...

Родная... «Москвич» не завелся и с толкача.

— Может, бросим его? — пыхтя после упражнения, сказал Эрик Вениаминович.

— Полтора километра бежать с полным такелажем — кайф сомнительный. Вы так и не научились водить машину?

— Позвольте мне хоть чего-то не уметь. Ишь догадливый...

— Инженер человеческих душ... Послушайте, а бензин в ней есть? — заорал я, и сей момент, будто этот крик привел в действие привод некоего выключателя, над нашими головами загорелся светильник, Матка Боска!

— Идите пробуйте, я ни хрена не понимаю в этой колымаге. — А. Н., придерживая перевязанное плечо с эффектно проступившим пятном, выbralся из салона.

— Свет вернулся в город, нужно спешить, — тревожно молвил Эрик Вениаминович.

Дело запахло керосином. Девчущки — в легкой панике — прижались друг к другу, вертя головками по сторонам, будто мы уже в кольце. Я изучил приборную панель динозавра: в баке ниже нуля.

— Говно доля, — сказал я и вылез. — Может, в багажнике есть канистра?

В багажнике валялся тот самый ободранный и помятый таз. Лысая записка. Сумка с инструментом.

— Стоп! — ленинградец схватился здоровой рукой за лоб и скривился: резкое движение иррадиировало в рану. — Эр, у тебя, кажется, неразведенный спирт? Давай быстро!

— Bravo! — вырвалось у меня. — Завидую вашей находчивости. Восхищен!

Спаситель наш, зерновой спиритус, произведенный в штате Монтана, «Royal Hollyday» в невесомой пластиковой бутылке с индивидуальным синим номерком близ горловины.

— Хлюп-хлюп-хлюп, — делал он сейчас, с истерической быстротой покидая пластик.

— Садитесь за руль, — приказал А. Н., — а мы с Таней заберем за домом камеру. Не зря давайте включать фары и габариты.

Не зря ему заготовили когда-то удостоверение полномочного представителя Минобороны: «Всем командирам воинских частей и соединений оказывать всяческое содействие... От лица министра обороны вправе отдавать распоряжения и приказы, подлежащие немедленному исполнению». То есть, по сути, зря: без бороды его опознали еще в поезде. Сквозь шум дождя из подпорченного сооружения донесся странный звук.

— Что это?! — затрепетала Анютка. — Сколько можно здесь торчать, Саша? Поехали!

— Телефон уцелел, — ухмыльнулся Эрик Вениаминович.

Он звонил непрерывно, требовательно и беспомощно.

— Прямая связь с квартирой мэра, — догадался я и завел мотор. — Собственно, у них тут не мэр, а мэраша. Ей предстоит беспокойная ночь.

Наконец А. Н. с Танечкой и видеокамерой ввалились в узкое тесное чрево. Ленинградец сел рядом со мной и прижал к глазам инфракрасную насадку.

— Вперед! Какие-то фары целят сюда из города...

Мы помчались вдоль заборов, амбаров и трансформаторных будок; дворники не успевали смахивать воду. Где-то над нами присело, спустив порты из грубых балтийских туч, ночное небо. Разбуженное нашими шалостями, оно теперь отливало накопленную во сне урину. Иногда из любопытства оно чиркало спичкой, чтобы разглядеть, где приживутся плоды потуг, и выпускало избыточный воздух — он препятствовал внутренностям слиться в едином порыве любви к лучшим представителям человечества; порой случался треск такой чудовишной силы, что пятерка беглецов в ужасе пригибалась — казалось, по ним выпустили «стингер». А. Н. передал насадку, и я испытал облегчение: с этой штукой слившаяся за лобовым стеклом мокрая чернота сразу разделилась на дорогу, обочины и деревья по бокам. Городок кончился. Горючего должно было хватить еще километров на семь, когда я вырулил на магистральную трассу Рига — Полоцк, съехал носом в кювет и заглушил двигатель. Выпрыгивающую мину Эрик Вениаминович сунул под резиновый коврик на полу водительского места.

— Если сидеть сложа руки, они пересядут в «опели», — устало заметил ленинградец, и все без команды замерли, пережидая легковую машину — она ехала от границы.

— Что-то я не вижу, — насторожился Эрик Вениаминович.

Столпившись на обочине, мы вглядывались в дождь глазами, полными воды и надежды, но даже шутка для ночного видения была бесполезна. А. Н. поднес к лицу светящийся циферблат командирских часов.

— Пора бы.

Его голос состоял из изнеможения и боли; пистолетная пуля сохранила аппетит, несмотря на то что предварительно прошибла крышу славного своей броней автомобиля; силы, запасенные двужилым мужиком этак на недельку лесных боев, внезапно оказались съедены. В Павлинясе истошно заревела пожарная машина. Наш медперсонал близился к истерике. Эрик Вениаминович принял насадку из слабеющей руки несостоявшегося полпреда и занялся нимбами диоптрийного баланса. Он был бесконечно далек от дряблого живота американского президента. Из городка взапуски прискакали скандальные сигналы прочих — полиции, «скорой». Поддерживаемый чудными моими подружками, А. Н. пристроил отнимающийся зад на торчащем из канавы заднем бампере трофея. Под маскировочным шлемом Анюты из серых глазок текло, мне нетрудно это предположить. Я прекрасно знал, как выглядит ее смазливый несложный фейс: грустной белой маской. Танечка держалась лучше; кроме автомата на ее спине болтался рюкзак раненого. Оставалось только выбраться и оклеветаться, а то минуты разлетались с дробным лягом, будто метроном превратился в разгоняющуюся центрифугу, и рябила в глазах грозовая ночь. Мамочка! Показательный процесс. Всемирная слава. Но не того рода, на какой рассчитывала наша тройка нападения тысячу лет назад в двух трамваях от метро под надзором игрушечных чекистов. Неужели измена? Чертов репортер! Лучше б ты тогда на всю катушку наприказывался «командирам частей и соединений». И сидел бы невредимым в Лефортове. А мы бы требовали твоего освобождения под залог. А мы бы требовали свободы слова. А мы бы пели «Хотят ли русские войны».

11

Небо, ветер, сирены — стихли разом. Когда сильный дождь, не так страшно. В тишине человек беззащитен, потому что слышит свои внутренности. Бурчит кишечник, стучит моторчик, с присвистом всасывается и выбрасывается воздух. А. Н. ссутулился, повесив голову, напоминая заливное. Анек всхлипывала. Танек, перекосив плечи под тяжестью амуниции предводителя, вцепилась в его здоровую руку. (Этим гетероидам в крутую минуту хоть за мертвого, лишь бы мужик.) Эрик Вениаминович стоял за кустиком буонапартиком — неподвижный пожилой человек — и всматривался. Должно быть, моргать забыл. Ну разве можно, в час ночи находясь под Ригой, разглядеть на западе Париж? Я держал АКСУ стволом вверх согнутой рукой, палец на крючочке и крутил головой на всякий шорох.

— Дайте ему спирта, дуры. И сами вмажьте...

К звукам их возни добавился вдруг мерно нараставший шум. Он полз к нам то ли из городка, то ли по основному шоссе. Во мне гулко перекатилось очко. Проверив в карманах полные магазины, я прилип к откоосу кювета как к брустверу и прорычал в сторону французского гражданина:

— «Лучше уж воевать, чем землю копать. А? Воевать много легче, только что риск, что убьют». Ваши тексты на редкость поэтичны, не правда ли?

Не пощадят. Лучше отбиваться до последнего — это хоть какой-то шанс. Он ответил не сразу и беззлобно, будто увлеченный чем-то:

— Не волнуйтесь, дружище. До исполнения приговора у вас будет довольно времени, чтобы создать «Дневник смертника». Знаете, все эти кассации, прошения о помиловании, о выдаче белорусским властям. А международное общественное мнение? Мы с Сашей достаточно известны, чтобы на него рассчитывать...

— Что вы там увидели? — перебил я.

— «Внизу на далекой улице задвигались черные спины солдат, -- процитировал он и засмеялся. — Вряд ли мы отсюда вырвемся, не питайте

иллюзий». Вы мне отчаянно завидуете, я сразу заметил. Не печальтесь, у вас все впереди: следственный изолятор, камера расстрельников...

Девчушки со своего бампера наострили птичьи в шлемах головки — их глаза засветились ужасом: галантный Эрик Вениаминович сошел с ума.

— Хлебаните еще, дурехи! — крикнул я, а тот шум все рос, но без нахальства, деликатно. — В мире нет большего плута, чем мой любимый прозаик. Если он шутит и умничает в такой обстановке, значит, эвресин гона би ол райт⁴. Дайте посмотреть, Эрик Вениаминович!

Он отодвинулся.

— Ну что вы? Собыете ведь резкость. По-моему, грузовик. Чуть ползет, и ни единого огонечка.

— Дайте убедитьсяся. — Я опять протянул руку. — Дорожные силуэты весьма обманчивы. Как-то раз издалека на шоссе я принял сенокосилку за «Запорожец», перевозящий на крыше уложенный поперек двухкамерный холодильник. Кстати, что до вас, то вы не столько завистник, сколько ревнивец. Ревнуете ко всем, кто выше ростом. Через друга своего Бахчаняна узнали о талантах армян и неизменно поддерживаете азербайджанцев; через жену и многих прочих узнали евреев и стали антисемитом; любимые ваши американцы и французы — не белые, создавшие цивилизацию, а черные и арабы, ею облагодетельствованные...

— Я за команду, которая проигрывает, — сухо кивнул Эрик Вениаминович, сунул в карман насадку и достал фонарь.

Я различил наконец ползущий к нам по трассе контур какой-то крупной железяки, когда услышал стон. Стон повторился, и Танечка перевела:

— Он говорит, чтобы гранаты к бою. На всякий случай.

В ее голосе уже не осталось страха, а дрожь от гордости и романтики. Мы были насквозь мокры, но никого не трясло от холода. И Анютка протянула мне такую же зверюгу, как та, которой поужинал сегодня Красавчик. Я сжал удобную рукоять и подумал: «А почему, собственно, этот любитель персонального «Москвича» испугался угона? Разве не знал, что горючего ни капли?» И еще раз спросил себя: «А где, скажи, ты видел в своей раздерганной стране, чтобы босс мог помешать шоферюге торговать казенным бензином?» И услышал яростный шепот А. Н. Накопив силенок, он делал неверные шаги: сестры-сиделки подняли и вели его.

— «И вдруг очнешься на своей-чужой улице в костюме от Пьера Кардена, с автоматом в правой руке, с мальчиком-другом лет тринадцати — слева, сжимаешь его за шею, полуопираясь на него, — идете в укрытие, и это или Бейрут, или Гонконг, и у тебя прострелено левое плечо, но кость не задета». Извини, Эр, я слегка перепутал. И рука не та, и девочки вместо мальчика, и Бейрут далеко. Но главное — главное схвачено: кость не задета. Кость не задета, и это — главное. Светани ему, Эр: два раза длинно, один — коротко. И сразу пригнись.

Грузовик остановился, предательски пыхнули стоп-сигналы. Стандартное изделие нижегородской трековой фабрички с крытым кузовом-кунгом. В таких возят яйца, хлеб и людей. Опустилось стекло кабины, и высунулось пышноусое лицо. Черт возьми, та же рожа! Безумно напоминающая безумного вице-президента. Хорошо тому нынче в Кашенко. А нам мокро и страшно.

— Здорово, земляк. — Голос ленинградца крепчал с каждым словом. — До родины не подбросишь?

— Здорово, — спокойно сказал пышноусый. — А разве не здесь твоя родина?

Перед ним стояли пятеро влажных вооруженных существ с марсианскими головами.

— Ой, ребята, едут, едут оттуда! — Аннушка мелко перебирала копытцами, будто стремилась в сортир, и дергала меня за рукав.

⁴ Everything's gonna be all right — все будет хорошо (англ., разг., из песни).

Все посмотрели на редкие огни Павлиняса. Несколько огней перемещались, причем в нашу сторону; один из них при этом, кажется, поворачивался на ходу. С поисковыми фарами не грибы собирают. С ними охотятся.

— А ну отставить церемонии! Отворяй, браток, конюшню...

Специалист по видеодокументам ринулся к задней подножке кунга, споткнулся, был пойман девицами и взрыкнул от боли. Пока мы делали ему вира помалу, он бешено скрежетал челюстями, и желваки от напряжения грозили брызнуть.

— Стойте, — вскричал я, порываясь к захлопывающейся двери, машина уже брала с места, — а где бутылка от спирта?!

— Угомонитесь, — прошипел Эрик Вениаминович. — Она в моем рюкзаке, мы же договаривались.

Да, договаривались: не оставлять ничего. Кроме гильз, разумеется. Лавка тянулась по периметру кунга. За его прочными стенками свистел избавляющийся от нас воздух. Шуршал избавляющийся от нас асфальт. Мы успели привыкнуть к темноте снаружи.

— Но здесь я не вижу даже с этой штукой, — послышался Эрик Вениаминович.

— Кончай херней заниматься! — заявил железный Шурик.

— Это не игрушка. Таня, детка, забери у него. К последнему аккорду нужно готовиться не менее тщательно, чем к первому. Сделайте по глотку и займитесь оружием.

— Курить можно, командир? — Я вдруг вспомнил, что дымлю с пятнадцати лет, с тех пор как ушел из дому; предстояла самая вкусная сигарета.

После самой трудной работы.

— Сколько до ближайшего поста дорпола? — Голос А. Н. зазвучал вдруг усиленно и искаженно, как на митинге.

Я мучительно стал вспоминать, не попадался ли мне пост ГАИ в прошлом веке, когда на сорокакопеечном бензине я гонял в Ригу за первым своим щенком, за мраморной колли; ностальгический провал тут же был прерван.

— Шестьдесят пять километров, полпути к границе, — меланхолично отозвался кто-то такими же электрическими тембрами.

— Ой! — содрогнулась Анек. — Кто это?

— Тот, кто нас везет, — с усмешечкой произнес привыкший ко всяким переговорным штучкам в своем дисциплинарном санатории Эрик Вениаминович; скорее всего он еще и покровительственно погладил плечо Анчó, шустричó, но темчó, и обратился к главбандиту: — Все-таки мы недостаточно продумали вариант с вертолетами, Саня. Может, заранее демонтируем, на х..., люк в потолке?

— В потолке открылся люк. Ты не бойся: это — глюк! — пропел, конечно, я.

Отдышавшись после вкусенького из фляжки и сунув в рот шоколадку «Топик» (такие валялись у нас по карманам, как семечки), А. Н. сказал:

— В этой стране действительно имеется вертолет. Но он ничего не умеет, кроме распыления гербицидов. К тому же в последний раз он совокуплялся с топливозаправщиком еще до войны в Персидском заливе. Лучше обратите внимание на стены, их следует хорошо изучить...

Он зажег фонарь, и мы попадали с лавок от внезапных кинжальчиков в очах, как кроты.

...Трезвый ночной человек, находящийся в обороне, не склонен к импровизации. Биоритмы гнут его к горизонтали, и любое дело (даже из числа приятных; поздно вечером и рано утром — вовсе не то, что просто ночью) воспринимается обузой. На производствах непрерывного цикла ночным сменам мастера стараются заданий не оставлять. Не доехав до поста пяти километров, мы беспрепятственно свернули в направлении ли-

товской границы и в дальнейшем тряслись худенькими тропами, по которым едва разъезжаются современные грузовики и которые в атласах нанесены зеленым. Разъезжаться пришлось с кем-то лишь дважды — встречные фары просачивались в кунг, и мы сидели ни живы ни мертвы, а потом по очереди ходили писать в задний угол, там была хорошая щель, так по-звериному помечался путь. Долго пробирались вдоль литовской границы, имея ее километрах в восьми по правую руку, а затем объехали Даугавпилс, бывший прежде Двинском, и грунтовой, какую можно обнаружить только на военной карте, бросились к Браславским озерам. Здесь, неподалеку от латвийской станции Земеале, литовского городка Турмантаса и белорусского селения с волшебным названием Дрисвяты, сходятся в лесу три границы, и было четыре тридцать утра. На гигантских корневищах качка сделалась невыносимой; стараясь без охов, мы лежали на полу и цеплялись за лавки, и А. Н. кричал от боли, и помочь ему мог только спирт. Нещадно, несмотря на предосторожности, бряцали по железной обшивке главные наши принадлежности...

— Впереди шлагбаум! — услышали мы вдруг из переговорного устройства. — И ментовский отражатель!

В дороге пышноусый изредка сообщал об обстоятельствах продвижения. Он делал это так вяло, будто сопли в ведре размешивал, а тут восклицательные знаки частоколом. Мы застыли — кого где прихватило. Превратились в уши.

— Документики, господин водитель. Вы откуда и куда?

Молодой мужской голос с акцентом.

— Я-то домой еду, а вот вы кто такие посреди леса? — Выдержка вернулась к пышноусому.

— Таможня Латвийской республики, удостоверение видите?

— Ах, таможня, — протянул с облегчением пышноусый. — Корочки мне ни к чему, там же по-вашему написано. Главное — не бандюги...

— Так что за металл там у вас, всех зайцев переполошили?

— Он за клюшкой едет, — вступил другой молодой мужской голос, на заводе или на ферме мог бы звучать: комбайн у него там перекачивается.

— Да что вы, парни, из меня дурака делаете, клюкву осенью собирают. — Наш дипломат не принял шутки. — Запчасти у меня там. К «рафикам», я на станции «Скорой помощи» работаю. Держите по десять зеленых и отпустите меня с богом, а? Вас трое?.. Вот тридцать — и будем в расчете.

Определенно я мог слышать эти бархатные тембры с эстрады, несмотря на искажения тогдашние и нынешние; нет ли под кепкой лысины?

— Вы за кого нас принимаете, господин водитель? Хотите без лицензии целую машину дефицитного товара вывезти за тридцать долларов?! К тому же нас не трое, а пять. Ну-ка открывайте фургон, без осмотра все равно не отпустим, понятно?

— Да что ж тут понимать, — вздохнул пышноусый и чиркнул спичкой над мембраной переговорника, и стало слышно, как выпускает дым первой затяжки. — Сами открывайте, замка у меня там нет, от вора он не спасет, а честному человеку... сами знаете. Я уж, извините, посижу: радикулит.

Снаружи захрустели ветки.

— Снять предохранители и не жалеть патронов! — на грани шепота и хрипа объявил А. Н. и добавил в переговорную трубу: — Гони!

Дверь распахнулась, и лес словно подорвался на mine. За три с половиной часа в крошечной черноте кунга мы научились быть кошками: под открытым небом, казалось, рассвело — настолько в кузове было темнее. Шквальный огонь вырвался в светлый прямоугольник прежде, чем до нас добрался фонарь. За грохотом не слышен был мотор, который адски ревел, унося из засады, смяв шлагбаум. Потом мы захлопнули, потянув за специальную веревку, дверь и приникли к безобидным на первый взгляд окошечкам, распределенным давно в пути, каждому — свое. Серийный грузовик с берегов Волги пер по кошмарным рытвинам контрабандной

просеки, посыпая лес пулями, будто тому не хватало соли в организме. Крики умирающих — если бы их слышали — делались все глуше, а мы не могли остановиться и поливали в пять смычков каждый куст, и сторонний наблюдатель, забывшись в окоп полного профиля, сравнил бы нас с ночной атакой бронепоезда, перешедшего с рельсов на водопойную тропу окружающего скота, а сам бы жмурился от рыжих пимпочек, разлетающихся из бойниц.

— Прекратить! Прекратить!

Не сразу вопли А. Н. проникли в мою стреляющую душу. Мы вытащили раскаленные стволы, и остался лишь вой двигателя, надсадный, безнадежный вой, каким воют моторы, если колеса увязли и буксуют.

— Приехали! — буркнул в устройство водитель и хлопнул дверцей.

Выглянув, я увидел огромную лужу, целое озеро, забросил на спину автомат и мужественно спустился по колено в коварно блестящую майскую воду. Следом — Эрик Вениаминович. Мы с ним вынесли на берег Анютку (она отчего-то икала — или нервы, или половое воздержание). Мы с ним вынесли на берег Татьянку (она не забыла взъерошить мне волосы). Мы с ним вынесли на берег раненого командира. Пышноусый задумчиво курил, сидя на корточках и глядя в лежащее на воде брюхо грузовика. Сделав хороший глоток, я сказал:

— Браславские озера — лучший курорт Белоруссии. В некоторых водится угорь.

— Мне трудно уточнить, на чьей мы сейчас территории. Я не слишком-то разбирал дорогу, не засекал по спидометру и не искал ориентиров. На все это не было времени, — неожиданно заметил пышноусый.

Но куда неожиданной было то, что мы услышали секунду спустя.

— Не двигаться! — приказали с севера.

— Не двигаться! — приказали с юга.

— Не двигаться! — приказали с запада.

— Не двигаться! — приказали с востока.

Голоса звучали строго и с высоты, как если бы на соснах висели громкоговорители. Стало жарко. В такой ситуации лишь бы кондратий не пришел. Переждать надо, пока уровень загадочности снизится. Есть, в конце концов, ООН, Хельсинки, ПЕН-клуб...

— Руки за головы, немедленно всем руки за головы! Территория контролируется Красной дивизией Буракиса...

Бат-тюшки! Мятажный майор*Буракис! Лесные братья! Пот высох. Здесь не Белоруссия, не Литва и не Латвия... Кругом шуршали кусты и травы; через несколько мгновений всех нас обыскивали умелые руки. Они же какими-то сырыми тряпицами завязали нам глаза и под локоточки повели (шагов сто кочками), заставили куда-то влезть и усадили. Заклекотал движок — явный дизель, — и мы тронулись. Очевидно, это армейский гусеничный вездеход. Иногда я чувствовал электрический свет на лице сквозь повязку — конвой изучал добычу.

— Куда нас ве... — начал ленинградец; когда обыскивали, он успел сообщить, что ранен, и в ответ раздалось: «Извините».

— Молчать! — раздалось на этот раз.

Мы недолго ехали. Потом ждали; нам разрешили закурить. Потом высаживались и спускались куда-то с помощью умелых рук. Там нам открыли глаза. Я почувствовал, как умелые руки тянут заодно матерчатый шлем, но услышал зычный баритон:

— Отставить! Свободны.

Перед нами стоял двухметровый дядька лет никак не более сорока, чернобородый. В детстве я коллекционировал марки, и на одной был Ян Гамарник. Вылитый он. В странноватом хаки — без погон, с большими петлицами, в которых сидели какие-то кубики. Ничего не смыслив в старых знаках различия, но уверен, что данные обозначают командива. Мы находились в землянке, натуральной благоустроенной землянке: стены обшиты досками, потолок — девепе, пол хорошо утоптан, письменный

стол — двухтумбовик с бумагами и телефонами, стулья и ширма, за которой, вероятно, узкая кровать с идеально натянутым полушерстяным одеялом. На стенах ярко горели двухламповые бра, как в английском охотничьем замке; в одном из углов стояли телевизор «Горизонт» и коротковолновый приемник «Соната» с вытянутой антенной. Было тесно: шестером выстроившись плечом к плечу, мы занимали всю ширину от стены к стене.

— Кто старший? — спросил комдив.

— Я, товарищ Буракис! — А. Н. сделал шаг вперед.

— Ранены серьезно?

— Никак нет! Кость не задета.

— Хорошо, — кивнул хозяин. — Название операции?

— «Тузику пора на цепь», — как бы против желания произнес А. Н., ему было стыдно за эту нелепицу, на которой настояли на исходе зимы два литератора, чокнувшихся от блужданий по переднему краю русской словесности.

— Так. — Комдив заложил руки за спину и хотел бы пройтись туда-сюда, да не хватало места. — Успешно?

— Так точно! — шелкнул каблуками наш бородач, но ботинки были мокры, и звук не вышел.

— Мы постоянно слушаем эфир, но о ваших успехах радиостанции пока молчат. Отмечена только некоторая активность на полицейских частотах Латвии, но у нас нет кодов... Зачем потребовался такой шум в лесу?

— Таможня вышла на ночной промысел, товарищ Буракис. Законопослушные экспортеры на асфальте не в состоянии удовлетворить ребят. Они молодые, аппетиты быстро растут.

— Тем количеством боеприпасов, что израсходовали вы, можно уничтожить регулярный мотострелковый взвод, а не десяток вымогателей. Ваше счастье, что вы мне не подчиняетесь...

За нашими напряженными спинами забухали спускающиеся шаги, и растворилась дверь.

— Разрешите, товарищ комдив, — сказал тенорок, и я представил веснушчатого курносого паренька в галифе и пилотке, вышитого Васю Теркина. — Телеграмма!

Боец привык к тесноте и не церемонясь протянул сложенный листок просто между нашими головами. Нашими с Эриком Вениаминовичем. Я увидел, таким образом, только зеленый манжет и грязноватую руку, которая вполне могла принадлежать Теркину, но не обязательно.

Солдатик убрался, а бывший майор уставился в текст, пошевеливая крупными чернящими бровями и поглаживая оклад бородищи. Наконец — телеграмма была, очевидно, длинна — он сказал:

— Поздравляю, товарищи. Владимир Вольфович прислал телеграмму всем участникам операции «Тузику пора на цепь», он уже получил подтверждающую информацию по своим каналам. Выражает надежду, что все здоровы, и незамедлительно ждет вас в своей резиденции для награждения параллельными орденами и медалями. К сожалению, не могу зачитать полностью, тут есть нюансы... Поздравляю! — Комдив лапами волкодава пожал наши руки; зная о своей силе, делал это осторожно, будто все шесть кистей были женскими, а не только две. — Сейчас вам снова завяжут глаза — таковы правила, ведь и ваших лиц никто, даже я, не видел, — и отвезут на мой аэродром. Полетите вертолетом... До свидания, товарищи!

Командир Красной дивизии нажал на столе кнопку, и за нашими довольными спинами возникли умелые руки. В моем извращенном мозгу они превратились в широкие крылья. Которые, опережая события, понесли меня туда, где мне больше по нраву, нежели в партизанском лесу: за украшенный надежной айбиэмкой стол. Вымыться, выспаться и с шелковистой головой, в домашнем спортивном костюме, с параллельным орденом на груди усестся уваривать впечатления.

Но как ни уваривай, а на истерн набрал.

COUP DE MAÎTRE

Читатель и писатель, перевернув последнюю страницу, испытывают полярные чувства: первый расстроен и сразу ищет, чем поживиться еще; второй бабахается оземь с бессмысленной улыбкой древнего марафонца и моет шампунем словопроводы. И тот и другой, однако, на промежуточном финише, когда старое дело сделано, а новое не начато. И потому возвращаются оба мысленно к сногшибательной концовке, отгибают ее край и пытаются экстраполировать. На первый взгляд нет ничего более чисто творческого, чем на одних выдумках громоздить другие, но, к сожалению, из этой чистоты рождаются лишь постные эпилоги. Они состоят из хилых абзацев, бесполезных для литературы, — вспомните эпилог «Всадника без головы» Майна Рида.

Нами избрана иная форма прощания, не эпилог. Это — заявление. Дело в том, что данный истерн (рассказ, повесть — кому как нравится) — единственное документальное свидетельство событий, в нем описанных. Вскоре после возвращения — на вертолете — в Москву внешние условия внезапно (как у нас всегда бывает) изменились настолько, что вокруг некоторых персонажей заметно снизилась концентрация кислорода. Эрик Вениаминович вылетел в Париж, но и там был вынужден затаиться на самом дне, поскольку Россия вступила в Интерпол. По счастью, этот наш герой прекрасно знаком с донными ландшафтами и не пропадет, на днях прислал открытку из Венеции. Его приятелю, невскому жителю А. Н., взявшемуся было делать ленту о похождениях блистательной пятерки, также пришлось уйти в подполье, а оттуда — по тонкому декабрьскому льду — в Финляндию. По слухам, он занят сейчас консультациями с Пхеньяном и Гаваной по поводу организации параллельного всемирного телевидения (предварительно предполагается похитить с орбиты индийский спутник связи). Обе дьяволицы, Танечка с Анечкой, наприключившись, дружно бросили своих мужей и сняли прелестную квартиру: в одной комнатенке спят их дочушки, растет второй эшелон, в другой принимают нас. Меня. Пираточки взяли моду дразнить меня тем, что я все еще женат, и без конца спрашивают: «А когда мы снова поедem за границу?» Пышноусый флегматик стоял на церемонии награждения вовсе без усов, а с двухдневной щетиной, но я так и не вспомнил его имени и фамилии, потому что слабо волоку в живописи вообще и почти не знаю современных художников в частности. В данном контексте важно то, что холст не может служить *corpus delicti*, в отличие от текста и видеоряда, и я настаиваю на уникальности всех одиннадцати глав. Впрочем, в бардах я разбираюсь еще меньше; говорят, один высоколобый и плешивый признался недавно в неофитстве, но ведь мне так и не удалось заглянуть под кепочку.

Мы позаботились об алиби. Мы пересекли границу с чужими паспортами. Пограничники, мурыжившие поезд, не в силах опознать пассажиров, ибо заняты не лицами, а аусвайсами. Их единственная задача — поставить в паспорт штамп о въезде или выезде (штампик последнего рода мы так и не получили за неимением штамповальщиков), никого не упустив. Для этого есть специальные машинки, с них обычно начинается независимость. Рассчитывать, что на кого-то из нас покажет пальцем кто-то из попутчиков, еще более глупо: среди них я не запомнил склонных к суициду.

Во мне такой склонности вы также не обнаружите (хотя и снится порой невинная немецкая овчарочка; собаки — как дети: доверчивы, любопытны, беззащитны). Поэтому в случае чего...

В случае чего оставляю за собой право отказаться от всего вышеизложенного.

КОНСТАНТИН ВАНШЕНКИН

ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ

*** *

Укутывали с головою,
Чтоб до больницы довести
На чьей-то лошади зимою
По заметенному пути.

Отец и мать все время в ссорах.
Вдруг примирились. Ну а мне
7 лет, температура 40
И холодно, хоть весь в огне.

Поселок тонет в снежной бездне.
У каждого дела свои.
История моей болезни —
Восстановление семьи.

В дожди

Вновь автобуса ждать городского,
Доверяясь неверной судьбе,
Исходя из того гороскопа,
Что прибит на дорожном столбе.

Мы, витая в заоблачных высях,
В заболоченных жили местах.
За все лето проселок не высох.
Повезло, что водитель мастак.

Баллада

Не встречайтесь уркагану —
Не получится добра.
В двух карманах по нагану
Держит малый у бедра.

Мотоцикл с милиционером
Завернул едва на сквер, —
Как негаданным манером
Грянул левый левольвер.

Но случился явный промах —
Слишком парень взял правей.
Эхо охнуло в хоромах
Клумб, скамеек и аллей.

И свалился здесь, на сквере,
Не смежив застывших век,
Не причастный к этой сфере
Посторонний человек.

* *
*

Не различишь
Каждую пешку.
Мертвая тишь.
Все вперемешку.

Тысяча? Сто
Тысяч? И боле?
Все мы никто.
Общее поле.

Беглый повтор
Воинских знаков.
Белый простор
Весь одинаков.

Общий успех
Сложат в копилку.
Строчки у всех
Как под копирку.

Крови пятно —
Слитные пятна.
Все мы одно.
Это понятно.

Все же не рву
С зыбкостью ранней —
Той, что во рву
Воспоминаний.

* *
*

Посмотрите вокруг и кругом —
Вот она, эта жалкая горстка:
Не разбитое давним врагом —
Разметенное временем войско.

* *
*

Вымахал здорово клен
С краю могильной оградки.
Я понимаю, что он
Рос без оглядки.

Я обращаюсь к тебе:
Не где древесные корни,
А при небесной трубе
Ты меня вспомни.



ВИКТОР АСТАФЬЕВ

*

ПРОКЛЯТЫ И УБИТЫ

Роман

Книга вторая. ПЛАЦДАРМ

Вы слышали, что сказано древним: «не убивай; кто же убьет, подлежит суду».

А Я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду...

От Матфея, 5, 21—22.

В прозрачный осенний день, взбодренный первым студеным утренником, от которого до высокого солнца сверкал всюду иней и до полудня белело под деревьями, передовые части двух советских фронтов вышли к берегу Великой реки и, словно не веря себе, утихли возле большой воды — самой главной преграды на пути к чужим землям, к другим таким же рекам-преградам. Но те реки текли уже за пределами русской земли и до них было еще очень далеко.

Главные силы боевых фронтов — армии, корпуса и полки — были еще в пути, они еще сбивали по флангам группировки и сосредоточения фашистских войск, не успевших уйти за реку. В редких, полуистребленных лесках и садах, боязливо отодвинувшихся от осенней воды, опадали листья, с дубов они сползали, жестяно звеня, скоробленные, шебуршали под ногами. Где-то урчали голуби и, гоняясь друг за другом, выметывались из леса, искрами вертелись в прозрачном воздухе, вернувшись же в лес, весело и шумно усаживались на ветви, ворохами спуская с них подмороженный, истомленный лист. За издырявленной огнем деревенькой, в мятых, полуубранных овсах вдруг зачуфыркал припоздалый тетерев. Прячась за камешками, суетливо скатился на берег табунок отяжелевших куропаatok, что-то домашнее, свое, птичье наговаривая.

Пришедший к реке Лешка Шестаков, стараясь не спугнуть птиц, начерпал в котелки водички, пил из посудинки, кося глазом на уютно прикорнувших куропаatok. Река оказалась не такой уж и широкой, как это явствовало из географии и других книжек: «Не каждая птица долетит до середины...» Обь возле родных Шурашкар куда как шире и полноводней.

Противоположный берег, где располагалось вражеское войско, пустынен и молчалив. Был он высок, неровен, но тоже сверкал инеем, уже обтаивающим и обнажающим трещины, провалы и лога, вдали превращающиеся в ветвистые пустынные овраги с шерсткой бурьяна, кустарников и отдельных норовисто растущих ветел. По косогору разбежавшийся приземистый соснячок точно линейкой отчеркивал рыжий ров. К нему из жи-

лых мест меж растительной дурнины тянулись линии окопов, вилочие жилы тропок, свежо пестрели по брустверам огневые позиции, пулеметные гнезда, щели, ячейки, сверкнула и на мгновение зажглась лещачьим глазом буссоль, или стереотруба, взблеснула каска, котелок ли, по заросшей тропке цепочкой пробежали и скрылись в оврагах люди. На пустеющих недоубранных полях появились кони, у самого почти берега отчетливо заговорило радио на чужом языке, затопилась кухня. Веселый дым — топят кухню сухой сосновой лемью — заполнял ветвистый распадок, дым шел не вверх, в небо, а стелился по извилистой пойме, вытекал потоком из широко распахнутого, зевастого распадка и, скапливаясь над большой водой, густел, превращаясь в одинокую, неприкайную тучку.

Там, на далекой, такой далекой, что и памятью с трудом достанешь, на родной Оби, в эту пору, в сентябре, начинается сенокос и жиrowание птицы. Грязь непролазная, гибельная грязь по берегам, островам и опечкам. Без лодки, без трапа, без досок, без прутьяных матов и настилов на берег не сунешься. Птице же — самое раздолье: по вязкой пульпе, будто в черной икре, бродят лебеди, гуси, утки, болотные курочки, кулики и чайки, выбирают клювами из клейкой жижи корм, вороны и чайки бандами налетают на луга, выедавая в обмелевших лужах, в обсыхающих сорах рыбью мелкоту. Ее так много, что отяжелевшие птицы порой не могут взлететь, сытой дремой объятые, тут же, в грязи, но чаще в траве, на кустах дремлют, набираясь сил и тела перед отлетом в далекие теплые страны.

Покосники валят тугую траву пырей, плавят ее в спаренных лодках домой, попутно ведут промысел рыбы, не успевая вытряхивать сети. Час-два простоят сеть в горловине сора — полтонны отборного муксуна, чира, нельмы... Пальба не умолкает, по сидячей птице почти не бьют, поднимают ее на крыло, сажают в черную лохматую тучу — дробь почти не пролетает мимо. В эти же короткие дни осенней страды надо набить ореха кедрового, набрать ягод: смородины, черемухи, по болотам — клюквы и брусницы, — знай разворачивайся! Какая возбужденная жизнь наступает к осени, какое бессонное, азартное время; нахлеставшись веником в бане после путины, широко гуляют, водку пьют и спят мужики. Один раз отец проспал двое суток беспробудно.

Ничего на этой реке нет похожего на Обь. Ничего! Недаром засосало под ложечкой, как только вышел к воде и глянул на тот берег. Нет, нет, нет! Здесь тесно, здесь настороженно и отчужденно.

Послышался шум, захрустели сохлые травы, заремел камешник. Разве оглоеды эти, солдатня неугомонная, дадут посидеть, повспоминать!

Явились вояки шайкой, растелешились, давай играть водой, брызгаться. Один бледнотелый славянин, на колхозной пище возросший — ребра что у одра, — начал блинчики печь каменными плиточками по воде.

— Немцы по воду придут — не вздумайте стрелять, — на всякий случай предупредил Лешка.

— А че? Появится какой — херакнем! — заявил тот, что пек блинчики. На гимнастерке у него краснел комсомольский значок, на цепочке болтался «Ворошиловский стрелок».

— Одного херакнете, потом никому нельзя будет за водой прийти.

— Х-хе! Мы приехали воевать или че?

— Навоюетесь еще, навоюетесь, — пообещал Лешка, а про себя добавил: «Если успеете» — и пошел с полными котелками к лесу, все оглядываясь на реку, все шаря глазами по противоположному, деловито и спокойно существующему берегу.

Над иванами-славянами скопились чайки, кружились, пикировали, норовя спереть мыло. Ворошиловский стрелок, тщательно целясь, пулял в чаек камнями, птицы взвизгивали, подпрыгивали, если камнем чуть не угадывало в них.

«Что с ними, с этими вояками, будет завтра или послезавтра?» — вздохнул Лешка. По всему было видно, что дело с переправой не задержится: новые части, свежие подразделения, выносило и выносило к вод-

ной преграде, густо прибывало к берегу Великой реки. Берег распирало силою.

А ребяташки... Что ж ребяташки?..

Артиллерийский полк, приданный стрелковой дивизии, которой командовал генерал Лахонин, прибыл к реке ночью и ночью же рассредоточился по прибрежным лесам. Где-то поблизости располагался ранее притопавший стрелковый, которым командовал пожилой полковник со странной и легко запоминающейся фамилией — Бескапустин. В полку том первым батальоном командует капитан Шусь, тот самый, что муштровал первую роту в Бердском резервном полку. Двигаясь по войне, он споро продвигался в званиях, должностях, не придавая, впрочем, никакого тому значения. И нумерация-то прежняя, в Сибири прилипшая, — первый батальон второго стрелкового полка, первая рота, которой нынче командовал лейтенант Яшкин. Помощником и заместителем комбата тоже бердский офицер — Барышников. Здесь и командирами рот были старые, кадровые сибиряки: казах Талгат, лейтенант Шапошников, которого из-за отправки на фронт не успели разжаловать, но и в чины не выводили — какая-то графа встала на его боевом пути. Взводами командовали тоже старые, знакомые ребята: Вася Шевелев, Костя Бабенко, Гриша Хохлак в звании сержанта командовал отделением, был помощником помкомвзвода. Весной его ранило.

Прибыв в Поволжье, сибиряки длительное время стояли в пустых, разграбленных селах в одночасье погубленной и выселенной в Сибирь и Казахстан республики немцев Поволжья.

В добротных немецких домах хорошо пожилось солдатикам неподалеку от клочующего фронта. Здесь многие прошли боевую подготовку, здесь же были организованы краткие курсы для младших командиров, и солдаты, которые посообразительней и пограмотней, сделались младшими командирами, некоторые, в боях уже, приняли боевые взводы, и, съездив в Саратов на переаттестацию, «унтера» вернулись оттуда со званиями пусть и невысокими, но офицерскими. Тогда же и дивизия доукомплектовывалась, в приданные ей артиллерийские и минометные части отбирались «спецы». Лешка, как опытный связист, был переведен в гаубичный артдивизион, но ребят из своей роты не забывал, часто виделся с ними.

Первый бой дивизия генерала Лахонина приняла в задонской заснеженной степи, встав на пути немецких войск, прорвавших фронт и стремящихся на выручку еще одной окруженной армии, кажется, итальянской или румынской. Дивизия Лахонина была крепко сбита, отлажена и с честью выполнила задание, остановив какие-то слепо уже, визгливо, на исходном дыхании наступающие части.

Потери в дивизии были мало ощутимы. Командующему армией дивизия генерала Лахонина — боевой, собранно действующий кулачок — шибко приглянулась, и он держал ее в резерве — на всякий случай. Такой случай наступил под Харьковом, где наши бойко наступавшие войска влезли в мешок, специально для них немцами приготовленный. Начав ретиво наступать, еще ретивей драпали доблестные войска, сминая все на своем пути, прежде всего свои же штабы. Слух по фронту катился: замкнув кольцо, немцы разом заневодили косяк высшего офицерства, взяв в плен сразу двадцать штук советских генералов, и вместо одной шестой армии Паулюса, погибшей под Сталинградом, задушили в петле, размесили в жидких весенних снегах шесть советских армий — немец математику знает, точно округлил цифру.

На стыке двух армий с разорванной обороной, куда противник наметил главный удар, встала свежая дивизия Лахонина. Пропустив через себя орду драпающих иванов, дивизия встретила и задержала более чем на сутки тоже разорозненно, почти беспечно, нахрапом наступающие части противника. Немцам бы, как обычно, пойти в обход, окружить упорный кулачок, но они начали перегруппировку, чтобы нанести сокрушительный удар

дерзкой стрелковой дивизии и приданным ей частям. Если удастся сбить этот заслон — путь для дальнейшего наступления открыт. Но по согласованию с командующим армией генерал Лахонин силами одного полнокровного полка нанес встречный удар по фашистской группировке. Не ожидавшие такого нахальства от русских, немцы запаниковали было, однако, выяснив малосильность шального удара, отогнали русский полк, но с наступлением задержались. Тем временем Лахонин отвел все еще боеспособную дивизию на подготовленную в тылу линию обороны. На ходу пополняясь, дивизия перешла к жесткой, активной обороне. И фашистское вялое уже, из последних сил ведущееся наступление окончательно выдохлось. Обескровленная непрерывными боями с превосходящими силами противником, дивизия Лахонина была снова отведена в резерв — штопалась, лечилась, пополнялась, стояла вдали от фронта вплоть до очередного чепе — под Ахтыркой. Гвардейская армия умного генерала Трофименко зарвалась-таки и тоже залезла в мешок.

Противник нанес стремительный отсекающий удар от Богодухова из Харьковской области и из-под Краснокутска Полтавской области, с тем чтобы окружить и наказать в очередной раз за беспечность и неосмотрительность русскую армию. Командующий фронтом приказал полуокруженной армии оставить Ахтырку, соседней же, резервной, армии обеспечить более или менее организованный отход.

Наторевшая на «затыкании дырок», дивизия Лахонина снова вводится в действие, бросается в коридор, в пекло и несколько часов, с полудня до темноты, стоит насмерть среди горящих спелых хлебов, созревшей кукурузы и подсолнухов. Девятая бригада тяжелых гаубиц образца 1902/08 года, оказавшаяся на марше в самом узком месте коридора, поддерживала пехоту, сгорая вместе с дивизией Лахонина в пламени, из края в край объявшем родливые украинские поля. Казалось бойцам: в те жуткие, беспмятные часы они отстаивали, заслоняли собою всю землю, подоженную из конца в конец. Под ярким, палящим солнцем спелого августа части, угодившие на так называемую наковальню, принимали смерть в тяжком, огненном бою.

Бившиеся почти весь день бойцы и командиры из стрелковой дивизии Лахонина и девятой гаубичной бригады разрозненно, по одному, по двое, выходили ночью из дыма и польима на какой-то полустанок.

У девятой бригады, которая была на автомобильной тяге, осталось два орудия из сорока восьми, одно орудие без колес, сгоревших на позициях, выволоч колхозный трактор. У артиллерийского полка, приданного стрелковой дивизии, не осталось ничего — здесь орудия все еще были на конной тяге, кони сгорели в хлебах вместе со своими расчетами. Орудия либо вдавлены в землю гусеницами танков, либо тоже сгорели и долго маячили по полям горелыми остовами, словно бы крича разъявленными жерлами стволов в небо. Уцелело несколько коней. Нещадно лупцуя сающихся на зад, падающих на колени животных, вывозили раненых, орудия со сгоревшими колесами, с избитыми, расщепанными люльками, с пробоинами на щитах, обнажившими серый металл, загнутый вроде лепестков диковинного железного цветка.

Лешка доньне помнит, как его, спавшего после боя в каком-то огороде под обгорелыми подсолнухами, среди переспелых, ярко-желтых огурцов, разбудил Коля Рындин. Командир роты старший лейтенант Щусь оставил Колю при кухне. «После боя накормить всех нас». «Конечно, конечно», — торопливо соглашался огузский, начавший сесть Коля Рындин.

Стесняясь «льгот», Коля Рындин ломил, как конь, неблагодарную работу. Ротный повар лучшего себе помощника и не желал. Словом, Коля Рындин лез из кожи, чтобы «потрафить товарищам». И Васконяна Щусь берег как умел и мог, прятал, изловчившись, пристраивал в штаб дивизии переводчиком и делопроизводителем одновременно.

Полковник Бескапустин, старый служака, ограниченный в культурном смысле, но цельный земным умом, к Васконяну относился снисходительно. Когда Васконян был писарем и толмачом при нем, дивился его образованности, похотывал как над существом неземным и редкостным чудиком. В штабе Васконяну сделалось не до шуток. Мусенок — начальник политотдела дивизии, считавший себя грамотней и важней всех не только в пределах дивизии, но и куда как дальше, — терпеть непоколебимого грамотея не мог, а уж когда Васконян сказал об истории ВКП(б), что это не что иное, как филькина грамота, политический начальник чуть не опупел от страха. Словом, начальник политотдела скоренько выпер опасного грамотея из штабного рая, хорошо, что дело не завели, — несдобровать бы Ашотику. Шусь рычал на Васконяна, когда тот явился обратно в роту, но Васконяну и горя мало, и он и корешки его — осиповцы — вместе чувствовали себя уверенней и лучше. Понимая, что от дури ему никого не спасти — много ее, дури-то, кругом, — Шусь держал при себе грамотея писарем ли или кем, потому как в писари Ашотик только и годился, да и писарь-то — морока с ним: путается в бумагах, отсебятину в наградных документах несет; но уж похоронки пишет — зареветься: сердце свое истязает, кровью своей пишет.

Коля Рындин с Васконяном и наткнулись на Лешку, спящего на гряде, на переспелых, разжультканых огурцах. Растрясли, растолкали дружка. Лешка не может глаза разлепить, загноились от воспаления, конъюнктивитом назвал Васконян Лешкину болезнь. Круглая, яркая, многоцветная радуга, как на ярмарке, кружится в Лешкиных глазах, и в радуге две безликие фигуры вертятся-плывут, голосом Коли Рындина причитают: «Го-о-осподи-и, да это ты ли, Лешка?» «Я, я!» — хотел сказать Лешка, но распухший, шершавый язык не ворочался, зев спекся, горло сохлось. Протягивая руки, Лешка замычал, не то обнять хотел товарищей своих, не то просил чего-то. Ребята поняли — воды. Протянули ему котелок с чаем, а он не может принять посудину — полные горсти ссохшейся, черной крови: от проводов, от острых узлов до костей изрезаны ладони... Коля Рындин поднес к губам болезного солдата котелок с теплым чаем, но запекшиеся черные губы никак не ухватывали ободок котелка, и тогда человек принялся лакать воду из посуды что собачонка. Тут Коля Рындин в голос заплакал. Васконян взял лицо к небу и начал бормотать не стихи, а молитву во спасение души и тела. Молитвам научил Ашота по пути на фронт да когда кантовались в Поволжье Коля Рындин.

Такого вот красавца притартали друзья к командиру роты Шусю. Тоже черный, оборванный, грязный, ротный сидел, опершись спиной на колесо повозки, и встать навстречу не мог. Коля Рындин причитал-докладал, что вот, слава богу, еще одного своего нашли.

— Ранен? — прохрипел старший лейтенант.

— Не знаю, — чуть отмякшим языком выворотил Лешка, постоял, подышал, — все болит... — Смежив ничего не видящие глаза, со стоном ломая поясницу, Лешка пощупал землю под колесом, присел рядом с командиром. — Вроде как молотили меня... или на мне... как на том комбайне...

Уцелив глазом дымок в полуопавшем дубовом лесу, Лешка вышел к кухне и увидел распоясанного Колю Рындина, крушащего толстые чурки.

— Здорово, вояка!

Коля не спеша обернулся, забрякав двумя медалями, смахнул с подола гимнастерки опилки.

— А-а, землячок! Жив, слава господу, — подавая руку, произнес он. — А наши все тут, по лесу, и Алексей Донатович, и Яшкин, и Талгат. И знаешь ишшо кака радость-то — Гриня Хохлак из госпиталя вернулся!

— Да ну-у?

— Тут, тут. Счас оне все спят. Наутре притопали. Дак ты потом приходи повидаться.

— Обязательно. Ну а ты, Коля, как?

— Да вот, божьими молитвами жив. — Помолчал, поворочал деревянной кочергой, подбросил дров в топку и присел на широкий пенек. — Надо, чтоб хлебово и чай сварились до подъема.

— А повар-то че?

— Повар спит и еле дышит, суп кипит, а он не слышит, — улыбнулся Коля Рындин.

— Нашел батрака.

— Да мне работа не в тягость. Не пил бы только.

— А че, закладывает?

— Кажин день, почитай. Вместе с нехристом-старшиной Бикбулатовым. Нахлещутся и фулиганничают, за бабами гоняются... Чисто кобели.

— Что, и бабы тут есть?

— А где их, окаянных, нету? Товарищ капитан, Алексей Донатович, бил уж в кровь и повара и старшину. Очень даже нервный стал, навроде бы пожилым мушшыной сразу сделался. Из вьюношей без пересадки в мушшыны. Чижало ему с нашим братом. В Сибири было чижало, не легче и на фронте. Да вон он, как всегда, ране всех подымается... Товарищ капитан! Алексей Донатович! Ты как до ветру сходишь, сюда заверни — гость у нас.

Вскоре из-за деревьев в распоясанной гимнастерке, приглаживая волосы ладонью, появился Щусь, издали приветливо заулыбался:

— Здорово, Шестаков! Здорово, тезка! Рад тебя видеть живым. Как идут дела?

— Да ничего, нормально. Старшим телефонистом назначили вот. — И хмыкнул: — Сержанта сулятся дать. Глядишь, я и вас обскакаю в званиях, в генералы выйду...

— А что? Тот не солдат... А ну-ка полей-ка, Николай Евдокимович.

Щусь стянул с себя гимнастерку и рубаху, сердобольный Коля Рындин лил ему на спину из котелка, стараясь не попадать струей в глубокий шрам, в середине багровый, по краям синюший, как бы помеченный вокруг когтями дикого зверя — следы от швов. Еще на Дону попало. Комиссован он был на три месяца. В Осипово съездил и сотворил Валерии Мефодьевне второго ребенка, на этот раз парня, Василия Алексеевича. Побывал он и в двадцать первом полку, в гостях у своего высокого попечителя, полковника Азатьяна. Дела в полку в смысле жилья маленько подладились, с едой же дела обстоят еще хуже, муштра и холод все те же, мается под Бердском народ уже двадцать пятого года рождения — Россия не перестает поставлять пушечное мясо. Отмаялся старшина Шпатор, кончились земные сроки Акима Агафоновича. Умер он неловко, в вагоне пригородного поезда — ехал зачем-то в Новосибирск, сел в уголке и тихо помер. Где-то на повороте качнуло вагон, и мертвый свалился на пол, валялся в грязи, на шелухе от семечек, среди окурков, плевков и прочего добра. Не поднимали, думали, пьяный валяется, и катался старшина до тех пор, пока ночью вагоны не поставили в депо, уборщицы и обнаружили мертвого старика. За всю службу, за всю маету, за тяжелую долю, выпавшую Акиму Агафоновичу, явлена была ему льгота или божья милость — полковник Азатьян велел привезти из городского морга старого служаку и похоронить со всеми воинскими почестями на полковом кладбище. Была заминка с похоронами, небольшая, правда, — в кармане гимнастерки Шпатора на военной накладной с обратной стороны оказалось написанное химическим карандашом завещание, в котором старшина Шпатор просил не снимать с него нательный крест и похоронить рядом с мучеником — солдатом Попцовым, либо с убиенными агнцами — братьями Снегиревыми. Но к той поре щель, в которой покоились братья Снегиревы, уже затопталась, сровнялась с ископыченным военным плацем, где закопан Попцов — никто не знал.

Похоронили старшину возле лесочка, среди могил, в изрядном уж количестве здесь расселившихся; несмотря на то, что в учебном полку, как и

прежде, не хватало боеприпасов, все же дали залп над могилой, пусть и жиденький, из трех винтовок.

Под Харьковом, куда после излечения прибыл Щусь, ему и присвоили звание старшего лейтенанта, а вот когда Щусь сделался капитаном, Лешка и не ведал — редко все же видятся, хоть и в одной дивизии воюют.

— Ну, что там, на берегу? — спросил капитан, вытираясь сухим застиранным рушником, услужливо поданным Колей Рындиным. — Мы ничего еще не видели, в потемках притопали.

— Пока все тихо, — ответил Лешка, — но на другом берегу немец шевелится, готовится нас встречать.

— Н-на... Но мы ж секретно, тайно сосредоточиваемся.

— Ага, тайна наша вечная: куда едешь? — не скажу; че везешь? — снаряды. Надо бы, товарищ капитан, как ребята выпястят, чтоб сходились вымылись, искупались. Хорошо на реке. Пока. Думаю, что фриц не выдержит тутошнего курорта, начнет палить. Ну, я пошел. Потом еще зайду — охота с Хохлаком повидаться.

— Зарубину привет передавай.

— Сами передадите. Я думаю, он когда узнает, что вы притопали, придет посоветоваться, как дальше жить. Основательный он мужик, вежливый только чересчур, не матерится даже. Я первого такого офицера встречаю в нашей армии.

— Думаю, и последнего.

Заместитель командира артиллерийского полка Александр Васильевич Зарубин, все еще в звании майора, с малым количеством наград — два ордена и медаль, правда, полученная еще в финскую кампанию, будь она трижды неладна, та подлая, позорная война, — снова полновластно хозяйствовал в полку, потому как чем ближе становилась Великая река, тем больше в рядах Красной Армии делалось воинов, не умеющих плавать. Вроде бы родились люди и выросли в стране, сплошь покрытой сушей, в пространствах пустынь и степей, навреде как бы в Сахаре иль в пустыне Гоби, а не в Эсээре, изрезанном с севера на юг, вдоль и поперек многими мелкими и малыми реками, имеющем в нутре своем два моря, упирающемся в моря, а с дальнего боку омываемом даже океаном... И больных объявилось изрядно — просто армия недомогающих масс. Но еще больше суетилось тех мудрецов и деляг, кои так заняты, так заняты: чинят, шьют, паяют, химичат, какие-то подписи собирают, бумаги пишут, деньги подсчитывают, советуют их в фонд обороны сдавать, пляшут и поют, заседают, проводят партийные и комсомольские конференции и все азартней агитируют пойти за реку и умереть за Родину. Чем ближе делались сроки переправы, тем больше становилось людей, по горло занятых неотложными, срочными делами, отдаляющими их от реки и надвигающейся битвы. За фронтом тучей движется надзорное войско, строгое, умытое, сытое, с бабами, с музыкой, со своими штандартами, установками для подслушивания, пыточными инструментами, с трибуналами, следственными и другими отделами под номерами 1, 2, 6, 8, 10 и так далее, всех номеров и не сочтешь — сплошная математика. Народ везде суровый, дни и ночи бдящий, всё и всех подозревающий. И чем ближе опасное боевое дело, тем строже и активней идут дела по поимке шпионов, по выявлению внутренних вражеских элементов, растлевающих фронты.

Наблюдениями и мыслями своими майор Зарубин поделился со своим давним другом и нечаянным родственником — Провом Федоровичем Лахониным. И дружба и родство у них были более чем странные, если не сказать — чудные. Познакомившись в военном санатории в Сочи со своей будущей женой Натальей, тоже происходившей из военной семьи, и произведя «на водах» ребеночка, юный лупоглазенький лейтенантик, на грешные дела вроде бы и не способный, предстал пред грозны очи родителя Натальи, начальника замшелого, в забайкальских просторах затерянного

гарнизона. Начальник спросил своего подчиненного: «Ты испортил мою дочь?» «Я», — пикнул лейтенантик.

Грозный облик, в мундир облаченный командир отстегал свою родную дочь по жопе широким ремнем. Жену, бросившуюся защитить единственное дитя, тоже хотел — по старорежимному правилу — отстегать за то, что не укараулила дочь, но, поразмыслив, намерением попустился — жалел он свою жену, истасканную им по военным клопяным баракам, по дальним гарнизонам, даже в сражение с японцами на Хасане ее втянул в качестве санитарки. Едва живые они из того сражения вышли, сразу и зарегистрировались.

Одним словом, душа помягчала. А когда похлебали ушки, под ушку-то дернув хорошо, обниматься начали.

Сотворили ребенка — воспитывайте. Растили Ксюшку, однако, дед с бабушкой, потому как зятя перевели в еще более отдаленный район, чуть ли не в дикую Монголию сунули. К этой поре супруги Зарубины испепелили любовный пыл, связывала их лишь военная нуждишка, боязнь гарнизонного одиночества, самого волчьего из всех одиночеств.

А через некоторое время Зарубина Александра Васильевича как вдумчивого артиллериста отослали изучать особенности новейшей баллистики аж в Москву. Наука оказалась тонкая и длинная. Когда Зарубин вернулся в гарнизон с дипломом и в чине старшего лейтенанта, то застал в доме своем заместителя чином и годами гораздо старше его. Ксюшка зимогорила у бабушки и дедки в военном бараке. Держась за лавку, по комнате шлепал голозадый пареван с выразительным петушком наголо, раскладывал лепехи на полу и нежно их ладошкой размазывал. Влетевшая в дом Наталья, увидев, как Александр Васильевич обихаживает парня столичной газетой «Красная звезда», отрешенно молвила:

— Вот... куем кадры... — Положила кошелку с хлебом на стол, потискала ладонями лицо. — Для Красной Армии... — Начерпывая в кухне воду из кадки в таз, громче добавила, не переводя дыхания: — Второй уже вояка лягается в животе, да так, что с крыльца валюсь...

— Молодец!

— Кто молодец-то? — проходя мимо Александра Васильевича с цинковым тазом в руках, мимоходом полюбопытствовала Наталья.

— Все молодцы! Ксюшка-то у бабушки с дедкой?

— Та-ама.

— Не приезжал отец пороть ремнем?

— Приезжал. Да как пороть-то? Я пустая почти не была. Законом советским защищена. Вот в кого такая уродилась, спрашивал.

— Ну и чего ты ответила?

— Ответила-то? В твоего деда, в моего прадеда, ответила. Он же казак был. Бабу-бурятку из кибитки украл. Турчанки да персиянки далеко... Так он бурятку свистанул.

— Стало быть, и мой путь прямым к деду с бабушкой.

— Обопнись. Вон твой заместитель по боевой подготовке на обед топает. Обскажи ему, где был, чему научился. А он тебе поведаст о том, как тут воинский долг исполнял.

Лахонин Пров Федорович, моложавый, красивый, несмотря на забайкальскую глушь, на пыльные бури, весь начищенный, — куда Зарубину против такой сокрушающей силы! Да и Наталья, вроде бы чем-то уже надломленная, сказала: дуэли не будет, она недостойна того, чтобы один из советских офицеров ухлопал другого, да и учтено пусть будет уважительное обстоятельство — скоро станет она многодетной матерью, родители же ее в возрасте, оставаться с детьми в гарнизонных условиях она не хочет, замуж с таким приданым ее больше не возьмут, да и не хочется ей больше замуж.

— Мама меня маленькую все пугала замужем: такой, мол, он большой, замуж-то, лохматый, зубы у него кривые, лапа с когтями... — повествовала Наталья. — А я вот бесстрашная удалась.

С чем всегда у Натальи в порядке, так это с юмором.

Обедали вместе. Угощая мужиков винегретом и жареной рыбой, Наталья всхлипнула:

— Господа офицеры, я хочу, чтобы вы остались друзьями, вы ж у меня разумники-и! — И горстью нос утерла.

Редкий случай: соперникам удалось остаться друзьями.

Родители Натальи один за другим вскоре покинули земной гарнизон. Ксюшка веревочкой моталась за отцом. Наталья в письмах писала: где, мол, два, там и трое, вывезет — воз-то свой, не давит. Да Ксюшка уж больно строптива, плечиком дергает: «Не хочу!»

Но приспела война, и, хочешь не хочешь, отправляйся дочь в Читы к маме.

Как они там, в далекой Сибири, в студеном Забайкалье? Александр Васильевич часто писал дочери, увещевал ее, на путь наставлял. Она ему в ответ: «Привет из Читы! Здравствуй, любимый мой папочка!» О мамочке ни слова, ни полслова, будто ее и на свете вовсе нет. Вот ведь оказия! Он, взрослый человек, давно простил жене все, да и чего прощать-то? «Без радости была любовь, разлука будет без печали». А девчушка-соплюха характер показывает.

— Ничего, ничего, — успокаивал Зарубина Пров Федорович. — Тут главное — которому-то уцелеть. На малых детей у Натальи силы и юмора достанет, а вот на взрослых?..

Встретясь, первым делом всегда интересовались друг у друга, давно ли были письма из дому. На этот раз оказалось — давно. Продвинулись к реке стремительно, тылы поотстали, военная почта с громоздкой, сверхбдительной военной цензурой — тоже.

— Слушай, — словно впервые видя Зарубина, спохватился генерал, — ты все майор и майор?

— Да вот забываю звездочки в военторге прикупить.

— Постой, постой! Ты юмором-то меня не дави. Все равно Наталью не переплюнешь! Она, брат, в письмах как напишет про деток да про себя — обхохочешься.

— Боюсь, что не до юмора сейчас ей.

— Не одной ей... Слушай, политотдельцы-сексоты тебя грызут. Отчего? Ну... Ну, в общем-то, понятно. Характерец! Не ко времени ты и не к месту, что ли?

— Тебе лучше знать. Да и не беспокоит меня личное мое благополучие.

— Не беспокоит, не беспокоит...

Они сидели в горенке белой хаты, в совершенно не тронutom немцем лесном хуторке. Здесь добрые люди в сорок первом году прятали и спасали раненых советских бойцов и до недавнего времени располагался штаб партизанской бригады, которая переместилась за реку и готовилась ко встречным вспомогательным действиям при переправе через реку. И еще Лахонин сказал, что должна быть выброшена в помощь партизанам десантная бригада. Отборная. С начала войны в тылу сидела да с учебным самолетиков сигала, готовилась к ответственной операции.

— Вроде бы все затевается грандиозно и ладно. Силы громадные сосредоточены, чтобы, переправившись через реку, рвануть на простор, к границе, а там и до логова недалеко.

— Отчего же в совсем неподходящем месте готовится переправа? Опять врага обманываем, опять хотим врасплох его застать?

— Я пока еще всего плана операции не знаю, но догадываюсь, что первый удар здесь не будет главным. Великокриницкий плацдарм — скорее всего вспомогательная операция.

— Удар, еще удар! — так запугаем врага, что самим потом дай бог распутаться. И такие понесем потери, без запутывания обошлось бы вдвое. может, и втрое легче.

— Да, да, хотим хитро и сложно воевать. К хотенью побольше бы ума и уменья да вспомогательные службы отладить.

— У нас же вон как отлажены карательные службы, столько средств и людей на них тратится, ни на что больше не хватает.

— Слушай, тезка Суворова, ты хоть там-то, среди своих-то, укрощай себя. Ведь на каждого вояку по два стукача, на командира — до пяти.

— Как-нибудь обойдется. Всех не переброешь, как говорит тобой вскормленный дивизионный парикмахер.

— Вот он-то, болтун, вроде недотепа, и есть главный информатор начальника политотдела. Ты знаешь, Мусенок в тридцать седьмом, будучи кором «Правды», пересадил весь Челябинский обком.

— Как не знать. О том, что он, Мусенок, — первый друг и чуть ли не родственник Мехлиса, что они неусыпно боролись и борются с врагами народа, «незаметно» доводят до сведения, будто тунгус подбрасывает и подбрасывает топливо в костерок.

— Слушай, да ну их к аллаху! Снова предлагаю тебе должность начальника оперативного отдела.

— И я снова отказываюсь. Нечего семейственность на фронте разводить.

— Вот гляжу я на тебя и удивляюсь: вроде умный мужик, но не понимаешь, что дурак на дураке в штабе сидит и дураком погоняет. Мне умные, свои люди здесь нужны.

— Из дивизии возьми. Ты там такую селекцию провел.

— Ага, ага, пусть в дивизии одни ханыги останутся. А я приказом тебя переведу.

— Ладно. Так и быть. Но после того как сплаваю за реку. Не морщись, не морщись. На всем фронте люди поголовно разучились плавать, а у меня разряд по плаванию.

— Небось в бумагах записал?

— Записал. А что?

— А то, что умный, но тоже дурак. Только с обратной стороны, — махнул рукой Лахонин и, выйдя на низкое крылечко, прокричал в лес: — Ей, Алябьев! Пора! — И пояснил весело, потирая руки: — Это композитор, умеющий играть на балалайке, мужик надежный.

— Оттого, что надеется подле тебя уцелеть.

— Ох и язва ж ты! Слушай, тезка Суворова, по всем правилам мне бы тебя надо ненавидеть, а я вот... Слушай, — приобнял он Зарубина, — побереги ты себя там, а?

— Ты вроде как выпроваживаешь меня, а я начальнику штаба Понайотову сказал, что ночевать у тебя останусь.

— И ночуй. Отдохни ладом. В этаких кушах лафа! Я отлучусь до ночи. Потом с тобой наговоримся. Ругаться больше не будем. Эй, товарищ старший сержант! — снова покричал он в кущи. — Подать начальству умыться!

Из куц нарядной горлинкой выметнулась с кувшином, тазом, с вышитым рушником на плече лучезарно улыбающаяся девица с ямочками на щеках. Поливая генералу, она все косила глазом на хмуро стоящего в стороне майора. Полила и ему. Лахонин, утираясь, хмуро буркнул:

— Связистка-радистка Ульяша. Вот переведешься ко мне, я тебе трех копировальщиц подкину. Царицы!

— Благодарствую. Уцелеть еще надо. И вообще...

Зарубин чуть не ляпнул про Наталью. Но что Наталья? Наталья — это Наталья, одна она на этом свете, детьми обложенная. Ульяш — связисток, машинисток, копировальщиц да сигнальщиц в корпусе не перечеть. А по-за корпусом, на всем-то длинном фронте ого-го-о сколько их! Вот то-то и оно, говорил весь вид генерала Лахонина, а я мужчина еще молодой и пока еще живой...

Ели молча, старательно, из глубоких тарелок с цветочками — приборы на столе, ложка суповая с вензелем на черенке, нож и вилка тоже с вензелем, все серебряное.

— Сталин выдал. Чтобы аппетит у генералов лучше был,— пошутил Пров Федорович.

«Если операция сорвется, выдаст он вам еще по вилке да по ножу, кому и веревку в придачу». Но вслух Зарубин сказал, дождавшись, когда Алябьев отойдет:

— Композитор где-то украл. Ловкость рук и никакого мошенства, как говорил наш любимый герой Мустафа.

— Ох, Александр Васильевич, Александр Васильевич, — помотал головой Лахонин, — пропадешь ты со своим язычком. Вовсе чина лишишься. Погоны заношенные сымут. Кстати, пока я езжу по делам, ты тут побанься. Композитор воды нагреет, выдаст на время штаны и гимнастерку, все твое выстирают.

— Может, еще и новое белье прикажешь выдать... перед переправой. Тогда всей дивизии выдавай.

Генерал пристально посмотрел на Зарубина, удрученно покачал головой и прокричал в пространство: «Спасибо!» Оттудова, из пространства, ответно донеслось в два голоса, мужской и женский: «На здоровьичко!»...

Лахонин возвратился поздно, велел подать ужин и вина.

— Водку жрать не будем. С водкой какой разговор? Пьяный разговор. А с винца рассудок яснее, мысль искристей становится.

Размягченные вином и покоем, устав от разговора, улеглись командиры в кровати, накоротке вернулись все к той же фронтовой теме — недаром же говорится, что язык всегда вокруг больного зуба вертится.

— Показали мне тут недавно бумаги о настроении военных масс на передовой. Одну особо выделили. Солдат по фамилии Пупкин или Пипкин, у которого язык, как и у его командира... — Лахонин прокашлялся, помолчал, сделал многозначительный намек. — Так вот, этот солдат глаголет среди своих собратьев: мол, еще один враг — вечный — тута, под боком и сзади. Словом, вышел солдат-мудрец на вечную тему.

— Ну а ты что думал? Он, солдат, — тоже из народа русского, а народ наш горазд и дураков и мудрецов рожать. Вперемежку.

Тянется и тянется по истории, и не только российской, эта вечная тема: посылают себе подобных на убой. Ведь это ж выходит, брат брата во Христе предает, брат брата убивает. От самого Кремля, от гитлеровской военной конторы до грязного окопа, к самому малому чину, к исполнителю царской или маршалской воли тянется нить, по которой следует приказ идти человеку на смерть. А солдатик, пусть он и распоследняя тварь, тоже жить хочет, один он на миру и ветру, и почему именно он, горемыка, в глаза не выдавший ни царя, ни вождя, ни маршала, должен лишиться единственной своей ценности — жизни? И малая частица мира сего, зовущаяся солдатом, должна противостоять двум страшным силам, тем, что впереди, и тем, что сзади, солдатик устоять должен, исхитриться уцелеть в огне-полыме, да еще и силу сохранить для того, чтобы ликвидировать последствия разрушений, им же сотворенных, — продлить род человеческий, ведь не вожди, не цари его продляют, а мужики. Цари и вожди много едят, пьют, курят и блядуют — от них одна гниль происходит и порча. За всю историю человечества лишь один товарищ не посылал никого вместо себя умирать, сам взошел на крест. Не дотянуться пока до него ни умственно, ни нравственно, да и креста нет, который тяжело нести, зато на деревянном кресте можно переплыть реку. А тут ни Бога, ни креста. Плыви один в темной ночи. И хочется взмолиться: «Пострадай еще раз за нас, грешных, Господи! Переплыви за нас реку и вразуми неразумных! Не для того же наделил ты их умом, чтобы обманывать братьев своих, повелевать ими, превращать их в рабов». Ум даден для того, чтобы облегчить жизнь и путь человеческий на земле, но не для творения кровавых дел.

Христос воскрес! — поют во храме.

Но грустно мне... Душа молчит.

Мир полон кровью и слезами,

И этот гимн пред алтарями
 Так оскорбительно звучит.
 Когда б Он был меж нас и видел,
 Чего достиг наш славный век,
 Как брата брат возненавидел,
 Как опозорен человек!..
 И если б здесь, в блестящем храме,
 «Христос воскрес!» Он услышал,
 Какими б горькими слезами
 Перед толпой Он зарыдал.

Долго лежали во тьме товарищи по оружию, слушая себя и свое сердце.

— Чьи стихи-то? — подал голос Лахонин. — Мережковского? Так его вроде бы повесили или расстреляли?

— Не успели. Убег за границу. Мережковского я, брат, еще в академии читал, под одеялом. Между прочим, слова эти на музыку положены, великие певцы поют, и у наших кликуш руки коротки рот им заткнуть. Я, Пров Федорович, часто теперь стал вспоминать бога и божественное, да куцы мой познания в этой области.

— Чего же тогда обо мне говорить... Ох-хо-хо-о-о, как обезображена, искажена наша жизнь... — Лахонин нащупал папиросы на столе, закурил и вместе с дымом выдохнул: — А гвозди вбивать в руки и ноги Христа посланы были все-таки рабы. И на Страшном суде их командиры с полным основанием могут заявить, что не причастны к кровавому делу.

— Да, да! Во всех мемуарах почти все полководцы заявляют, что они прожили честную жизнь. Взять моего тезку, Александра Васильевича. Истаскала за собою по Европе, извел тучи русских мужиков, в Альпах их морозил, в чужих реках топил — и герой на все времена...

Снова слушали ночь и лес. Ночное небо самолетом потревожилось, зеленым огоньком его прочертило, где-то, не так уж и отдаленно, вроде как с испугу выстрелило орудие, далеко-далеко, словно в другом мире, безразлично прозвучал взрыв.

— М-да-а-а-а, воевать с такими мыслями...

— Оно и пню понятно, без мыслей всюду легче.

— Мысли, мысли да стишки до добра не доведут... Надо уснуть. Во что бы то ни стало уснуть. Завтра... Нет, уже сегодня рабо-о-о-о-оты-ы-ы!

— Мы уже все это называем работой! А что, вечный командир Пров Федорович, людишки наши немножко поучились в школах, пусть и замороченных, а вон уж какие вопросы задают. Немцы печатают листовки в расчете все на того сивобородого мужика, коих мой тезка по Европам волочил.

— Научим мы, научим и наших и ихних вояк на свою голову. Грамотный всегда норовит назад оборотиться.

— Персправа, переправа, — вздохнул Зарубин. — Нехорошие у меня предчувствия. Слушай, мы ж все-таки мужики военные. Ты, если что, Ксению-то...

— Ты мне это брось! — вскинулся Лахонин и отбросил скуроч. — Я тебе еще раз предлагаю...

— Нет, нет и нет! Вот рассветает, надо будет тебе и людям в глаза глядеть. Кто в полку останется? Пошлешь нового командира, он людей не знает, полк отдельный, норовистый. Я меньше людей подставлю. Надеюсь, меньше.

— Ах, уснуть бы!

— И усни.

— Уснешь с тобой.

Лахонин поднялся раньше Зарубина. «Пусть его!» — расслабленно подумал майор и снова уснул...

Увидел своего генерала Зарубин уже издали, когда тот вместе с командующим армией и многочисленной высокочиновной свитой объявился на берегу реки.

Поглядев в стереотрубы и бинокли на правый берег, коротко и важно о чем-то посоветовавшись, высокое начальство уехало, выполнив, как догадался Зарубин, важную миссию по дезориентации противника: дескать, именно здесь, в этой речной неудобии, в непроходимом почти месте, будет нанесен главный удар.

Капитан Щусь и Лешка Шестаков, его сюда приведший, сидели на розовато-бурых камнях на берегу, до самой воды устланном плитами и плитками того же цвета. Чем ближе к воде, тем острее и мельче раскрошен камешник, по урезу и вовсе в песок растертый. Чубчиками и полосками росла здесь осока, поджарая, шипуче-острая. Щусь в природе вообще не разбирался. Лешка же с пойменно-тихой реки родом и не догадывался, что камни эти — останки древних утесов, кои там, на дне реки, еще не стерты, и там, на дне, вода скоблится о гряды шиверов. На каменные подводные выступы веками натаскивало песок-курумшик, смывтую земельку с полей — и получился остров с тремя-четырьмя ветлами, росшими вширь с одного боку, с другого голо. Под ветлами вихрились кустарники, как бы подстриженные садовником. Растительность эту обгрыз, подровняла скот, зимние зайцы, дикие косули.

Под «своим», левым берегом меж островком и берегом протока обмелела, почти пересохла. Остров сплошь ископачен, растительность выедена до основания, только татарник да сорная полынь сорили семенем по воде. Жители прирезали или угнали скот

Странные вещи происходят на войне! Немцы, отступая, свалили столбы, поистрелили лодки, корыта, сожгли все, что называется деревом и может плавать, но загородь загона на островке почему-то цела.

«Та-ак, сказал бедняк, — отметил Щусь, — на безрыбье и это рыба». И еще раз прошелся стеклянными гляделками бинокля по реке. На приверхах между островками ширина не более двухсот—трехсот сажен, но течение стремительное и на стрелке бурливое. Место для переправы выбрали «толковые» ребята: самое узкое, самое удобное, — а на течение, на эти вот пенисто вьющиеся буруны и внимания не обратили, им-то здесь не плавать, они на карте стрелы рисуют, кому где плыть и куда высаживаться, — прокукарекано, а там хоть не светай!

Берег противника жид притаенно и почти мирно. Пропылит машина, займется дымок, сверкнет на солнце остроклювый шпилек церкви с искрящимся на солнце крестиком, спустится от заречной деревни подвода с повозкой — и снова все шито-крыто.

Щусь видел в бинокль гораздо подробней, чем Лешка своими раскосыми, полухантыйскими глазами. Деревни и хуторки угадывались по-за берегом земляным всхолмлением, от которого по оврагам и зеленым разломам уютно вилась петлями речушка. К ней подступали садики-огородики села Великие Криницы. Внизу кустялись, догорали кустарники, там и сям пробитые деревьями. В синей, едва различимой дали, за рыжим берегом, за холмами усталым бугаем лежала угрюмая седловина, почти голая, на карте означенная высотой под номером сто. По речке (на карте название — Черевинка) двигались, делая свои необходимые дела, военные, ловко сообщались со всем берегом через устья и вывалы оврагов, зевасто открытые в самое Великую реку.

За седловиной-горой угадывалась лесистая местность, желтыми волнами катила она к едва различимой мороси фруктовых садов. Угадывались хутора, от которых на склон седловины выскочили игрушечные хатки. Ближе к реке по скату прибавилось темных полос и пятен — то там, то тут новые траншеи, ходы сообщения.

Чем же, чем же все-таки прельстило наших стратегов это гиблое место? — ломал голову командир батальона. Безлюдностью? Глушью? Узкой водой? Островами? Нет и нет. Что-то есть тут, закавыка какая-то. Протоки у пологих островков, на каменистом месте, не очень глубоки и не вязки — острова и протоки, конечно, выгодно, но какой-то есть еще дальний

прицел? Левый берег реки на большом протяжении лесист, допустим, в расчет бралось, дубняки, клены, ясени-верболазы — при нужде и сырое на плоты пойдет; если сырое бревно спаровать с сухим — уже плотик, или, как в Сибири говорят, салик. В хуторке, пока еще не разобранный до конца, стоит рига с деревянными столбами, перекрытиями и крепкой, в замок увязанной, щелястой матицей — все сгодится, все в дело пойдет...

Солдатики весь день плюхались в реке, пробовали баловаться. Булдаков, взревев: «У бар бороды не бывает, усы!» — шумно ахнул в воду, трактором ее взбуровил, призывая воинство следовать его примеру. Васконян, зажав в горсти добришко, со страху, не иначе, сделавшееся сиреневого цвета, перебирал тощими ногами на камешнике, повизгивал и вдруг, бросив на произвол судьбы добро свое, ринулся к реке. Все члены его тела заболтались, как бы отделившись от костей, но в воду вошел он легко, без брызг и тесаным клином ходко поплыл, со щеки на щеку перекладывая лицо. Думая, что вояка этот тут же пустит пузыри, ко дну пойдет, народ восхищенно примолк. Вылезши на берег за мылом, Васконян охотно пояснил изумленной публике, что в детстве еще учился плавать, в бассейне, когда бывал в черноморских санаториях, а стиль, которым он сейчас пользовался, называется «бгасс». «Слава богу, хоть этот отчаюга не утонет!» — усмехнулся комбат.

Булдаков брэнчал от холода зубами, однако балаболит насчет сибиряков, которым холодная вода — родная стихия. «У нас в Анисее теплее и не бывает, — врал он напропалую. — Мы ишо в заберегах начинаем купаться и, покуль лед не станет, из воды не вылезаем».

Верный его спутник сержант Финифатьев, самый старший в первой роте, как всегда, внимал Булдакову с открытым ртом, все более и более поражаясь причудам его характера. Сам Финифатьев, намазавшись, стоял в воде чуть выше коленок и горсточками хватал воду, повторяя: «О-о-о, мамочка моя! Хоть вымыться перед смертью-то!..» «Каркай больше!» — орали на него.

Мылись солдатики, натирались, употребляя платки и какие-то тряпки вместо вехтя. Финифатьев надрал на берегу пучок оранжево-желтой осоки, тер ею спину Булдакова, и тот выл от боли и сладости — не грязь, вроде бы кожа черная сходила со спины. И другие солдатики начали тереть друг дружке спины травой, тоже завывая от облегчительной боли. Тела солдатские бледны. Вымывшись, шагают они по берегу боязно — любой камешек, корешок, даже соломинка больно колют изнеженные в обуви ноги.

Лешка тоже помылся и вопросительно глянул на Щуся. «Я потом, потом», — отмахнулся капитан. Не купался лишь Гриша Хохлак — его из ближайшего полевого госпиталя выписали на фронт со свишом. Из незакрытой раны белыми червячками выползали мелкие осколки костей и оборвыши лангеток. Сказали — скоро пройдет. Госпиталь же готовился к большому потоку раненых, так и говорили — потоку. Встретив своего соквартиранта по Осипову, Хохлак отчего-то засмутился, поднимаясь с камешника: «О-ой, Лешка!» Шестаков обнял давнего друга, по спине его похлопал. Но скоро Хохлак освоился, не чувствовал уже себя гостем среди солдат, что-то тоже выкрикивал, ковылял к воде, кому-то бросал обмылок, кому-то помогал натянуть на мокрое тело белье — снова среди своих ребятам, снова домой явился. А как он воссиял, когда Щусь сказал, что побывал в Осипове и что его, знатного баяниста, там помнят. Дора так вся иссохла по нему. «Я знаю, — потупился Хохлак, — мы переписываемся с нею. Редко, правда».

Сборище солдатское густело на берегу, ревело, брызгалось и выло от студеной воды. Враг не выдержал людской радости. Воду бело вспорол пулеметной очередью, сыпко защелкали по камням пули, взрикошетив, выбили пыль на речном спуске, берег быстренько обезлюдел, приподзвальный звук пулемета смел с него остатки людей.

— Булдаков! — окликнул Щусь самого большого специалиста в окружающем войске по всяческим хитроумным операциям. — Тебе задание —

занять ригу на окраине хутора, снести к ней все деревянное с острова и закопать. Снести и закопать, — отдельно повторил капитан, — все дерево со скотного загона. И никого! Никого! Я понятно говорю?

— Чего тут не понять, — отозвался Булдаков.

Бойцы, жаждущие разогрева после купания, побежали разбирать загородь на островке. В мирной жизни это деревянное барахло никакого значения не имело, но сейчас и обмылок земли, затопляемый веснами, и дерево, в него вкопанное, ох как много значили! Сто, где и полтора метра можно без горя идти до огрызанных тальников, прятаться в колючей дурнине — дальше, если память не потеряешь, шуруй на приверху, от нее, именно от нее бросайся в плывь на пониз по течению. Ухватишься за жалкие обрубки дерев, за бревешки, за доски от спиленного загона — и, если судьба тебя не оставила и господь бог не забыл, подхваченный струей, ты через каких-нибудь двадцать, может, и через пятнадцать минут окажешься на приверхе заречного острова, почти уже и под укрытием правобережного яра; далее ходом, ходом через протоку — и ноги сами вынесут тебя под навес яра, в развалистые ямы, в ущелья оврагов...

«Ах, как все славно! Какая угаданная дорога! Спланированные действия. Но немцы острова-то пристреляли, каждый метр берега огнем разметили, они всё и всех там смешают с сохлым коровьим говном и на песке замесят тесто из человеческого мяса».

— Шестаков, тебе будет особое задание. Тебе придется держать связь с родным батальоном и артиллеристами. С Зарубиным согласовано. Соображай! Крепко соображай, понял?!

— По-о-нял! — протянул Лешка и про себя уныло сбалагурил: «Чем дед бабу донял...»

— Переправляться, как всегда, на подручных плавсредствах, товарищ майор? — спросил Лешка у майора Зарубина, оставшись с ним вдвоем в штабном блиндаже.

— Да, как всегда, — сухо отозвался Зарубин.

— Ясно, товарищ майор! Кто на ту сторону?

— Я, вычислитель, командир отделения разведки Мансуров, один из комбатов, командир взвода управления дивизиона с группой прикрытия, ты и твой сменный.

— Он плавать не умеет, товарищ майор. Еще утром разучился.

— Многие разучились, но плыть придется... Ты где-нибудь форсировал водяной рубеж?

— Приток Дона, название не помню. И ерик один. Увяз, помню, в нем, едва выбрался на берег, а там в ежевичнике уж кишмя кишат, лягухи по берегам с лапоть величиной... Я как заору и обратно в ерик... Пузыри пускал уж. Ребята вытащили... (Майор пошевелил углом рта, улыбнулся.) На подручных средствах по такой реке — несерьезно, товарищ майор. Это не ерик.

Лешка прибыл в артиллерийский полк из госпиталя, где провалялся половину зимы с разбитой голенью правой ноги. После госпиталя, как водится, болтался по резервным частям и пересылкам и до того там дошел, что ни о чем уж не мог думать, кроме еды. В первую же ночь по прибытии в артполк, заступив на пост, нюхом резервного доходяги и бердского промысловика учуял он в хозяйственной машине съестное, запустил руку под брезент, нащупал мешок с сухарями. Долго не думая, складником распластал один мешок, добыл три крупно резанных сухаря и тут же принялся их грызть. Но и половины сухаря не изгрыз, как поднялась тревога. Ворюга был схвачен за ворот и отведен в штабной блиндаж.

Это уж вечно так. Где бы и когда бы Лешка ни попытался смухлевать или сжульничать — тут же и попадет. В школе, бывало, все курят, но как только дадут ему зобнуть — вот он, учитель! В двадцать первом полку, правда, малость напрактиковался, но забылся ж тот боевой опыт.

В штабной блиндаж он шел покорно и только на свету обнаружил, что за ворот его, как кутенка, вел маленький человечек в гимнастерке до колен, зато с большим чином — начальник политотдела дивизии. Во влип! Вечером Мусенок проводил то ли партсобрание, то ли политбеседу в полку. На Лешкину беду, шофер Мусенка, разгильдяй Брыкин, угнал «газушку» в техосмотр и не вернулся к сроку. Мусенок задержался в полку допоздна и определился спать в хозяйственной машине. Спал он чутким сном пугливого тыловики, попавшего на передок, и слышал, как хрустит что-то под ним. Подумал, враг тут орудует, хотел закричать, но догадался, что немцы за сухарями к русским едва ли полезут, и с ликующим облегчением изловил злодея. Лешка вознамерился поддеть на кумпол человечка, как Зеленцов когда-то поддел капитана Дубельта, но план осуществить не успел, увидев погоны со звездами.

Майор Зарубин и начальник штаба Понайотов спросонья долго не могли уяснить, отчего разбушевался политический начальник. Когда поняли, Понайотов сразу начал зевать, на соломенную постель обратно полез, буркнув: «Стоило будить!» Майор Зарубин не имел права лезть на постель обратно, хозяин, отец-командир, терпеливо слушал он Мусенка. Да за такое дело не только перед строем надобно злодея поставить и дать возможность коллективу строго его осудить, но при повторении подобного — и под трибунал его, голубчика, подвести, чтоб другим неповадно было... «Ну, это уж слишком», — морщился майор. Стащив шинель с постели, набросил ее на себя — сейчас Мусенок начнет говорить о голодном тыле, работающем дни и ночи, о матерях и женах, отдающих последние крошки фронту, не щадящих себя ради победы...

Зарубина долил сон. Понайотову не спалось. Хмурясь, он свернул сигарку из легкого табака, приткнулся к коптилке и, пригнув затяжкой огонек, уже внимательней присмотрелся к новенькому солдату, безропотно выслушивающему воспитательную проповедь. Тощенский, косолапый солдат в мешковато осевшем на нем, ветхом обмундировании стоял, переместив тяжесть на здоровую ногу, крепко сжав в руке целый и надгрызенный сухари. И Понайотов и майор догадывались: солдат этот думает только об одном — отымут в конце беседы у него сухари или не отымут. Понайотов, почесываясь, ухмылялся, слушая Мусенка, нервно бегающего по блиндажу: два шага вперед, два шага назад. Махонький человечек, тем не менее катил огромные булыжины слов насчет законов советского общества, про долг каждого советского гражданина, про исторический этап.

Между тем солдатик, к полному удовольствию Понайотова, изловчился и разика два уже куснул от волглого сухаря, и когда, бегая, Мусенок оказывался к нему спиной, торопливо безо всякого звука жевал. «Во умелец! Во ловкач!» — восхитился начальник штаба, дернув за рукав шинели Зарубина. Крепенький, бойкий парень был, когда прибыл в резервный полк, а из него доходягу сделали. Майор поражался, и не раз, тому, как парней, взятых в армию из деревень, от рабочих станков, с фабрик и заводов, подвижных, крепких, сообразительных, в запасных полках за два-три месяца доводили до полной некондиционности, ветром их шатало, тупели они так, что и ту боевую подготовку, которую получали в школьных военных кружках, совершенно забывали. Не одна неделя потребуется, чтобы вернуть бойцу его собственный облик, чтоб он воевал и сам соображал, как надо лучше делать работу, чтоб не ждал указаний по каждому пустяку, не заглядывал бы в рот командиру и не мел хвостом перед ним: не щенок все-таки — воин. Сейчас Мусенок хоть заговоришь, хоть какие слова трать, солдат ничего не слышит, потому как чует сухари в потной руке.

— Что это такое? — перекрывая голос Мусенка, заорал вдруг майор так, что вычислитель Корнилаев, квартировавший вместе с командирами, подскочил с постели и зарпортовал:

— Репера пристреляны! Репера пристреляны!

Мусенок споткнулся на полуслове, постоял среди блиндажа и упятился в темноту. Зарубин взял со столика котелок, поболтал и бросил раздраженно:

— С супом сухари доешь. Затопи печку и ложись.

Пока укладывался, шурша соломой, в углу, все поглядывал на солдатика. Слыша, как Мусенок блажит возле блиндажа, Понайотов, ухмыляясь, громко подхватил:

— Будете наказаны! Строго!

Едва негодующий Мусенок удалился, Понайотов, стучая себя по лбу кулаком, произнес:

— Сон нарушил, идиот!

— Никого не надо вызывать, — пояснил майор из-под шинели. — Как там тебя?

— Шестаков.

— В порядке наказания подмените телефониста, потом на кухню — отъедаться... И что это, ей-богу, такое, чуть что — воровать.

— Социалистическое добро нерушимо, — снова засыпая, насмеялся Понайотов, но майор его уже не слышал.

А Лешка, надев привычные вязки от трубок телефонов, метал ложкой супчик, стараясь не брэнчать котелком.

Кухня надоела Лешке быстро, не работа — каторга, да и крепче он себя почувствовал, головокружения прекратились, искры из глаз перестали сыпаться, шум в ушах приутих. Явился на наблюдательный пункт к майору уже человек человеком: ботинки зашнурованы не через раз, обмотки плотно, даже форсисто сидят на голеньях, гимнастерка постирана и с подворотничком, туго подпоясан боец, на груди боевой орден и значок гвардейский краснеют, медаль блестит.

— Ну вот и славно! Вот и хорошо! — Зарубин знал, что боец этот будет верный и преданный делу. Если бы его тогда дать Мусенку схарчить, засрамил, чего доброго, и засудил бы человека. — Вроде бы и на гражданке связистом были?

— Да, товарищ майор.

— Поэтому к Шусю не отпускаю. У меня связистов не хватает. Не больше-то на эту должность стремятся.

Скоро майор выделил Лешку: проворен парень, слух хорош, память острая. Посадил его рядом с собой на телефон в штабе полка. Понайотов, работающий на планшете, протянул портсигар — дескать, из дружеского расположения. Лешка помотал головой:

— Не курю. Мать за меня накурилась.

— Отцепите орден. И медаль тоже отцепите. Бумаги какие, книжку красноармейскую — все здесь оставьте, — приказал Понайотов.

— Хорошо.

— И вот что, Шестаков, — вступил в разговор Зарубин. — Если мы доберемся до того берега без связи — толку от нас никакого. Стрелять без связи мы еще не научились. А радиосвязь наша... Э-эх! Да и радист-паникер утонет и рацию утопит.

— Товарищ майор, опыт в таких делах — какой опыт? На севере я вырос. С детства на воде. Вот и посоветую: как и во всяком трудном деле, понадежней людей подберите, пусть теплое белье с себя снимут, но не бросают, сдадут пусть старшине. Так. Сапоги и ботинки тоже надо снять. Но как без обуви воевать? Прямо не знаю. Вы, товарищ майор, диагональную гимнастерку смените: намокнет — рукой не взмахнете... Всего не предусмотришь, товарищ майор. В кашу, главное, не лезьте, товарищ майор, — схватят, на дно утянут.

— А вы что ж...

— Мне, товарищ майор, придется отдельно от вас. Со связью надо отдельно.

— Делайте как лучше.

— И машину мне надо.

— Зачем? — уставился Понайотов.

— Лодку надо раздобыть. Подручные средства — это несерьезно. Река большая. Вода осенняя. Катушку со связью можно использовать вместо кирпича на шее.

— А если лодки не будет? — построжал Зарубин.

— Тогда безнадежно.

— Ну а другие? Другие части как же на подручных собираются? — спросил Понайотов, пристально глядя на солдата.

— Они погибнут, товарищ капитан. Доберется до цели самая малость. Кто везучий да кто ничего не понимает. Только сдуру можно одолеть такую ширь на палатке, набитой сеном, или на полене. Памятки солдату и инструкции о преодолении водных преград я читал — их сочинили люди, которые в воду не полезут. Ничего не выйдет по инструкциям. Ну, я пошел. К вечеру, может, управлюсь.

— Давайте, Шестаков, давайте...

В голосе майора сквозило смятение. Многие, и он тоже, не до конца сознавали серьезность операции. Правый берег так близок, день такой мирный, задание такое простое: переправиться, закрепить, прикрыть огнем пехоту...

По берегу реки, по уже прореженным военной ордой лесам и кустарникам рассредоточилась туча людей, но плавсредств почти не видно. Снова надежда на авось, на находчивость и храбрость людей, на их неиссякаемую самоотверженность; заместитель командующего армией — хиленький такой, с детства заморенный мужичок, с детства ненавидящий «сплататоров», потому что они его угнетали, выдвинувшийся из полевых командиров, — бахвалился тем, как он своей дивизией брал город Истру, одержав первую блистательную победу под Москвой. Сталин щедро награждал оставшихся в живых спасителей, дивизия была названа Истринской, на груди рассказчика два ряда орденов, медалей и поверх багрового иконостаса Золотая Звезда с уже потускневшей красной колодочкой.

«По горло в воде Истру переходили, меж разбитого льда двигались, которые бойцы на льдинах ровно на плотках плыли. Изрядно ребятушек погибло, изря-адно». «Но ведь Истра рядом с Москвой — столбы вдоль дорог сухие, в деревнях избы деревянные, заборы, хлева, в Москве лесозаводы — всюду лес, плахи, пиломатериал на стройках». «А кто мне время на подготовку отпустил? — сердился новоиспеченный полководец. — Кто прямо с эшелону в бой кидал?»

В лесу шуршали пилы, смертно скрипя и охая, валялись деревья. Бойцы таскали бревешки в укрытия, связывали их попарно старыми проводами, веревками и даже обмотками. Будь дерево сухое — такой вот легкий плотик надежной бы опорой на воде стал. Но сухого сплаvmатериала пока нет. Были загоны на островке, но их орлы из батальона Щуся перетаскали в ригу, укрыли, намалевали на подпиленных столбах череп и кости. Кто-то из весельчаков-хохлов крупно написал: «Не чипай, бо ибане!»

Кружилась и кружилась словно бы в маетном, заколдованном сне «рама» над рекой, над берегом, над лесом, залетала в тылы. Там по ней лупили зенитки, усыпая чистое осеннее небо барашками веселых облачков-взрывов. Завтра с утра пораньше жди небесных гостей. Наземные же огневые средства противника как молчали, так и молчат. А славяне и рады нечаянному осеннему миру, шлятся толпами, повсюду кухни дымят, кино вечерами показывают, прямо на воздухе. Прибывший из госпиталя боец Хохлак из щусевского батальона баян развернул, играет раздольно, красиво, вокруг него уже пары топчутся, откуда-то и девушки возникли, нарахват идут.

Хватился Зарубин проверить наблюдательные пункты (поручено разведчикам непрерывно смотреть за реку, засекают скопления противника, огневые точки), явился на наблюдательный пункт полка — там ни коман-

дира отделения Мансурова, хорошего, но кавалеристого человека, нету, ни телефониста, один наблюдатель остался, да и тот в глубокой, прогретой щели уютно дремлет, примотав стереотрубу проволокой к ноге, чтоб не украли.

По хуторам, по окрестным деревням рыскают бригады мародеров, гробут из погребов и ям картофель, кукурузу, подсолнечник — что подвернется. Днями бойцы-молодцы из соседнего полка завалили в ближнем селе свиноматку редкостной породы, голову, кишки и прочее выкинули, ноги связали, жердь продернули — прут тушу килограммов на двести—триста «домой». И попались. Строгий партвоспитатель Мусенок настаивает — двоих мародеров на виду у войска расстрелять для примера, но кончится это штрафной ротой, которая где-то на подходе или уже подошла.

Еще когда ехали к реке, Лешка верстах в двух от берега заметил обмелевшую, кугой заросшую бочажину. Бочажина была кошена по берегам и на скатах. В самой бочажине все смято, полосы поперек и наискось по черной траве. Осока объедена, в заливчиках под зеленью кустов — живучий стрелolist и гречевник, среди смородины и краснотала — обмыленные листья кувшинок. Над кустами подбойно темнели черемушник, ольховник, мелколистый вяз и вербач. Все это чернолесье, стоявшее вторым этажом, завешано нитями плакучего ивняка, повилики и опутано сонной паутиной. Топорщится можжевельник, навечно запомнившийся Лешке еще по ерику, где клубились ужи, очень даже могло быть, что и эти кущи тоже набиты змеями. Укрывали прибрежные заросли когда-то красивое потайное озеро-старицу, летами расцвеченное белыми лилиями. Возле таких озер-стариц всегда обитает и скромно кормится нехитрой полусонной рыбешкой какой-нибудь замшелый дедок, воспетый в стихах и балладах как существо колдовское, но отзывчивое, бескорыстное, хотя и совершенно бедное. У дедка такого обязательно водится такой же, как он, замшелый древний челн. Колдун прячет его в кустах от ребятни и забредающих в тенек парочек, от веку любящих кататься на лодках, выдирать из воды лилии, чтобы, полюбовавшись ими, в лодке и забыть их, потому как у парочек собирание цветов — лишь красивая заправка перед делами более интересными.

Обской парнечок-дождевичок Лешка Шестаков в жизни, может, еще и не разбирался, но природу знал. Продираясь сквозь густые кущи, из которых все время что-то взлетало, шуршало, уползало, замирал он от страха, боясь змей и вепрей, — более, говорят, на этой земле ничего злого никогда не водилось. Разом открылась ему тенистая, пахнувшая гнильем старица, по узкому лезвию которой беспечно плавал и кормился табунок уток-чирушек. Лешка схватился за автомат, но утки, всплеснув крыльями, снялись с воды, взмыли над сомкнутыми кущами и, уронив пригоршню легкого листа, исчезли с глаз.

Лешка надеялся, что в кустах он сыщет тропинку, по ней и лодчонку, благословясь, откроеет. Но тропинок на берегу старицы было много, чудных тропинок, ребристых, истолченных копытцами какой-то жирующей здесь скотины. «Вепрь, — вспомнил Лешка, — дикая свинья, здесь бродит» — и в самом деле чуть не наступил на захрюкавшего кабана. Лешка от неожиданности вскрикнул. На Нижней Оби вепрей сроду не бывало, там и свиней-то не держали, потому как холодно, только оленю, коню да корове там место, да и то невзыскательным к корму, особой, морозоустойчивой породы.

Лодки не было нигде. Лешка все больше и больше мрачнел. В деревьях ничего не найти — немцы народ дотошный. Неужели и сюда их черти заносили? Вспугнув большую серую сову и еще несколько табунков уток, Лешка уже подходил к разветвленной оконечности старицы, когда дорогу ему хозяйски преградил могучий хряк. От природы черный, он был еще и в насохлой на нем грязище, стоял и вроде как бы раздумывал, отступить

ему или порешить солдатика. Глазки хряка смолисто заблестели, красненько вспыхнули, хряк борцески хукнул.

— Ты че? — закричал Лешка, поднимая затвор автомата. — Изрещечу-у, кривое рыло!

Хурк! — грозно откликнулся кабан.

— Уходи с дороги, морда! — не своим голосом взревел Лешка и дал очередь в небо, срезав пулями ветки.

Лесные дебри поглотили животину. Тропа, по которой он удрал, вывела солдата к отводке старицы, зверина хватанул по отмели, утопая по пузо в грязи. Канава, желто дыша и пузырясь, наполнялась плесневелой жижей. В отдалении, смывая осоку, лежал и блаженствовал в грязной жиже еще один кабан, поблескивая осклизлым брюхом. Отчего-то кабан этот не ударился в бега за отступающим хряком. Лешка выловил ольховую палку, потыкал в недвижимое тело и ссохшимся голосом произнес:

— Лодка!

По заломленным веточкам, по едва примятым, травую схваченным следам он сыскал под низкой обрубленной вербой два старых осиновых весла, ржавое гнущее ведро, в дупле вербы обнаружил трухлую, источенную мышами сетчонку и вентерь.

— Помер, видно, дедок-то. А может, убили? — вздохнул Лешка.

Сняв одежду, ежась от сырого, в затени застоявшегося холода, увязая в жидкой грязи, которая была теплее воды, чтобы не бояться студеного, сразу за осокой присел по грудь, как это делали ребятишки, «согревая воду» в Оби, тут же поплавав выпрыгнул, громко ругаясь — никто ж не слышит, — перевернул и скорее повел лодку к мелкому месту. Житель Севера, привыкший к ледяному от вечной мерзлоты дну, обрадовался теплой тине, овчиной обьявшей ноги, от ласковой щекотки шевелил пальцами. Душная серая муть с клубами густой сажки тянулась за тяжелой лодкой-корытом, по следу ее вспархивали и, чмокая, лопались пузыри. Пахло сгоревшим толом, общественным нужником. Гнилые водоросли оплетали ноги. Отгоняя от себя омерзение, навечно уже приобретенное им в южном ерике, отгоняя страх, Лешка вдруг натужно заорал перенятую у Булдакова песню:

А умирать нам р-р-ранозато-о,
Пусть помрет лучше дома ж-жана-а-а-а!..

Артельно заташили сорящую гнилью лодку в кузов машины, привезли ее на окраину хутора, укрыли все в той же риге, которая с каждым часом обнажалась ребрами, будто старая кляча, — растаскивалась слежавшаяся, оплесневелая солома: ею славяне укрывали деревянный разобранный костяк риги. Возле бесценного судна часовым стал сам хозяин — Шестаков, точнее, не стал, а лег, набив корыто картофельной ботвой, сверху набросав соломы. Вокруг лодки скрадывающей, охотничьей поступью запохаживал Леха Булдаков, напевая: «У бар бороды не бывает», напряженно соображая, куда, кому и за сколько сбыть добытую однополчанином посудину. Лешка поднес к квадратному рылу Булдакова кулак, отгоняя добытчика от своего объекта. Потратив на конопатку дряхлой посуды старую солдатскую телогрейку, паклю, где-то раздобытую бойцами, старые портянки, Лешка удрученно глядел на диковинное плавсредство. Сев в лодку, попытался ее раскатать — посудина слабо простонала, из шпангоутов червяками полезли ржавые гвозди, уключины потекли ржавчиной. Но и это тупозадое, убогое сооружение, слепленное из двух досок по бортам и двух осиновых плах, кроме Булдакова, пытались сцапать какие-то дикие саперы в латаных штанах. Бумагу-документ показывали — «из штаба», имеют, мол, полномочия изымать любые плавсредства. Налетел усатый фельдфебель, брызгая слюной, дергая искривленной шеей, требовал немедленно сдать лодку какой-то спецчасти со многими номерами. Лешка отозвал в сторону представителя спецчасти и, поозиравшись, на ухо, чтобы никто не слышал, шепнул, показывая в сторону леса:

— Там по старицам лодок навалом! Кройте! А то все расхватают!..

Боясь шибко тревожить посудину по деревянным покатам, оттащили ее подальше от греха — за гряды камней, проросших шиповником и жалицей, выбрав середину камней, запихали в ухоронку, сверху замаскировали осокорь и кустами. Лешка никуда не отлучался от своего агрегата, готовил с солдатиками катушки со связью, изолировал узлы, вязал подвесы, смазывал солидолом ходовую часть катушек, перебрал до винтика телефонный аппарат.

Коля Рындин по благу отвалил с кухни удачливому человеку полный котелок рисовой каши с мясом. Привалившись к камням, Лешка заглатывал солдатскую пищу, почти не чувствуя ее вкуса, и не понимал: наелся он или еще хочет есть? Приходил Зарубин, порадовался приобретению, похвалил за находчивость солдат, шуганул начальника связи Одинца: мол, одни только катушки на уме, а кто о рациях позаботится?

По ту сторону Великой реки тоже готовились к встрече. Дороги по седловине и за седловиной пылили густо — двигались войска на передовую, окапывались в желтых полях, в серых и желтых прибрежных пустошах. Все гуще перепутывались меж собой нити траншей, окопов, ходов сообщения, углублялся ров, опоясавший все побережье, седловина и ниже ее темнеющие косолобки сдлаались пятнистыми — исколупали немцы побережье, оборудуя огневые позиции, наблюдательные, командные пункты и всякие другие необходимые фронту заведения. Среди изборожденной земельной глушины еще нарядней засветилась пойма речушки Черевинки — осень все настойчивей, все ближе подступала к Великой реке, нежила мир божий солнцезарностью бабьего лета.

Пыль, непряденой куделью мотающаяся по земле, расползалась над берегом, тучками катила к воде, и по-над рекою что-то искрилось, вспыхивало, золотилось. Солнце, применительно к нижнеобскому лету, в полдень пекло почти по-июльски. Лешка разулся, распоясался, похаживал босиком. Ноги, как и у всех давно воюющих людей, в обуви сдлаались бумажно-белы, ступни боялись даже сенной трухи.

Низко, нахраписто пронеслась пара «фокков», взмыв над Лешкиной головой, разворачиваясь за хутором, всхрапнули и, прижавшись к самой воде, прячась от ударивших пулеметов, малокалиберных зениток «дай-дай!», улетели куда-то. Со старицы заполошно вдогон раз-другой лупанули зенитки покрупнее и тут же конфузливо заткнулись.

«Интересно, Обь у нас стала или еще только забереги на ней?» — лежа на пересошей, ломающейся осоке, Лешка заставлял себя вспоминать, как об эту пору глушили шурышкарские парнишки налимов по светло замерзшим мелким сорам, как лед шелкал и звенел у них под ногами, белыми молниями посверкивая вдоль и поперек. Оставив подо льдом мутное, на зенитный взрыв похожее облачко, металась рыба меж льдом и илистым дном. Гонясь за рыбой, пареваны входили в такой азарт, что и промоин не замечали, рупились в них.

— Эй, вояка! Ты не знаешь, где тут наша кухня? — прервали Лешкины размышления два коренастых мужика, потных от окопной работы, на ботинках — земля, обмотки и руки грязные.

— Где наша — знаю, а вот где ваша — не знаю. Наверно, там, — показал он опять же в сторону старицы. — Там кухню густо сбилось.

— Ну дак спасибо тогда, — сказали бойцы и, побрякивая котелками, двинулись дальше.

Провожая взглядом этих двух бойцов в выбеленных на спинах гимнастерках, в пилотках, осевших до половины головы и как бы пропитанных автотом — свежий пот; выше пот уже подсушило, и пилотки от соли как бы в белой ломкой изморози, — Лешка вдруг остро затосковал. Изработанный, усталый вид этих бойцов с засмоленными шеями, мирно идущих по скошенному полю, на которм начали всходить по второму разу бледные цветы клевера, сурепки и курослепа, обратил его в тревогу, или что другое

зашекотало под сердцем, и когда солдаты спустились в балку, размолотую гусеницами и колесами он отрешенно вздохнул: «Убьют ведь скоро мужиков-то этих...»

Почему, отчего их убьют, Лешка объяснить не смог бы, да и не хотел ничего объяснять. Он упорно стремился еще раз вернуться памятью на Обь, побегать по заберегам, погоняться за стремительной рыбой, но в это время из-за реки опять выскочили те два шальных истребителя, пронеслись над хутором, обстреливая его из пулеметов. Зенитчики на этот раз не проспали, забабхали густо. Народ из хутора сыпанул кто куда. Лешка залез в камень и, когда затих гул самолетов и унялись зенитки, вылезать на свет не стал: «Уснуть надо. Обязательно уснуть — время скорее пройдет, сообразать лучше буду».

Испытанный тайгой и промысловой работой, он умел собою управлять и был еще здоров, не размичкан войною настолько, чтобы не владеть своим телом и разумом. «Надо будет утром написать домой письмо», — решил Лешка. Следующей ночью, подсказывало ему сердце, начнется переправа и будет не до писем.

Не один Лешка Шестаков был откован войною и обладал даром, предсказывающим грядущие события, несчастья, боль и гибель. Побывавшие в боях и крупных переделках бойцы и командиры без объявления приказа знали: скоро, скорей всего уже следующей ночью, начнется переправа, или, как ее в газетках и политбеседах называют, — битва за реку.

Отдохнувшим людям не спалось, собирались вместе — покурить, тихо, не тревожа ночь, беседовали о том о сем, но больше молчали, глядя в ту невозмутимо мерцающую звездами высь, где все было на месте, как сотню и тысячу лет назад. И будет на месте еще тысячи и тысячи лет, когда отлетит живой дух с земли и память человеческая иссякнет, затеряется в пространствах мироздания.

Ашот Васконян днем написал длинное письмо родителям, давая понять тоном и строем письма, что скорее всего это его последнее письмо с фронта. Он редко баловал родителей письмами, он за что-то был сердит на них, или скорее отчужден, и чем ближе сходилась с так называемой боевой семьей, с этими Лешками, Гришками, Петями и Васями, тем чужей становились ему мать с отцом. У других вроде было все наоборот, вон даже Лешка Шестаков о своей непутевой матери рассказывает со всепрощающим юмором, о сестрицах же и вовсе воркует с такой нежностью, что на глаза навертываются слезы. В особенности же возросло и приумножилось солдатское внимание к зазнобам — много ли, мало ли довелось погулять человеку, но напор его чувств с каждым днем, с каждым письмом возрастал и возрастал. Ошеломленная тем напором девушка в ответных письмах начинала клясться в вечной верности и твердости чувств. Да вот зазнобы-то имелись далеко не у всех, тогда бойцы изливались нежностью в письмах к заочницам.

Васконян Ашот начинал понимать: люди на войне не только работали, бились с врагом и умирали в боях, они тут жили собственной фронтовой жизнью, той жизнью, в которую их погрузила судьба, и, говоря философски, ничто человеческое человеку не чуждо и здесь, на краю земного существования, в этом вроде бы безликом, на смерть идущем сером скопище. Но серое скопище, в одинаковой одежде, с одинаковой жизнью и целью, однородно до тех пор, пока не вступишь с ним в соприкосновение. В бою начинает выявляться характер и облик каждого отдельного человека, здесь, здесь, в огне, под пулями, где сам человек спасает себя от смерти, борется, хитрит, ловчит остаться живым, уничтожая другого человека, так называемого врага, все и выступает наружу. «Война и тайга — самая верная проверка человеку», — говорят однополчане-сибиряки. Васконян в боях бывал мало, но все же пороку понюхал. С самого сибирского полка Алексей Донатович Щусь опекает его, заталкивает куда-нибудь подальше

от передовой. Как это Алексей Донатович, опытный армейский человек, не поймет, что только здесь, среди своих ребят, Васконяну место, здесь он — дома. Никогда у него не было ни товарищей, ни друзей, родители раздражали его своей навязчивой опекой, и вот его отдают и отдают от ребят, он же их до трепета, до стога в сердце любит, ради них и умереть готов, на переправу напросился, показав комбату Щусю и всем друзьям-товарищам, какой он лихой и умелый пловец, нырнув в студеную реку, насморк добыл, но уж зато класс выдал! «Ну и черт с тобой!» — махнул рукой Щусь.

Пока Васконян ошивался в штабе, в хитром агитотделе, пока ждал решения своей судьбы, утоляя книжную жажду, поначитался он всякой всячины. Наместник Гитлера в России Розенберг, как и остальное гитлеровское охвостье, заранее уверенное в полной победе над большевизмом, совершенно откровенно и цинично писал о том, что война, если она затянется, может продлиться лишь в том случае, если немецкую армию полностью будет снабжать Россия. «Отобрав у этой страны все необходимое, мы обречем многие миллионы людей на голод и вымирание, но иного выхода из положения нет».

Васконян глядел на ночное небо, на звезды и думал о том, что под этим невозмутимым, вечным и незащищенным небом составляли эти дьявольские планы маленькие смертные человечки, присвоившие себе право повелевать миром по своему разуму и усмотрению, и что у них, что и у нас все делается во имя своего народа, доподлинной гуманности и справедливости.

В то время как Ашот Васконян, глядя в ночное небо, вдали рассекаемое прожекторами, то и дело прошиваемое трассирующими пулями или зелеными огоньками самолетов, тревожился вечными вопросами, комбат Щусь, сидя на валуне, хорошо греющем зад накопленным за день теплом, еще и еще прикидывал, как, когда и где легче перемахнуть водное пространство, прорваться за реку и выполнить боевую задачу, при этом как можно меньше стравив людей. Пополнение в полк и батальон прибыло незначительное и больше «колупай с братом», как определил острослов Булдаков, — раненные по второму, кто и по третьему разу, из госпиталей, какие-то унылые белобилетники, долго и ловко ошивавшиеся в тылу, да выводок солдат уже двадцать пятого года, необстрелянных, заморенных, не понимающих опасности, на них надвигающейся.

Старшие годки, еще недавно шалившие в казармах и шерудившие в сидорах новобранцев, впали в принцип. Изображая из себя честных и неподкупных людей, били морды пойманым с поличным новичкам, учили салаг честности. Оно и хорошо, что поучили: пакостить на фронте, в своем подразделении — распоследнее дело, и если орлы из пополнения не сразу это сообразят и солдатской суровой науки не поймут, дело их — безнадежно. Тут, на войне, спайка — одно из главных условий выживания, спайка и круговая порука. Вон они, орлы-осиповцы, как на сельских работах сдружились, так рука об руку и в бои вступили — ни одного своего раненого не бросили, без еды и угрева никого не оставят. Они и за реку поплывут с надеждой, что товарищество поможет им, спасет в любом опасном деле.

Река в ночи была покойна, отчужденно поблескивала сталистой твердью на стрежне, под правым, высоким берегом могильно чернела. Но когда там, на другом берегу, взлетала осветительная ракета и, соря огненными ошметками и искрами, звездой мерцающая, описывала дугу, овражистый правый берег бело и недвижно выступал на минуту, полоскал черный подол в воде, обозначал какие-то предметы, днем незаметные из-за широкого пространства: то камень с плешивой макушкой и уснувшую на нем чайку, то кустик бузины и тальника на том месте, где их днем не было видно.

«Точка! Замаскирована пулеметная точка, — отмечал комбат. — Укрепляется немец, ждет, себя же этой маскировкой и выдает...» Когда отдален-

ный свет ракеты достигал шиверов, воду тревожило и морщило, в неспокойно ворочающемся стрежне реки желтый свет ракеты переливался всеми цветами радуги, двоился, троился, скручивался спиральями. Тревожилось сердце комбата — свет ракеты хорошо, как в зеркале, отражался в глубине реки, выявлял стрелу ее — на этой-то стреле, в заманчиво блистающем зраке, больше всего и погибнет народу.

Днем на оперативном совещании, где присутствовали работники штаба корпуса и дивизии, разрабатывалась и утверждалась так называемая диспозиция, план переправы через реку, и на этом-то совещании-инструктаже окончательно выяснилось: плавсредств мало, ничтожно мало, ждать же, когда их изладят да подвезут, недосуг, момент внезапности и без того упущен, противник спешно укрепляется на правом берегу, надо начинать операцию, и... помогай нам бог. Непременный, всюду и везде с пламенным словом наготове присутствующий на совещании начальник политотдела дивизии Мусенок тут же выдал поправку: «Наш бог — товарищ Сталин. С его именем...» Как всегда, слушая говоруна, командный состав морщился, отворачивался, сопел, но терпеливо впитывал назидания. Чуть ли не полчаса молотил языком Мусенок. Командир стрелкового полка Авдей Кондратьевич Бескапустин сердито сорил трубкою искры, ворчал себе под нос о том, что работы по горло, времени в обрез, но трепло это неумное знать ничего не хочет...

Грузноватый от годов и тела, добродушный и в чем-то даже застенчивый, Авдей Кондратьевич настолько был раздосадован и раздражен, что пнул часового, уютно заснувшего на крыльце хаты, в которой располагался штаб полка. Такой же, как и его отец-командир, пожилой, малоповоротливый ординарец заварил чаю в ведерный чайник, поставил его на стол, сгрудил кружки, зачерпнул котелком сахару из вещмешка. Собранный в штаб комсостав чаю обрадовался. Каждый сам себе насыпал в кружку сахару. Пришли майор Зарубин с Понойотовым, пили со вкусом чай, сосредоточенно молчали. Полковник Бескапустин, переобувшийся в старые, аккуратно подшитые валенки — у него ревматизмом корежило ноги, — время от времени громко отпыхивался и ровно бы самому себе бубнил: «Н-ну!.. Когда этот говорильный автомат изломается?!»

Ординарец снова подвесил наполненный чайник на притухший костер. Бескапустин обвел вопрошающим взглядом своих командиров.

— Ну, что скажете, орлы мои — художники?

«Художники», уже нанюхавшиеся пороху, не по разу битые и раненные, высказывали общее мнение: надеяться приходится снова на себя, только на себя и на свою сообразительность да на поддержку артиллерии.

— Все правильно, все правильно, — подтвердил командир полка, — артиллерии на берегу сосредоточено много, и еще обещают, — но наступать-то, воевать-то нам...

Полковник Бескапустин дал задание: первым, еще до начала артподготовки, на правый берег должен уйти взвод разведки. Ничего он там, конечно, не разведает — немцы прижмут его на берегу и перебьют. Но пока этот взвод смертников, которого хватит ненадолго, отвлекает противника, первому батальону с приданной ему боевой группой уже во время артподготовки нужно будет досрочно начинать переправу. Достигши правого берега, без надобности в бой не вступать, а по оврагам продвигаться в глубь обороны противника, по возможности скрытно, рассредоточенно, не привлекая к себе внимания. К утру, когда переправятся основные силы корпуса, батальон должен вступить в бой, но уже в глубине обороны немцев, в районе высоты сто. Рота из полка Сыроватко под командой старшего лейтенанта Оськина по прозванию Горный Бедняк (за столом приподнялся, качнув головой, стриженной под бокс, довольно щегольской офицер и всем сразу приветливо улыбнулся), — рота Оськина прикроет и поддержит батальон капитана Щуся. Все это должно происходить в районе заречного

острова, с него по мелкой протоке — вперед и только вперед, под укрытие яра и сразу во тьму оврагов.

На левобережном острове не прохладиться, не толпиться — он, конечно же, хорошо пристрелян, сюда немцы обрушат главный огонь. Другие батальоны и роты начнут переправляться на правом фланге, с прицелом на устье речки Черевинки, чтобы рассредоточить огонь противника, создать впечатление широкого наступления. Артиллеристам задание одно — обеспечить огневой поддержкой стрелковые подразделения. К утру на плацдарм должны переправиться представители авиации, гвардейских минометов и нашей вечной палочки-выручалочки — бригады номер девять.

Из-за стола поднялся и дал себя рассмотреть на полковника Бескапутина похожий, чуть моложе его годами, полковник Годик Кондратий Алексеевич — командир девятой гаубичной бригады, с самой Ахтырки так и следующей за гвардейской стрелковой дивизией и в конце концов отпущенной из резерва главного командования РККА в полное распоряжение корпуса генерала Лахонина.

РККА, конечно, звучит весомо и красиво, но для тех, кто в частях этих не воевал. Давно, еще с первых великих пятилеток, в Стране Советов заведено: бросать на строительство, на прорывы и, чаще всего, на уборку тучного урожая людей и технику из разных краев и областей страны. И что? Будет начальник строительства, директор комбината или колхозишко «Заветы Ильича» жалеть технику и людей, приехавших изчужа? Да он их в самое пекло, в самую неудобь пошлет, дыры затыкать ими станет.

То же самое и с резервом Главного Командования — только они поступят в распоряжение армий, корпусов, дивизий, как начинают их мотать, таскать по фронту, заслоняться ими, латать ими фронтовые прорехи. Кормежка же, награды и поощрения, все, вплоть до мыла в бане, — после своих родимых частей. Ту же девятку взять с ее гаубицами образца девятьсот второго — восьмого — тридцатого года. Девятьсот второй год — дата рождения, восьмой и тридцатый — даты модернизации орудия. Так вот эти гаубицы, переставленные на современный ход и сделавшиеся более маневренными, загоняли по фронту, беспрестанно держали на прямой наводке, хотя ставить орудия, у которых для первого выстрела ствол по люльке накатывался вручную и снаряд до сих пор досылался в казенник стародавним банником, можно было только по недоразумению й по нежеланию дорожить чужим добром. Но в предстоящих боях в этом холмисто-овражистом месте девятка со своими короткоствольными лайбами была самой нужной и полезной артиллерией. На переправу назначался взвод управления одного из дивизионов девятки, отделение разведки, связисты, начальник штаба со средствами вычисления.

Если будет где и что вычислять...

— Всего не предусмотреть, товарищи, — сказал в заключение командир дивизии, — тем паче при ночной операции. Собственная инициатива, своя сообразилка должны помогать и выручать. Выспаться ладом, отдохнуть — чтоб сообразилка не истоцилась. Командиров полков, батальонов и рот прошу ненадолго остаться, остальные товарищи свободны.

После полудня началось короткое движение возле хутора и по дубнякам. Опять нагрянуло большое начальство в кожаных регланах, хромовых сапогах, нарядных картузах. Все это воинство двинулось к заранее оборудованному в хуторском школьном саду наблюдательному пункту. И тут же вверху зашустрили истребители, охраняя небо от немецкой авиации. У немцев, видать, наступило обеденное время, и они не летали.

Лешку, как нарочно, понесло с берега на кухню именно в это время, и он нос к носу столкнулся с начальством и обслугой, его сопровождающей. Отвалив с дороги, он взял котелок в левую руку, правой лихо козырнул. Несколько рук взметнулось к картузам. Неожиданно к Лешке

подскочил малого роста человек с радушно расщеперенным ртом и пестренькими глазками.

— А где ваши награды, товарищ боец? — спросил он, показывая на четкие следы, оставшиеся на выгоревшей и сопревшей гимнастерке.

«Пропил!» — чуть было не ляпнул Лешка.

— Боевые награды я сдал на хранение, товарищ военный неизвестного мне звания, — сделав угодливо-глупое лицо, ответил Лешка, будто и не узнавал Мусенка, когда-то изловившего его с похищенными сухарями, — потому как плыть на ту сторону следует налегке.

— Звание мое — полковник. Я начальник политотдела дивизии. Фамилия моя — Мусенок, — пояснил маленький человек в реглане и удивительно махоньких, почти кукольных сапожках. Заметив, что все его спутники, замедлившие было шаг, двинулись дальше, Мусенок, перестав улыбаться, деловито поинтересовался: — Как будете преодолевать водную преграду? Немец-то ведь не дремлет. Он ждет. Страшно будет, ох страшно!

У человека-карлика были крупные, старые черты лица, лопушистые уши, нос в черноватых ямках от свищей, широкий, налитой рот с глубокими складками бабы-сплетницы в углах, голос с жестяным звяком. Почему-то хотелось передразнить его.

— Так точно, товарищ комиссар, страшно. Но как есть мы советские бойцы, а вы — наши руководители, выходит, наш совместный святой долг в достижении цели — вы на этом берегу день и ночь о нас думать будете, заботиться, мы на том — бить фашиста.

Выпучив отечные глаза, Мусенок удивленно захлопал коротенькими ресницами.

— Член партии?

— Никак нет, товарищ комиссар. Сочувствующий я.

— Подавай заявление. Примем. Всех героев, идущих на переправу, — примем. Достойны! — Мусенок засеменил, догоняя начальство, и, как-то игрушечно козырнув ручонкой, с ходу начал о чем-то говорить, показывая на заречье так уверенно, будто он эту реку не раз уж форсировал, все там до кустика знает и первым бросится вplash во время переправы.

Шусь, тащившийся с начальством на наблюдательный пункт для объяснений и рекогносцировки, про себя чуть не матом крыл всю эту челядь. Полковник Бескапустин куда-то смылся или спрятался. На телефоне дежурил Шестаков.

— Чего выкаблучиваешься? Чего языком бренчишь? Мусенок недотепой прикидывается, но память у него о-го-го! Штрафная рота вон в лесу, рядом, место в ней всегда найдется.

В это время за рекой гулко, будто в колодце, забулькало, над хутором запели мины. Разорвались они вблизи дороги. Военная свита рассыпалась по сторонам. Мусенок и еще какие-то малиновопогонники залегли. Плотный, небольшого роста, с кругловатым бабьим лицом, с планшеткой, бившей его по коленям, военный как шел по дороге, так и шел, только носом пошмыгивал — не то щекотило в носу дымом, не то этак он выказывал презрение к своей свите, — да командир корпуса Лахонин, приостановившись, ждал, когда вылезет из канавы чиновный люд. Переждав налет за грудой камней, исчерканных колесами, Лешка отряхнул штаны; узнав генерала, запомнившегося еще по давней встрече на берегу Оби, порадовался, что «свой» генерал не плюхнулся наземь, продолжая что-то говорить и показывать тому, коренастому, с планшеткой, усмешливо косился на Мусенка, тряс рыжим чубом, вольно выбившимся из-под шлема.

На кухне царило небывалое оживление: тем, кто должен был участвовать в переправе, давали наперед водку, сахар, табак и кашу без нормы. Полупьянный повар и старшина Бикбулатов, вся хоззводовская братия заискивающе и подобострастно делили, насыпали, выдавали щедрую пайку, будто от себя отрывали кровное, и воротили рожи, прятали глаза, считая

уходящих на переправу обреченными. Вояки вредничали, пытались сцепиться с кем-нибудь из тыловиков, чтобы хоть на них отвести душу. Лешка пошел за пайкой, сказав командиру отделения связи, чтобы еще раз проверили катушки со связью, на кухне попросил крепкий холщовый мешок. Не спросив, зачем ему тот мешок и где его взять, как всегда полупьяный, Бикбулатов откозырял: «Будет сделано!» — и передал приказ, чтоб никто не пил выданную водку: после ужина замполит полка собирает открытое партийное собрание, на котором бойцов будут принимать в партию.

Тревога и сосущая боль не покидали Лешку. За себя он был спокоен. Он почти уверен был, что переплывет. Но переплыть — это еще не все, далеко не все. Могут, конечно, и убить, но тот внутри каждого опытного фронтовика заселившийся бес ли, человек ли бесплотный, ко всему чуткий, не подсказывал ему близкого срока, и все же тревога, тревога... И чем больше тревожился Лешка, тем размеренней и спокойней были его мысли. В минуты опасности он полностью доверялся тому, кто сидел в нем как в кукле-матрешке, укрощал шустрого, веселого солдата Лешку Шестакова, где надо оберегал от опрометчивых поступков. Лишь вспышки буйства, глубоко скрытого самолюбия, уязвимости, жестокости, точного понимания большой опасности — малую, несмертельную опасность он тоже научился как бы не воспринимать — выдавали порой Лешку. Он умел сходитья с людьми, дружить, быть в дружбе верным, но в душу к себе никого не пускал, оттого и чуждался людей пристальных.

Приняв чеплашку водки, хотя ему хотелось, очень хотелось немедленно выпить всю флягу и забыться, провалиться до самой ночи в сон, он смотрел на реку, на остров. Никто бы не угадал по его скучному, долгим сном смятому лицу, как напряженно работает его мысль и какая все более разрастающаяся тревога, почти боль, терзает его.

В переправе, по слухам, будет участвовать около тридцати тысяч, считай — двадцать верных. Судя по приготовлениям, по тому хотя бы, что все дубовые и прочие плоты и несколько понтонов замаскированы по-за ухоронкам, старица забита машинами с понтонами на прицепах — интересно, куда делся из своих уютных куш тот кабан-секач? Съели его, поди-ка, славяне. За старицей разместились как раз штрафная рота, и Лешке показалось, что он видел среди них обритого наголо Феликса Боярчика.

Передовой, ударный отряд начнет переправляться с приверха хуторского острова — это и без высокоумного начальства ясно, — табуном поплывет через шивер на заречный остров, чтобы скорее зацепиться за вражеский берег. Взвод разведки, рота Яшкина и рота Шершенева уже на исходных, стало быть, на берегу. Эти первые подразделения, конечно же, погибнут, даже до берега не добравшись и заречного острова не достигнув, но все же час, другой, третий, пятый народ будет идти валом, валиться в реку, плыть, булькаться в воде до тех пор, пока немец не выдохнется, пока не израсходует боеприпасы, пока не уверится, что русские так и остались бараками, хотя их давно и усердно учат воевать. Вот тогда, когда немец подустанет, опустошатся у него заряды, — и обрушить на него огонь, начать переправу, накопившись на хуторском острове, мощным рывком перемахнуть узкое пространство и сразу, сразу, с ходу растечься по оврагам, по ручьям, рассредоточиться вдоль берега, паля и шумя как можно ширше, чтобы немец забоялся за свой тыл: очень уж он не любит, когда за спиной щекотно. Да и кто любит? И вот пока немец в ночи разбирается что к чему, пока гоняется по оврагам за вояками, нужно, опять же рывком, быстро, до рассвета перебросить понтонный мост и бегом по нему с патронами, гранатами, где и минометишко и пушчонку перетащить бы... «Ха! Стратег, едрена мать! — сказал себе Лешка. — Там тоже головы с шеями сидят и чего-нибудь да думают. Реши вот свою задачу, очинно даже простую: среди такой массы народу, под огнем связь переправь и не утони».

С этой мыслью Лешка и отправился на хутор, забытый до основания народом, уже все переделавшим, отужинавшим и тоже отправляющимся

на собрание либо культурно отдыхающим. Повсюду пиликали гармошки, звучало бодрое радио из лесу, вроде как у штрафников. Из открытого окна школы слышался еще в молодости пропитой голос, может, пластинка заезженная: «Вот когда прикончим фри-ы-ыца, будем стричься, будем бри-и-иться! А пока...» — разнобойно грянули смешанные женские и мужские голоса, и почудился Лешке знакомый тенорок Герки-бедняка.

Мартемьяныч — замполит стрелкового полка, он же Кузькина мать, он же Едренте — был побрит, с новым, неумело подшитым подворотничком. Ответив на приветствие командира стрелкового отделения сержанта Финифатьева вялым кивком, он, не сделав ему выговора за опоздание, терпеливо дождался, пока тот усядется под деревом, предварительно нарвав травы и подгребя кучу листьев себе под зад. Достав из полевой сумки испи-санные бумаги, расправляя их, замполит прокашлялся.

— Так начнем, стало быть, товарищи! Собрание наше короткое будет и с одним только вопросом — об успешном выполнении задач сегодняшнего дня, то ись об форсировании Великой реки, на какую враг наш, гитлеровский фашизм, делает последнюю ставку...

Он ничего мужик-то был, свойский, домашний, вот только делать ему было нечего. Пробовал он поначалу ходить в боевые порядки и даже своеобразно нарисовал два «Боевых листка», создавал партгруппы, организовал громкие читки газет, но люди так уставали, а немцы так долбили по перст-нему краю и такие были потери, что он в конце концов устыдился пусто-словия, ушел с передовой и долго там не показывался, однако к бойцам ст-носился терпеливо и даже задумчиво, старался не замечать многое из так называемых нарушений «боевой дисциплины», чаще всего выражавшихся в том, что солдаты баловались самогонкой либо тянули в деревнях съестное.

Подполковник Мартемьянов все же нашел себе занятие — он стал ру-ководить подвозкой боепитания, снарядов, горючего, снаряжения. И здесь вдруг проявился его хозяйственный характер, организаторские способно-сти. Замполитом он как бы уж только числился и вел все эти способно-бумажные дела, никому не надоедая и никого не раздражая, не путаясь в ногах.

По голосу, по сердитой виноватости, явно проступающей на скулас-том и широколобом лице Мартемьяныча, можно было угадать — ему не-ловко. Оставаясь на левом, безопасном берегу, он вынужден читать мо-раль тем, кто пойдет на вражеский берег, почти на верную смерть, он же будет талдычить слова, давно утратившие всякую нужность, может, и здравый смысл: «не посрамить чести советского воина», «до последней капли крови», «за нами Родина», «товарищ Сталин надеется».

На собрании оглашен был список желающих вступить в партию. Пяте-ро желающих не явились по уважительным причинам, среди них и Шеста-ков. Как обычно, выступали поручители. Финифатьев писал заявление за какого-то молодого вроде бы, но уже седого северянина, не то тунгуса, не то нанайца, прибывшего с пополнением. Кандидат в партийцы твердил: «Раз сулятся семье помочь в случае моей смерти, я согласен идти в пар-тию». Пришлось поручителю Финифатьеву несколько сгладить неловкость от этого выступления. Во многих частях на берегу шел массовый прием в партию: достаточно было подмахнуть заготовленные, на машинке напеча-танные заявления — и человек тут же становился членом самой передовой и непобедимой партии. Кое-где это дело и вовсе упростили: принимали по списку. Если человек отсутствовал, был занят, за него поручалось и голо-совало собрание. Некоторые бойцы и младшие командиры, уцелев на плацдарме, выжив в госпиталях, уже после войны, дома, куда по адресу присылалось «партийное дело», узнавали, что они являются членами пар-тии и давно борются за правое дело. Ну и ладно, борются и борются — все у нас за что-нибудь и с кем-нибудь борются. Худо было то, что когда «дело» наступало человека через несколько лет, «члена» вынуждали выпла-чивать взносы за все прошлые годы. Попробуй не заплати — не рад жиз-

ни будешь. Особенно бедовали те солдатики, которые увечными возвращались в голодные, полумертвые, войной надсаженные села. Вывертывались как-то, терпели, случалось, дерзили и бунтовали, пополняя и без того переполненные тюрьмы и смертные сталинские концлагеря.

Когда Мартемьяныч отбубнил свою речь и ответно ему по поручению собрания командир отделения разведки старший сержант Мансуров и кто-то из новичков подтвердили: «Не посрадим! Чести не уроним! Доверие Родины оправдаем!» — все, и Мартемьяныч прежде всего, почувствовали облегчение, назначены были младшие политруки из тех, кто поплывет за реку и кто проявлял активность на собрании. Первой была названа фамилия Финифатьева, он хмурился — вечно вот страдает за свой неумный язык. Но решил пока не говорить в роте о своем важном назначении — начнут зубы скалится, наперед всех его любимый товарищ Олега Булдаков: «Раз политрук, значит, самый сознательный, бери самую большую лопату и самый маленький котелок — и в атаку первый! Заражай нас примером! Укажуй правильный путь!» «Ох-хо-хо! И когда это я поживу как человек, без оброти, на самого себя из-за шорохливости характера надетой».

Выбрав младших политруков, радуясь, что сами туда не угодили, бойцы закурили, опрокинулись на брюхо, тогда как во время собрания чинно сидели кружком. Секретарь партсобрания передал протокол подполковнику. Мартемьянов его аккуратно свернул, засунул в кожаную сумку и тоже сел на услужливо сваленную набок коробку крашеного улья — пасеку во-яки позорили, мед съели, вялые пчелы реденько кружились и жужжали в лесу, шупали хоботками листья, траву, солдатские пилотки. Один новоиспеченный партиец испугался пчелы, замахал руками и тут же получил укусы в ухо.

«На смерть человек собирается идти, а пчелы боится!» — грустно усмехнулся подполковник Мартемьянов. Невоздержанный на язык Финифатьев нехорошо сострил:

— Мащите, мащите руками-то, дак пчела всю нашу партию заест...

Собрание хохотнуло и выжидательно примолкло. Подполковник покачал головой, осуждая вольное поведение бойцов:

— Посерьезней, товарищи, посерьезней. Такое дело предстоит... Хотел бы спросить про адреса...

— Лодка в порядке,— сказал Лешка майору Зарубину.— Остался пустяк — переплыть реку.

— Место выбрал? Где будешь ждать?

— Да, выбрал. Но, думаю, не мне, а вам меня придется ждать.

— Добро. Потом на карте покажешь где.

Майор ушел. Мартемьяныч, переждав деловой разговор, пригласил Шестакова.

— Садись или вались — как удобней... — (Лешка думал, выговор ему будет за неучастие в собрании, но Мартемьяныч говорил со всеми бойцами по делу: надо, мол, чего домой переслать или там помощи похлопотать — сказывайте.) И тише, как бы себе, молвил: — Когда уж эта война и кончится?.. Ну, отдыхай,— сказал он связисту. — Не буду надоедать больше. Если чего надо будет, ночь-полночь — приходи. — И ушел, обвиснув со спины.

«Ах ты добрая мужицкая душа! — провожая его взглядом, думал Шестаков.— А тут тысячи чибдралов остаются — и ничего, ухом даже не ведут».

Господа офицеры гуляли. Ротный Яшкин, Талгат, комбат Щусь и его замы — Шапошников и Барышников.

«С нами бог и тридцать три китайца!» — как говорил Герка — горный бедняк. И Лешке снова почудилось, что в хоре слышится отчим-гуляка, но было бы слишком уж просто: войти в хату и во фронтовой толчее встре-

тить папулю! «Наваждение это!» — порешил Лешка и поспешил навестить осиповцев. Мало их осталось, оттого совсем они родными сделались.

Леха Булдаков вроде бы ни с того ни с сего притиснул гостя к себе и поболтал коленом фляжку на его поясе. Во фляжке звучало. Покликали сибирских стрелков. Сползлись все, даже Коля Рындин явился, распечатал консерву, нарезал хлеба, принес печеных картошек, соль бутылкой на доске растолок, перекрестился и выпил, жмурясь, косил глазом: все ли в порядке у него на столе — ящичке из-под снарядов. Хорошо посидели ребята, повспоминали, попробовали даже запеть. Гриша Хохлак настрой на «Ревела буря...» давал, но песня не заладилась, да и затребовали скоро Гришу вместе с баяном в распоряжение штаба батальона.

А правый берег все молчал, не шевелился. Комбату не спалось. Солдаты — вольный народ, заботами не обремененный, — угрелись под плащ-палатками, шинеленками, телогрейками, дрыхнут себе, сопят в обе дырки, оглашал окрестности храпом Коля Рындин, почему-то последнее время облюбовавший для спанья место под полевой кухней — теплой и безопасней там, что ли?

О том, что и солдаты некоторые не спят, Шусь хоть и догадывался, однако не тревожился особо — выспятся еще, успеют. Солдат с редкой и чудной фамилией Тетеркин, попав в пару с Васконяном на котелок, удивился: «Я ишшо таких охломонов не встречал!» — и с тех пор таскается за Васконяном, как Санчо Панса за своим великим рыцарем, моет котелок и ложки, стирает портянки да, открывши рот, слушает своего господина и постичь не может его многоумности. С вечера Тетеркин принес откуда-то сена, застелил его плащ-палаткой, велел лечь Васконяну, укрыл его и сам залез в постельное гнездо да вскорости и уснул, не обращая внимания ни на звезды, ни на осеннюю ночь, ни о чем не беспокоясь и ни о чем не думая. Спокойное, доброе тепло шло от мирно спящего солдата. Прижимаясь к напарнику, Васконян умиленно радовался теплу этому, нечаянно сошедшему к нему, и тому, что бог послал ему этого доброго человека.

Совсем близко ворочалась еще одна богоданная пара — Булдаков с Финифатьевым. Леха Булдаков нечаянно затесался в избу к офицерам и нечаянно же там добавил.

— Де-эд, ты будешь спать или нет? Завтра битва.

— Коли битва, так есть ковды разговаривать в ей будет...

— Де-эд, ты ж в любом месте, в любой ситуации можешь разговаривать двадцать пять часов в сутки, я токо двадцать. Мое время истекло. Уймись, а?

— Экой ты, Олеха, все же маньдюк!.. Уймись, уймись. Тебе б токо пить да дрыхать, а у меня предчувствия...

— Де-эд, я выпил, спать хочу, пожрать, поспать — вот для че я существую. И ишшо, де-эд, я девок люблю. А где девку взять? Помнишь поговорку: «Солдат, девок любишь?» — «Люблю». — «А оне тя?» — «И я их тожа»...

— А хто их, окаянных, не любит, гэ-э-э!..

— Де-эд, если будешь шарашиться, я придавлю тебя!.. У бар-р бороды не бывает!..

— Господи, спаси и помилуй нас от напасти! — взмолился старый партиец Финифатьев — он боялся дурацкого присловья Булдакова, но еще больше страшился припадка и психопатии, которые следовали за этим. — Хер уж с тобой! Спи, окаянный! С им как с человеком...

Свело военной судьбой Финифатьева и Булдакова в воинском эшелоне, когда сибирская дивизия катила к Волге по просторам чудесной родины. Финифатьев в Новосибирск прибыл еще летом, но изловчился отстать уже от двух маршевых рот, норовия и от третьей отлынить — не вышло: мели под метелку.

...Булдаков, сроду не имевший своего котелка, подсел к Финифатьеву, у которого котелок был, а подсевши пристал с вопросом:

- Вологодский, што ли?
- Вологодская. А ты?
- Тоже вологодская.
- Правда вологодская?
- Правда вологодская!
- Й-ёданой! — ликующе воскликнул Финифатьев.

Булдаков тем временем с его котелком подался в кухонный вагон и принес супу. Много супу, но жидкого.

Финифатьев порадовался услужливости незнакомца, не зная еще, что было это в первый и последний раз, чтобы увалень Булдаков по доброй воле и охоте сходил за горячей пищей! Украсть — всегда пожалуйста! Но топтаться в очереди? Из-ви-ни-те.

Начали хлебать. Булдаков зачастил ложкой, забренчал о котелок, засопел да все норовил со дна взбаламутить суп-то... «И таскат, и таскат!» — загоревал Финифатьев.

— Ты ежели так лопатой работаешь — то боец хоть куда!

— А ты, однако, моим командиром будешь? Вон у тебя два сикеля на ворота!

— Ну ак шчо, ковды назначат, дак. Я те, маньдюку, покажу политику, ись выучу из одного-те котелка.

— У бар борода не бывает. Усы! — заявил боец Булдаков и посмотрел на потолок вагона.

Финифатьев тоже посмотрел и ничего вверху интересного не обнаружил, с досады плюнул, отвернувшись, но когда к котелку вернулся ложкой, она во что-то твердое уперлась — в котелке насыпано сухарей что камней.

— Ешь давай, товарищ командир, укрепляйся, в бой скоро.

— Ак шчо, исти — не куль нести, — сказал Финифатьев и вежливо зацепил сухарик, потом другой.

Как пустеть в котелке стало, Булдаков засунул куда-то за спину руку и оттуда добыл еще сухарей. И так до четырех раз.

Крепко поели напарники, и Финифатьев сам вызвался мыть котелок, но волшебный горшок не пустел — Булдаков сыпанул в него из шапки жареных семечек, закурил. Некурящий Финифатьев пощелкал семечки и раздумчиво молвил, навеличивая партнера во множественном числе:

— Однако, ребята, сухари-те вы где-то сперли?

— Да ты че?! — вытаращил и без того выпуклые глаза Булдаков. — Сухари нам товарищ Ватутин, генерал фронта, за победу выдал! Лично! По мешку на вагон!

Финифатьев поглядел-поглядел на Булдакова и решил, что брехун он. Да и ловкач большой. И не вологодская он вовсе, даже и не вятская, мордва скорее всего либо чуваш — уж больно личность молью побита и глаз нахальной... А может, и черемис? «Ей-бо, черемис!» — и сказал об этом Булдакову.

— Бурят я, товарищ командир.

— А подь ты знашь куда?! Шарышы белы навькат, а у бурята глазки узеньки и чериньки. Че, я не знаю?

— Я английский бурят, понял?

Когда Финифатьева назначили командиром отделения, Булдаков, конечно же, в это отделение и определился. И попил же он кровушки из своего отца-командира! Ежели всю, какую выпил, в одно место слить, то полный солдатский котелок наберется, может, и ведро.

— Это за какие же такие грехи мне такого прохиндея в товаришшы господь послал? — не раз спрашивал у Булдакова Финифатьев.

— За большие, за большие, товарищ командир. Много ты девок перепортил, догадываюсь я, и с колхозу воровал. Воровал?

— А кто с его не воровал? Холхоз, он затем и есть, чтобы все токо воровали.

На какой-то станции Финифатьев насобирав в вещмешок деревянных брусков и начал обрабатывать складником древесину в форме мыла. Затея была хитрая: покрыть деревянный брусок сверху пленкой розового мыла, которое Финифатьев раздобыл еще в Новосибирске, и променять на харчи. Об этой хитрости он вызнал от бывалых солдат и вот решился на мошенничество, хотя и представить не мог, как он сбудет мыло. Очень боялся Финифатьев этакой откровенной надуваловки, хотя мошенничать, надувать, воровать и жульничать по-мелкому, как и все советские колхозники, давно навык, иначе не выжить в социалистической системе. За этим делом, по запаху, не иначе, застучал вологодского мужика пройдоха Булдаков. Взявши брусок «мыла», почти уже готового к реализации, Булдаков повертел его, понюхал и укоризненно молвил:

— Учит вас, дураков, советка власть, учит уму-разуму и никак не научит. Печатка где?

— Кака печатка?

Булдаков долго пояснял мастеру, что на мыле по ободку завсегда писано — откуда оно произошло, сделано оно на фабрике имени Клары Цеткин, которую Леха упорно именовал Целкиной, отчего целомудренный мужик Финифатьев, имеющий шестерых детей, морщился, но, подавленный всезнаниями Булдакова, не перечил. Тот уж совсем его доконал, сказавши, что в середине мыльного изделия быть еще и гербу с ленточкой полагается и по ленточке должно быть написано «РСФСР». Задумавший так просто смухлевать и надуть советский народ, Финифатьев приуныл было, но Булдаков завез ему лапой по плечу, да так, что в суставе мастера долго ныло, он, мол, сей момент все организует, сбытом займется сам лично, уж он-то не продешевит!

Не сразу, не вдруг, но Булдаков отыскал Феликса Боярчика в толпе вагонного народа. Художник тихо и мирно спал на полу, положив под голову свой совсем почти пустой вещмешок. Нары по ту и по другую сторону вагона были сделаны из трех плах, и Боярчик со своим малогабаритным телом, боясь провалиться в щель, предпочел им пусть и грязный, избитый, зато устойчивый вагонный пол.

На всем протяжении пути воинского эшелона население его неутомимо промыщляло: меняло, торговало, воровало, мухлевало на продпунктах, норовя пожрать по два раза. Еще едучи по Сибири, неустрашимые воины добыли досок и сколотили настоящие нары, но уж места там Боярчику не полагалось, там царили добытчики, мастера по всякой тяге, картежники, песельники, люди, склонные к ремеслу и искусству.

И вот же интересное дело: три доски, на половину вагона выдаваемые, не могли быть нарами, никак они не соединялись. Ловкий народ или складывал из досок нары в одной половине вагона, или начинал делать налеты на лесопилки, встречающиеся на пути, попутно прихватывая все, что плохо лежит. Когда заехали в степные приволжские районы — доски и всякое дерево на вес золота пошли.

Так на протяжении всей войны мудрое тыловое начальство вынуждало людей тащить, жульничать, ловчить.

Боярчик со сна не вдруг уяснил, какое художество от него требуется, уяснив, охотно принялся за дело. Вырезая из деревянных торцов и кубиков, унесенных со встретившейся на пути лесопилки, и из консервных банок штампы, он даже вдохновился и увлекся занимательным делом, как истинный художник.

Вдруг разгорелся идейный спор: Финифатьев, бывший всю жизнь партторгом колхоза и досконально постигший политику партии на практике, предлагал по ободку мыльного бруса выводить не «РСФСР», а «СССР» — солидней! Фабрику означить имени товарища Ленина, или лучше Сталина — доверия больше. «Кто у нас знает эту, будь она неладна, Клару?» — Булдаков уперся: нет и нет! Надо писать загадочным «литером»:

гост. пост. РСФСР. Раз Клару Целкину писать не хочется, пусть будет фабрика имени Сакко и Ванцетти, и пояснил притихшему умельцу:

— За Сталина, да и за Ленина, коли попадешься, припаяют десять лет дополнительно — не погань святые имена. А за Сакку эту и за Ванцетту — морду набьют, и все дела. Тем более что оне, кажись, обе померли. Первую выручку пустим на приобретение сырья.

— Как это?

— А купим еще одну печатку духовного мыла.

— Ну и голова у ты, Олеха! — восхитился Финифатьев. — Тебе бы директором быть, производством ворочать, а ты ширмачишь...

— Все еще, дед, впереди, все еще впереди. Как директором меня назначают, я тебя к себе парторгом возьму.

— Ак че, не дрогну — дело привычное. Я в этих парторгах-то с юности, почитай, верчусь.

— И задарма все! А я те знашь какую зарплату назначу.

— Ты назначишь! Пропьешь и производство и мундир.

— А ты, парторг, зачем? Ты меня должен воспитывать, направлять на правильный путь, подтягивать до уровня.

— В петле! Ох, Олеха, Олеха! Ох, бес сибирской! И какая тебя мама родила? Про тебя, видать, сложено: «Меня мамонька рожала — вся деревня набежала...»

— У нас поселок, Покровка... Слобода Весны нынче называется.

— «Вся Покровка набежала. Мама плачет и орет: „У робенка шиш встает!..“»

— Известно, он у меня боево-ой! Ты работай, работай. Совсем в парторгах разленился! Языком только и болтаешь.

— Тыфу на тебя, на саранопала. Ты бы с мое поработал!

Стучат колеса. Несется поезд по стране, добродушно переругиваясь, изготавливают продукцию два шулера. Сойдясь в пути на фронт, два этих совершенно разных человека держались друг дружки, были опорой один другому, как Тетеркин с Васконяном и множество других солдат держались парами: парой на войне легче выжить, и ранят тебя если — напарник не бросит...

Финифатьев еще поговорил маленько, получил еще одно заверенье, что Булдаков его на переправе не бросит, поможет ему переплыть на ту сторону, потому как имеет разряд по плаванию — он от Васконяна это красивое слово услышал и присвоил, — и заверял, что был даже чемпионом Сибири.

— По карманной тяге ты чемпион, — впал в сомнение Финифатьев и, уже засыпая, вздохнул: — Вот этъ какая-то несчастная жэнщина тебе в бабы достанется...

Ночь перевалила за середину, все унялось на земле и на небе. Реже летали самолеты, крупнее сделались звезды, и меж ними как-то потерянно, игрушечно засветилась подковка месяца. Река по зеркалу освинцовела и вроде бы остановилась. Редко и все так же меланхолично взлетали ракеты, и где-то далеко-далеко время от времени занимался гул, доносило раскаты грома и начинала внутри себя ворочаться земля, отзываясь в сердце тошнотным щемлением, не похожим на боль, но прижимающим дыхание. Там, за рекою, в глубоком тылу, немцы взрывали Великий город. Не веря уже ни в какой оборонительный вал, не надеясь на благополучный исход дела, враг-чужеземец торопился сделать как можно больше вреда, пролить как можно больше невинной крови.

Как же надо затуманиться человеческому разуму, как оржаветь сердцу, чтобы настроилось оно только на черные, мстительные дела, ведь их же, страшные и темные дела, великие грехи, надо будет потом отмаливать. В прежние, стародавние времена после всех битв, пусть и победных, генералы и солдаты молились, просили Господа простить им тяжкий грех кровопролития. Или забыт он, Бог, на время, хотя и написано на каждой же-

лезной пряжке немца: «С нами Бог», — но пряжка та на брюхе, голова — выше. Там, где гремело, зажглось небо из края в край. Что-то в тот небесный огонь выплескивалось ярче самого огня, ерская, рассыпалось горящими ошметьями — геенна огненная устало пожирала земные потроха.

Майор Зарубин, смолоду страдающий гипотонией, на совещании офицеров напился крепкого чаю. Офицеры курили, гуще всех палил трубку полковник Бескапустин. Майор угорел от табака, уснул с головной болью и вот среди ночи проснулся, полежал не шевелясь, затем поднялся, набросил на плечи телогрейку, отправился на берег реки.

— Не помешаю? — заметил недвижно сидящего на камне человека.

— Садитесь.

— Не спится, Алексей Донатович?

— Не спится. Прежде я крепко был на сон.

— Молодость. Беззаботность.

— Да-да. А сейчас у меня порой бывает ощущение, что мне уже сто лет.

— И у меня то же самое.

Замолчали, глядя на все шире разгорающийся вдаль пожар, на реку, которой достигали слабые отблески горящего неба, но была она от этого еще холодней и отчужденней, лишь тень крутого, вражеского, берега означалась в воде резче, сам же берег обрисовался по урезу чернильной каемочкой, осадив вниз, под яр, всю черную густоту ночи. В той колдовской темени угадывалось шевеление, какое-то железно время от времени взбрыкивало, высекались мелкие синие искры из камней.

— Вам все-таки надо заставить себя хоть немного поспать. Утром, я думаю, немцы начнут бомбить и обстреливать наш берег и в первую голову разнесут хутор, так ими опрометчиво оставленный. Народ они хотя и подлый, — не отрывая глаз от горящего неба, продолжал Зарубин, — но вояки расчетливые. Знают, что днем у нас начнется выдвижение к реке плавсредств, огневых позиций, что нам не до наблюдений будет, поэтому надо из хутора всех людей увести в лес, велеть закопаться, а то живут, как на сенокосе, спят под открытым небом. Своих наблюдателей я не снимаю. Пусть остаются.

— Копию схемы наблюдений велите мне прислать. Может пригодиться. Ну, я, пожалуй, пойду. Надобно и в самом деле соснуть.

Зарубин остался на берегу один и видел, как выводил к реке поить лошадей чей-то коновод, должно быть, ночью уже добавилось артиллерии на конной тяге. Видел, как из батальона Щуся огромный солдат наливал в кухню воду, долго промывал травяным вехтем внутри, прополоскал котлы, слил грязную и, налив свежей, повололся в ближние кусты. Где-то совсем близко ударила и сразу смолкла перепелка, обеспокоенно зацифиркали утаившиеся в камнях куропатки. Длинно, противно зевая, подала голос чайка и призраком закружилась над тем местом, где солдат мыл кухню.

Такая мирная картина, такая добрая ночь на земле, катящаяся на исход. Там, в Забайкалье, уже давно наступило утро и Наталья, накормив детей чем бог послал, распределила свое отделение по местам: кого в школу, кого в поле с собой взяла картошку копать, кого приструнила, кого приласкала, кому и поддала — всем внимание уделила. Работает сейчас, копается в земле и думает о них, своих мужьях-дураках. Наталья — звереныш чуткий, она почти всегда угадывает какой-то своей, бабьей интуицией или элементом каким, тайно в ней присутствующим, надвигающуюся на ее мужиков передрагу. В такую пору пишет она одно письмо на двоих, зато длинное и насмешливое. А как тут, на фронте, более или менее терпимо, писать перестает. «Ничего не жрет, когда переживает, — ворчит Пров Федорович, — изведется, к чертовой матери, из-за нас, оболтусов. Вот бабы российские по одному мужу сохнут что былинки, а тут, как в Непале, му-жей у бабы... и один другого лучше, и за всех переживай!»

Александр Васильевич нарочно отгонял от себя тревогу и мысли о переправе. Все, что надо сделать, он уже сделал, предвидеть же все на войне

невозможно, тем более при переправе через водную преграду, каковой на пути нашей армии еще не было, тем более при нашей-то заботе и подготовке, где изведешься весь, сердце в клочья изорвешь, добываясь хоть какого-то порядка.

Пусть идет как идет. Их, полевых командиров, смысл существования есть в том, чтобы доглядывать, подсоблять, маленько хотя бы зачищать ошибки и просмотры командования, так вроде бы четко и ладно спланировавшего дерзкую и сложную операцию.

Но там вон, за рекою, тоже засели совсем неплохие плановики, опыт наступления и обороны имеющие большой, их задача — не пустить за реку русских, поистребить их и перетопить как можно больше, всего бы лучше — поголовно. Кто кого?.. Вот простой и вечный вопрос войны, и ответ на него последует скоро. Вон уж посветлело за спиной небо. Из Сибири, из родных мест, от Натальи и детей светлым приветом катит утро, над рекою густеет туман, белой наволочью ползет к берегам, успокаивая реку тихим дыханием и соединяя берега, которые задумывались создателем для единого земного мира, но не для враждебного разъединения

Туман держался до высокого солнца, помогая армии, изготовившейся к броску, в последнем дрэгировании, продляя покой и жизнь людей на целых почти полдня. Но как только посветлело, мошкой высыпали самолеты и с грозным гулом покатались к реке, забабхали зенитки, зачастили установки «дай-дай!», понесли пулеметные струи. Небо сплошь покрылось пятнами взрывов. Навстречу воздушным армадам выскочил выводок истребителей со звездами, следом второй, третий, бомбардировщики начали опорожняться на берег, треск камней, огонь и дым взрывов, грохот зениток, удары минометов и орудий — все смешалось в общее месиво, в хаос и ужас: бой начался. Нырнув к наблюдателям в ячейку, майор Зарубин припал к стереотрубе и начал округлять, закольцовывать красным карандашом огневые точки противника. Взвод разведки завязал бой на противоположном берегу. Огонь взвода жидок, долго ему не продержаться. Полковник Бескапустин махнул капитану Щусю рукой: роту лейтенанта Яшкина на переправу! Командир второго полка Сыроватко бросил через реку роту под командой Шершенева. Взвод разведки, начав переправу раньше времени, спровоцировал начало операции, нарушил ее план и ход. А раз так, раз зарвались — держите полоску правого берега, хоть зубами укрепляйтесь на нем. В восемнадцать ноль-ноль начнется артподготовка и через полтора часа — переправа главных сил: такой приказ поступил из штаба корпуса в дивизию, из дивизии в полки.

Видя, как плотнеет огонь над рекою, как сама вода кипит и подбрасывается вверх, разом подумали оба командира полка: пропал взвод, пропадут роты без поддержки, и поддержать их пока невозможно...

Но именно в эти лихие минуты из-за леса почти над самыми головами прошли эскадрильи штурмовиков. Летаки уже с реки звезданули из эрэсовских установок по вражескому берегу, насорили на оборону противника крупных «картошин» — и все это кипящее варево присолили из автоматических пушек и крупнокалиберных пулеметов...

Правый берег, затем и левый начало затягивать копотью, дымом и пылью.

Отработавших штурмовиков сменили эскадрильи других. В небе шел непрерывный воздушный бой, самолеты падали то за рекой, то в реку. Один подбитый «лавочкин» дотянул до нашего берега, упал как-то совсем уж неладно, в районе ротной кухни. Летчик не успел раскрыть парашют и растянул кишки по обрубьям и обломышам изувеченного бомбежкой дерева.

Коля Рындин снял с сучьев останки убиенного.

Обедом бойцов кормили под грохот и вой снарядов. Коля Рындин и сам пообедал плотно, впрок, сдал кухонное хозяйство совсем изварльжлив-

шемуся повару и отправился к своим товарищам. Командир батальона собирал в кучу людей, умеющих плавать.

Тем временем из дыма, уже высоко клубящегося над берегами, высыпались условные ракеты — стрелковые роты, пользуясь внезапностью, достигли правого берега, но сколько и чего осталось от тех двух рот и взвода разведки — никто не знал.

ПЕРЕПРАВА

В тот вечер солнце было заключено в какую-то медную, плохо начищенную посудину, похожую на таз для варки варенья. И в тазу том солнце стесненно плавилось, вспухая шапкой морошкового варенья, переливалось через край, перед самым закатом светило, зависало над рекой и, кипя уже в себе, не расплескивая огонь, словно бы задумалось, глядя на взбесившиеся берега. Всю-то дорогу из кожи лезет двуногая козьявка, чтобы доказать, что она — великан и может повелевать всем, даже смертью, хоть и боится ее, смерти-то, вопит со страху: «И звезды ею сокрушатся, и солнцы ею потушатся». Но пока звезды-то и солнце потушатся да сокрушатся, исчадие это божье скорее всего само себя и изведет.

Солнце быстро-быстро, вроде как раздосадованно скатилось за горбину земли и скрылось в хмарью, дымом подернутой дали.

Подтянувшись к самому берегу подразделения, назначенные на переправу, рассредоточенно сидели и лежали в кустарниках, притаились за грудками камней, собранных по полям и на окраинах огородов, поросших крапивой, шипичником, диким терном, мальвами, ярко радующимися самим себе там, где их не достало огнем, не ссекло пулями.

За грудой таких вот камней, серой и зеленой плесенью обляпанных, надвинув комсоставскую суконную пилотку на один глаз, возлежал командир роты Оськин, Герка — горный бедняк, и, расплевывая семечки, наставлял окружающее его воинство:

— Значит, главное — вперед. Вперед и вперед. За спину товарищей под берегом не спрятаться, ходу назад нам нету. Видел я тут заградотрядик с новыми крупнокалиберными пулеметами. У нас их еще и в помине нету, а им уже выдали — у них работа поважнее. И выходит, что спереду у нас вода, сзади беда. Путь нам открыт только к победе. Срежь нас много народу млекопитающего. Поясню, чтоб не обижались, — млекопитающих, но воды, да еще холодной, не хлебавших. Ворон ртом не ловить. Пулю поймаешь — глотай, пока горяча, которая верткая, через жопу выйдет... Х-ха-ха-ха! — закатился сам собою довольный Герка — горный бедняк. — Ясно? Ни хера вам не ясно. Делать все следом за мной. Ну а... — Герка — горный бедняк почесал соломинкой переносье, бросил ее, пошарил в затылке. — Я тоже не заговоренный. Тюкнул меня — все одно вперед и вперед...

Вот-вот начнется главное — чувствовали все вояки.

И началось!

Как повелось уже на нашем фронте, поодаль от берега, над останками порубленного, изъезженного, смятого леса, над частью скошенных, но больше погубленными полями и нивами зашипело, заскрипело, заклубилось, взбухло седое облако — будто множество паровозов сразу продули котлы, продули на ходу, мчась по круту, скрежеща железом о железо, подбито, поврежденно швыркая, швыркая, швыркая — горячее, набирая скорость, казалось, сейчас вот, сию минуту с оси сойдет или уже сошла земля.

В небо взметнулись и понеслись за реку, тоже швыркая и подсвистывая хвостатым огнем, ракеты. И тут же радостно затыкали прыгучие, искрами сорящие зисовские малокалиберные орудия, следом вроде бы нехотя, как бы спросонья и по обязанности прокатили гром по берегу гаубицы ста двадцати и ста пятидесяти миллиметров. Сдваивая, когда и страивая, многими стволами вели они мощную работу, харкнув пламенем, хлопало вдогонку одинокое орудие или миномет. Но основные артсилы били отлажен-

но, работала могучая огневая система. Скоро закрыло и левый берег черно взбухшими клубящимися дымами, в которых удавленно, как в топках, вспыхивало пламя, озаряя на мгновение словно бы вырезанное из картона побережье, отдельные на нем деревья, пляшущих в дыму чертей на двух лапах.

И как только шарахнуло бомбами по правой стороне реки, комбат Щусь и командиры рот погнали в воду людей, которые почти на плечах сволокли в реку неуклюжий дощатый баркас, густо просмоленный вонючей смесью. Баркас был полон оружия, боеприпасов, поверх которых бойцы набросали обувь, портянки, сумки и подсумки. «Вперед! Вперед!» — отчего-то сразу севшим, натужно-хриплым голосом позвал комбат, и, подывая ему, подухивая, почти истерично тенорил Оськин, что-то гортанное выкрикивал Талгат, и, сами себе помогая, успокаивая себя и товарищей, младшие командиры поддавали пару:

— Вперед! Вперед! Только вперед! Быстрее! Быстрее! На остров! На остров!..

Сотни раз уж было сказано, куда, кому, с кем, как плыть, но все это знание спуталось, смешалось, забылось, лишь только заговорили, ударили пушки и пулеметы. Оказавшись в воде, люди ахнули, оженно забулькались, где и взвизгнули, хватаясь за баркас.

— Нельзя-а! Нельзя-а-а! — били по рукам, по головам, куда попало их били — гребцы веслами, командиры ручками пистолетов.— Опрокинете! В бога душу мать! Вперед! Вперед!..

— Тону-у-у! — послышался первый страшный вопль — и по всей ночной реке до самого неба вознеслись крики о помощи, и одно пронзительное слово: «Ма-а-ама-а-а-а!» — закружилось над рекой.

Оставшиеся в хуторе на левом берегу бойцы, слыша смертные крики с реки, потаенно благодарили судьбу и бога за то, что они не там, не в воде. А по реке, вытаращив глаза, сплевывая воду, метался комбат Щусь, кого-то хватал, таскал к острову, бросал на твердое, кого-то отталкивал, кого-то, берущего его в клещи руками, оглушал пистолетом и, себя уже не слыша, не помня, не понимая, вопил:

— Р-р-ре-от, ре-о-от!

Они достигли, достигли заречного острова. Щусь упал на камень и только тут, приходя в себя, увидел и услышал: вся земля вокруг вздыблена, все вокруг черно кипит. Почувствовав совсем близко надсаженное движение, хрипящий дых, Щусь побежал по отмели, разбрызгивая воду, — люди волокли баркас. «Немного! Еще немного — и мы в протоке. Мы под яром!» — мешалось у него в голове, вслух же он, осылаясь, сорванно кричал, грудью налегая на скользкую тушу суденьшка:

— Еще! Еще! Еще! Навались! Навались, ребяташки! Эй, кто там живой? Ко мне! Кому говорю?!

Они обогнули вынос заречного острова, они сделали немислимое — заволокли баркас в протоку. По спокойной воде они б его и к берегу, под укрытие затащили, но протока была поднята в воздух, разбрызгана, разлила, взрывы рвали ее дно, и оно, как бы на вдохе, всасывало жидкую грязь и воду, подбрасывая вверх, во тьму, вместе с камнями, комьями, остатками кореньев и белой рыбы в клочья разорванные туловища людей. Дранный подол ночи вздымался вверх, и купол воды, отделившийся ото дна, обнажал какую-то нездешнюю наготу, пятнисто-желтую, с серыми лоскутьями донных отложений. Из крошева дресвы, из шевелящейся слизи торчал когтистой лапой корень, вытекал фиолетовый зрак, к которому прилипла толстой ресницей острая трава, и белым привидением ползла, вилась червь, не иначе как из самой преисподней возникшая, безглазая, безголовая, состоящая из сплошного хвоста и склизкой кожи, червь эта, вясь по голому месту, никуда не могла уползти, маялась, валяясь в грязи.

Большинство барахтающихся в воде и на отмели людей с детства ведали, что на дне всякой российской реки живет водяной, и поскольку никто и никогда в глаза его не видел, веками собиралось, создавалось народным

воображением чудище и век от веку становилось все страшнее и причудливей; состояло оно, то водяное чудище, из множества глаз, лап, когтей, дыр, ушей и носов, и уж одно то, что оно там, на дне, присутствует и всегда готово схватить тебя за ноги, обращало российского человека, особенно малого, в трепет и смятение, надо было приспособливаться и жить с рекою и чудищем, в ней таящимся, мирно, лучше всего делать вид, что ничего ты про страшный секрет природы не знаешь, ничего о нем не ведаешь, — так не замечают жители азиатских кишлаков поселившуюся возле дома, а то и в самом доме, в глинобитной стене, ядовитую змею, и она тоже никого «не замечает», живет, плодится, ловит мышей. И если б оно, то деревенское водяное чудище, объявилось сейчас со dna реки, как бы привычно, по-домашнему почуствовали себя бойцы. Но дно реки, душа ее, будто тело больной или мертвой матери, обнажено стыдно-беззащитно.

С баркаса подхватили кто что мог, ринулись за командирами, уже где-то впереди, за водою, кричавшими: «За мной! За мной!» — пытаясь угадать по голосу своего. Мокрая одежда мешала бежать, бойцы, на бегу отжимаясь, падали, щупали себя: здесь ли он, боец, с собой ли его тело. Огонь свалился на баркас, вокруг которого в воде барахтались раненые, грязью заиливало, замывало живых и убитых. Немцы пытались зажечь баркас пулями и ракетами, чтобы высветить протоку, чтобы видеть, куда углубляются перемахнувшие через реку части русских. Но те были уже в оврагах. Уведя в лесистое ответвление батальон, Щусь велел всем отдохнуть, обуться, зарядить диски, проверить гранаты, у кого они сохранились, вставить в них капсюли. Из ночи разрозненно и группами набегали и набегали бойцы, валились на сосенки, на сухую колючую хвою, на твердые глыбы глины, вжимались в трещины оврагов, втискивались в землю, которая сейчас, после реки и воды, казалась такой родной, такой желанной.

Нашаривая наступающие части, немцы торопливо и сплошно сеяли ракеты. Ниже острова по берегу реки разрастался бой. Где-то там погибали или уже погибли роты Яшкина и Шершенева.

— Ничего, хлопцы, ничего! — бодрясь, говорил комбат. — Главное — переправились, теперь вверх по оврагу, противотанковый ров не переходить — по нему сейчас работает наша артиллерия. Командиры взводов, отделений, кто еще жив, держаться ближе ко мне. Никому не отставать. Теперь главное — не отставать...

Карабкаясь вверх, падая с крутых осыпей и скатов, бойцы батальона капитана Щусь лезли и лезли куда-то в ночь, в гору, а внизу, по берегу, принимая весь удар на себя, сражался полк Сыроватко.

Почти все понтоны с людьми, батальонными минометами и сорокапятками были при переправе разбиты и утоплены, однако чудом каким-то, не иначе, словно по воздуху некоторым подразделениям удалось добраться до берега, уцепиться за него и вслед за разрывами снарядов и мин продвинуться вперед, минуя осыпистый яр. Разноцветье ракет, взлетающих в небо, означало, что части полка Сыроватко в самом центре плацдарма закрепились, прикрывают соединения, переправляющиеся следом.

И поняв это, Щусь вызвал к себе командира взвода Павлухина, приказал ему с десятком бойцов спуститься обратно на берег, беря под свою команду по пути встречающихся бойцов, попробовать найти роту Яшкина и самого ротного, если жив. Вести людей этим глубоким оврагом, по которому будут расставлены посты с паролем «Ветка», ответом будет «Корень».

— Все! Пока фриц не очухался, действуйте! На берегу не застревать, в бой не ввязываться. У нас иная задача.

Командир роты Оськин, веселый человек, говорил бойцам разные слова, а сам косил взгляд за каменную грудку берега, и на взгляд наползала мгла воды. Опытный вояка, Оськин знал: по всему берегу братья командиры сейчас говорят подчиненным те же самые слова, но никому не нужны-

ми и бесполезными окажутся наставления, как только ухнут люди в воду, под огонь.

Не знал лишь командир роты Оськин, что здесь вот, за оградкой, напрочь сожженной, в развалинах риги, проверяя подвески на связи, его па-сынок Лешка уже не войско, не роту, скорее себя убеждает, говоря напарнику:

— Главное, Сема, не останавливаться. Пусть страшно будет, пусть глаза на лоб полезут — все одно не останавливаться! Вперед, вперед и вперед!

Так говорил Лешка угодливо кивающему, со всем соглашающемуся Семе Прахову, который оставался на левом берегу, наблюдал за рекой, за правым берегом, за людьми, осторожно и вроде бы скрытно сосредоточивающимися для броска через реку.

Когда солнце скатилось за заречный бугор, мимо разобранной риги покатила валами люди к урезу реки, волоча набитые сеном и соломой палатки, самодельные тяжелые плотики, Лешке показалось, что он видел среди них Феликса Боярчика, но он посчитал это наваждением.

Сходить в штрафную некогда, да и не пустят небось к ним, к этим отверженным людям, да и лодку, спрятанную под ворохами соломы, оставлять без догляда нельзя — моментом урвут, уведут, на руках унесут, как любимую женщину. Приходил опять усатый офицер из какого-то важного подразделения, бумагой тряс, требовал, грозил. Лешка с помощью майора Зарубина еле от него отбилась.

В ту пору, когда батальон Щуся уже совершил переправу и, подняв с берега, как потом оказалось, половину состава боевой группы, углубился в овраги правого берега, Лешка при белом дрожащем свете спущенных с самолета фонарей украдкой перекрестился на озаренные собственным огнем игрушечные рамки гвардейских минометов, выстроившихся за старицей. В серебристо вспыхнувшем кустарнике, который, дохнув, разом приподнялся над землей и упал, тлея в светящихся кучах листа, занимался пожар, и никто не тушил его. «Всех карасей поглушат! — как всегда не к месту, мелькнула нелепая мысль и, как всегда, родила в нем какие-то посторонние желания: — Вот бы бабушку Соломенчиху сюда!»

Когда по берегу рокотно прокатились залпы орудий, с другой стороны реки донесло ответные толчки взрывов и земля вместе с дубками, со старицей, за которой потухли «катюши», начала качаться и скрипеть, будто на подвесных ржавых канатах, он перевозбужденно закричал:

— Ничего, ничего, товарищ Прахов! Живы будем — хрен помрем! — Кричал Шестаков громко, фальцетом, но сам себя не слышал.

Сема Прахов, поняв это, испугался еще больше и, впрягшись в широкую лямку из обмотки, тащил тяжелое корыто и, тоже не слыша себя, твердил:

— Скорее, миленькия, скорее!..

Лодку спрятали у самой воды, в обгрызенном козами или ободранном пулями летошним тальнике, залегли, отдышались. Прикрывая полою телогрейки фонарик, Лешка погрузил в нос лодки противогазную сумку с десятком гранат и запасными дисками для автомата, туда же сунул мятую алюминиевую баклажку с водкой, рюкзачок с харчишками, долго пристраивал планшет и буссоль. Пристроил, прикрыл военное добро снятой с себя телогрейкой. Глядя на набросанные бухтиной на дно челна провода с грузилами, подумал-подумал и разулся. Еще подумал и расстегнул ремень на штанах, но сами штаны не снял. Эти приготовления вовсе растревожили Сему Прахова.

— Скорее, миленькия, скорее! — почти бессознательно твердил он.

Лешка решительно поставил запасную катушку с проводом на середину корыта и заботливо завернутый в холщовый мешок да в старую шинеленку телефонный аппарат с заранее к нему привязанным заземлителем. Сема Прахов соединил Лешкин провод с катушкой, что оставалась на берегу.

— Я сделал все. Проверьте. Можно уж...— Сема Прахов устал ждать, извелся.

Лешка ничего не стал проверять, присев на нос, зорко следил за тем, как идет переправа, — ему в пекло нельзя. Ему надо — туда, где потемней, где потише: корыто-то по бурному водоему плавать не способно, по реке же, растревоженно мечущейся от взрывов и пуль, посудине этой и вовсе плавать не назначено. Ей в заглушь старицы полагалось существовать, в кислой, неподвижно-парной воде плавать.

Стрелковые части, начавшие переправу сразу же, как только открылась артподготовка, получили некоторое преимущество — немцы уже привыкли к тому, что, начав палить по ним изо всех орудий, русские молотить будут уж никак не меньше часа, и когда спохватились, передовые отряды, форсирующие реку, достигли правобережного острова.

И если бы...

Если бы тут были части, хорошо подготовленные к переправе, умеющие плавать, снабженные хоть какими-то плавсредствами, они бы не только острова, но и берега достигли в боевом виде. Но на заречный остров попали люди, уже нахлебавшиеся воды, почти сплошь утопившие оружие и боеприпасы, умеющие плавать выдержали схватку в воде с теми, кто не умел плавать и хватался за всё и за всех. Добравшись до хоть какой-то опоры под ногами, пережившие панику люди вцепились в землю, и не могли их с места сдвинуть никакие слова, никакая сила. Над берегом звенел командирский мат, на острове горели кусты, загодя облитые с самолетов горючей смесью, мечущихся в пламени людей расстреливали из пулеметов, глушили минами, река все густела и густела от черной человеческой каши, все яростней хлестали орудия, глуша немцев, не давая им поднять головы. Но противник был хорошо закопан и укрыт, кроме того уже через какие-то минуты появились ночные бомбардировщики, развесив фонари над рекой, начали свою смертоубийственную работу — они сбрасывали бомбы, и в свете ракет река поднималась ломкими султанами, оседала с хлестким шумом, со шлепающимися камнями, осколками, ошметками тряпок и мяса.

Тут же появились и советские самолеты, начали роиться вверх, кроить небо вдоль и поперек очередями трассирующих пуль. На берег бухнул большим пламенем объятый самолет. Фонари на парашютах, будто перезревшие нарывы, оплывающие желтым огнем, сгорали и зажигались, сгорали и зажигались. Бесконечно зажигались, бесконечно светились, бесконечно обнажали реку и все, что по ней плавало, носилось, билось, ревели.

«Ой, однако не переплыть мне...» — слушая разгорающийся бой на правом берегу, думал Лешка, полагая, что батальон Щуся, кореша родные проскочили остров еще до того, как он загорелся, до того, как самолеты развесили фонари, — во всяком разе он истово желал этого, желал их найти, встретить на другом берегу, хотя и понимал, что встретит не всех, далеко не всех.

И все-таки не самолеты были в этой битве главным, решающим оружием и даже не минометы, с хряском ломающие и подбрасывающие тальники на островах и на берегу. Самым страшным оказались пулеметы, легкие в переноске, скорострельные «эмкашки» с лентой, в которой пятьсот патронов. Они все заранее пристреляны и теперь, будто из узких горлышек брандспойтов, поливали берег, остров, реку, в которой кишело месиво из людей. Старые и молодые, сознательные и несознательные, добровольцы и военкоматами мобилизованные, штрафники и гвардейцы, русские и нерусские — все они кричали одни и те же слова: «Мама! Божечка! Боже!» и «Караул! Помогите!..». А пулеметы секли их и секли, поливали разноцветными струйками. Хватаясь друг за друга, раненые и не тронутые пулями и осколками люди связками уходили под воду, река бугрилась пузырями, пенилась красными бурюнами.

«Ждать нечего. Надо плыть, иначе тут с ума сойдешь...» — решил Лешка, понимая, что чем он больше медлит, тем меньше у него остается возможностей достичь другого берега.

Боженька, милый, за что, почему ты выбрал этих людей и бросил их сюда, в огненно кипящее земное пекло, ими же сотворенное? Зачем ты отворотил от них лик свой и оставил сатане на растерзание? Неужели вина всего человечества пала на головы этих несчастных, чужой волей гонимых на гибель? — ведь многие из них еще не успели никаких грехов сотворить. Услышь, Господи, имя свое, стоном оно разносится в ночи над смертной, холодной рекой. Здесь, в месте гибельном, ответь, за что караешь невинных?! Слеп и страшен суд твой, отмщение твое стрелою разящей летит не туда и не в тех, кого надобно разить. Худо досматриваешь, худо порядок, тобою же созданный, блюдешь ты, тешась не над дьяволом и сатаной, а над чадами своими.

— Ну, поглядели кино, и будет! — нарочно громко и нарочно сердито прокричал Лешка, подавая руку Семе Прахову, удивив этим напарника, который был робок, но догадлив: Лешка хоть таким манером хочет отдалить роковые минуты.

Сема и то понимал, что обезумевшие, потерявшие ориентировку в холодной реке, в темной ночи бойцы передовых подразделений вот-вот начнут выбрасываться на этот берег и их, чего доброго, как изменников и трусов секанут заградотрядчики, затаившиеся по прибрежным кустам и за камнями.

— Гляди за катушкой, Сема! Кончится провод — конец не отпусти. Отпустишь — капец тебе, да и мне тоже. Впрочем, мне-то... — махнул он рукой и бросился к лодке, налег на нее, сталкивая в воду.

— Я его камешком придавлю, — дребезжал угодливым голосом Сема Прахов. — Ка-а-амешком! Дай бог! Дай бог!..

— Ладно. Пока! — крикнул Лешка уже из лодки и оттолкнулся веслом.

Сема был боязлив и малосилен, старался жизнь свою спасти на войне усердием да угодничеством, но уже понял, должно быть, и он, что всего этого слишком мало, и уже далеким, окуклившимся в немоющем нутре зародышем чувствовал — не выжить ему на войне, но все же тянул, тянул день за днем, месяц за месяцем тонкую ниточку своей жизни.

Будто на осенней муксуньей путине выметывая плавную мережу, Лешка неторопливо начал сплывать по течению за освещенную ракетами зону, слыша, как осторожно, без стука и бряка стравливается провод из поскыркивающей катушки. Сема Прахов совершенно искренне — нету же искреннее молитвы, чем в огне да на воде, — дребезжал:

— Спасай вас Бог, Алеша! Спасай Бог!

Но вот мокрый голос связиста, лепет его не слышен, скоро и провод, пропускаемый через горсть, перестанет волочиться по воде, взлетать пружинисто. Сема ликовал в душе: не было на проводе комковитых сростков, голых узелков — провод для прокладки под водой подбирался трофейный, самый новый, самый-самый. Мотнувши барабан на катушке в последний раз, красная жила напряженно натянулась, потащила из-под Семы Прахова катушку. Схватившись за нее обеими руками, слизывая слезы с губ, связист обреченно уронил:

— Все! — И зачистил по-бабьи в голос: — Лети, проводок, на тот бережок!

Слезы отчего-то катились и катились по его лицу. Боясь упустить живую нить, все еще соединяющую его с напарником, ушедшим за него страдать, терпеть страх и, может, умереть, чего не скажешь тут, как не повиניшься — ничего-ничего не жалко, никаких слов и слез не стыдно. В шарахающейся темноте, которой страшнее, как думалось и казалось Семе Прахову с «безопасного берега», ничего на свете не было и не будет никогда, он улавливал жизнь, движение на реке, шевеление провода. «Господи!» — оборвалось сердце в Семе аж до самого живота, когда катушка дер-

нулась и провод замер. Он представил, как неловко напарнику его соединить конец провода с концом бухтины, краснеющей на дне лодки, и одновременно управлять неуклюжим этим полузатопленным челном. Мелко перебирал, перебирал ногами Сема Прахов, готовый бежать, помочь напарнику. Да куда побежишь-то — вода, темная река перед ним, распоротая и подоженная из конца в конец бушующим огнем. Сема аж взвизгнул, когда жилка на его катушке дернулась и снова натянулась. «Подсоединился! Подсоединился!»

Шуршал по камешнику, кровавой жилкой бился провод, вместивший в себя все напряжение человеческое.

— Гребе-от, миленький, гребе-о-от! Живо-оой! — пуще прежнего запел, зарыдал Сема Прахов. — Живо-ой! Лешенька-а-а-а!

Выбившись из полосы могильного света, спрятавшись во тьму, Лешка перестал осторожничать, сильными толчками гнал лодку к другому берегу. Смоленные лопаши почти не скрипели, весла мягко падали в воду. Через колено перекинутый провод послушно тащил грузила, и они, падая за борт, брызгались. Слизывая с губ холодные брызги, Лешка задышливо ахал, выбрасывая из себя горячий воздух. Да если бы он кричал — а он кричал, завывал время от времени, но не слышал себя — и если бы навесы стукались, как барабан на молотилке в Осипове, никто бы ничего не услышал: такой грохот носился над водою.

С вражеской стороны, с колоколенки деревенской церковки, упали на воду два синих прожекторных луча, запорошенных поднятой пылью. «Этого только не хватало!» — ахнул Лешка. В свете их он заполошно заматерился, замолотил веслами по воде.

На островке лучи скрестились, шарили по нему. В высвеченное место ударили пулеметы, перенесли весь огонь туда пушки и минометы, грязь в протоке, горелый прах на острове подняло в воздух, но чужой берег уже не дышал повальным огнем, не озарялся сплошной цепью пулеметов, которые сперва казались огненным канатом, протянутым вдоль берега, не понять было: то огонь непрерывный идет или уж сам берег в пулеметы превратился. За рекой, за передовыми позициями немцев, будто с вон дрова, вывалили бомбы ночные самолеты. На секунду сделалась вода сползающая набор головка церкви, оба прожектора мгновенно потухли.

— А-а-а-а-а! — завыл, заликовал одинокий Лешкин голос на темной реке. — Не гля-а-анется-а! Не глянется, курва такая! А-а-а-а!

Орать-то он, связист, орал, но и о работе не забывал. Стремительно выбросил груз, застревающий в гнилом шпангоуте, и тут же уронил весло, потому что лодка начала крениться, за бортом послышалось бульканье, хрипы. Не давая себе ни секунды на размышления, он выхватил из уключин весло и вслепую на хрип и бульканье ударил раз — другой — третий... содрогнулся, услышав короткий человеческий вскрик и мягкое шевеление под лодкой: вяло стукнувшись о дно, какой-то горемыка навечно ушел вглубь.

«Наши это... наших несет... Быстрее, быстрее!..» Он по шуму и ходу лодки почувствовал — прошел стрежень, провода, середина реки пройдена, его почти не сносит, провода должно хватить с избытком. Он отбивался веслом от все чаще наседавших на лодку, греб так, что старые, из осины тесанные весла прогибались на шейках.

— А-а, гробина, — стонал Лешка, — а-а, корыто! Его только вместо гроба... Нашу бы, обскую расшивочку-у-у... У-у-у-у-у! — вырывался вопль изо рта связиста. Ему вдруг поместилось, что тот, которого он оглушил веслом и отправил на дно, был Сема Прахов. — У-у-у-у-у!.. — мотая головой и всем телом мотаясь, был Лешка, на что-либо другое, даже на бодрящее ругательство, уже не хватало сил. Из воды вздымал весла уже не Лешка, они взлетали и падали сами, вразнобой, словно работал пьяный или сонный человек.

Сейчас главное — не ошалеть от страха и одиночества. На Дону, на притоке ли — сейчас не упомнить — он чуть не утонул в мелком ерике оттого, что испугался. И кого? Ужей! Он когда сунулся в ежевичник, то увидел их целый свиток.

Те гады долго потом снились Лешке, и всегда, во сне, наяву ли, опакнет по спине холод — во какая жуть! Хорошо, на Севере родился, где никаких тварей не водится, комар да мошка — и все.

Лешка хитрил, заставлял себя думать о чем-нибудь постороннем, но сам, вытянувшись до последней жилочки, напрягал слух — не завозится ли кто за бортом? Когда-то кончилась, иссякла бухта провода с подвесками, когда-то успел он, хлюпаясь в мокре, подсоединить конец бухты к последней катушке, и по тому, как убыстрялось ее вращение, понял: провода на катушке осталось меньше половины. Но где берег-то? А что, если провода не хватит?

У дальнего леса, за правобережной деревушкой, выхватывая кипы деревьев, начали бить зенитки. Небо там озарилось ракетами. «Неужели наши? — подумал Лешка. — Нет, нашим далеко. Может, партизаны? Хоть бы партизаны помогли. Погибнем все мы тут... — И никогда всерьез не принимавший партизан, пленных и прочую братию, якобы так героически сражающихся в тылу врага, что остальной армии остается лишь с песнями двигаться на запад, потери противника да трофеи подсчитывать, взмолил-ся тут фронтовой связист: — Хоть бы партизаны...»

— Спасите! — послышалось совсем близко, кажется, кто-то заплюхался, завозился за его спиной, возле носа челна.

Лешка притормозил лодку, и через мгновение до него донесло последним выдохом:

— ...аси-и-и-ите-еэ-э-э!

Огонь на правом берегу распался на звенья, на узелки, на отдельные точки. Звуки боя разносило на стороны. Послышались очереди автоматов, хлопанье винтовок, аханье гранат, рудуканье немецких пулеметов из уверенного перешло в беспорядочное. Ракеты, не успевая разгораться, заполосовали над яром, который казался то далеко, то совсем рядом. «Добрались! Батюшки! Какие-то отчаюги уже добрались! Скорее! Скорее!..»

— Скорее! Скорее! — хрипел одинокий пловец и чувствовал, как от натуги выдавливает глаза из глазниц, швом сварки режет разбухшее сердце, гулко бьется кровь уже не в ушах, в заушинах.

По реке тащило течением всякое добро, бился, царапался о лодку тонущий люд.

Катушки едва-едва хватило до суши. Все-таки далеко снесло связиста, пока он отбивался от тонущих людей. И когда лодка шоркнулась о дно и стала, он еще послушал с уже опустошенной облегченностью, как скрежещет опроставшаяся катушка, придержал ее ногой и только тут обнаружил, что у него пол-лодки воды и он в ней плавает, как склизкий пудовый налим, без икры только и без потрохов, — все выработалось в нем, вымыло из него всякие органы, лишь тошнотная пустота порожнего тела гулко, как в бочке, билась, плескалась...

«Все-таки выдержала старуха! Выдержала!» Лешка гладил, гладил мокрый борт, старое, прелое дерево мягким ворсом липло к пальцам.

Отдышавшись, Лешка шагнул за борт, услышал, как полилась за голенища вода. Купальный-то сезон давно прошел. Подтащив лодку, связист лег за деревянную ее щеку и, держа автомат наизготовку, осматривался, соображал, что делать дальше, отыскивал глазами, куда подаваться, за чем и чем укрываться.

Хутор на левой стороне сплошь горел, дотлевали стога за хуторком, отсветы пожара шевелились на грозно чернеющей реке, достигая правого берега. По ту сторону реки было так светло, что беленький обмысочек островка, отемненный водою, виднелся половинкой луны. Лешка не сразу узнал островок: не осталось на нем ни кустика, ни ветел, ни коновязи — все сметено огнем, все растоптано, все избито. Чадящий хуторской берег

сполз в протоку вместе с тополями и каменной городьбой, вспыхивающей соломой крыш. А на этом берегу совсем близко, озаряясь огнем, лупил пулемет, в ответ — россыпь автоматов пэпэша, отдельно бухали винтовочные выстрелы.

«Ба-а-тюшки! — ужаснулся Лешка. — Это сколько же погибло народу-то?!» Лешка тут же отогнал от себя всякие мысли и, подхватив запасную катушку, бросился под тень яра, чувствуя, что его нанесло на устье речки Черевинки. Ее он угадывал по серенькой выемке и по ветле, горящей сухо и ярко уже за поворотом. «Только бы порошок в мембране не отсырел, только бы аппарат не отказал, только бы...»

— Шнеллер! Шнеллер! — услышал Лешка над собой по яру топот и звяк железа.

«И это, слава те, пронесло! — пордовался Лешка. — Пойди немцы по берегу — как муху смахнули бы». Утратив осторожность — все же устал на реке со связью, — соображал плохо. Разбрызгивая воду, перемахнул речку и упал за валуном или мысом, что блекло светился во тьме, держа автомат на взводе.

— Эй! — позвал он.

— Шестаков, ты?

— Я! — чуть не заблажил во все горло Лешка. Обалдевший от одиночества, находившийся, как ему казалось, в самой гуще вражеского стана, он даже задрожал, не от мокра и холода, а от вдруг накатившего возбуждения.

— Тихо! — цыкнул на него из темноты майор Зарубин. — Как связь?

— Здесь, здесь. Она уже здесь, товарищ майор, здесь, миленькая, недалеко!..

— Мансуров, Малькушенко, прикрывайте нас. Шестаков, за мной.

Лешка схватил майора за руку и услышал пальцами разогретое дуло пистолета. Майор тоже дрожал. Стараясь негромко топтать, они устремились от речки под навес яра, сыплющегося от сотрясения.

— Будьте здесь, товарищ майор! Вот вам автомат.

Связист бегом достиг лодки, глуша ладонями звук и скрежет запасной катушки, воротился к майору, бросил катушку под осыпь, упал на колени, собрался вонзить заземлитель в податливую землю, но конец провода оказался незачищенным.

— Ах, Сема, Сема!.. — Лешка рванул зубами изоляцию и почувствовал, что рот наполняется соленой кровью — жёсток немецкий провод, заключенный в твердую пластмассу, дерет русскую пасть, а наш зубами зачищался без труда, но и работал так же кволо. — Сколько вас осталось, товарищ майор? — шепотом спросил Лешка, зажимая провод в мокрых клеммах.

— Трое. Кажется, трое, — отозвался майор и поторопил: — Быстрее!

— Готово! Готово, товарищ майор! Готово, голубчик! — вдавливая ладонью глубже заземлитель, почему-то причитал Лешка и, накрывшись сырой шинелью, телогрейкой, повторил связистскую молитву: — Пушай чтоб батарейки и в аппарате не намокли. Пушай все будет на линии в порядке. — И недоверчиво нажав клапан на трубке, неуверенно произнес: — Але!

— Але, але! — сразу отозвалось пространство знакомым человеческим голосом: богоданный родной берег, казавшийся совершенно уже другим светом, недостижимым, как мирозданье, навечно отделившимся от этого грохочущего мира, говорил голосом Семы Прахова. В другое время голос его казался занудным, бесцветным, но вот пришло — сделался бесконечно родным. — Але! Але! Але! — заторопился Сема. — Але! Москва! Ой, але, река! Але, Леша! Але, Шестаков!.. Вы — живые! Живые!

— Начальника штаба! Немедленно! — клацая зубами, подал глухой голос майор из-под шинели, торчащей шатром.

— Третьего! Сема, третьего! — уже входя в привычный повелительный тон штабного телефониста, потребовал Лешка, оборвавши разом сбивчивые, бестолковые эти Семины «але!».

— Счас. Передаю трубку!..

— Третий у телефона! — чрезмерно звонким, как бы юношеским, из оркестровой меди отлитым голосом откликнулся начальник штаба арtpолка капитан Понайотов.

Лешка нашарил в потемках майора, разогнул его холодно-каменные пальцы, выпрастывая из них пистолет, вложил в руку телефонную трубку. Майор какое-то время только дышал в трубку.

— Алло! Алексан Васильевич! Алло! Алексан Васильевич! Товарищ майор! — дребезжала мембрана голосом Понайотова. — Товарищ пятый! Вы меня слышите? Вы меня слышите?

— Я слышу вас, Понайотов! — почти шепотом сказал Зарубин и, видно, израсходовал остаток сил на то, чтобы произнести эту фразу.

Понайотов напряженно ждал.

— Понайотов... наши-то почти все погибли, — заговорил наконец жалобно майор. — Я ранен. Нас четверо, Понайотов. Всего четверо. — Зубы Зарубина мелко постукивали, он никак не мог овладеть собой. — Ах, Понайотов, Понайотов... Тот, кто это переможет, — долго жить будет...

Зарубин, уронив голову, подышал себе на грудь, снова замолкнув. Лешка растерянно ждал. Далекий родной берег тоже терпеливо ждал.

— Мы хотели бы вам помочь, — внятно, но негромко и виновато сказал Понайотов.

— Вы и поможете, — пляшущими губами, уже твердеющим голосом сказал майор, — вы для того там и остались. Пока я уточню разведанные, добытые ребятами, пока огляжусь, всем полком, если можно, и девяткой тоже — огонь по руслу речки и по высоте сто. Вся перегруппировка стронутых с берега немцев, выдвигание резервов проходит по руслу речки, из-за высоты сто и по оврагам, в нее выходящим. Огонь и огонь туда. Как можно больше огня. Но помните: в оврагах против заречного острова есть уже наши, не бейте по своим, не бейте... Они и без того еле живы. Прямо против вас, против хутора, значит, из последних сил держатся за берег перекинувшиеся сюда части. Пока они живы, пока стоят тут, пусть ускорят переправу главных сил корпуса. Свяжитесь с командующим и огонь, непрерывный огонь, но... не бейте, ради бога, не бейте по своим... — Майор снова остановился, прерывисто подышал. — Одной батареей все время валить в устье Черевинки, не стрелять, именно валить и валить с доворотом. Иначе нам конец. Прикройте нас, прикройте!..

Понайотов, болгарин, был не только красивый, подтянутый парень, но и отличный артиллерист. Слушая майора Зарубина, он уже делал отметки на карте и, прижав подбородком клапан второго телефона, кричал:

— Десятая! Доворот вправо! Ноль-ноль двадцать, четыре единицы сместить! Без дополнительного заряда, беглым, осколочным!..

Пока эти команды летели на десятую и другие батареи, в устье речки уже завязалась перестрелка.

— Будьте у аппарата, товарищ майор! Я помогу ребятам.

— Давай! В речку далеко не лезьте. Сейчас туда ударят...

Пули щелкали по камням, высекая синие всплески. Из-за камней от берега россыпью стреляли не двое, а пятеро или восьмеро, стреляли реденько, расчетливо. Лешка под прикрытием осыпи, запинаясь за камни, пробрался в развилку речки, залег, положил на камень автомат и, по вспышкам угадав, откуда бьют немцы, запустил туда две лимонки. Получилось минутное замешательство.

— Ребята, сюда! Под яр! — закричал Лешка.

Несколько темных фигурок, громко по камням топая, ринулись к нему, запаленно дыша, упали рядом, начали стрелять.

— Молодцы! — паля короткими очередями из автомата, бросил Лешка.

— Мелькушенко там, — сказал Мансуров, — ранило его.

— Сейчас, наши сейчас... — Лешка не успел договорить.

За рекой в догорающем хуторе выплонуло вверх клубы огня, и вскоре, убыстря шум, пришепывая, из темного неба начали вываливаться в

пойму речки снаряды. Берег трянуло. Из речки долетели камень и песок, смешанный с водою.

— Раненых! Быстро! — перекрывая грохот взрывов, закричал Лешка, бросаясь за какой-то бугорок, сплевывая на ходу все еще кровавую слюну, смешавшуюся с песком.

Двух раненых удалось спасти. Мелькушенко и соседи его, бойцы, были убиты уже здесь, возле речки, может, немцами, может, осколками своих же снарядов. Десятая батарея будто ковала большую подкову в старой кузне — работала бесперебойно. Немцы в устье речки перестали стрелять и бегать, затаились.

— А-а-а, подлюки! Не все нас бить-молотить! — яростно взрыдывая, торжествовал Мансуров. — Лешка, давай закуришь. У нас все вымокло.

— Сначала майора в укрытие перетащим, — сказал Лешка, — дойдет он. Перевязать его надо. И телефон ему.

— Дунули! — согласился Мансуров. — У тебя, правда, курить есть?

— У меня даже пожрать и погреться чем есть!

— Но-о?! — произнес Мансуров потрясенно. — Живем тогда. — И, оттолкнувшись от земли, ринулся под яр, из которого обтрепанно сыпались и сыпались комки с травой, сочился песок.

Под мокрой шинелью стонал майор, пытаясь перевязать сам себя.

— Ну-ка, товарищ майор, — полез под шинель Мансуров и грубовато отнял у Зарубина пакет. — Лешка, посвети впритырку.

Прикрывая пилоткой и полой телогрейки фонарик, Шестаков приподнял шинель, осветил белое, охваченное окровавленными руками тело. «Рана-то какая худая!» — отметил Лешка, увидев, как от дыхания майора выбивается из-под нижнего ребра кровавая долька с пузырьком и, лопнув, сочится под высокий строченый пояс офицерских штанов.

— У меня руки чистые, — сказал Мансуров и даянул бок Зарубина. Майор дернулся, замычал — осколок прошупывался, был он близко, под ребром. — Счас бы обсушиться — и в санроту.

— Что об этом говорить? — успокаиваясь под руками Мансурова, вздохнул майор. — Закрепляйтесь, ребята, окапывайтесь, ищите тех, кто остался живой, не то будет нам и санрота и вечный покой... Я за телефониста...

Лешка принес из лодки флягу и подмокший рюкзак с едой.

— Да-да, здесь надежда только на себя и на товарища... Пакеты, — помолчав, добавил он, — пакеты брать у мертвых... патроны и пакеты... патроны... — Он прервался, хотел подвинуться к яру, но даже с места себя не стронул, зато сразу почувствовал холод мокро облепившей его шинели. — Подтащите меня, — попросил он, — меня и телефон — под навес яра, сами окапывайтесь, если есть чем, да попытайтесь найти командира стрелкового полка Бескапустина и хотя бы одного, пусть одного-разъединственного живого бойца из тех, что переправились днем.

— Мы бескапустинцы, — тут же откликнулись затаившиеся под берегом бойцы, вместе с которыми отстреливался в устье речки Мансуров. Было их человек пять, и где-то поблизости, за речкой, звякая о камни, окапывались бойцы, утерявшие связь не только с командиром полка, но и со своими ротами.

Прерывисто дыша, майор настойчиво просил, не ставил задачу, именно просил бойцов немедленно и во что бы то ни стало найти Бескапустина или хотя бы кого-то из командиров рот, батальонов, хорошо бы кого и из штаба полка, сообщить надо им, что с левым берегом работает связь, по возможности еще ночью, в темноте протянуть телефонные концы стрелковым подразделениям.

— Шестаков! Чем угодно и как угодно замаскируй лодку! Мансуров, тебе идти. — Майора колотило, он трудно собирал рассыпающиеся слова. — Где-то есть наши. Есть. Не может быть, чтобы все погибли. Постарайся найти их. Все! За дело, ребята. Ночь на исходе. День грядущий много чего нам готовит...

Майор кутался в шинель и все плотнее жался к обсеченному, струящемуся берегу, надеясь согреться.

— Понайотова мне! — протянул он руку. — Понайотов! Немножко подвинься, подвинься. Нас засыпает осколками, они отошли, отогнали мы их, отогнали. — Он отдал трубку Мансурову, съезжился. — Ах ты чертовщина! И огонь нельзя развести. — В голосе майора были и вопрос, и просьба, и слабая надежда.

— Нельзя, — уронил Мансуров. — Ну, мы пошли, товарищ майор. Постараемся найти славян. Мал у нас выводок, шибко мал. Меньше тетеревиного. Лешка, ты никуда — понял? Ни-ку-да!..

Шестаков приподнялся и ткнул Мансурова в спину, как бы подгоняя. Тут же, разбрызгивая воду, вздымая песок, секанула очередь. Взвизгнув и как бы еще больше озлясь, пули рикошетом рассыпались, прочертили белые линии по реке. Лешка по-пластунски пополз к лодке. Вокруг шелкало, впивалось в землю, крошило камни очередями пулеметов, автоматов, ответно четкими торопливыми выстрелами сорили винтовки.

«Да там уж не наши ли бьются?»

Переправа продолжалась. Приняв основной удар на себя, передовые части разбросанно затаились по оврагам, пытаясь до рассвета установить связь друг с другом. Рота, точнее старые, закаленные вояки из роты Герки — горного бедняка, ошивавшиеся на хуторе, расковыряв штукатурку на стенах сельской школы, обнаружили под штукатуркой хорошо оструганные, плотно пригнанные брусья, тут же углями на стенах изобразили «секретный склад» и сами же встали дозором, палили в воздух, не подпуская никого к важному объекту.

Уже на закате зловеще кипящего солнца орлы Оськина связали брусья попарно, скинули с себя почти все, кроме подштанников, узелки с пожитками, оружием, патронами и гранатами притачали к плотикам. Боевой командир, скаля зубы, заметил: если убьют на переправе, никакого значения не имеет тот факт, что ты голый или какой — голому даже способней: скорее и без задержек пойдешь на дно. Зато уж если переправишься — в сухом и с патронами будешь.

Задача стрелковым ротам полка Сыроватко была: переправившись, рассыпаться вдоль берега, сосредоточиться в подъярье и затем уж атаковать ошеломленного, артподготовкой подавленного противника. Оськин хотел проявить находчивость и дерзость: еще во время артподготовки двинуть свою роту вслед за первым батальоном полка Бескапустина, — но что-то, скорее всего нюх бывалого вояки, придержало его, и когда загорелся остров и на нем, освещенные, будто при большом пожаре, заматались бедные пехотинцы, Оськин, крикнув: «За мной!» — бросился в воду и, толкая плотик с манатками и оружием, брел, пока ноги доставали дно, потом звонким, уже дребезжащим от холодной воды голосом повторил: «За мной!» — и, резко, часто выбрасывая правую руку, толкал плотик вперед, грозясь: «Убью! Любого и каждого убью!» — это на тот случай, если пловцы задумают громоздиться на связанные брусья.

Ниже и ниже по течению забирал ротный, видя, что весь огонь немцы сосредоточили на острове и ночные самолеты все сбрасывают и сбрасывают на выгорающий клочок земли бочки и, разливаясь ошметьем, огонь доканчивал живых и мертвых на острове, в мелкой протоке и на берегу.

Стреляли и по роте Оськина, попадали в кого-то, но бойцы греблись, скреблись к берегу, пляшущему от взрывов, ощетиенному пулеметным огнем. Чем ближе был берег, тем гуще дым, пыль и огонь, но упрямо, судорожно хватали бойцы горстями воду, отплывая подальше от ада, кипящего на острове и вокруг него. Под самым уж правым берегом плоты Оськина подверглись нападению ошалелой толпы, и как ни отбивались, как ни обороняли плоты, на них, на плоты, слепо лезли нагие, страхом объятые люди, вздымались, стаскивали за собой в воду. Не один плот отцарапали они, обернули, погибельно вопя, забывшие и себя и командиров своих.

«Мама! Ма-а-а-амо-о-очка-а!» — плескалось над рекой.

И все-таки рота Оськина, сохранившая костяк и способность выполнять боевую задачу, достигла берега. На ходу разбирая оружие, натягивая штаны, гимнастерки, обувь и что-то тоже беспamięтно вопя, бойцы ринулись в темень, падали на урезе, плотно заваливались за камни. Берег после зыбкой воды казался таким надежным укрытием, суша — такой незыблемой опорой.

— Ор-ре-олики-и! Р-ребята-а! — метался по берегу Герка — горный бедняк. — Под берег, под яр, под яр!.. Орелики!..

Они и сами понимали, что надо стремиться под навес яра, от воды подальше, от немым светом дышащих воздушных фонарей, но не хватало смелости на бросок, тянуло прижаться к земле, к этому спасительному берегу. Не могли бойцы, никак не могли взяться от мокрого песка, из-за кучки камней, сыплющихся крошечком от секущихся осколков и пуль, прятались за брусья от плотиков. Командир роты в распоясанной и расстегнутой гимнастерке долбил бойцов пистолетом, волоком тащил их, бросал под яр.

— Да вы что? Вы что? Перебьют же! Перебью-у-у-ут все-эх... — И внезапно, словно в мольбе воздев руки в небо, вскрикнул, роня пистолет, и в крике том не столько было страху, боли, сколько вроде бы ликующего разрешения от непосильного напряжения. Его задержали под навес яра. Но он все дергался, все кричал заведенно, все брызгал слюной: — Под берег! Под берег! Впер-р-ре-од!

Палец, жесткий от лопаты и земляной работы, попахивающий крепкой псиной и табаком, прочистил рот командира роты от песка. Точно сисью в губы ребенка, сунули командиру роты ребристое горло баклажки. Сцапал, смял железо зубами Герка — горный бедняк, вдохнул в себя горячую влагу — и все, шатнувшись, поплыло от него куда-то в сторону, в утишающую, пыльно клубящуюся яму. Бойцы наложили на перебитую ногу командира шину из штукатурных лучинок, затянули жгут выше колена, влили еще глоток водки в стиснутый рот и поволокли к воде. Прихватив раненого обмоткой поперек туловища к бревешкам, побрели под огнем по мелкой воде, толкая плотик.

— А-а! — пробовал вскинуться опомнившийся ротный, молотя по воде кулаком. — А-а-а-а! Распровашу мать! Из-за вас! Из-за вас! Залегли-ы, бздуну... залегли, жопы к берегу прижали... А-а-а!..

Увидев, как наверх, на яр, карабкаются и исчезают в огне фигурки людей, сыпля впереди себя мерцающими огоньками, сея в землю зерна пуль, понял: его рота жива, поднялась в атаку, одолевает она теперь уже такое надежное укрытие — яр и осыпи берега, прикрывая своего раненого командира.

— Я сам! Я сам! Уходите! — закричал он. — Помогайте им, помогайте! — И начал обеими руками бить по воде, показывая, что он тут сам справится.

Один из бойцов, еще по Подмоскovie знакомый, крикнул: «Пока, Герка! Пока!..» — толкнул обеими руками плотик, с сожалением отцепляясь от него. Другой боец, молодой, незнакомый, долго волокся за плотиком: то рукав зацепят лучинки, то самодельный карман гимнастерки... — ох, какая небывалая сила удерживала бойца у плотика. Чувствуя, что плотик подхватило течением, понесло в ночную темень, боясь одиночества и темноты больше, чем кипящего огнем берега, Оськин упрямо орал: Я с-сам! Я са-а-а-ам!» — роня голову меж брусьев, хватал губами плюхающуюся живительную воду.

Он впал в забытье, его ранило вторично, от удара очнулся.

— Я са-а-а-ам!.. Я са-а-а-ам! — шевелил он губами, но ему казалось, кричал он на всю реку. — Я спасу-у-усь! Орелики мои!..

И он добрался, докарабкался до левой стороны, течением его прибило к берегу, плотик застрял меж камней. Тут он сморенно умолк. Сытенький санитарструктор заградотряда с двумя солдатами бугаистой комплекции,

опасливо озираясь, беспрестанно кланяясь слепым пулям, долетающим до левого берега, отвязывал командира роты от плотика. Он шевелил искусанными, сухими губами, и если бы санитары могли разобрать, что молвит истекающий кровью командир, гимнастерка которого на груди вся была в дырках от орденов и значков, то не только заковыристые матюки услышали бы, но и складный монолог: «Погибает Герка — горный бедняк... погибает... не за хер, не за морковку, а за... Впе-э-эре-од! Под яр! Яр... яр... яр... Че разлежся?.. За красную окантовку!.. Стих! То-о-онька! Доченьки, до-о-оченьки, чаечки-кричаечки-и-ы-ы-ы...»

Лешка был невдали от того места, где ранило отчима его знаменитого. От устья речки Черевинки, где высадили со связью Лешка Шестаков, до переправившейся роты Оськина сажен двести — триста, но не слышали они друг друга, не встретились в человеческой каше, хотя в письмах папуля грозился перевести сынулю в свою роту и выдать ему пэтээр.

Нашел чем пугать связиста! Да он как навесит на себя две катушки со связью, да вещмешок на горб водрузит, да телефонный аппарат на плечо, сверх всего накинёт еще два подсумка с патронами на пояс, да лопату, да котелок, да всякий-разный инвентарь, да по пути картошек нароет либо у ротозевых вояк чего съестного уведет — тот пэтээр ему лучинка.

Уже наутре в медсанбат второго полка, разместившийся в отдалении от берега, обратился санинструктор заградотрядников: по бумаге, вынудой из патрончика, он установил, что командир, чудом переплывший реку на плотике, — из стрелкового полка Сыроватко. Пока еще живой, хотя и без сознания, но все еще командует, и как командует — заслушаешься!

(Продолжение следует)



«В ПЕТЕРБУРГЕ МЫ СОЙДЕМСЯ СНОВА...»

«Скучно жить в трудовой республике, граждане и господа! Пресная жизнь. Ничемная. Какая серость, какое убожество!.. Скучно жить в одной стране, господа, а какая это страна, вы сами догадываетесь...» — писал Мандельштам в двадцать седьмом году. «А сейчас?» — спрашиваю я, сомневаясь наперекор общераспространенному: «Ну уж в России не скучно! В наши дни если где и не скучно, так именно там!» У меня от этой «веселости» — ком в горле. Новизна, развал, нищета, купеческие роскошества... Российская жизнь приобрела отчетливую форму жизни растительной, жизни, пытающейся выжить. Она похожа на тяжело больного, каждый день которого есть борьба за день и каждая ночь — борьба за ночь.

Что-то ушло из жизни, но ушло не сразу, оглядывалось, цеплялось, медлило. Что это было? Была некая рутинная пластичность существования людей, в которой «рутина» не означала ничего дурного, напротив: в ней заключалась беспечность по отношению к завтрашнему дню (сейчас немыслимая!), медлительность (а сейчас все несется, как птица-тройка, некогда глотка воды выпить!), — и были грибы, и ягоды — ради прогулки, ради леса (а сейчас только на зиму, только про запас!), и книжки, которые писались в стол, для друзей, потому что иначе — некуда (а сейчас непременно — издать, продать, в техасском клубе пенсионеров — выступить), и не обменивались деловыми телефонами в лифте, на бегу, и были силы на любовь, и на дружбу, на «разговоры вполголоса», на усталость, на праздность, на потери...

В наступившей кажущейся разноголосице (ибо на самом деле большая, странная слаженность наступила в российской жизни: всех одинаково сильно согнуло в дугу!) я радостно ловлю то, что не подчинилось, оставило за собой право на неторопливую созерцательность, грустную беспечность, старинную медлительность, иронию, традицию. Вот он опять, Петербург, холодная Нева, ее «державное течение, береговой ее гранит...». Никуда не убежал «чужак Евгений», который «бедности стыдится, бензин глотает и судьбу клянет», потому что бежать ему — некуда. Здесь, на Неве, дом. Поэты перекликаются, как птицы, и их голоса, хриплые, срывающиеся, торопливые, дробятся на «воздушных путях», где легче дышится, где, как праздничное вино, «бессмысленно роскошью» растекаются закаты. Ведь закаты не подчиняются социальным переустройствам. Что им сделается, закатам?¹

И. МУРАВЬЕВА.

Нью-Йорк.

ГРИГОРИЙ МАРК

ПЕТЕРБУРГСКИЕ СТАНСЫ

*Посвящается Владимиру Гандельсману,
автору книги «Там на Неве дом».*

1

Дождем отполированный,
Графин пузатый купола
Сквозь синий воздух светится
В футляре золотом.

¹ Не оспаривая права автора на собственный взгляд и оценку происходящего сегодня в России, мы тем не менее не убеждены, что большое всегда видится на расстоянии — даже через океан. — *Ред.*

Струится свет с Исакия,
Полощется и хлюпает
Внутри вино закатное
Под пробкою с крестом.

Посапывая, греется
Собора туша сонная,
Вдыхает слизь болотную,
Вся, как орган, гудит,
И хороводом медленным
Колонны многотонные
Плывут вокруг Исакия
В гранитных бигуди.

Качаясь в люльке месяца,
Храм Божий отражается
Над Петербургом нищенским
В зеркальных облаках.
Из купола прозрачного
По небу растекается
Бесмысленною роскошью
Сияющий закат.

2

В Двенадцати Коллегиях
Чиновники бесполое
На низких подоконниках
Как статуи стоят.
Их круглые, тяжелые,
Прилизанные головы
Блестят очками толстыми,
Уставившись в закат.

Широкой ртутной лентою
Лежит Нева Викентьевна.
Скользят по ней торжественно
В мазуте золотом
Корыта баржей черные,
И расцветают медленно
Трезубые светильники
Над Троицким мостом.

Густой струей медовою
Над бывшею столицей
Игла Адмиралтейская.
И контур седока,
Летящего по площади
С простертою десницею,
Печатью фальконетовой
Оттиснут в облаках.

3

Согнув рога смиренные,
Троллейбусы стеклянные
Петляют неприкаянно
По скользкой мостовой.

Как гроздья перезрелые,
Висят из окон пьяные,
На тонких шеях лица их
Горланят вразнобой.

Вдоль стен сырых, обшарпанных
Торгуют дрянью разною
Шеренги баб раскрашенных,
Настырных мужиков.
И по асфальту медленно
В пасть магазина грязную
Сороконожка очередь
Ползет между домов.

В одном из зданий каменных
И Я сидит, набычившись,
И стансы петербургские
Над рюмкою пустой
Бубнит как заклинания
Не очень-то лирический
Стихотворенья этого
Не слишком-то герой.

* *
*

Засыпанный звездами, город мой дремлет.
Сияют в асфальте алмазные зерна.
Спускаются с неба по лестнице черной
Ослепшие ангелы смерти на землю.

ВЛАДИМИР ГАНДЕЛЬСМАН

НОЧЬ НАД САНКТ-ЛЕНИНБУРГОМ

* *
*

Это город слепых,
розоватых, трапецеобразных
стен, от ветров ненастных
оградивших живых,
это город глухих
переулков несчастных
и безмолвных, прекрасных
снегопадов густых.

Это город теней
во дворах нездоровых,
это город готовых
к вымиранью людей.

Это город детьми
облюбованных горок,
древний образ мне дорог —
если хочешь, возьми —

это город зимы,
мандариновых корок,
холодов, полутьмы,
вереницы огней
с желтым прицветом йода,
и железных коней,
и того пешехода...

ну, живи, цепеней...

* *
*

Если это последний
день, то я бы сошел
в том саду,
где стоит дискобол
и холодный и бледный
свет горит, как в аду.

Дочь моя, или сын мой,
или друг мой идет
впереди,

черен твой небосвод,
город снежный и дымный,
нет другого пути.

Сохрани тебя, Боже...
путь ли это домой
вдоль реки...
ты и вправду живой?
Дай дотронуться все же
до пальто, до руки...

* *
*

Коридоров жилищных контор.
Как войдете — направо и прямо,
там упретесь. Я кухонных ссор
челобитчик, обидчик и вор.
Встаньте в очередь, дама!

Между двух посидим батарей.
О разводе мне дай, о прописке.
Я входных завсегдатай дверей.
Отойди от меня. Не зверей.
Где вы брали сосиски?

Безопасности техники чтец.
«Светоч»-фабрики в полуподвале
на плакате ударный боец.
Да заткнитесь уже наконец,
все мы жертвою пали.

Кран течет, намокает стена.
Слух идет о тебе, ныне дикой.
Я гуляю сегодня, страна.
Вот мой рваный. Пошел бы ты на.
Ты не мать мне, не тыкай.

Гробовую мою утоли.
Что ты лыбишься, зенки таращишь?
На мели я, сосед. Не мели.
Дай до завтра трояк. Отвали.
Отвалю — не оттащишь.

Вот ведь скоро ноябские. Ляг.
Махабхарата, бхагавадгита.
Я хочу не духовных, но благ.
Рыбка! Что тебе надобно? Так.
Впрочем, дай мне корыто.

Я на разных лежу этажах.
Человеком со справкой, придурком.
Воет ветер в своих мятежах.
Иль со светом ты не на ножах,
ночь над Санкт-Петербургом?

ВРЕМЕНА И ПРАВЫ

МАРК КОСТРОВ



ВАРИАЦИИ ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА

Давно обещал я «Новому миру» написать о сборе грибов и различных способах их приготовления: сушке, варке и т. д. Получал из редакции несколько напоминаний (в особенности после публикации в прошлом году моих «Советов болотного жителя» — «НМ», 1993, № 9) по телефону и в письмах: ждем, мол, материал, как там у вас дела с очерком?

Правда, я несколько изменил свой первоначальный уговор с редакцией: уведомил их, что сегодня конструировать былые солоухинские экзальтации на грибные темы мне трудновато, и предложил другую схему: «Временные технологии по засолке желто-красных и бело-коричневых рядовок и по скоростному рытью землянок».

Что из всего этого могло получиться, я тогда еще, право, не знал, но за работу принялся.

Итак, к делу — труба зовет! На днях съел тарелку грибной икры — и до сих пор жив: по данным наших ученых, рядовки бело-коричневые съедобны, по утверждению зарубежных микологов — ядовиты¹. Все на свете сегодня перепуталось, поэтому молодежь пусть уж ездит в дали синие за положительными грибами, а нам, старикам, остаются эти двуличные грибочки, которые растут у меня чуть ли не под окнами (я живу на окраине города). А почему бы нам, пенсионерам, не быть первопроходцами в их опробовании, так сказать, Матросовыми мирного времени, ради своих детей и внуков? Если выживем после дегустаций — нам слава, умрем — тоже слава. Какое-то количество метров жилой площади как бы само собой построилось, да и инфляция, раз тебе положили книжку пенсионную на грудь, уменьшилась бы. Недавно мне приснился мой земляк Миклухо-Маклай, так вот он рассказывал, что, когда он ездил в отпуск на Новую Гвинею, там у туземцев так было принято: идет семья на охоту, батя вдруг начинает от усталости спотыкаться — старший сын сразу же бац его дубинкой по голове, тут же садятся, костер разжигают, старый мозг новому главе рода с почестями вручается; передохнули — пошли дальше с новыми силами к светлому охотничьему будущему. Или другой, более гуманный, пример у северных народов, там батю вывозили в пургу подальше от жилища, на прощание даже кусок печени выделялся...

Вот отстукиваю эти строки и думаю: а почему бы тебе, Марк Леонидович, не последовать этим обычаям, коли ты так их активно расписываешь, тем более холода как раз наступили? Отвечаю сам себе и страждущим мне это сказать: да просто потому, что я ждал этих холодов, рад их неизбежности, лучше раньше, чем тянуть время, и верю, что после них наступит потепление, а поэтому тем, кто хочет избежать заморозков, предлагаю безрублевые грибные кислые, горячие, с огурчиком и стопочкой горилки щи. Для этого нужны, во-первых, сушеные грибы. В наши дни это не чистейшая шляпка белого грибочка, а всевозможный плюралистический скоп. Может, даже с изъяном, чтоб выжить в наше смутное время. Вот уже лет пять я не обращаю на червоточины внимания в плодовых телах сыроежек и подосиновиков, подберезовиков-черноголовок, моховиков, козляков. Особенно мне симпатичны христые кепочки свинушек с помпончиком посредине — они и на жаркое хороши, и на засолку, и в сушку идут беспрепятственно. Тем более их вы-

¹ «Грибы СССР». М. «Мысль». 1980, стр. 168. На всякий случай, пока в парламенте не утвердят новые законы по «грибам России», советую красно-коричневые в супах и жареными не употреблять, а перед засолкой (как я это делаю) дважды вымачивать и отваривать.

сыпает уже с июля месяца в Печорском крае огромное количество. Я их, да и не только их, развешиваю по бельевым веревкам на шампурах из алюминиевой проволоки, ее по России после ликвидации неперспективов путается под ногами достаточно, на ночь прикрываю обрывками такой же вездесущей полиэтиленовой пленки.

В этом же девяносто третьем году вторгся в промежуточное царство живых организмов, отличающееся как от растений, так и от животных несколько иным способом. Ибо нынче у нас на Новгородчине грибы-колосовики пошли плавно и очень изобильно уже с последних чисел мая — мы, старожилы, такого никогда не помнили, — да так и, не сдавая своих позиций, перешагнули в обычный грибной августовско-сентябрьский сезон. И кто хотел, заготовил их на зиму достаточное количество. К примеру, ваш непокорный слуга дважды ставил палатку на Верхней Мшаге за Савином и один раз ходил пешком — всего-то час ходьбы от дома — на Ковалевские озера, и две наволочки грибов теперь на стенах в кухне висят. Мне даже повезло: нашел вросшую в листву сушилку Коли-финна. Жил такой веселый ветеран спокойно при асфальте Москва — Ленинград и двухлитровой козе, тренькал под балалаечку песенку про предтечу Василия Теркина, Тимофея, как он в финскую войну в Карелии вылавливал жадных до кировских часов вражеских «кукушек», подбрасывая их к подножьям деревьев, и вдруг непонятно почему после проезда мимо него члена правительства Колю переселили на центральную усадьбу, а развалюху его сдвинули бульдозером в сторону леса. Дело в том, что Пономарев, когда наш завод вышел его встречать к южной, московской, окраине городского вала, промчался мимо нас в колее защитительных машин в сонном состоянии. Я сам видел его опрокинувшееся на подушки лицо, так как стоял в первых рядах с портретом... Косыгина на палке... Позже парторг как схватится за голову, вырвет у меня его, бросит с остервенением в снег, где предсовмина так до весны и пролежит, занесенный снегом. А парторг как заведенный будет повторять: «Слава богу, слава богу, слава богу, что правительство спало». Потом у меня долго будут, как песенка, кружиться в мозгу эти слова.

Пономарев проснется уже на выезде из города, расскажет мне потом жена — их завод «Гаро» располагался уже на северной, ленинградской, стороне, — а я напишу рассказ «Проезд Пономарева через Новгород», но, увы, почему-то его никто не напечатает, так же как про моего дедушку-сапожника, о том, как он в начале века ремонтировал барежки Ленину, когда тот вместе с Крупской вел кружок среди рабочих Обуховского завода в Санкт-Петербурге и остался должен Поплину Васильевичу Капустину из рода лоцманов Опеченского посада три копейки. Даже несмотря на все старания Инны Петровны Борисовой из «Нового мира», этот правдивый рассказ не удалось напечатать. А сейчас уже и сдать их куда-то совестно, скажут: Костров, ты конъюнктурщик.

И еще мне запомнился проезд тот потому, что тогда впервые в магазинах ничего не выбросили. Сегодня моим внукам непонятно это слово, так как даже в соседнем магазине «Мясной двор» двадцать сортов колбасы лежит на прилавках, а тогда вот вся надежда была на проезды. Помню, Романов останавливался, выходил из машины, и мы его приветствовали, Пельше и Сулов тоже выходили, и их мы приветствовали, а вот Пономарев впервые не остановился, и после него уже никто не останавливался... Кончались нефtedоллары, золотые запасы, с необъятными лесами какие-то перебои стали возникать, мы все держались по заводам на наборах, так как на полках лежали в основном хлеб да соль с озер Эльтон и Баскунчак. Потом пошли карточки... Как все быстро мы это забыли. А тех грибов, что можно было купить при дороге у Коли-финна, больше не стало, так как не стало больше и его самого.

Все это вспомнилось мне, когда я восстанавливал Колину сушилку — огромную полубочку, под которой и разводил неспешную суточную теплинку. Грибы же, в основном подберезовики, проткнутые рябиновыми шампурами, висели под плотной крышкой, и никакая сырость — лето девяносто третьего стояло дождливое — им была не страшна. Помнится, объемистый рюкзак, но легкий, как пушинка, вынес я из того июньского трехдневного стояния. Потом выступил по радио, уговаривая своих земляков последовать моему примеру, для привлечения трудящихся даже сообщил, где я закопал недопитые пол-бутылки самогона, но, увы, два раза передавали мои призывы к новгородцам, но, когда я спустя две недели вновь поставил при той сушилке палаточку, пришлось с собственной выделки самогоном дорасправиться самому. И тут мне стало страшно, что если даже такое

обращение не подействовало на земляков, то дела наши плохи. До этого я десятки раз печатал свои статьи с предложениями изготавливать дома и на производствах «вечные» лампочки — у меня они горят уже по двадцать лет и не перегорают, сообщал читателям, как делать антигриппозные и антигайморитные маски — я от того и этого давно избавился, уговаривал людей создавать очень эффективные индивидуальные, а не сборные теплицы на каждый огурчик, писал инструкции по заливке в эпоксидные смолы не только берестяных грамот и раков, но и усопших вождей — эпоксидка не боится ни кислотных дождей, ни метелей и пожаров, какая бы экономия была на мавзолеях — одной-двух уборщиц достаточно, чтобы периодически выставленные саркофаги на любых площадях протирать тряпочкой... И так далее и тому подобное писал, но никто никогда, кроме ТВ «Россия», о чем ниже, не заинтересовался моими придумками. Даже такие объединения, как «Планета», «Новгородские лесопромышленники», «Электронстрой» или стоящие особняком «Староверы поморского толка», — всем им предлагал-навязывал высокодоходные кресты-лампадки, блесны-модельки, могущие дать продукции в день на одного работающего до 20 тысяч. Хотя, например, на той же «Планете» закрыли в Холме цех по изготовлению мормышек, и сто человек остались без работы. Мне же начальники отвечали однозначно: мол, что там, Костров, какая-то сотня душ, да и мелочовка все это, когда на заводах безработных тысячи, — надо решать проблемы глобально.

Поистине задумаешься, а не согласиться ли мне в конце концов на предложение предпринимателя из Гамбурга Йорга Райнера Меттке: он и еще Раиса Петровна Кокина, с которой мы когда-то заливали в смолу берестяные грамоты, только и позвонили мне после того ноябрьского девяносто третьего года телешоу. Нет, поступлю-ка я иначе: не педу к Райнеру в Германию внедрять, как он хочет, индивидуальные, ручной работы, не повторяющиеся вобблеры, ноу-хау, так сказать, а просто заломлю с него за технологию два-три доллара, а с Кокиной на эти деньги буду создавать в Новгороде фирму «ЭПОКС-КОКО» (Костров — Кокина), и не потому, что я патриот своего края, а потому, что я, как и все, Обломов. Райнера же накормлю калькуляцией из безрублевых щей, да на том и расстанемся. А потому перехожу на второй ингредиент моего варева — на хряпу².

Хряпа — это верхние, зеленые, листья капусты, рассчитанные на определенного любителя в обычные, несмутные, времена. Их можно подбирать на овощных базах, на складах при засолке, словом, там, где эти листы выбрасывают за ненужностью или отправляют на корм скоту. Нам же нынче и вовсе повезло: в поля и овощехранилища мы не ходили, просто глазастенькая моя Тамара увидела на соседском балконе два мешка с чем-то, подумала, что это картошка, крикнула соседке, что назавтра ожидаются морозы. Оказалось — хряпа, и соседка не знала, что с ней делать...

Потом я ее сворачивал в пучки и, положив на край эмалированного ведра, строгал специальным двойным ножом, посыпал солью и снова строгал. Начиная с первого пучка я полтора года прожил на границе с Прибалтикой, в Печорском крае, на хуторке Туровицы, и бартерно, чтоб жить далее, сапожничал сразу в трех государствах: в России, Эстонии и Латвии. И заработал в том числе два таких ножа (за каждую приклеенную эпоксидкой подметку по ножу). Уже здесь, в Новгороде, встречая своих знакомых заводчан и слушая их стенания о безработице и отсутствии в цехах новой продукции, я предлагал желающим взять у меня в качестве образца эту конструкцию и выдавать ее потребителю.

Дело в том, что таким ножом я не только за час могу нашинковать ведро капусты, но и нарезать в наше трудное время очень тонко и быстро сто граммов колбасы или сыра, так что гости увидят только заполненные тарелки; если захочу жарить сырую картошку, то сделаю это в два раза быстрее, то есть сэкономлю и минуты, и газ. Овощи, нарезанные таким образом в щи-борщи, делают их гораздо вкуснее. И опять же экономится такое дефицитное в наши дни топливо... Но мне отвечали, что нет на раму металла (и тогда я предлагал делать раму из дуба), нет пластмассовых ручек (я предлагал наладить их производство из моих любимых смол холодного отверждения и брался поставлять формы для их отливки), только и надо было добыть углеродистой стали две пластинки. Я, когда приехал из глуши в

² Увы, Йорг Райнер Меттке не приехал, его телефон в Москве: 274-00-52. Просьба позвонить и узнать почему.

преображаемую реформами Новгородчину, еще нечетко понимал, что так быстро выйти из совкового состояния наш человек не способен... и, конечно, получал и до сих пор получаю отказы даже на производство «вечных» лампочек.

Да если честно говорить, я и сам, со своей критикой окружающего меня мира, его порождение и из него выходец. Взять ту же экономию энергии: создал из жестяных банок кумулятивные кольца для чайников, кастрюль и кофейников, писал о них в газете, помещал фото, да и сам попользовался ими несколько дней и забросил их на полку — а зачем, если газ и электроэнергия дешевы и нет на них никаких счетчиков. То же самое и с водою: взял и выбросил крышку сливного бачка в туалете, чтобы семья мылась из него, как в деревне моются из таза, посуду бы в нем полоскала, зубы чистила, а уж потом использовала воду по прямому назначению, даже новую, более эстетичную конструкцию предложил. Так знаете, какие митинги-забастовки начались в моем маленьком семейном государстве — так и не удалось победить противников, где я вроде бы царь. Что же тогда говорить о Жириновском и его поддержке моими земляками (оказалось, поставить крест против его имени для них значительно проще, чем откопать бутылку с самогонном), о новом, более профессиональном и более сложном парламенте, чем хасбулатовская семибоярщина? Так будем же вместе с Борисом Вторым — новая Конституция дает мне право так его называть, чему я и рад в этот переходный период, — сбросив постепенно гипноз якобы «жирной каши» (Жириновского — Кашпировского), обещанной нам ими на другой же день, принаравливаясь к оппозиции, ведь говорить энергичные скороговорки с трибун — одно, а настоячиво, планомерно, делово работать в Думе — это другое. Тем более сразу сдержат потоки воды, что льются у нас многие годы безостановочно из водопроводных кранов, мы не сможем: где взять столько водомерных счетчиков?

Теперь несколько слов о морковке для хряпы, которую я тоже шинкую своим прибалтийским ножом. Кстати, и наоборот получалось: отсюда мне рижские диоды привозили, таллинские лампочки, а я собирал их в блок и уже под названием «вечные лампочки» поставлял за рубеж. Кажется, это называется взаимной интеграцией или там интернационализацией хозяйственной жизни вновь?

И никуда от этого не денешься, тем более что мои самоделки вряд ли нужны настоящим «зарубежам», пока мы их не научимся делать на более эстетичных и технологичных, а не временных основах. Морковь же у нас нынче и не на базарах, а на улицах, рядом с овощными госмагазинами, мытая, а у некоторых торговцев даже и попочки срезают (ну еще бы — конкуренция), баснословно дешева. Сто сорок рублей за килограмм! В неприватизированных же лавочках напоем с землей — 270. И все потому, что нынче из-под палки заводы перестали ездить с неизменной шефской помощью в совхозы и колхозы и решено было объявить некоторые поля почти «свободной зоной». Прошлую осень, как многие годы подряд, множество продукции под снег ушло, нынче этого решили не повторять — результат налицо: не только хряпу пересыпал морковкой перед засолкой, но и мешочек сухой моркови висит, как и грибы, на стенке, да и маринованной капусты с луком и той же морковкой несколько банок законсервировал. И вообще у нас под кроватью солидные запасы круп, с жучками в них я борюсь с помощью еще одной придумки. А недавно прогуливались мы с женою (теперь не просто так, а обязательно с заходами в магазины разных уровней) и увидели в одном из них, на Студенческой улице, перловую кашу по 15 рублей — сразу же купили на тысячу этих пачек (декабрь девяносто третьего), и теперь нам никакая шоковая терапия не страшна (жена у меня блокадница). Горсть же перловки я буду добавлять в те же неизменные дешевейшие грибные щи, о которых и веду разговор. И вдруг на выходе из торговой точки — их теперь на этой улице вместо двух двенадцать — встречаем Марковну. С некоторых пор, хотя я с ней работал в одном отделе на заводе «Планета», стараюсь, да и не только ее, а еще и других пенсионеров, обходить стороной из-за коэффициента. Напечатал его в газете, а теперь вот, хотя у них у всех высшее образование, требуют еще от меня и устных объяснений. Вздыхнув, показываю на наши с женой сумки и говорю, что вот, мол, купили эту перловку по «пять копеек». И снова начинаю растолковывать ей, что раньше у нее и у меня были пенсии по 120 рублей, теперь на декабрь по 36 тысяч, то есть в триста раз больше, поэтому конверт ей обходится, как и раньше, в «пять копеек», автобус еще дешевле — в «3,33 копейки», а электроэнергия и вовсе вдвое дешевле по сравнению с дореформенным периодом великих гайдаровских преобразований (6 руб. : 300). И так далее... За водкой, которая в нынешние дни оценена в «шесть рублей»

(1800 : 300), стоять теперь не надо, а нутряного говяжьего сала мы закупили в «Дарах природы» (коопторг около универмага «Русь») по «полтора рубля» целых десять килограммов, перетопили его. И к тому же две трехлитровых банки шкварок получилось, мучкой немного присыпав, жарим их с луком и мелко нарубленными и предварительно замоченными грибами — вот еще один компонент шей. Но Марковна презрительно морщит свой сохранившийся носик и заявляет, что она не поклонница каш и нутряного сала, вот бывалочке (все бывалочке) она ездила в командировки в Москву и привозила оттуда головку какого-то особого сыра, она называет его марку — забыл ее, вот его она теперь не имеет, и это очень плохо, какая же тут перестройка и демократия.

А другой мой знакомый, он только что ушел на пенсию в 50 тысяч, так он и вовсе разошелся. Раньше громил коммунистов, теперь «дерьмократов», ибо не может купить своему сыну какое-то особое кресло-диван, значит, виноват Гайдар с Ельциным! Никак ему не понять, что это мы с ним штурмовали Зимний, внедрили кукурузу от моря до моря, кричали на демонстрациях «уря-уря — здравствуй, праздник Октября». Вся наша история — это за тебя думает и обеспечит тебя подачкой князь, патриарх, Малюта Скуратов, царь, император, Ленин со Сталиным, Ельцин с Гайдаром. Он голосовал за Жириновского, этого обещателя. Ну еще бы: присоединим налаженную Аляску, финнов с их молочной продукцией. Душанбинская губерния нам в Иваново хлопок поставлять будет. Прекратим конверсию — 30 миллиардов долларов выручим за рубежом за поставки оружия, войну югу СНГ объявим, то есть моих же внуков проданным оружием будем расстреливать, и так далее и тому подобное. Ну никак не хочет понять новоявленный пенсионер, что надо бы, коли переходный период, немножко и поступиться принципами, смириться на несколько лет с трудностями ради наших детей.

Теперь по поводу огурчиков, которые я, нарезав и разложив на тарелочке, употребляю вместе со щами. Ложку шей — ломтик огурчика, и опять хочу ответить тем пенсионерам, которые шумят, что крышки для консервирования овощей слишком дороги (30 рублей). В ответ я извлекаю из кармана газетные ксероксы чертежей³, по которым любой кухонник может за день изготовить до трехсот крышек из старых картофельных пленок, — делайте мои крышки, проверено практикой, удобнее и долговечнее неповоротливой пластмассы, но опять: да ну! — и мне или возвращают инструкцию, или используют ее не по назначению, потому что я не слышал, чтоб кто-то последовал моему совету. А ведь если даже по 20 рублей их продавать, прибавка к пенсии неплохая. Иногда я даже думаю, что, если «Новый мир» откажется от моих опусов — может, он тоже пенсионер и ему тоже чертежи не нужны, — передам, но уже с эскизами и фотографиями, мои писанины кому-то более молодому и энергичному. Может, «Столица» возьмет, там молоденький, похожий на цыпленка за рубль пять редактор Мальгин, или же вообще лучше не связываться с Москвою, а найти издателя у себя в Новгороде? Ведь в киосках у нас — ни одного центристского журнала. А может, не стоит? Все лето, вместо того чтобы уйти в леса, потратил я на статьи «из кухонных разработок Марка Кострова», полсотня их напечатана в местной прессе, и все без толку...

Таким же способом, что и крышки, я делаю индивидуальные теплички для конкретного единичного огурчика, причем доставляю к их корням воду по вкопаным в землю шлангам, а потому с поливом проблем не испытываю. И пророчный «цех» наладил на той же полиэтиленовой основе.

Приехали на соседний хуторок Мильково переселенцы с Украины, привезли на «КамАЗе» не только корову, но и современные хромированные змеевики. И скоро на веранде появилась круглосуточная харчевня с диваном, на котором можно было и полежать. Не то что раньше — бабуля выносила тебе бутылку, а закусывать приходилось рукавом. Да и в долг отпускалась продукция, и бутылки они стали принимать, которые с закрытием границ с Эстонией местные жихари не знали, куда деть. Для приезжих я и организовал производство дефицитных пробок, а позже по бартеру, сами догадываются какому, сделал им вторую вакуумно-формовочную машинку. Однако недолго продолжались наши мужские «круглые столы»: инородцы были для аборигенов, по Жириновскому, не только «тупоголовыми хохлами», возвращенными на сале и галушках, но главным образом вторгались в налаженное самогонварение москалей.

³ Газета «Провинциаль» (Новгород), август 1993.

В первую же летнюю слабенькую, с парой громыханний, грозу в какой-то православный праздник случился пожар; пожарники, как всегда, приехали с опозданием, пьяные и без воды, и нам удалось отстоять только хлеб, да еще уцелел тот злосчастный аппарат из нержавеющей стали, а моя модернизированная машина тоже сгорела (первая до сих пор лежит в чулане Туровин, и кто желает, может ее забрать). Словом, пришлось приезжим снова заказывать транспорт. Помнится, их увозили военные на каких-то огромных колесах.

А они ведь были такие молодые, такие энергичные, картошка у молодоженов одна из первых в округе зацвела, сверкала стеклами теплица, молоко я брал у них дешевле, чем у Васи Запрудного...

Старожил Туровин Нарецкая Матрена передаст машинку вам, хотя и я, чистейший русак, среди единоверцев был тоже изгоем некоторое время. И дело в основном не в акценте, крючковатости носа или кудрявости волос, смуглости кожи. Дело в другом.

Вспомните свое детство, хотя бы перевод из школы в школу, переезд из одного дома в другой, я уж не говорю про взрослую нашу жизнь — смену работы... Первое время в округе и мне было трудно: грозились разбить мою «вечную» лампочку, что я закрепил для общества на столбе (кстати, она горит и не перегорает уже три года), но привыкли к ней — будете проезжать мимо вечером, взгляните на ее зарю. Однажды исчезли теплички с огуречных грядок, был разрушен оградный трубопровод и куда-то унесено корыто вместе с треногой, хлеб в магазине отпускался с большой неохотой, а уж поставить меня на карточно-талонный учет, чтоб прикупить соли, так нужной в грибные сезоны, — об этом и говорить не приходилось, хотя я в сельсовете Паниковичей предъявлял начальству командировку от «Нового мира» с просьбой к местным властям оказывать писателю Кострову всяческое содействие.

«Залыгиных на свете много, а Матвеев один, поезжайте к нему в Печоры, разрешит — возражать не будем», — отвечали мне. Даже мое выступление у них в библиотеке не произвело впечатления на чиновников. Правда, народу на удивление было много, и что главное, потом мы пили чай при самоваре. Слушатели были в основном старшего, беззубого возраста и налегали на ватрушки и мед. Да вдобавок я не постеснялся сгрести весь оставшийся хлеб — две буханки с наццатью довесками.

И еще, и еще были всякие трения и эксцессы, но в доверие к жихарям я вошел не через ремонт обуви, не через изготовление крестов и лампадок, даже не через бесплатную раздачу наклеенных на картон текстов Закона Божьего с его «не убий», «не укради», а, как это ни печально, с помощью ритуальных услуг. Стоило только очередной престарелой уйти в мир иной (в Печорском крае, песча́но-сосновом, люди живут долго), как я узнавал у соседки по хутору дату рождения усопшей, ее инициалы — и к утру красочная надпись на серебристых бумажках, залитая в эпоксидку, была готова. Я смело входил в соответствующий дом и, никого не спрашивая, собственноручно прибывал ее к подготовленному к отправке на погост кресту. И однажды — я уже проживал в Туровинах более года — постучалась в мое жилище Шура Самохина из Бухолова и пригласила на погребенье ее тетки, Матрены Федоровны Мери, на прощанье сказав, что и племянник Леня Мери придет (президент Эстонии). Я у нашей Матрены спросил, почему мне такая честь. На это Матрена отвечала: «Ты после табличек стал свой!»

Но президент так и не приехал. А зря: напился бы на поминках после своего голодного Таллинна (по данным нашей прессы) на неделю вперед. Смотрите, что было на столах в тот день проводов. Утром прощались в доме Федоровны — водочка, конечно, котлеты, огурцы, жареный карась, домашние буженина и сыр. Правда, когда кланялись перед покойницей и клали ей на грудь деньги, немного поспорила соседняя деревня: мол, по обычаю положено и целовать усопшую в лоб. Потом кто хотел стоял на отпевании в церкви в Лаврах, другие рыли в песке могилу, поминутно подкрепляясь на второе студнем, вареной бараниной, полукопченой колбасой и бутербродами с килькой на толстом-толстом слое самодельного масла. Здесь уже поспорили посильнее по поводу глубины могилы. Еще сильнее пошумели, когда зарывали Мери, но это уже был спор не двух хуторов, а, так сказать, на местном семейном уровне. Петя, муж Шуры, стал выдирать из ее рук красивейшую льняную скатерть: согласно древнему порядку, ею надо было застелить дно могилы, прежде чем опустать туда гроб, а Петя в связи с повышением цен не хотел этого. Но Шура стояла на отпевании и потому оказалась трезвее и ловчее

Пети. Потом застелили уже другими скатертями несколько могил, и начался предосновной пир, тут уж спросите лучше у меня, чего на «столах» не было. Венедикта бы Ерофеева сюда с его «Москва — Петушками», а я почему-то «Наполеон» закусывал в основном бананами. Затем, когда ехали в передвижной мастерской домой (сыновья Шуры и Пети работали механизаторами, а их невестки — доярками), дважды останавливались у озер, и никто не утонул — нейлон гузырился на спинах. К счастью, на основных поминках в Бухолове я уже побывать не смог — мы с нашей Матреной вылезли в Туровинах. И «к счастью», потому что в Бухолове, так сказать, по линии крещендо уже через матюги кричали две деревни. Мол, чьи в древности оборотки к лаптям были красивше: у бухоловских — из кожаных ремешков, а зайцевские носили хоть и веревочные, но цветного плетения. Ссора окончилась печально. Да еще, говорят, какая-то застарелая ревность у стариков масла в огонь подлила. Словом, схватились ревнивцы за топоры и вилы, и вскоре оба спорщика были записованы. И это в сенокосную пору на дворе, сетовала моя Матрена.

Так что, дорогие беженцы, переселенцы, просто новички в крае, демобилизованные военные и разные подобные люди, картину жития на Псковщине я вам обрисовал, решайте сами. Но помните, что не сразу дело делается и никто посторонних с распростертыми объятиями принимать не будет. Я же после того «Матренина дня», как видите, стал окончательно свой, и на меня как град, хоть не уезжай, посыпались заказы. Дело в том, что в округе у старых людей принято было загодя готовиться к смерти. У Вани Флерова за две поллитровки, конечно из их материала, они заказывали кресты, гробы и чтоб стружечка на дне для мягкости лежания была насыпана. У Оли из Козина — венки необычайно самобытного плетения, а ко мне вот пришла депутация за табличками. «Так вы же живы, а я осенью уеду (шел девяносто второй год)», — отвечал я им. «А ты сделай на несколько лет вперед нам надписи, по дюжине яичек будем платить за пластинку, — нашли они выход из создавшегося положения, — мы хотим, чтобы не забывали нас».

Делового предпринимательства во мне еще тогда не было, и я решил не обирать старушек, предложил им сконструировать по одной табличке с гнездом на основе ласточкина хвоста под годовые вставки и в количестве, кто сколько предположительно проживет. Так одна бабуля восьмидесяти двух лет на весь свой яичный припас заказала семнадцать вкладышей. Кур у нее подорлик всех одну за одной недавно порешил. Пользуясь случаем, обращаюсь и в новгородское похоронное бюро: перенимайте опыт, образцы имеются. Тем более и нам, горожанам, в эти временные времена неплохо бы брать с деревенских пример: у некоторых жительниц края давно уже вырыты свои индивидуальные могилы.

Конечно, я понимаю, переселенцу, особенно закрепившемуся в статусе беженца в крупном городе, бакинцу там или бывшему жителю Еревана, трудно будет поменять гостиницу с теплой водой на комаров, морозы и колодцы деревни. Статьи, комаров почему-то в Туровинах нет, а водой я пользовался с Ликандрова родничка. И вот уже более года с тех дней, проживая в Новгороде, не чувствую свою большую печень. Тут еще, наверное, имеет значение и спокойная, без нервотрепки жизнь, и воздух. В основном сюда, в эти места, приезжают иностранцы из Балтии за долларовым медом, ибо это один из немногих уголков, еще не тронутых дымной цивилизацией, даже автобус в связи с появлением границы отменен, и идти надо лесом и полевыми дорогами до Лавров или Паниковичей по десять километров. И если все-таки найдется молодая семья, для которой такое житие подходит, во-первых, сообщаю адрес Саши Стеннинга (он купил большой дом и сдает в аренду эту ветхую избушку, в которой я прожил полтора года): 197042, г. Санкт-Петербург, Морской пр., 24 — 41, тел. 510-04-93; а во-вторых, из всех ниш, что пустуют в округе (заняты места телевизионщика, портнихи, пчеловодов), как-то: бондаря, парикмахера, могилокопателей, фотографа — я бы вновь поселившимся рекомендовал заниматься сапожным делом, и не простым, а эпоксидным. Сапоги изнашиваются раз тридцать за нашу жизнь, а те же таблички, за счет которых я по-перву жил нормально, требуются только единожды, да и то многие, уходя в небытие, машут на прощание рукой: после нас хоть потоп. А потому приступаю к описанию новейшей технологии ремонта обуви на основе компаунда из эпоксидки.

Только что, 25 декабря, в день Рождества Христова по-католически, отремонтровал (считаю, сегодня надо работать в любые рождения) очередную пару ббуви. Уже в Новгороде у меня стала складываться определенная клиентура. Вот и вчера

Лидия Петровна принесла в третий раз сапоги своего безработного сына, которому жена сказала, мол, пока не устроишься на службу, спать будем врозь. Вот он по конторам и «нишкам» бегаёт, он был плотник-работяга, но окончил по велению своей красавицы вечерний институт, и потому подметки на нем прямо горят. И если говорить по секрету, последняя их пара такая рвань, что во всей России, наверное, только я, эпоксидный сапожник, смогу ее восстановить. Берешь вот такую засохшую и давно не работающую обувь в руки, долго вертишь ее, рассматривая надорванные подметки и отваливающиеся каблуки, облупившуюся до белизны искусственную кожу, дыры по ранту, постепенно, без помех — политические программы ТВ отключены — продумываешь план восстановительной кампании. Ну и когда доведешь свою работу до конца, поставишь заплатки под цвет ботинок, окончательно влюбишься в заново возрожденную тобой продукцию. На уровне своих извилин, разумеется, но уверен, испытываешь такие же эмоции, что и Лев Толстой, тачавший в моменты вдохновения свои сапоги-бутылы. А если еще какая-нибудь тоненькая, как прутик, эстоночка, бывалочка, тайными, неизвестными пограничникам тропами прибежит к тебе из сопредельного государства и начнет разворачивать перед тобою свои милые ботфорты, которые даже Таллинн отказался ремонтировать, тут уж я, поднимаясь по надорванным швам все выше и выше к раструбам, давал волю своей фантазии на полную катушку. Позже эстоночка будет в восторге от ремонта, предложит мне любой бартер (но дело прежде всего!), и я потребую от нее две тубы кохтла-ярвской эпоксидки. А зря, может быть, уж как-нибудь выкрутился бы с воспроизводством процесса, до сих пор вспоминаю ее милый акцент... Так что, дорогой переселенец, если ты думаешь заняться в этих краях сапожничеством, как видишь, округа и наша и та понесет тебе неограниченно штилеты и кроссовки.

А теперь подробнее о самой технологии. Эпоксидная смола продается в расфасовках (на декабрь месяц) по 250 граммов, по цене в тысячу рублей. И главное, тебе не страшна никакая инфляция: эпоксидка будет повышаться в цене — повысишь стоимость ремонта и ты. Заказчик думает, что, как и прежде, в июле месяце я возьму у него триста рублей, — пусть не надеется: две буханки хлеба, не менее, потребую за свою работу или, к примеру, если кончается уксус, бутылочку эссенции. Жена говорит: «Деревенские хитрецы, они тебе пятьсот рублей не заплатят — будут торговаться!» Ну и что, попробуй тысячелетие поживи то под рэкетиром князем Игорем, то адвокатам церковным десятину плати, налоги царям и императорам, тот же колхозный строй, его палочки: ведь чуть что — та же община могла без суда и следствия расправиться с тобой на сходке за ведро твоими недоброжелателями поставленного ей самогона. Известно ли вам, что половина всех каторжников в Сибирь ссылалась не по суду, а по приговорам сельских «вече»? И чтоб выжить в этом давлении горожан и вообще хитрых мира сего на крестьянина, надо было хитрить, хитрить и хитрить. Поэтому и Володю Солоухина из деревни Олепино не осуждаю за его подписи под какими-то коллективными письмами в разные инстанции. Не сразу дело делается, не сразу мы войдем в нормальную демократическую колею, ведь только Николай Второй отменил этот общинный произвол в начале века, а нынче пытались и пытаются это сделать тоже вторые Михаил и Борис. После трансляции по ТВ уже нашего, православного, Рождества Христова долго не спалось, начал было складываться у меня, атеиста, какой-то анекдот, а вышло нечто иное. Будто перед службой 5 января 1994 года руководители партий и правительства собрались у себя в Кремле на совещание: кому идти в Богоявленский собор на службу. Борис Николаевич будто бы заявляет: я, мол, был в церквах прошлый год, и не один раз, устал, теперь переводить российских жихарей в нормальную колею других очередь.

Но не пошлешь же «сына юриста», который почему-то даже крестится слева направо, к тому же он претендует то ли на роль новоявленного мессии, то ли сатаны, а прошлогодние стоятели около Ельцина кто в Лефортове сидит⁴, кто сменил фарисейское судилище на недалекое подполье. А потому синклит решает послать на праздник новую троицу. Смотрю, симпатичный мне Шумейко так спокойно, вальяжно возвышается, даже выше своих телохранителей. Что делать, чтоб перейти к свободному рынку, надо принимать за основу всевозможные игры с охлокра-

⁴ Недавно их, как известно, выпустили, и все снова начало повторяться, но по спирали, а не по кругу.

тией: Филатов вертит с любопытством и достоинством своей седовласой головой; о чем думает, не знаю, но даже в храме непривычном лучится от него на нас спокойствие, только вот Лужков, опустив долу хитроватые глазоньки, словно на демонстрациях-иллюминациях в недавние времена, иногда так остро зыркнет ими в телезрителей, как будто сказать нам хочет: вот справлю свою обязанность, отстою положенное «нет ни эллина, ни иудея» — и покажу лицам «кавказских национальностей» кузькину мать.

За ними на спине у адъютанта некий генерал только что вчера предисловия к уставам — «народ, партия и армия едины» — писал, теперь другой рукой пишет вступление к Библии для солдатской массы. На обложке золотая надпись «Новый завет» и все та же красная звездочка. А вон в уголке «новомирцы» робко жмутся мало-могучей кучкой меж «Современником» и «Огоньком» со «Столицей», я где-то меж ними стою, и вдруг тихий голос за спиной раздается: «Вам, изволите, бордо двадцать восьмого года наливать или вашего изготовления горилку?» Обернулся, смотрю — тот самый журналист Удальцов, что когда-то в «Литературке» раньше сегодняшних авторов осуществлял бросок северных вод на юг, почтительно гнет спину. И пошло, и поехало: за черепашковым супом стали обносить лакеи присутствующих икрой и баклажанами, монтраже тридцать седьмого года сменили мои грибные пополам с червями щи, пюре из каштанов, маринованные лжеопята и рядовки обыкновенные. Кто хочет, медовуху заказывает, кто под виски бокалы подставляет, один на шпроты навалился, вспомнив блокаду, другой смакует ананасовое мороженое...

Потом мы, сытые и премудрые, хотели было по своим нормам расплыться, но вдруг плавники нас сами собою понесли в сторону прицерковного сквера, не лондонского, с его трехсотлетней подстрижкой элодей⁵ на газонах, как хотелось бы, а нашенского, взлохмаченного и помятого, где на кем-то умело покрашенной серебрянкой трибунке в фуражке чуть ли не от Зайцева стояла хроническая болезнь человечества — обыкновенный фашизм. Почитайте шумерский эпос о Гильгамеше, Ветхий завет и так далее — сплошные нарушения 71 и 74 статей Уголовного кодекса, то есть геноциды и национальные и религиозные войны. Даже первая заповедь Божья: «Аз есмь Господь Бог твой: и нет у тебя богов иных, кроме Меня» — крещение огнем и мечом многобожников: новгородцев Путятюй и Добрыней, то есть кровь, кровь и кровь.

Но несмотря на это, целыми стаями сплываются к оратору пескари и караси, зубастые щуки и ленивые лини, разинув рты, слушают и слушают новоявленного мессию.

Еще бы, так просто и доходчиво нашим извилинам он все объясняет, будь то вопросы языкознания или моя заливка в эпоксидную смолу вождей и тараканов. Занявший пустующую нишу актер, Нерон ли, Лже-Нерон — не важно, умело из тайных улолков моего подсознания вытягивает дремавшие до поры, до определенных и соответствующих времен мысли: «превратим снова Стамбул в Константинополь», «два Рима пали, третий Рим — Москва, а четвертому Риму „не бывать“», «последний бросок на юг, не удальцовский, тот не удался, — и все будет в порядке»... Это уже потом, спускаясь с лестницы, находишь его речам возражение: бросок на север уже был — 140 тысяч убитых, миллион обмороженных и раненых против крошечной — не более Ленинграда — державы при наличии всего-навсего трехлинеек и фанерных тачанок. А он все говорит, говорит, ясно, напористо, мол, вчера Британия правила морями, а теперь мы выйдем к Индийскому океану. Трудов-то только будет: в одно окошко руку протянул — банан сорвал, в другое — ананас. Демобилизованным он обещает жилье мгновенно, алкоголикам — дешевую водку, шовинистам — бить жидов, мне — помочь с внедрением «вечных» лампочек в стране, старым девам — мужей. Или вот, ну словно он подслушал мои тайные мысли: якобы по последней своей концепции Калининградскую область, как только станет президентом, не в экономическую зону теперь уже превратит, а часть ее отдаст Литве, часть — Польше, да так поделит, чтобы оба государства считали себя обиженными, да еще чтобы и Германия заволновалась, все же Калининград — бывший Кенигсберг, по принципу — разделяй, а потом, в удобный момент, и властвуй, — и мне очень было трудно удержаться от соблазна — голосовать не за него. Тем более он и с преступниками без суда и следствия на месте обещал рас-

⁵ Водное растение, которое, если его вовремя не подстригать, разрастается в огромном количестве, затрудняя судоходство.

правляться. Правда, тут я за кандидата испугался, как бы его противники против него не использовали это предложение. И еще я испугался, когда он заявил, что, если он узнает, что в каких-то странах русских притесняют, нажмет кнопкой — и те государства полетят в тартарары... вместе с обиженными, со всем земным шариком, но это уже не важно. Такие, как он, в минуты рукоприкладств на Украине ли, Кавказе о нас забывают, и мы, слушатели, в эти мгновения забываем, что на смену дубинке и «калашникову» пришла даже не атомная бомба, не какое-то там смертоносное оружие «элептон», которым они грозят всему миру, а просто-напросто четыреста реальных АЭС, то есть тысяча шестьсот блоков Чернобыля. Если не будем это помнить, то быть нам или мутантами, или парнокопытными, а то и вообще не быть. Непонятно, то ли они юродивые или параноики, углубившиеся в действие актеры, то ли вышедшие из-под контроля тех, кто предполагал отвести им роли громоотводов. Помните, как ВПК Круппа мечтал: натравим наци на коммунистов, а потом и с Адольфовичем расправимся. И что из этого вышло? А вообразите на минуточку, если бы тогда была у Гитлера бомба, сегодняшнее вооружение... Вообразите на минуточку... А потому охранные полки, разные «альфы» и «омеги», врачи и диетологи хотя бы ради ваших любимых, ради семейных ячеек, в конце концов, ради себя берегите, как бы порою он вам, нам, им ни не нравился, гаранта сегодняшней стабильности Бориса Николаевича Ельцина.

Но хватит об этом, перехожу к дальнейшему описанию ремонта подметок и калькуляции грибных шей.

Эпоксидную смолу перед употреблением следует смешать с отвердителем, он находится в упаковке, в пропорциях, указанных в инструкции. Нужно помнить, что полученная смесь (компаунд), как и большинство объектов-субъектов, на свете живет, особенно в переломные периоды, недолго.

Смолу надо после соединения ее с отвердителем (полиэтиленполиамином) не менее минуты размешивать, потом на сухие склеиваемые места наносить полученную смесь. Затем, набив сапог моими опусами или другими нечитаемыми, ненужными бумагами, чтобы изнутри укрепить ремонтируемый блок, прикрутить подметку к верху обуви крепко-накрепко веревками. Но при этом помнить, что окончательное отверждение смолы, то есть создание вновь единой конструкции, произойдет не сразу, а спустя сутки, поэтому с распутыванием веревок и сдачей продукции заказчику спешить не следует.

Это общие советы по ремонту. Но не устану повторять, что к каждому, в том числе даже и непарному сапогу, вы, мы должны подходить индивидуально. Не за конвейером, считаю, а за штучными работами будущее.

Однажды — это было еще в Туровинах — принесли мне очень странный разрезанный поперек голенища новый резиновый сапог-заколенник. Одни говорили, что он валялся в траве и его по недосмотру разрезал дисковой бороной сам же хозяин, другие шептались про горячую жинку этого механизатора, мол, когда она наливается, то рубит все мужнее. Всякие там еще домыслы были: не мое это дело — вступать в подробности, дело «врача», не спрашивая причин, лечить больную обувь. И уж тут я старался, хотя бы ради искусства. Во-первых, по окраинам разреза, накалив шило, проткнул им серию дырочек-заклепок, во-вторых, стал вперед пришивать низ к верху, а потом, когда рана зажила, ну, то есть полимеризовалась, извлек из нее жилку и, зачистив основательно жестяной самодельной теркой разрубленные ткани, наложил на них кольцевую велосипедную резину. Кстати, и мои резиновые сапоги, клеенные таким способом, уже как бы не сапоги, а сплошная заплатка, раньше бы я их выбросил, купил новые, нынче приходится экономить на всем, будь это одежда или хлеб. Та же Матрена, соседка по хутору, раньше еле волокла торбу с буханками для своих курочек. Смотрю, весной девяносто второго, после либерализации цен, загодя принесла уже две буханки и дала команду трактористу засеять уже не 12 соток для своих подопечных (она еще и подкармливала божную птицу — сотню голубей), а четверть гектара. А возьмите меня: к шам приоровился создавать стопочку на основе тех же хлебных корочек, а раньше они шли в отходы. Выступая с экрана, я показывал телезрителям трехлитровые банки с раздувшимися резиновыми перчатками, теперь пользуюсь созданным мною гидрозатвором, очень компактным, с выбросом вредных газов в атмосферу (фото его и фото самого аппарата «Мечта алкоголика» помещены в июльском номере газеты «Провинциаль»), после чего резко повысилось качество бражки и надобность в перегонке ее отпала. На два литра кипяченой воды я насыпаю 35 ложек сахарно-

го песка (500 граммов), набиваю оставшийся объем горелыми корками (дрожжей не надо), а когда они начнут опускаться на дно (через три недели), считайте, что три бутылки напитка по цене на январь по сто рублей пол-литра готовы.

Теперь о ремонте сапожек женщинам, которые без лирики жить не могут. Недавно мне передали заказ от поэтессы Т. И. У ее обуви разошлись вертикальные швы, а потому пришлось поломать голову, разрабатывая план ремонта. Вперед я сшил их без натяжки, потом осторожно концом того же шила ввел смолу под замшу, затем стянул рану нитками и, когда компаунд затвердел, наложил сверху на бывший шов такого же цвета заплатку, притянув ее к основной обуви тем же шпагатом. Крепко-накрепко. На века.

И имейте в виду, будущие сапожники: для требовательных женщин с крохотными ножками наносить эпоксидку на туфельки и другие изделия надо в небольших количествах, чтобы она не проступила сквозь ткань и не была бы инородной заплатой в данном объединении. И еще: при работе с такими заказчицами вводите в компаунд для эластичности конструкции пластификатор (дибутилфталат) или, если его не достанете, касторку в объеме до 10 процентов. Ну а при отсутствии таких компонентов (время сложное на дворе) выход все равно всегда можно найти: я в таких случаях вставляю внутрь ботинка ложку и маленьким молоточком слабыми ударами через войлок снаружи бью и бью по месту склейки, как бы внушаю объединению, что могу и посильнее ударить, если захочу. Сотни трещинок не уменьшат прочности модели, зато она при ходьбе будет свободно изгибаться с некоторым негромким скрипом, порывисто дышать.

И помнится, по бартеру я получил от поэтессы не только ее книгу прекрасных стихов «Слово твое ко мне», не только пачку индийского чая, но самое главное — два ее совета. Первый о заменителе машинистки. И теперь я сдаю в газеты каракули ручных росписей (в переходный период, господя редакторы, давайте сообща нести тяготы его), а в журналы посылаю газетные расклейки. При цене номера еженедельника «Провинциаль» в полсотни рублей рукопись у меня тянет в среднем вместо полтысячи рублей за страницу (февраль девяносто четвертого) на червонец.

И второе ее соображение тоже построено на аналогах: кто-то в России нынче, не все, а какая-то ее часть (но не барабанщики в кастрюли), напрягает свои извилины в поисках замен разным дефицитам или дорогостоящим изделиям. Так вот, моя поэтесса выращивает на балконе те же приправы к супам, старается покупать в магазинах битые яйца — они дешевле и приспособилась изготавливать масло из сметаны с помощью миксера. Хотя цена та же, но качество — на уровне дореволюционной вологодской продукции. И никто в моей семье не ведает, что весь январь девяносто четвертого я подавал к праздничным столам торты не из магазинных подделок (10 тысяч), а из своих собственных наполнителей (3 тысячи), созданных из маргарина «Бони» (что делать: свободный рынок) и десяти процентов, как и моего любимого дибутилфталата в эпоксидке, вышеуказанной продукции.

Я не устану повторять, что людей выводят из экономических тупиков не полезные ископаемые, которых завтра может и не быть, не залежи руд и золота, не обширные земли и леса, пушнина и нефть, а (как в той же Японии, верится мне, и у нас, а также в Прибалтике, на Кавказе, в Средней Азии, на Украине и так далее) ценные рецепты, передовые, экологически чистые технологии, короче — человеческий разум.

В Дагестане, например, освоили транзисторы нового поколения со статической нагрузкой, которым нет аналога в мировой практике. Вот бы нашему новгородскому безработному «Электрону», который не хочет занять сто человек моими эпоксидными изделиями, а требует глобальных разработок, причем от какого-то дяди, перенять их опыт (сообщение ТВ «Останкино» от 24 января 1994). Но, увы, будем стенать, митинговать, голосовать за популистских обещателей, на чем свет ругать реформаторов, но сами, брошенные системой в гнилой пруд, и пальцем не пошевельнем, чтоб выплыть из него.

Ведь кто только после публикации цветных слайдов моих изделий из смол холодного отверждения — разных там блесен и брошек, деталей к автомашинам, детских автомобильчиков и тому подобного — не интересовался ими («Изобретатель и рационализатор», 1976, № 9). Ну ладно Андрей Вознесенский, «жжет мои легкие эпоксидная смола, мне предлагали по случаю елисейскую люстру — мала», — ему я послал залитые в эпоксидку берестяные грамоты, да и задачи его иные — работа над душой человека. А сколько прагматиков писали мне письма, но дальше этого дело не шло. Сообщаю адреса некоторых — возможно, сегодня они откликнутся.

Не может быть, чтоб дремота охватила всю страну. Тут и Южно-Сахалинск и Уфа — начальники конструкторских бюро Черепанов и Скачко; «Курганприбор» — генеральный директор Таранов; милая мне Вятка — проммастерская рыболовов под руководством Сторожева. Украина представлена Криворожским заводом по ремонту автомобилей и А. П. Колядой. Есть и несколько южноазиатских государств, например «Союзузбекхим» (Ташкент), главный инженер А. Мелкумов. Заместитель директора Государственного Эрмитажа Г. Д. Малышев просит поставлять им наши берестяные грамоты, главный инженер черняховского завода (Калининградская область) М. Х. Портной советует, на каких условиях я мог бы приехать к ним. Или вот Сухуми, фабрика сувениров (и. о. директора К. Штерн), — что с ними сегодня случилось?.. И еще и еще извлекаю я из своего архива письма, перечитываю их, и за строчками встает конкретика: кому-то посылал технологию, кому-то бандероли с блеснами. Черняховский завод, к примеру, попросил разработать им подарочные шахматы «под янтарь», чтобы потом внедрить их у себя на производстве; труд был большой: изготовить формы, отлить коней и пешек, — но и они вдруг свои гарантии взяли обратно, хорошо хоть возвратили фигуры. Теперь вот внука обучаю по ним играть.

Пятнадцать лет прошло с тех пор — еще одна ниточка, могущая связать страну, не состоялась, то есть общественная ли, государственная, госкапиталистическая собственность на средства производства себя не оправдала, и винить теперь в этом демократов, нацменов, евреев (сделаем инородцам плохо — тогда нам будет хорошо) — ну не бессмыслица ли все это? Надо просто перетерпеть переходный период, но не сложа руки, а засучив рукава, склеивать и склеивать моей любимой эпоксидкой развалившуюся обувь.

Но возвращаюсь снова к щам, к последнему, чем мы должны заправить их, — к кинзе (кориандру по Библии), одной из трех составных частей главной пищи человека — манны небесной, вторая и третья часть — злаки и мед. Я ее выращиваю на одной и той же грядке трижды за лето: срезаю, образовавшиеся семена тут же сею и снова срезаю. После чего приглашаю вас вместе со мною хлебать и расхлебывать теплые грибные кислые щи.

Заявку в начале статьи дал на две технологии, но уложился только в одну, с отступлениями, грибную эпопею. Вторую часть — о рытье шалашей и землянок — изложу как-нибудь в другое время, а сегодня хочу сообщить читателю о том, что мы в семье перешли на малый бизнес — производство и продажу очень уловистых блесен и мормышек, ноу-хау, так сказать. При этом не обошлось без споров и трений с женой (когда-то она у меня кончала университет марксизма и была главным агитатором завода), но все уладилось. Хочу еще добавить, что нам с удовольствием помогают четверо наших внуков.

Можно было бы написать отдельный очерк о том, какие мы предпринимаем шаги, когда падает спрос на наши изделия, как боремся с конкурентами, с налогово-обложением законным путем, при смене сезонов (лето — зима) меняем и продукцию, то есть брошенные в воду, учимся выплывать и при этом пытаемся внушать себе, что коней на переправе не меняют...

Новгород. 1993 — 1994.



РЕЛИГИЯ И СОВРЕМЕННЫЙ МИР

Диакон АНДРЕЙ КУРАЕВ

НОВОМОДНЫЕ СОБЛАЗНЫ

1. Все ли равно, как верить?

Иа телевидении появилась новая мода: спрашивать всех гостей телестудий о том, как они верят и часто ли ходят в церковь.

Поскольку в эфир приглашаются по большей части люди известные и поскольку их высказывания на этот счет тут же усваиваются телеаудиторией, можно небезосновательно предположить, что, желая этого или нет, российское телевидение успешно работает над составлением нового «Символа веры».

Его формула по большей части звучит так: «Я, знаете, ну, очень верующая. Жаль, что в храм удаётся редко сходить... Но там так тихо и так уютно для души... Нет, конечно, я не могу принять Бога как старичка с бородой, сидящего на облаках... Но я верю во что-то очень хорошее и высокое, в совесть, что ли... Да, мой Бог — он в душе. И не важно, в конце концов, как человек молится и в какой храм он ходит. Главное — чтобы он стремился к добру».

Центральный стержень этого нового догмата: Бог один и все религии — пророки его. Все веры учат добру и любви, и лишь пережитки средневековой нетерпимости мешают людям понять то, что поняли великие учителя Агни-Йоги и теософии: все религии едины в своей духовной глубине и лишь в своих обрядах немного отличаются друг от друга.

Но Гилберт Честертон однажды подметил, что, вопреки этому убеждению, религии, напротив, чрезвычайно похожи в своих обрядах и разительно непохожи в основах своих вероучений. И в самом деле: коленопреклонения, посты и религиозные процессии, храмы и праздники есть везде, и значит, на большей глубине надо искать своеобразие каждой религиозной традиции.

Приступая же к сравнительному изучению религий, нельзя не поразиться тому, что «не видят разницы» между ними журналисты и учительницы, составляющие представление о религии на основе трех-четырёх книжек, тогда как монахи, всю жизнь посвятившие духовной борьбе, решительно отвергают синкретизм. Почему Святые — от ап. Павла до о. Иоанна Кронштадтского — предупреждали о необратимом различии религиозных путей, а люди, далекие от христианской религиозной практики, считают, что идти можно любой дорогой и тропкой и даже вовсе без оной?

Нефилософскому сознанию невозможно доверить решение философских вопросов и привлечь его к разрешению философских дискуссий. Сознанию нерелигиозному невозможно поручить служение крайнего судии в противостоянии религиозных доктрин.

Если под экуменизмом понимать терпимость к людям иных вер и убеждений — я за экуменизм. Если под экуменизмом понимать готовность к познающему диалогу с этими людьми — я за экуменизм.

Если под экуменизмом понимать стремление все религии втиснуть в ранжир «единой» веры, чья обширность определяется суммой убеждений какой-нибудь очередной теософки, — я против экуменизма. Если экуменизм — это ленивое нежелание изучить основы своей духовной традиции, прикрывающее отсутствие взглядов и познаний декларациями об их «широте», — я против экуменизма.

Я уже привел первый член экуменического «символа веры». Вторая его часть гласит: религия учит нравственности. И это — неправда. Религия (ни одна — ни православие, ни ислам) не учит нравственности в светском значении этого понятия. Она указывает путь к бессмертию. Во всех религиях есть воинская этика и военное мышление, все они призывают на борьбу с духовным злом. И этим «послед-

ним врагом», по слову апостола Павла, является — смерть. В некоторых религиозных традициях утверждается, что оружием, которым жизнь может победить смерть, является любовь — и тогда религиозная проповедь соединяется с нравственной, взаимно усиливая друг друга. Поэтому, если интересоваться собственно религиозным содержанием той или иной веры, надо спрашивать не об этических заповедях (в таком случае трудно будет усмотреть разницу даже между атеизмом и христианством), а о понимании жизни и смерти.

Четыре вопроса определяют лицо той или иной веры и конфессии: что есть спасение? от чего спасается человек? что подлежит спасению? как совершается спасение?

«Дары проповедуют обездоленным, желания душам заурядным, пустоту — лучшим»¹. Выход за пределы бытия, растворение личности в океане безличной нирваны, которое своим высшим именем имеет Ничто, — вот цель буддийской практики. Не жить, не возвращаться к жизни, отсечь все, что привязывает к жизни, — вот что значит «быть спасенным». Г. К. Честертон был прав, указав на то, что Будда жалеет людей за то, что они живут, Христос — за то, что они умирают. В буддизме именно неповторимый рисунок человеческой личности должен распастись (и к этой деструкции надо идти добровольно путем медитаций и отказа от любых эмоций), в христианстве именно личность человека и призывается наследовать Вечность... По выводу крупнейшего русского буддолога Ф. И. Щербатского, «эта религия<...> не знает ни Бога, ни бессмертия души, ни свободы воли. <...> Мысль о существовании в нас души, т. е. особой, цельной духовной личности, признается злейшей ересью и корнем всякого зла»².

Спасение на Востоке — избавление от связанности с телом и материальным миром; в христианском мире человек должен спасти свою целостность (в том числе и телесность) от распада, которым угрожает грех и смерть.

Путь спасения от бытия на Востоке — путь избавления от любви к чему бы то ни было. Даже добро любить нельзя, даже Бога не стоит любить. Реакция христианина на подобную проповедь ясно выражена в характерной статье Владимира Соловьева под названием «Буддийское настроение в поэзии»: «...безусловное отсутствие признаков любви к кому бы то ни было — странный способ готовиться ко вступлению в чертог всех любящего Бога»³.

В своем исходном утверждении Будда прав: человек испытывает боль оттого, что его желания не реализуются. Но рецепт спасения он предлагает по принципу «лучшее средство от перхоти — это гильотина». Христианство вместо отсечения и истребления всех и всяческих желаний, вместо ампутации желающей и волящей части человеческого естества предлагает преобразование. Похоти здесь противостоит любовь к Богу, а не скопчество, гневу — любовь к ближнему, а не апатия. На этом пути «ярость вся целиком превращается в божественную любовь» (преп. Максим Исповедник). В проповеди Христа есть одно место, с которым никогда не согласился бы Будда: «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». «Алкать и жаждать — да это же вернейший путь к погибели!» — воскликнул бы Гаутама. Но именно эти слова вырвали европейский мир из полудремы Востока. «Наша вина, т. е. не-хотение или недостаточное хотение, и есть та самая немощь, в которой многие правильно видят самую суть греха<...> Не стремись свалить вину свою на Бога<...> не лукавь! Сознайся, что в неполноте Богоявления виноват ты сам, и виноват тем, что недостаточно стремился к Богу, а был косен и ленив» — так пишет русский христианский философ Л. П. Карсавин, подтверждая, что в христианском мире грех — это не наличие любви и желания, а малое количество или недолжная направленность того и другого⁴.

«Крепка, как смерть, любовь» (Песнь Песней. 8, 6) — это христианство, полагающее, что только любовью можно победить смертный распад. «Любовь и есть смерть» — это буддизм.

Нежелание видеть разницу духовных путей христианского мира и восточного приводит к весьма примечательным ситуациям. Например, в 1991 году издательст-

¹ Aryadeva. Catuhsataka, с. 8 п. 189. Цит. по: Анри де Любак. Католичество. Милан. 1992, стр. 119.

² Щербатский Ф. И. Философское учение буддизма. Исследования. Переводы. Публикации. Вып. 4. М. Восток — Запад. 1989, стр. 224, 225.

³ Соловьев В., «Буддийское настроение в поэзии» (Соловьев В. Стихотворения. Эстетика. Литературная критика. М. 1990, стр. 251).

⁴ Карсавин Л. П. Saligia. Пг. 1919, стр. 36 и 35.

во «Художественная литература» выпустило книжку «Будда. Истории о перерождениях». В джатаке «О заклинании тоски», включенной в состав сборника, есть следующее наизидание: «Брат мой, ведь женщины — сластолюбивы, бездумны, подвержены пороку, в роду людском они — низшие. Как ты можешь испытывать любовную тоску по женщине, этому сосуду скверны?» Издательство рекомендует эту книжку «для семейного чтения»...

Да, Рерихи всех убедили в том, что Будда и Христос так похожи друг на друга... Но вот однажды, чтобы убедить сомневающихся в правоте своего тезиса о том, что всякая женщина не более чем скверна, Будда провоцирует свою собственную мать (в одном перевоплощении) на убийство его самого... В другом перевоплощении, будучи царем Бенареса, Будда послал своего придворного плута сокрушить добродетель жены жреца, которая хранила верность только мужу, — конечно же, ради подтверждения своей спасительной проповеди: «женщин нельзя удержать от соблазна» (джатака «Об одураченном»). Кто в состоянии представить, чтобы подобные легенды слагались вокруг имени Христа?

Собственно, и в христианстве было немало сказано об опасностях увлечения женскими прелестями. Но аскетические советы монахам никогда не возводились здесь на степень последних философских истин. Я хотел бы предложить для сравнения два текста. Один принадлежит Будде. «Взгляните на девушку в пору ее расцвета по 15-му или 16-му году. Не кажется ли эта сверкающая, ослепительная красота великолепной в эти мгновения? А между тем прекрасное, манящее и желанное в этой блестящей красоте и есть не что иное, как мучение телесности. Взгляните на то же существо в другую пору ее жизни, по 80-му году: всмотритесь, какая она разбитая, согбенная, иссохшая, на клюку опирающаяся, едва плетущаяся, бессильная, выцветшая, беззубая, облысевшая, с дрожащей головой, морщинистая, темными пятнами покрытая... Вот вам ничтожество телесности! А потом, братия, взгляните на ту же сестру недугующую, тяжело страдающую, загрязненную испражнениями, поднимаемую и обслуживаемую другими. А потом взгляните на тело той же сестры на одре смертном, через день, два, три после кончины ее, как оно вздулось, почернело, предалось тлению. А потом взгляните на скелет с обрывками мяса, залитый кровью, сдерживаемый связками... Ну что же, братья? Куда же делась та сияющая, прежняя красота? куда исчезла? и как сменилась жалким, безобразным, претящим ничтожеством телесного?» (Терагата, 60).

Второй текст принадлежит св. Иоанну Златоусту. Начинается он очень похоже: «Когда ты видишь женщину благообразную, веселую, воспламеняющую твои помыслы, то представь, что предмет твоего пожелания — земля, что воспламеняет тебя пепел, — и душа твоя перестанет неистовствовать... Представь, что она изменилась, состарилась, заболела, что глаза ее впали, щеки опустились, весь прежний цвет поблек; подумай, чему ты удивляешься. Ты удивляешься грязи и пеплу, тебя воспламеняет пыль и прах». Но вот сиюминутная аскетическая задача угашения похоти достигнута — и оказывается, Златоуст совсем не собирается догматизировать свои слова: «Говорю это, не осуждая природы — да не будет! — не унижая ее и не подвергая презрению, но желая приготовить врачество для больных. Бог сотворил ее такую столь уничиженною, для того чтобы показать и Свою собственную силу и Свое попечение о нас, брэнностью природы располагая нас ко смирению и укрощая всякую нашу страсть, а вместе с тем — являя Свою мудрость, по которой Он мог и в грязи образовать такую красоту. Посему, когда я унижаю естество, тогда открываю искусство Художника. Ибо как вятелю мы удивляемся более не тогда, когда он производит прекрасную статую из золота, а тогда, когда вырабатывает точный и совершенный образ из грязного вещества, так и Богу мы удивляемся и воздаем хвалу потому, что грязи и пеплу Он сообщил отличную красоту и в телах наших явил неизреченную мудрость».

Народное сердце согрело буддийскую философию. Холодная проповедь Будды с течением столетий начала наполняться этическим и религиозным содержанием. Если христианство на пути в «массы» что-то теряло (и реакцией на эти потери и охлаждения было появление монашества), то в буддизме наоборот. И сегодня люди, увлеченные в «паломничество на Восток», незаметно для самих себя, «контрабандой» проносят в себе огромное количество «христианских предрассудков» и проецируют в восточные афоризмы то, любовь к чему привила им христианская культура.

И наконец, надо сказать и о том, что средство спасения понимается не менее различным образом. Будда спасает от незнания, и спасает своим учением. Христос

спасает от смерти, и спасает своим Крестом⁵. *Быть христианином — значит верить в Христа (а не в «учение Христа»), быть христианином — значит исповедовать тайну Спасения, совершенную Крестом Господним, а не просто соблюдать десять (кстати, Моисеевых) заповедей.*

Отсюда понятно, почему ни один христианин — будь он православным, протестантом или католиком — не примет идей теософии и ведаизма. А значит, попытки «объединить религии» на деле ведут к очередному расколу, к отрыву людей от реальной церковной общины ради призрачного единства «в шамбале».

Не только теософы и бахаисты, но и многие проповедники, выступающие от имени Евангелия, заводят людей в ту же ловушку. Их попытка проповеди «просто христианства», «христианства без конфессий» на деле оказывается лишь рекламным трюком, довольно скоро приводя лишь к образованию очередной отъединенной общины («Церковь Роса», «Церковь Христа», «Движение экумеников» и т. п.).

Поэтому, когда я читаю лекции в университете, я предупреждаю слушателей: в некотором смысле я хочу лишит вас свободы. Вы вправе думать иначе, чем Православие, вы можете понимать само Евангелие и смысл христианской жизни иначе, чем Православие, наконец, вы просто можете говорить и писать что хотите. Но одного вы не можете делать: в этих случаях вы не можете выдавать коктейль своих мыслей за Православие. Если кто-то, хоть один из вас, согласен с тем пониманием Бога, человека, мира, которое я вам раскрываю, — я буду рад. Но на всех вас по окончании моих лекций будет наложено одно ограничение: уже зная, каковы основные принципы Православия, вы не будете иметь нравственного права выдавать за Православие что-то другое.

Есть в истории религии вещи, с которыми христианство несовместимо. От этого факта нельзя отгородиться привычным интеллигентским рефлексом: «Ах, как вы нетерпимы!»

Пантеизм Рерихов несовместим с персонализмом Библии. Понимание Христа как просто «Учителя» несогласуемо с учением самого Христа. Имморализм восточной мудрости не сможет найти места в христианской этике.

Нетерпим ли учитель, если он указывает ученику на недопустимость перевертывания фактов? Считается ли узколобым фанатиком историк философии, объясняющий разницу между методом философствования Канта и Августина? Почему не обвиняют в нетерпимости философа, который пишет диссертацию на тему о противоположности воззрений Достоевского и Ницше? Когда Алексей Лосев показывает, что платонизм эпохи Возрождения мало что общего имел с учением самого Платона, никто же не называет его за это узколобым фанатиком! Точно так же (исторически, фактически, документально) теософия несовместима с апостольским христианством...

Между разными философиями и разными богословскими системами лежат различия, которые не зависят от настроения и воли исследователя. Как бы ни хотелось кому-то, чтобы все были одинаковы, но между буддизмом и христианством действительно немало радикальных различий. Если я буду о них молчать, они от этого не исчезнут.

В демократическом обществе, как известно, по вопросу о плюрализме двух мнений быть не может. Но ведь дело в том, что можно уважать и ценить чужие верования, но бы т ь можно только самим собой.

Плюрализм из общества не должен перекочевать в голову и душу каждого из его граждан. Плюрализм в голове одного отдельного человека — признак шизофрении. Это не полемический выпад, но диагноз, поставленный К. Г. Юнгом цивилизации XX века (В. Розанов по этому поводу как-то заметил, что нормативный интеллигент «утром верит в Ницше, в обед — в Маркса, а вечером — в Христа»).

Энтузиазм самих создателей теософского движения уйдет, а их последователи, поставившие на широкую организаторскую ногу синкретическую церковь, вспомнят, что в заветах основателей были указания на то, как важно единство и единомыслие. Получив влияние на формирование государственной образовательной, культурной и религиозной и информационной политики, они пояснят как рядовым гражданам, так и начальникам, что только веротерпимая и всеединящая, в меру патриотическая, но и вполне универсалистская система теософии имеет пра-

⁵ Подробнее об этом в статье «Предание и Писание» (Диакон Андрей Кураев. Все ли равно, как верить? Клин. 1994).

во на бытие в современном обществе. Средневековые пережитки должны быть терпимы лишь в том случае, если они не претендуют на истинность, на исключительность, на обладание истиной. Конечно, каждый имеет право молиться и веровать как пожелает. Но публично высказывать свое несогласие с ясно выраженным общественным стремлением к религиозному всеединству все же нельзя. Верь как хочешь — но с другими верами в полемику не вступай. Именно отношение к веротерпимому синкретизму и должно, похоже, стать в ближайшем будущем единственным критерием общественного и государственного отношения к религиозным сектам.

Нечто подобное уже было. Языческий мир Римской империи был очень терпим. Политеизм исходит из того, что Единый Бог далек и непознаваем, а у каждого городка и народа есть свои «боги», своего рода ангелы-хранители, с которыми по соображениям практической эффективности и следует наладить хорошие взаимовыгодные отношения, вступив с ними в завет. У Афин — свой небесный покровитель, у Трои — свой; у Египта — свои, у Рима — свои. Приехавший в Египет афинянин, естественно, почитал местные святыни, ожидая, что и египтянин, оказавшись в Греции, будет уважать греческих богов.

Участие в местных церемониях носило ясный этнический характер: общая вера создавала единый этнос и свидетельствовала о его единстве. Уклонение гражданина от исполнения надлежащего государственного (местного) культа воспринималось как проявление нелояльности, как угроза мистическому благополучию общины. Таким образом, политеизм, будучи веротерпим по отношению к чужакам, от своих требовал жесткого единства в вере. И чем дальше, тем больше место собственно религиозного интереса занимал интерес политико-государственный. Поэт и философ имел право при всеобщем одобрении издеваться над похождениями «олимпийцев» — но он не имел права уклониться от принесения установленных жертвоприношений.

Языческая империя готова была включить Христа в свой официальный «пантеон» — наравне с богами и божками других племен (и статуя Христа действительно в конце III века появляется на некоторое время в римском Пантеоне). Но христиан (как еще раньше и евреев) не устраивал такой компромисс. Они отказались от участия в государственных религиозных церемониях. В частности, отказались от воздания божеских почестей императорам. Отказ от религиозного «плюрализма» оказался наказуем: империя вступила в трехсотлетнюю борьбу с Церковью.

В течение трех веков своего существования Церковь противостояла попыткам государства законодательно навязывать своим гражданам образ их религиозной жизни. Нетерпимостью и бескомпромиссностью своих убеждений она отвоевала право на свободу совести, на терпимость государства к иноверию своих граждан. Кровь тысяч мучеников среди прочего свидетельствовала о том, что есть вещи поважнее гражданского повиновения. Именно нетерпимость ранних христиан создала условия для освобождения совести от государственных оков и тем самым заложила этический фундамент современного правового общества.

И если сегодня у нецерковных людей есть юридическое право на проповедь нехристианских систем мировоззрения, то у Церкви — при встрече с суррогатами предупреждать: это подделка. Этим правом (для меня, впрочем, это скорее внутренняя обязанность) я и пользуюсь, чтобы убедить читателей по крайней мере в одном: не все дороги ведут к одному и тому же Храму, претензии же на «широту взглядов и веротерпимость» слишком легко подменяют собою труд сравнения и познания, труд выбора.

К сожалению, не все это понимают и принимают. Поэтому, честно говоря, при сегодняшней моде на религию не помешала бы толика церковной цензуры: книги, статьи, передачи, которые ставят своей сознательной целью положительное свидетельство о Православии, было бы полезно взвешивать на предмет их адекватности и корректности. (В идеале такая цензура должна была бы оберегать читателя и слушателя как от всякого рода подделок под Православие, так и от косноязычия и невдохновенности тех, кто берется говорить о нем.)

Французский философ Габриэль Марсель духовную ситуацию современности выразил в следующих честных и жестких, но справедливых словах: «Мы не можем позволить себе ныне «сократический» поиск истины, свободное и необязательное блуждание по метафизическим пространствам. В религиозной системе «свобода мысли» не может быть терпима: слишком важные вопросы здесь решаются. Ошибка теолога может погубить души тысяч людей...»

Призыв избегать ошибок — это прежде всего призыв к работе мысли. Легкость, с которой на астральной почве рождаются секты типа «Богородичного центра» и «Белого братства», дает повод отнюдь не лишней раз напомнить: входя в Церковь, снимают головной убор, а не голову. Обретение веры не означает, что отныне за ненадобностью можно сдать ум в камеру хранения. Зримое ныне всеми возникновение и исчезновение новых и новых сект подтверждает старую, как Церковь, истину: вся мощь догматики и Традиции, мощь церковного разума и авторитета противостоят не свободе мысли, а свободе фантазии. Сегодня очевидно стратегическое союзничество Церкви и науки, просвещения духовного и светского. У веры и науки появился общий мощный враг: суе-верие.

Увы, истребление нескольких поколений религиозных мыслителей и богословов привело к забвению о том, что у разума есть свои права не только в светской, но и в религиозной сфере. Две пары категорий описывают ход духовной работы: молитва — и мысль; благодать — и свобода. Урежьте в одной из этих пар хоть одно крыло — и вот уже готовый инвалид духовного труда. Секта как раз и значит — «отсечение».

Много было грехов в жизни церковных людей. Но двухтысячелетний опыт показывает, что все, что в поисках большей «чистоты» и «мистичности» отрывалось от Церкви, уходило в пески фантазий, антиисторизма и бес-культурия. Этот факт кому-то может показаться скучным и прозаичным, а мне он кажется радостным. Век за веком приходили новые гностики и теософы, уверяющие, что они нашли способ преодолеть «узость» Евангелия. И из века в век оказывалось, что из мира христианской культуры есть только одна дверь — назад, в язычество. На этой двери могут меняться вывески и орнаменты, она может быть обита очень разными цитатами (она может называться даже «материализмом»). Но за ней человек найдет не простор небес, а все ту же душную и истоптанную прихожую, в которой для человека как раз и нет места...⁶

2. Язычество и христианство

Какая самая массовая религия в России? Нет, не Православие. Можно обмануть профессиональных социологов (и они, поверив на слово гражданам, будут утверждать, что большинство верующих России сочувствует Православию). Но нельзя обмануть тех, кто имеет дело не со словесными заверениями, а с деньгами. Нельзя обмануть книготорговцев. Так вот, на одну книгу о Православии, продающуюся на уличных прилавках, приходится не менее двадцати книг по оккультизму и язычеству (без учета романов «мистических ужасов»). Гороскопы, учебники по йоге и медитациям, мистические трактаты от Древнего Египта до Кастанеды да плюс неоязычники типа Хаббарда.

Да, есть люди, которые нашли свое место в Православной Церкви. Но гораздо быстрее, чем число прихожан в православных храмах, увеличивается в последние годы в России число сторонников языческих практик и различных христианских и околохристианских сект.

Прибавьте к этому обилие всевозможных сектантских проповедников (от кришнаитов до «преподобного Муна»), красочно оттеняемое отказом всех каналов российского телевидения создать хотя бы одну православную регулярную передачу, — и у вас заметно поубавится охоты рассуждать о «духовном возрождении России».

Язычество — это отнюдь не милая народная этнография, гаданья под Рождество и разгадывание гороскопов. Язычество — это прежде всего реальность, религиозная реальность. В него можно не только играть. В нем можно пропасть, погибнуть.

Я не буду давать своих определений. Кто такие язычники, достаточно ясно сказал ап. Павел: это люди, которые «служили твари вместо Творца» (Римл. 1, 25). Язычество есть там, где человек застревает в инстанциях, находящихся между Творцом и человеком. Язычник — это человек, с религиозным энтузиазмом доверившийся миру. Это человек, принявший временную остановку за конечную цель.

⁶ См.: Мф. 25, 41.

В конце концов, язычник — это тот, кто перепутал средства и цель. Как однажды сказал блаж. Августин: «Все наши беды происходят оттого, что мы пользуемся тем, чем надлежит наслаждаться, и наслаждаемся тем, чем надлежит лишь пользоваться».

Что же может остановить человека в его восхождении к Богу?

Прежде всего стоит обратить внимание на одну деталь Евангельского повествования, которую не замечают люди, если не обращаются к греческому тексту Нового Завета. Христос говорит о том, что Он сражается с «князем мира сего»: «Ныне князь мира сего изгнан!» (Ин. 12, 31). «Князь мира» — это перевод греческого слова «kosmokratores».

Есть не менее известные слова в Евангелии: «Мужайтесь, Я победил мир» (Ин. 16, 33). «Мир», побежденный Христом, — это «kosmos».

Итак, в «космосе», мире «духов злобы поднебесных», видит Библия источник самой страшной угрозы для человека. При религиозном, а не моралистическом чтении Нового Завета нельзя не заметить, что апостолы и Христос воспринимают Землю как блокированную планету. Небеса скрывают от человека Бога — и эту блокаду надо прорвать. «О, если бы Ты расторг небеса и сошел!» — восклицает еще ветхозаветный пророк Исаия (Ис. 63, 19). Еще одна древняя библейская книга обличает иудеев за то, что они «оставили все заповеди Господа <...> и поклонялись всему воинству небесному» (4 Цар. 17, 16).

Хочешь прикоснуться к Богу? — вопрошает св. Василий Великий, — что ж, «оставь землю, оставь море, сделай, чтобы воздух был ниже тебя, стань выше эфира, пройди звезды, их чуда, их благолепие, величину. Протеки все это умом, обойдя небо и став выше его, одною мыслию обозри тамошние красоты: пренебесные воинства и ликостояния ангелов. Миновав и все сие, представь в мысли Божие естество»⁷.

«Знаем, что есть *какие-то* ангелы, архангелы, престолы, господства», — пишет св. Григорий Богослов⁸, но служим-то мы не им, а — Творцу. Ничто не должно различать человека с Богом — «...ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы <...> ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим. 8, 38 — 39).

Все послания Павла единогласно говорят о Кресте как о победе Христа над некими «космическими властями». По пояснению преп. Максима Исповедника, Крест «упразднил враждебные силы, наполняющие среднее место между небом и землей»⁹.

Тот, с кем борется Христос, — «колосс космических измерений»¹⁰.

Св. Иоанн Златоуст сравнивает небо с завесой иерусалимского храма¹¹. Язычники — это люди, которые запутались в занавеске и преждевременно пали на колени, не дойдя до подлинной Святыни.

Религия — связь человека с Богом. С тем, кто изначально создал космос и человека, а не с чем-либо появившимся в космических пространствах. Поэтому-то, по меткому выражению Владимира Соловьева, «„ложная религия“ есть *contradictio in adjecto*»¹². Или человек в своем поиске достигает цели и находит Бога — и это и есть собственно религия. Или он сбивается с пути и до Бога не доходит — но тогда религии и нет, а есть просто оккультная практика.

Вообще в космологии христианское богословие использует тактику «выжженной земли»: оно само не формулирует космологических систем, но и не допускает их навязывания извне. Языческий мир всегда — от гностиков до Рерихов — пытался навязать христианству свою космологию, заполнить эту лауну, заполнить пространство между Богом и человеком всевозможными зонами, сефиротами, планетами и т. п. Для христианства же это неприемлемо, во-первых, потому, что религия — связь с Богом, а не с высшими эшелонами космоса; во-вторых, потому, что эти построения не верифицируемы (в язычестве что ни мистик — то своя иерархия, так что Лосев говорит, что вообще непонятно, существ-

⁷ Св. Василий Великий. Творения. М. 1846, т. 4, стр. 259 — 260.

⁸ Св. Григорий Богослов. Творения. СПб., б. г., т. 1, стр. 412.

⁹ Преп. Максим Исповедник. Творения. Ч. 1. М. 1993, стр. 187.

¹⁰ Архим. Софроний (Сахаров). О молитве. Париж. 1991, стр. 90.

¹¹ Св. Иоанн Златоуст. Творения. СПб. 1896, т. 2, кн. 1, стр. 392.

¹² Соловьев В., «Чтения о Богочеловечестве» (Соловьев В. С. Соч. в 2-х томах. М. 1989, т. 2, стр. 37).

вовал ли гностицизм как некий целостный феномен¹³); в-третьих, потому, что сама суть Библии в том, что поверх всех посредников Бог приходит к людям; в-четвертых, потому, что именно в этом «поднебесном» посредническом пространстве таятся блокирующие силы.

Мир поистине прекрасен. Он может быть источником религиозных переживаний. Но он не может быть предметом религиозных чувств. Странствуя по миру, человек рискует «в великолепии видимого потерять из виду Бога»¹⁴.

И именно через космологическую фантастику язычество всегда пыталось внедриться и навязать поклонение твари. Христиане — это люди, которых спросили: «Что ты желаешь знать?» И они ответили: «Бога и душу». — «И ничего больше?» — «Ничего»¹⁵. Христианский мир променял фантастику космогоний на познание души и ее спасение¹⁶.

Язычество — это рабство «пустым и суетным стихиям мира сего»: «для чего возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам и хотите снова поработить себя им» — вразумляет галатов Павел (Гал. 4, 9). В греческом тексте «начала» — это «*stoiheia*», «стихии», то есть, на языке греческой мысли, те первоначала, из которых сложен космос. «Стихии мира» (Кол. 2, 8) — это «*stoiheia tou kosmou*». От сообщения с космическими стихиями надо уклоняться, ибо «со Христом вы умерли для стихий» (Кол. 2, 20).

Есть две серьезнейшие причины, по которым нельзя играть с этими силами в кошки-мышки. Во-первых, они не вечны. Однажды созданные, «разгоревшиеся стихии растают» (2 Пет. 3, 12). Значит, душа, пропитанная их энергиями и принявшая их вместо силы Божией, сгорит вместе с ними. Для стяжания бессмертия души надо выйти за пределы тварных и временных эшелонов бытия и причаститься Единому Бессмертному (1 Тим. 6, 16). Так что для того, чтобы избежать печального будущего, надо в настоящем строить свою религиозную жизнь не по влечениям космоса.

Но кроме «эсхатологического мотива», воздерживаться от заигрывания со стихиями и их князем имеет смысл и в силу одного происшествия, имевшего место в прошлом.

Дело в том, что начало человеческой истории было озарено космической катастрофой¹⁷. Через грех в мир вошла смерть. Можно сказать, что в мире взорвался Чернобыль. Суть не в том, что Бог злится на нас и наказывает поколение за поколением за проступок Адама. Просто мы сами сотворили смерть. Мы — виновники тому, что весь мир, весь космос стал подчиняться законам распада и тления.

Бог, напротив, ищет, как спасти нас от радиации смерти.

Так часто христиан называют жестокими людьми — за их свидетельство о том, что вне Христа нет спасения. Что ж, представьте, что включается служба оповещения гражданской обороны и объявляет: «Граждане, тревога! По нашему городу нанесен ракетно-ядерный удар. Через десять минут ракеты будут над нами. В вашем районе ближайшее убежище находится там-то... Кто успеет до него добежать, у того есть шанс спастись»... Нет, скажите, кто жесток в этой ситуации: диктор гражданской обороны или тот, кто нанес ядерный удар по городу?

Св. Иоанн Златоуст однажды обратился с увещанием к родителям, которые возмущались проповедью монахов. Мол, подростки дети, вместо того чтобы помогать отцам в торговле или ремесле, собираются в храмы, слушают монахов и даже уходят в монастыри... Златоуст предлагает сравнение: если кто-то ночью поджиг ваш дом и проходивший мимо человек вбегает в него, стучит во все двери, будит людей и понуждает их выбежать из огня, кого вы назовете виновником ночного беспокойства? Поджигателя или спасителя? Так вот, если бы в ваших городах можно было бы защитить свою душу от огня грехов, не было бы нужды в монастырях. Не монахи подожгли грехами ваши города. И если они учат детей защите от греха, в чем же их вина?

¹³ См.: Лосев А. Ф. История античной эстетики. Итоги тысячелетнего развития. М. 1992. Гл. «Гностицизм».

¹⁴ Св. Григорий Богослов. Творения. СПб., б. г., т. 1, стр. 400.

¹⁵ Блаж. Августин. Исповедь.

¹⁶ См., например, случай с аввой Пименом в «Древнем патерике» (М., 1899, стр. 169).

¹⁷ Об этом подробнее см. в моей статье «Грехопадение» («Человек» — 1993, № 5, 6; 1994, № 1).

Так и христиане говорят: в мире и космосе разлита смерть. Мы сами ничего не сделали для ее преодоления. Но нам дано лекарство от смерти, «лекарство бессмертия», противоядие. Вечный Бог стал человеком, чтобы привлечь нас к Себе и Собою защитить нас от последствий наших же беззаконий. Вот — Чаша Жизни. Придите и вкусите... Жесток ли врач, уверяющий больных, что без принесенного им лекарства им не выжить? Жесток ли проповедник, говорящий, что вне Причастия человек не найдет Жизни?..

Теперь вернемся к Чернобылю. Внешне там все спокойно. Но человек, пьющий тамешнее молоко, пьет смерть. Он дышит лесным воздухом — он вдыхает смерть. Он собирает грибы — он собирает смерть... Почему нельзя заниматься бегом в центре Москвы? Потому что чем интенсивнее здесь дыхание, чем больше воздуха будет человек прогонять здесь через свои легкие, тем больше грязи будет осаждаться в них.

Так и в мире после грехопадения: чем больше «космических энергий» человек пропустит через себя, тем больше продуктов распада будет оседать в его душе... Так все «космические откровения» и «экстрасенсорные пассы», все подключения к «энергии космоса» и к «неизведанным ресурсам человечества» чреваты энергиями разрушения...

Я не буду специально говорить о Люцифере и о его привычке подсовывать людям фантики вместо конфет. Я не думаю, что всю историю внебиблейских религиозных исканий человечества можно свести к истории демонологии.

Язычество — это не поклонение дьяволу (поклонение дьяволу — это уже прямой сатанизм). Это — поклонение тому, что не есть Бог. Поклонение совести. Поклонение нации. Поклонение искусству. Поклонение здоровью. Богатству. Науке. Прогрессу. «Общечеловеческим ценностям». Космосу. Самому себе.

«Темным оком омрачен был целый мир, и ошупью ходили люди. Что ни оставляло их на пути — почитали они Богом», — говорил преп. Ефрем Сирин¹⁸.

Самое опасное, что здесь есть, и самое эффективное — это поклонение самому себе.

Бердяев говорил, что атеизмом современный мир расплавляется за недостаточный интерес средневековья к человеку. Не платим ли мы нашим бессилием перед язычеством сегодня за то, что отказывались видеть в нехристианской мистике ее положительное содержание — антропологическое, впрочем, а не теологическое. Человек ведь действительно бездна, и эту бездну можно принять за Бога. Мы мало ценили Богообразные потенции человека — в итоге приходится все объяснять ссылками на «дьяволов водевилей», которые никого не убеждают.

Язычеством мы расплавляемся за антропологический минимализм, столь поразительно высказавший себя в знаменитых словах Достоевского: «Здесь дьявол с Богом борются, и поле битвы — сердца людей». Человек тут оказывается пустышкой, просто полем битвы, по которому топчутся враждующие стороны. От него как будто ничего не зависит, да и не понятно, зачем ради пустого поля такое сражение.

Вероятно, у Достоевского это просто неудачная фраза. О безмерности и богатстве человеческой души у него сказано весьма немало. Не меньше было свидетельств об этом и в древней православной письменности. Но школьная схоластика выпарила из православного богословия именно учение о человеке. Из всего богатства православного предания в предреволюционных наших семинариях прочнее всего укоренилась мысль о «ничтожности человека», о его смирности¹⁹.

Можно ли бороться с атеизмом проповедью смирения? Как оказалось, нет. Понадобилась плеяда новых богословов, которые пояснили, что все высшие ценности атеистического гуманизма — достоинство человека и его свободы, его творческое призвание и личностная неповторимость — не чужды христианству, и даже наоборот, они могут быть логично обоснованы лишь в христианской мысли, а не в атеистической. И только тогда в философской

¹⁸ Преп. Ефрем Сирин. Творения. Сергиев Посад. 1912, ч. 5, стр. 208.

¹⁹ Не миновала она и протестантизм, породив в нем не только чудовище кальвиновского учения о предопределении, но и весьма печальные слова Лютера: «Если вселится в человеческую волю Бог, она хочет и шествует, как хочет Бог. Если вселится сатана, она желает и шествует, как хочет сатана, и не от ее решения зависит, к какому обитателю идти или кого из них искать, но сами эти обитатели спорят за обладание и владение ею» (цит. по: Лосский Н. О. Избранное. М. 1991, стр. 505).

области атеизм был преодолен. И смысл христианского смирения стал вновь понятен тем, чье сердце было готово его понять, но разум — под влиянием антихристианских книжек — этому противился...

Сегодня богословно брошен новый вызов — языческий. «Язычество есть религия больного человечества и больной природы. <...> Но в то же время это не призрак и не обман, но религиозная действительность», — писал Сергей Булгаков²⁰. За язычеством стоит определенный опыт. Отрицать его наличность нельзя. Можно лишь дать иную его интерпретацию.

Первая реакция со стороны богословия естественна: это все — от лукавого. Что есть — то есть. Но не думаю, что весь огромный мир язычества, охватывающий континенты и тысячелетия, может быть вмещен в эту формулу.

Памятуя опыт преодоления атеизма, можно сказать: бороться с язычеством можно, лишь вглядываясь в величие и неисчерпаемость человеческой природы: сие море великое и пространное, тамо корабли преплывают и змий его же создал еси игратися ему. Бездна души действительно такова, что ее можно принять за Бога.

В язычестве нет Истинного Бога. Человек терется сам в себе, в своей душе. От этого самообожения защищает себя Иов: «...прельстился ли я в тайне сердца моего и целовали ли уста мои руку мою? Это также было бы преступление, подлежащее суду; потому что я отрекся бы тогда от Бога Всевышнего» (Иов. 31, 27 — 28).

«В сердце надо стоять вниманием, но не перед сердцем, а перед Господом», — предостерегает св. Феофан Затворник²¹.

Брахманское «тат твам аси» (ты есть То) адекватно реальному опыту любого созерцательного подвижничества. Подвижник обнаруживает в себе в какой-то момент «светящуюся точку». Православная аскетика знает о внутреннем свете души, однако различает нетварный Свет Божества от духовного, сокровенного, но все же тварного свечения ума. Языческая мистика этот свет считает конечной инстанцией, тогда как Православие — лишь промежуточной. «Когда Бог сотворил человека, то Он всеял в него нечто Божественное, как бы некоторый помысл, имеющий в себе подобно искре и свет и теплоту; помысл, который просвещает ум и показывает ему, что доброе и что злое: сие называется совестью, и она есть естественный закон», — пишет авва Дорофей²². Но «естественный закон» лишь указывает на вышеестественное, а не заменяет его. Совесть напоминает о Боге, но сама не есть Бог.

Да, душа человека прекрасна и велика. Что ж, «прекрасный и полезный член — глаза: но если бы они захотели видеть без света, то красота и собственная сила их нисколько не принесли бы им пользы, но еще причинили бы вред. Так и душа, если захочет видеть без Духа, то сама себе послужит препятствием»²³.

В душе можно заблудиться: она богообразна. В душе опасно заблудиться: она не есть Бог. «Душа — не от Божия естества и не от естества лукавой тьмы <...> Он — Бог, а она — не Бог», — напоминает преп. Макарий Египетский²⁴.

Здесь — важнейшая грань, непроходимо разделяющая христианский опыт и опыт языческий. Человек не есть частица Божества; Бог не есть высшая структура человеческой души. Божественное в человеке — это «благодать», дар, которого в человеке не было, но который извне дан ему. Чтобы принять дар, надо иметь смирение: познание того, что я нищ в самом главном, что мне надо приобрести нечто несвойственное мне. «Приходит же благодать Божия в человека хотя нечистого и скверного, но имеющего сердце благопризнательное, а истинная благопризнательность есть, чтоб сердцем признавать, что благодать есть благодать», — свидетельствует величайший мистик Православия преп. Симеон Новый Богослов²⁵. Веровать по-христиански может лишь человек благодарный. Благодать и есть та реальная связь со Творцом, которая может вывести за пределы Вселенной, подверженной разрушению.

²⁰ Булгаков С. Н. Тихие думы. М. 1918, стр. 196.

²¹ Феофан Затворник. Собрание писем. Вып. 5. М. 1900, стр. 170.

²² Авва Дорофей. Душеполезные научения и послания. ТСЛ. 1900, стр. 49.

²³ Св. Иоанн Златоуст. 7-я беседа на 1 Кор., пар. 4 (Творения. Беседы на 1 Кор. СПб. 1858, стр. 117).

²⁴ Преп. Макарий Египетский. Духовные беседы. М. 1880, стр. 11 и 409.

²⁵ Преп. Симеон Новый Богослов, «Слово 18» (Творения. М. 1892, т. 1, стр. 169).

Даже телу необходима подпитка извне. Неужели же душа, которая обычно столь жадно впитывает в себя все, приходящее к ней извне, не нуждается в добром Хлебе? «Горе телу, когда оно останавливается на своей природе, потому что разрушается и умирает. Горе и душе, если останавливается на своей только природе, не имея общения с Божественным Духом. Как отчаиваются в больных, когда тело их не может уже принимать пищи <...> так Бог <...> достойными слез признает те души, которые не вкушают небесной пищи Духа»²⁶. Значит, восточный отшельник, достигший того состояния «просветленности», когда он ощущает себя тождественным с Высшим Духом мироздания и всю Вселенную готов рассматривать как свое порождение, в перспективе христианской мистики смертельно болен. Болен — ибо сыт... Болен — ибо замкнул себя от того, что выше Вселенной...

Св. Афанасий Великий однажды сказал, что, утратив память об истинном Боге, «люди впади в самовожделение»²⁷. То состояние души, в которое приводят себя подвижники пантеистического толка, «в мистически-аскетической литературе заклеимлено позорным именем «прелести», то есть духовного ослепления и утверждения результатов собственной капризной фантазии за подлинную и истинную реальность»²⁸.

О таких состояниях ложной духовной просветленности знают и сами оккультисты. Здесь дело в общем законе мироздания: «Там, где он (человек. — А. К.) уклоняется от Бога, на него набрасываются боги»²⁹.

Отдаленность язычников от Бога мешает им всерьез рассмотреть свою богообразность. Скудость знаний о Боге мешает познать себя; смутность Богопознания не дает осознать свое реальное состояние. Не чувствуя своей духовной поврежденности, языческий мир все же очень остро чувствует ненормальность положения человека. Но чем ее объяснить, где найти источник загрязненности?

Христианин сказал бы — вина в моей воле, в моем духе, в моем грехе. Однако дело в том, что увидеть свои грехи может лишь человек, уже освещенный лучиком благодати.

Так в темной комнате нельзя заметить мусора. Но если в ту же комнату прорвался прямой луч света, в нем будет видна даже пылинка, танцующая в воздухе. Отсюда — парадокс, поражающий людей, впервые знакомящихся с церковной аскетикой: святые называют себя грешнейшими, тогда как мы чуть не ежедневно встречаем на улице, мягко говоря, несовершенных людей, уверяющих, что у них грехов никаких нет: «Если и убивал кого, так только по делу!»

Душа, наглухо задраенная от Бога, не видит свое истинное состояние. Покаяние там не родится. Беспokoянное существование уже само все дальше и дальше уносит эту душу от Подателя Жизни...

Но ведь не может человек совсем не чувствовать, что что-то не так. И тогда он, с одной стороны, начинает свое неудовлетворенное религиозное чувство прилагать к чему-то более-менее богоподобному, а с другой стороны, начинает искать причину своей невсечелой «божественности».

Идя первым путем, язычник уверяется в своей собственной тождественности Абсолюту в высшей точке своего бытия. Идя вторым путем, он обретает преграду между Абсолютом и собой... в себе же. Но не в воле, нет (ибо это и значило бы — покаяться). Виновна оказывается сама сложность моей природы. Все грехи и все зло оттого, что моя душа живет в этом гнусном теле, и оттого, что она втиснута в рамки этого «я».

Эта преграда — от косной телесно-душевной субстанции собственной индивидуальности. Человек тяготится собой. Ибо в себе он нашел нечто лучшее, что единственно ему, но в то же время не есть он сам. Моя природа хороша и божественна. Зло — оттого, что что-то не дает ей развиться вполне. Это что-то — моя личность, моя индивидуальность. Итак, из формулы «я есть бог» следует: «я не должен существовать». Именно пантеизм ведет к нигилиции себя.

Но если я как христианин знаю Бога как любящего меня, я не воспринимаю себя как преграду в этой любви, как помеху, поэтому и не должен «преодолевать себя». Именно христианство увидело зло в человеческой воле (в своеволии) и то,

²⁶ Преп. Макарий Египетский. Духовные беседы. М. 1880, стр. 15.

²⁷ Цит. по: Прот. Георгий Флоровский. Восточные отцы 4 века. Париж. 1931, т. 33.

²⁸ Лосев А. Ф. Очерки античного символизма и мифологии. М. 1993, стр. 856.

²⁹ Рацингер Й. Введение в христианство. Брюссель. 1988, стр. 74.

что подлежит изменению, — тоже в воле, а не в природе. *Отсечение греха и стремления к нему не есть отсечение себя.*

В противовес христианству вся языческая сотериология исходит из догмата о духовном здоровье человека: стоит духу избавиться от тела — и все будет нормально. Именно неощущение Бога порождает невидение своих грехов и как следствие — ненависть к материи, столь поэтично воспетую Буддой.

Догма о непорочности духа заставляет все свалить на тело. Таким образом, из одного и того же нечувствия своих грехов (как своих, моим духом и моей волей, а не данным мне телом порожденных) рождается и практический атеизм в сотериологии: спасение без Бога (зачем спасать, если я не болен) и неприятие телесности, которая становится козлом отпущения. Эта атеистическая сотериология есть и в буддизме: раз человек сам выйдет когда-нибудь из тела, то единственное, что может помешать его спасению, — его непросвещенность. В том мире человек, не готовивший себя к духовной жизни, может начать печалиться о потерянном теле и тем самым лишить себя радости. Отсюда — спасение через философию, «просвещение», ожидание Учителя, а не Спасителя.

Непримиримость язычников к христианству следует из их антропологии: если источник порчи не в теле, а в духе, то как спасать сам дух? Если самое высокое в человеке испорчено, как человек может устранить эту порчу? Если бы вне человека было некое Высшее Духовное начало, можно было бы ожидать Его помощи (как это делают христиане). Но пантеисту неоткуда ожидать Вести. Значит, надежда на спасение может корениться лишь в самом человеке. Человек должен заняться «самоспасением» — иначе ему неоткуда ждать помощи: ведь «Бога не существует».

Все, к чему стремится человек, здесь оказывается в одном горизонте с ним. Естественно, что никакого трансцендентного вмешательства не требуется. Преодоление смерти — это внутренняя проблема нашего маленького мира: перейду я с этой планеты на другую, перееду жить на «Елисейские поля» и т. п. Но в христианстве-то надо как раз выйти из мира. Мир погибнет — надо успеть найти другой дом, вне него. И здесь без помощи извне не обойтись.

И вновь мы видим, что внутренне языческий пантеизм логичен. Если быть язычником, нельзя не признавать перевоплощения. Весь мир, весь космос божественно-материален. Из этой первостихии выходят, в нее возвращаются, и почему же нельзя вновь вернуться? Конечно, можно и должно. Но христианство и говорит, что мы выходим из этого первичного онтологического бульона, выходим навстречу той Единой Личности, которая вне себя создала нас и к которой мы должны прийти с определенным лицом, а не в составе того же бульона. А если пофалесовски — «все есть вода», то да, без бесконечной и бессмысленной трансформации не обойтись. Можно только поставить идеал конечной и тотальной энтропии — и мечтать о дне, когда закончатся в мировом океане шатания всех всплесков энергии и единая и самоотжественная нирвана растворит в себе все, порожденное безумием индивидуальных обособлений.

Так что нельзя думать, что, мол, можно быть европейцем и христианином, вот только «обогащать» христианство каруселью перевоплощений. Тут или — или. «Есть только две мудрости в мире — и только эти две мудрости и могут быть вечными, неотменимыми. Одна из них утверждает личность, другая — ее уничтожает. Никаких других универсальных мудростей нет: все остальное тяготеет к одному или к другому из этих двух полюсов. Поэтому существуют лишь две религии, способные с достаточной силой выступать друг против друга: религия, ведущая в царство личностных духов, и религия, ведущая к полному погашению духа в Ниббеле. Бог, душа, мир — основные идеи первой, безличное бытие вне Бога, преодоление «миража» (майи) и всякого полагания и себя и вне себя чего-либо — это основные лозунги второй. Логосу, который у Бога и Бог, противостоит боддhisатва, открывающая тайну безличия и безбожия <...> ведение великой, личностной созидательной силы жертвенного страдания — и выход из страдания через погашение личности; <...> единство многих, создаваемое любовью, — и отказ от «иллюзий» любви ради уничтожающего всякую множественность единства безличного, бессубъектного, безвольного и бестворческого до-бытия — таковы полярно противоположные устремления мудрости христианской и мудрости антихристианской — буддизма. Ни сближения, ни примирения, ни синтеза, ни выхода в третье здесь быть не может. Кроме «или — или» нет здесь иного подхода...» Буддизм — единственно достойный противник христианства — «ведет глубокую, неви-

димую, самими адептами его малоосознанную борьбу, не внешнюю, не насильническую (ибо насильническая борьба с христианством — бессильная борьба). У этого врага своя достаточно богатая культура, опирающая себя на принцип, прямо противоположный принципу личности, — на принцип безличного единства. Культура его имеет также свои истоки, свои мели, свои внутренние коллизии и выходы из них, и именно эта культура, а не безграмотный атеизм или жалкая пародия язычества наших вырожденцев христианства могла бы дать из себя потоки, угрожающие европейскому миру»³⁰.

А. Мейер имеет в виду не только прямую пропаганду парабуддийских настроений и восточных мотивов в Европе. Безличностное мироощущение само по себе «многообразно и разнообразно» прорывается в мир христианской культуры в форме всевозможных социальных и культурных движений. Марксизм, психоанализ, структурализм, та линия лингвистической философии, которая в человеке видит лишь орудие, которым язык проговаривает себя, эстетизация национально-почвеннического мифа — масок много. Суть одна: усни, человек, признай, что твоя личная свобода и ответственность лишь приснились тебе или твоему вновь обретенному «абсолюту»...

Может ли Индия обогатить средиземноморскую культуру — вопрос более чем спорный. А вот то, что она регулярно смущала ее своим крайним нигилизмом и аллергией к личности, свободе и жизни, — несомненно. Уже знаменитый древнегреческий философский цинизм своим происхождением обязан путешествию Пиррона в Индию. Пиррон «заболел» скептицизмом после посещения Индии во время похода Александра Македонского³¹. Тем интереснее, кстати, что поход греков в Индию оставил свой след в истории самой Индии: «Благодаря походам Александра греческие художники наделили лицом Будду, у которого прежде дерзали изображать лишь отпечаток ступни. Сегодня же индийские влияния на западную духовность стремятся стереть человеческое лицо»³².

И ныне «паломники на Восток» мечтают сделать Православию «вселенскую смазь», стерев в безликую маску его глубокое своеобразие. Но для живого религиозного чувства естественно искать не минимума, а максимума содержания. Для него естественно желать не наименьшего общего знаменателя, а полноты постижения Истины. Мы готовы брать правду и примеры истинной любви отовсюду³³. Мы лишь не готовы жертвовать высшей религиозной Правдой, открывшейся во Христе, ради сомнительного удовольствия публичных похвал.

Сторонники религиозного синкретизма обосновывают свою «терпимость» альпинистским образом: духовная реальность подобна горе, на которую с разных сторон всходят альпинисты из разных лагерей. Но не обстоит ли дело несколько иначе: из разных лагерей люди идут на разные вершины. И чем выше они взберутся на какую-нибудь экзотическую вершину, тем труднее им будет искать путь ко Христу. *Ведь им надо будет еще спуститься вниз с псевдовершин, и лишь после этого они смогут начать труд истинного восхождения к Богу, истинного освобождения от власти стихий.* Во всяком случае, для Иисуса блудницы явно ближе к Царству Божию, чем взбирающиеся на вершину Закона фарисеи. А самая высокогорно-религиозная страна мира — Индия — так и не смогла принять Евангелие...

³⁰ Мейер А. А. Философские сочинения. Париж. 1982, стр. 448.

³¹ См.: Поснов М. Э. Гностицизм 2 века и победа христианской Церкви над ним. Киев. 1917, стр. 40.

³² Clement O. La revolte de l'Esprit: Reperes pour la situation spirituelle d'aujourd'hui. P. 1979, p. 51.

³³ Для св. Григория Нисского образ отношения церковных людей к нехристианской мудрости — это повеление Моисея забрать все золото египтян в день Исхода (золото, заработанное народом Израиля за века его рабства в Египте). Св. Григорий видит в этом повеление «заготавливать богатство внешнего образования, которым украшаются иноплеменники по вере. Ибо нравственную и естественную философию, геометрию и астрономию, и словесные произведения, и все, что уважается пребывающими вне Церкви, наставник добродетели повелевает, взяв в виде займа у богатых подобным сему в Египте, хранить у себя, чтобы употребить в дело при времени, когда должно будет божественный храм таинства украсить словесным богатством <...> Многие внешнюю ученость, как некий дар, приносят Церкви Божией. Таков был и великий Василий, прекрасно во время юности купивший египетское богатство, принесший его в дар Богу» (Св. Григорий Нисский. «О жизни Моисея» / Творения. Ч. 1. М. 1861, стр. 296/).

Если бы восхождение на любую гору без Христа могло бы ввести в Небо, Богу не нужно было бы идти на крест. Для отстаивания какой-нибудь абстрактной истины или моральной заповеди это было не нужно. И тот, кто охотно рассуждает о том, что жертва Христа отменила иудейский закон, обнажив его тщету, должен иметь мужество мыслить логично и сказать, что не в меньшей степени воплощение Христа и Его крест были сокрушением вообще всех иных религиозных законов человечества, всех попыток «самосовершенствования» — в том числе и йогических. Иначе — «Христос напрасно умер»...

3. Рерихи: оккультизм для интеллигенции

Самой распространенной идеологией среди российских учителей и преподавателей провинциальных вузов стало учение Рерихов. Их имена звучат в теле- или радиоэфире едва ли не каждый день.

Я убежден, что большинство тех, кто считает Рерихов высшим проявлением «русской духовности», не читали их систематически и не имеют представления о том, сколь разрушительную силу призывают они в покровители.

Те же, кто лишь понаслышке знаком с основами Агни-Йоги, пленяются необычным набором терминов — «астрал», «Фохат», «психическая энергия», «карма»... В результате рерихианство стало готовить почву для насаждения всевозможных оккультных практик. «Белое братство» потому имело такой успех, что к его пришествию люди были подготовлены откровениями Рерихов. Само название «Белого братства» заимствовано из Агни-Йоги Рерихов (4, 534)^{*}. Пришествие воплощенной Матери Мира именно в конце XX века возведено ими же³⁴. Вся терминология белобратских листовок — отсюда же родом. В сегодняшней России кружки почитателей Рерихов стали аванпостами оккультизма.

Вновь скажу: большинство рерихианцев поистине не ведают, что творят. Задача этой статьи — познакомить их поближе с теми страницами рериховской теософии, которые не принято публично пропагандировать.

В семье Рерихов было своего рода разделение труда. На долю Николая приходилась проповедь нового движения, обращенная ко «внешним». Она полностью зависела от предполагаемой аудитории и потому строилась на обычных штампах о «духовности» и «культуре». А вот Елена, похоже, была главной визионеркой и контактеркой с «Космосом». На ней же были основные заботы по внутренней организации теософской церкви. Поэтому именно к трудам Елены Рерих и стоит приглядеться повнимательнее, если нас интересует собственное вероучение этой семьи. Для «своих» Елена Рерих писала откровеннее — поэтому ее письма, предлагаемые адептами в качестве вероучительного источника, именно в этом качестве мы и воспримем. Так мы сможем увидеть, как Рерихи создавали миф о себе, что они думали о других и в чем на самом деле состоят их философские, нравственные и религиозные взгляды.

Итак, первый миф, созданный Рерихами о самих себе: «Агни-Йога — всепримиряющее учение».

Рерихи призывают к миру всех религий, они нашли основу, на которой могут примириться все духовные традиции человечества. Их завет — не спорить, не подчеркивать различия, а искать единства.

Что ж, прежде всего посмотрим, насколько терпимы были сами Рерихи и насколько объединяющей была их концепция.

* При цитировании я буду использовать следующие обозначения: первая цифра в скобках будет означать книгу, вторая — страницу.

1 — «Письма Елены Рерих 1929 — 1938». В 2-х томах. Т. 1. Минск. 1992;

2 — «Письма Елены Рерих 1929 — 1938». В 2-х томах. Т. 2. Минск. 1992;

3 — «Письма Елены Рерих. 1932 — 1955». Новосибирск. 1993;

4 — «Агни-Йога». Сост. А. А. Мовчанюк, Н. В. Базлов. СПб. 1992.

³⁴ Вот лишь несколько скоропалительных пророчеств Е. Рерих: «Последний Космический Срок пройдет через несколько десятков лет» (3, 36. Письмо 1934 года). «До Судного дня Вы успеете состариться» (3, 58). «Комитет друзей Музея Рериха <...> проектирует начать Крестовый Поход за культурные начинания, основанные Н. К. Рерихом. Давно было указано на 36 год как год личной битвы Владыки мира с Иерофантом зла и с библейским змием» (3, 169. Письмо 18.11.1936). «Запомним и год сороковой. Он может принести и радость и дать новую опору» (3, 170). «1942 год по всем древнейшим писаниям считается концом Кали Юги и началом нового прекрасного цикла» (2, 384. Письмо 23.4.1938).

Ну, прежде всего — путь к Истине один или их несколько? «Действительно, если к единому Свету один путь через Владыку, то лишь крайнее невежество дозволит разрушение этого *единственного пути*» (4, 493). «Помните, якорь один, Свет один. И когда протекает самая большая битва, тогда непростительно нарушать строй. Буду очень суров, ибо время не терпит...» (4, 515) — предупреждает Владыка Шамбалы в книге «Иерархия». «Все должны знать, что Щит Владыки может быть лишь там, где Его Доверенные, это оккультная аксиома» (3, 54). «Существует лишь одна Иерархия Света, и, конечно, эта Иерархия и есть Транс-Гималайская Иерархия» (2, 13).

Итак, истина — одна, ее иерархия — одна и пророк — тоже один (как нетрудно догадаться — автор цитируемых писем). Как же эта «иерархия», собравшаяся объединить всех верующих землян, расценивает «объединяемые» религии?

Вот христианство глазами Рерихов: церковники — это ханжи и изуверы, прикрывающие свои темные делишки кажанием и коленопреклонением и крестным целованием (1, 405). «Как сказано в Учении: „После Оригена ложная вера христианства начала расти“» (1, 276). «Человечество загрязло в пережитках, в старом мышлении. Так дух сдвигающихся народов тлеет на уходящих энергиях, как ханжество и суеверие. Основа этого тления — церковь, которая сеет ужасы, непозволительна!» (4, 583). Что здесь особенно интересно — в «суеверии» Церковь обвиняет адепт неприкрытого оккультизма!

Быть церковным христианином — значит «записаться в узкие сектанты» (1, 320). Исповедовать православие — значит «примкнуть к силам тьмы» (1, 322). Для Елены Рерих православные — это «темные», «черные», то есть сатанинские силы (см. 3, 12)³⁵.

«Темнота», «ханжество» и «невежество» христиан, в частности, проявляются в том, что они до сих пор празднуют Воскресение Христова: «И сейчас имеются люди, образованные и считающие себя даже учеными в некоторых областях, которые верят, что в День Страшного суда они воскреснут в своем физическом теле! <...> Чем объяснить такое самоодурение, гипнозом или же агавизмом?» (1, 162). Итак, вера в телесное воскресение Христа — самоодурение. Одуревшие и загипнотизированные люди заполняют храмы в Пасхальную ночь. Да и вообще — «принято и узаконено, что все, называющие себя христианами, делают все противное именно Заветам Христа» (3, 352). А главное невежество христиан — в том, что они вообще называют себя христианами, ибо «Христос <...> не был тем, обещанным <...> Писанием, Мессией» (3, 42).

Итак, христианин может войти во всемирную религию Рерихов лишь через отречение от Церкви и от своей веры. Сохранение малейшей связи с Церковью запрещается — ибо «не думаю, что можно было бы ожидать что-либо продуктивное и даже полезное от религиозного кружка, в который вошли бы церковно настроенные» (1, 263). Но значит, религиозная политика Рерихов заключается не в соединении, а в банальном прозелитизме: отрекись от старой веры и приди в новую секту.

Но, может, Елена Рерих и ее учителя более терпимы по отношению к восточным религиям? Например, индуизму? Нет: «Истинно брамины сейчас являются паразитами на больном организме Индии <...> Индия, изгнав Буддизм, предпочла рабство» (3, 29). Значит, хорош буддизм?! Увы: «Буддизм и Ламаизм, так же как и христианство, мало имеет общего с истинным Учением их Основателей» (3, 41). И, «конечно, современные Далай Ламы <...> настолько далеки от высокого понятия духовных водителей, что лишь невежественные массы верят, что они являются высокими воплощенцами» (2, 128).

Значит, исторически существующие верования человечества «ремонт» не подлежат и вместо них должна быть предложена новая теософия. Но окажется ли она лучше и нравственно плодотворнее христианства, буддизма, ислама?

И сколько же истинно просветленных и единомышленных с великими миротворцами из Гималаев? Сколько этих редких душ, обреченных жить среди невежественных толп? «Наберется ли сотня таких счастливых, не знаю. Как-то давно было

³⁵ Там прямо не названо, кто именно является «темным», сопротивляющимся изданию рериховской книжки о преп. Сергии Радонежском, но ведь ясно, что в Америке этому могли противиться только православные, для которых использование имени православного святого для пропаганды оккультного учения действительно кощунственно.

сказано, что истинно знающих духов не более сотни на всем протяжении нашей планеты. Это при нашем-то двухбillionном человечестве!» (1, 322).

Итак, вместо «всемирного братства» — «не более сотни» приверженцев. Вдобавок, по учению Рерих, все они вообще не люди, а пришельцы с Венеры: «Очень мало каких-либо значительных воплощений остается на долю землян!» (1, 323).

Есть, впрочем, еще один возможный путь солидарности людей. Это ведь религии сеют невежество и разделение. Но, может, наука вполне в мирных отношениях с Новым Откровением?

Что ж, вниманию профессорско-преподавательских корпораций школ и университетов России представляется возможность обогатить свои научные познания следующими космическими откровениями: «Земной человек еще очень груб <...> по сравнению с обитателями, скажем, Юпитера и Венеры» (2, 358). «Пчелы и муравьи были принесены Великим Учителем с Венеры в назидание человечеству. <...> Пшеница была принесена Изидою с Венеры» (3, 159). «На Венере совсем нет насекомых и хищников. Там настоящее царство полетов, летают люди, летают птицы и даже рыбы. Причем птицы понимают человеческую речь» (3, 334). Правда, непонятно: если на Венере нет насекомых, откуда же тогда взялись пчелы и муравьи?

Для преподавателей биологии будет, наверно, интересно узнать, что, «согласно всем древним эзотерическим Учениям, человекообразный вид обезьян произошел от совокупления человека с самками животных» (1, 301). А само человечество произошло из-за того, что пришельцы с Венеры — Элохимы — начали размножаться (среди них были духи обоих полов) (1, 400). Кстати, поскольку муравьи и пчелы — инопланетяне, то они умнее земных животных (1, 403).

Вступать в полемику с приверженцами Агни-Йоги по поводу вышеприведенных или иных откровений лучше не стоит. Когда латышская интеллигенция попробовала возмутиться проповедью учеников Рерихов, в ответ Елена Ивановна ласково написала: «Поменьше обращайтесь внимания на мнения всяких умников. Они как мыльные пузыри» (3, 374). В самом деле — о чем можно спорить с невежественными учеными: «Не согласна назвать противников «Чаши Востока» даже «рассудочно-умными». Именно труднее всего усмотреть в таких противниках наличие какого-либо ума» (2, 165). Владыка Шамбалы того же мнения: «Когда предложат защитить Заветы, скажите: нельзя ответить невежеству» (4, 98).

Значит, в светлом завтра, перестроенном по заветам Рерихов, науку ждет неслыханно свободное развитие. Ведь Основоположники «готовы <...> приветствовать все отрасли науки и знания, <...> когда они лишены научных предрассудков и суеверий. Предрассудки <...> в науке могут быть еще страшнее, чем в религиях» (1, 149). Если же наука не захочет избавиться от своих предрассудков — тем хуже для нее. На вопрос «Как примирить Учение с наукой?» Владыка Шамбалы отвечает: «Наука <...> распухла от предрассудков. Тот, кто обеспокоен торжественностью утверждений, тот понимает науку как логово мещанства. Тому, кто мыслит о Новом Мире, тому нет вреда от ползающих гадов» (2, 38 — 39).

Но в этом случае не избежать вопроса: а что же полагается делать с «ползающими гадами»? Когда в России или еще где-нибудь придет к власти сторонники единственно верного и единственно научного, а также подлинно гуманистического учения Рерихов, в трудах Основоположников и Классиков они найдут все надлежащие указания. «У Вас встречается фраза: «Но как и прежние Писания, Агни-Йога не дает прямых определенных и исчерпывающих указаний, как и что делать». Это заблуждение. Именно Агни-Йога <...> дает самые прямые и определенные указания, что делать» (3, 43).

Итак, вот указания на соответствующий случай: «Можно преследовать невежество, но следует, особенно, казнить суеверие и ханжество» — выдается «Махатмой» индульгенция для новых ГУЛАГов (4, 497 — 498). «Не нам, в наш век ужасов жестокости <...> и растлений, говорить о жестокостях законов Моисея. Кроме того, назовете ли Вы уничтожение диких зверей, угрожающих пожрать всех домашних животных, жестокостью, мстительностью и т. д.? А среди выведенных из Египта представителей израильского народа немало было <...> именно таких необузданных звероподобных, и Вождю нужно было спасти от них лучший элемент» (3, 26). Это правильно — Вождь не должен смущаться ликвидацией «звероподобных». «Двуногие» не должны путаться в ногах у «лучших элементов» Новой Расы.

«Да, во всех теософических книгах <...> можно найти указание, что шестая раса собирается в Америке» (3, 149). Эта новая раса — раса Богочеловеков. «Богочеловек — творец огненный! Богочеловек — носитель огненного знака Новой

Расы» (4, 482). «Как я люблю эту книгу! — пишет Елена Рерих о книге Ницше «Так говорил Заратустра». — Конечно, многие, прочтя ее, возмутились, но таким сознанием <...> трудно будет войти в Новый Мир» (1, 437).

Но, может, в своих «суровых» словах Е. Рерих имеет в виду сугубо духовную борьбу и совсем не адресует свои заветы государственным деятелям и полиции? Нет — в ее письмах упоминается грядущий «государственный строй, отмеченный монизмом религиозного культа» (3, 264). По ее убеждению, будущее «государство должно изгонять закоренелых невежд» (3, 447). «Близится время, когда стоящие во главе стран начнут поддерживать в государственном масштабе все просветительные созидания» (1, 79). «Вожди будущего будут назначаться не безответственными массами, но <...> иерархией Света и Знания» (1, 286). И здесь уже не остается даже полушага до сегодняшнего «Богородичного центра» с его истеричным требованием немедленной теократии и передачи всей полноты власти в стране (вместе с теплым гаражом и компьютером³⁶) лично «пророку Божией Матери Иоанну».

Эта власть совсем не собирается устанавливаться мирным путем. «Учитель любил битвы и знает, как они наполняют энергию Космоса» (4, 38). «Слабость и непротивление злу не для нас» (1, 142). «Гибель мира от полумер и от непротивления злу» (2, 11). «Не правы те, кто считает Общину Нашу Молитвенным Домом. Не правы те, кто называет Твердыню Нашу рабочей мастерской <...> Не правы, кто находит Общину изысканной лабораторией...» Община — «военный стан», «Знамя Завоевателя» (1, 402).

Для прихода к власти не стоит стесняться в средствах. «Знамя Мира» на деле есть знамя войны: «Относительно Знамени Мира Вы пишете, что некоторые люди будут против него, ибо они не симпатизируют пацифическим идеям. Но почему они берут лишь одну сторону Знамени? Ведь самый Пакт прежде всего говорит о Знамени во время войны. <...> Наиболее выдающиеся военные авторитеты Франции и Америки первые высказались в пользу практичности и приемлемости Знамени» (3, 33).

А на войне — как на войне. «Когда колесница направлена ко благу, то возница не отвечает за раздавленных червей» (3, 285), — пишет великая человеколюбка, тотчас, правда, предупреждая корреспондента, чтобы до времени воздержался от публикации этого пассажа: «Конечно, изречение о колеснице оставьте для себя, иначе много соблазна может произойти». Правда, даже если кто-то и возмутится — не велика важность! «Знаю, что выдержки из моего письма вызвали разные комментарии, но что же из этого? Есть такие группы двуногих, похвала которых может лишь унижить и замарать, потому пусть такие лучше нападают» (2, 8).

Но лучше все же до времени маскировать свои взгляды и заверять всех в своей терпимости и в симпатии к христианству и к людям. Уроки тактической лжи Е. Рерих советует брать у Розенкрейца, основателя ордена розенкрейцеров, который по возвращении из Индии в Европу «должен был преподавать учение Востока в полухристианском обличи, чтобы защитить своих учеников от <...> мести фанатиков и ханжей. <...> В своем большинстве человечество осталось все теми же нетерпимыми и жестокими изуверами». «Каждое великое Откровение требует покрытия внешними щитами» (1, 396).

Собственно, цель моей статьи — выбить из рук теософов эти «щиты» и попросить их сражаться с христианством с открытым забралом.

Впрочем, моя просьба заведомо тщетна — Рерихи допускают полезность лжи: «Когда Мы говорим о необходимости честности, Мы не имеем в виду негодных людей <...> Правда не есть отвлеченная условность, она есть осознание космических законов, основанное на непосредственном опыте» (4, 54). Е. Рерих сама признает, что новым членам Общины не надо раскрывать всего, не обо всем надо писать в книгах. Первоначальный вариант проповеди «Живой этики» делается максимально христианизированным или стерильно-культурным. Есть набор рекламных цитат и деклараций, а есть нечто более «эзотерическое», к принятию чего и надо привести человека, когда он наконец перестанет цепляться за христианские предрассудки. Это обычный принцип рекламы оккультной чернухи, которая пытается притвориться радугой: дескать, я все вмещаю, я всего глубже, во мне есть место для всех краек...

Для самой Елены Ивановны люди делятся на две категории — просто люди (то есть на деле — нелюди, «двуногие») и «посвященные» провозвестники будущей

³⁶ См. газету «Рыцарь веры», 1992, № 7.

Расы. Общей морали у них просто быть не может. Чтобы это было лучше усвоено последователями Шамбалистики, Е. Рерих приводит вполне запоминающийся пример из проповеднических упражнений одного своего американского последователя: «Один фабрикант и большой благотворитель шел по дороге, впереди него, заплетаясь ногами, передвигался пьяный нищий, из-за поворота неожиданно вывернулся автомобиль и смял пьяницу. Вопрос <...> должен ли был фабрикант броситься спасать нищего и рисковать при этом жизнью или же он был прав, воздержавшись от возможности самоубийства. Учитель-американец утверждал, что фабрикант, несший на себе ответственность за существование множества рабочих, поступил правильно, охранив свою жизнь. Но в обществе поднялась буря негодования и утверждалось, что человек не должен рассуждать, но обязан жертвовать собою ради ближнего <...> Но, конечно, подобные сознания еще не вышли из приготовительного класса и не могут понять, что каждая жертва должна быть осмыслена. Было бы тяжкой утратой для всего человечества, если бы люди, несущие благо всему человечеству, безрассудно рисковали своей жизнью. Но если мы будем говорить массам, то мы должны сказать, что человек всегда и во всем должен спешить на помощь своему ближнему» (2, 362 — 363).

Этот американский рериховец — несомненный представитель зарождающейся в Америке Новой Расы. Когда же придут времена и сроки, они не постесняются в разрушении «предрассудков». «Разрушение называем созиданием, если существует сознание о будущем» (4, 50). «Так на развалинах старого мира пусть подымается Великая Держава Света!» (4, 589).

И вот тогда, в грядущей Державе, всем будет предъявлен выбор. Или — «поймите, родные, что каждая клеточка нашего существа должна трепетать радостью выполнения Высшей Воли» (1, 75). Или — «всякое невежество, где бы оно ни проявлялось, должно быть обнаружено и по возможности искоренено» (3, 442).

О нет, само собой разумеется, «мы никому ничего не навязываем. Но, конечно, если кто присоединился к нашему Знаку, мы должны следить за тем, чтобы под этим знаком не преподносилось нечто, совершенно противоположное основным идеям и правилам общества» (1, 431). «Дисциплина есть начало всего знания и всей мощи. <...> Благосостояние народов складывается около одной личности» (1, 287)³⁷.

Если кто-то не поймет благотворного значения шамбальской дисциплины, надо принимать меры. «Считаю меры, принятые Вами для ограждения проникновения в Общество нежелательных членов, крайне полезными. Именно важно в самом начале оградиться от разрушительного элемента» (2, 3). Скрыть «нежелательные» мысли и эмоции в грядущем обществе будет невозможно — ибо «правители будущего должны будут уметь читать мысли окружающих» (2, 140). Впрочем, не только читать, но и управлять: «Психическая энергия не только немедленно передает, но человек также немедленно принимает к исполнению. Не ошибемся, если скажем, что половина мира исполняет внушенные приказы и нет расстояния для психической энергии» (4, 164).

«Сомнение есть самый страшный яд» (2, 395) — и будущий житель Утопии должен брать пример с Иерархии, чье решение всегда монолитно (2, 52).

Теперь осталось только добавить несколько штрихов к будущей идиллии.

Во-первых, «кладбища вообще должны быть уничтожены как рассадники всяких эпидемий» (2, 259).

Но если уничтожаются кладбища, как быть с «невежественным» Пушкиным, воспевавшим «любовь к отеческим гробам»? На этот счет есть особая рекомендация гималайских радетелей Культуры: «Занимать ложью места народных книгохранилищ — тяжкое преступление <...> На полках книгохранилищ целые гнойники лжи. Было бы недопустимо сохранять этих паразитов» (3, 46).

Далее: «средневековое идолопоклонство Христу» (4, 11), конечно, будет отменено.

По мысли «Махатм», две трети всех человеческих бедствий происходит из-за одной причины: «...это — религия, в какой бы то ни было форме и в какой бы то ни было национальности. Это священнослужители и церкви. Запомните: сумма человеческих бедствий не уменьшится до тех пор, пока лучшая часть человечества не разрушит во имя истины, нравственности и всеобщего милосердия алтари этих

³⁷ Письмо отправлено 10.10.1934. Это точно: личностей, призывавших к дисциплине, в Европе тогда было немало.

ложных Богов»^{*}. Это пророчество было написано в 80-х годах XIX века. Понятно отсюда, почему эти же Махатмы через Н. Рериха передали приветственное послание вождю «лучшей части человечества» В. И. Ленину после победы «великого октября».

Сегодня они ведут новый «штурм небес» с целью окончательного низвержения оттуда Бога Библии, о Котором «Планетные Духи», инструктирующие шамбалистов, заверяют, что Он — это «выдуманное чудовище с невежеством во хвосте»^{**}, «демон мстительный, несправедливый, жестокий и тупой <...> небесный тиран, на которого христиане так щедро расточают свое раболепное обожание»^{***}.

Затем будет проведена массовая операция по уничтожению всех домашних животных и птиц. «Никакие животные не допускаются в жилые комнаты. Даже птицы не могут находиться в спальне. Все низшее привлекает низшее <...> Кошки <...> вообще рассматриваются как сущности, определенно принадлежащие к темным группировкам» (2, 72). Это невежественные православные забыли оккультные заветы предков, и монастыри стали настоящими заповедниками кошек, которым разрешается даже входить в храм. Терпеть подобное в просвещенном будущем, конечно, нельзя, ибо даже «мясо, хорошо прокопченное, содержит в себе гораздо меньше вредного животного магнетизма, нежели аура самих животных, приютившихся в наших внутренних помещениях» (2, 136). Поскольку этот завет «Учителей» и «Махатм» исполнить легче всего, то мне хотелось бы услышать от рерихнутых учителей: сколько кошек и собак заставите вы выгнать из домов своих учеников?!

Наконец, трижды в день надо будет обязательно кланяться идолам. «Как готовить терафим? Нужно найти помещение, где психическая энергия заклинателя достаточно наслоила пространство и осела на предметах. На определенном месте слагается изображение любого вида из воска или глины или извести <...> При заклинаниях, как вы знаете, произносились распевы, составленные из странных, порою лишенных смысла слов. Но не смысл, но ритм имеет значение <...> Безразлично, в каких словах производится поручение терафиму <...> Нужно наполниться однородным устремлением, творя терафим. Каждый день не меньше трех раз нужно нагружать терафим» (4, 143). Итак, Министерство образования России, столь любящее Рерихов, должно рекомендовать учителям не меньше трех раз в день призывать детей поклоняться идолу и, не понимая слов, образовывать секту трясунов, «когда каждый мускул сливается в устремлении с нервами» и «как неделимое целое вибрирует человек».

Кроме того, должна быть произведена языковая реформа. «Пора заменить библейские термины четкими понятиями» (4, 16). Что это за четкие понятия, можно увидеть на той же странице откровения Владыки Шамбалы: «Учитель радуется <...> красоте дальних миров и мучается скорченным тупоумием воплощенных двуногих» (4, 16).

Понятно, когда Елена Рерих выражается языком знакомых ей советских передовиц: «Шайка человеческих отбросов» (3, 126) (это, конечно, о тех, кто с нею не согласен). Или: «Трудна и тяжка борьба с гидрою тьмы <...> Звериные инстинкты еще далеко не изжиты в двуногих представителях будущего человечества, и они готовы целой сворой нападать на все им неведомое» (3, 162). «Если Вы <...> допустите к себе <...> общение личностей вредительских, то неизбежны тяжкие последствия» (3, 217). «Человеческая особь» (3, 151). «Среди человечества ангелов искать не приходится, истинно, мы живем в царстве, населенном в большинстве двуногими хвостатыми» (3, 402). «Невежественный доклад священника Ионова я читала. <...> На всякое чихание не наздравствуешься» (3, 395) — это уже прямо по-ленински!

Но неужели Владыка Шамбалы начитался советских газет?! Это очень интересный вопрос: почему Владыка Шамбалы выражается языком газетных передовиц 20-х годов? Ведь, скажем, преп. Силуан Афонский в те же 20-е говорил вполне чистым русским языком. А здесь — «не столько подлость, сколько грубость восприятий делает массу человечества непригодным материалом» (4, 14).

Поскольку Великий Владыка пришел с Венеры (3, 200), у него понятные трудности с русским языком. «Этот устрашающий вопрос надо освещать многосторон-

* «Письма Махатм». Самара. 1993, стр. 223.

** Там же, стр. 640.

*** Там же, стр. 218.

не, иначе белое человеческое очень грязно» (4, 25). «Правительства, полагающие прикрыть нищету помысла маскою удачи обычности, принимают на себя труд могильщиков» (4, 55). «Человечество установило явление нарушения» (4, 478). Но ведь трое Рерихов могли бы и отредактировать! Но нет — это вполне их язык. И — язык бухаринской «Правды».

«В стране сейчас школа миллионов — поднятая целина. Трудно передать, как захватывающе это подмечание нового, пусть и не каждый день! Все полны искренней наивысшей жажды жизни <...> Устремление к знанию есть величайший стимул. Будем радоваться!» (3, 159. Письмо от 14.8.1936). «Создается эпоха общего Сотрудничества, общего дела и коллективной солидарности всех трудящихся» (3, 148). «Идеология, проводимая в книгах Живой Этики, идет в ритм с требованием новой эпохи, и именно молодежь, воспитанная на этих книгах, создаст авангард нового и более счастливого мира» (3, 343). «Не люблю дешевого сентиментализма, поощряющего всякую ложь и являющегося рассадником несправедливости» (2, 271). Революции — «восстание здоровых клеток на защиту всего организма» (2, 413). «Красные знамена часто поднимаются руками старого мира, полными пред-рассудков» (4, 25). «Культура должна выработаться <...> из новой формы хозяйства, быта, из <...> пафоса энергетики» (3, 159), и, кстати, Космос очень обеспокоен тем, что, «конечно, вопрос топлива в Азии должен быть изменен» (4, 53).

В 1927 году митр. Сергей во время четвертого своего ареста и под угрозой казни всех арестованных епископов делает декларацию о поддержке советской власти. Но что заставило тибетских Махатм через Н. К. Рериха абсолютно добровольно приветствовать сатанизм, воцарившийся в России?! И не просто лишь однажды писать письмо Великому Махатме Ленину, но и всю жизнь отстаивать порядки «советской России»? По убеждению Е. Рерих, СССР обвиняют лишь «люди, смотрящие <...> из колеи старого мышления и потому не понимающие размаха совершающегося сдвига» (2, 361). «Не будем думать, что Россия в терроре. Смерть висит над теми, кто причинил ее другим. Так действует Высшая Справедливость», — оправдывает Елена Ивановна Большой Террор с позиций кармической мудрости (3, 213)³⁸. Облеченный этой мудростью «йог проходит мимо кажущегося несчастья, ибо ему ясны причины и следствия случая» (4, 65).

Ну ладно, большевизм, будем считать, в прошлом. А как на сегодняшнем и завтрашнем дне скажется тщательное воспроизведение Еленой Рерих штампов советского антицерковного агитпропа? «Стоит вспомнить времена инквизиции, Варфоломеевскую ночь и всю историю папства и церковных соборов, где почтенные духовные отцы изрядно заушали и таскали друг друга за бороды и волосы, чтобы всякое уважение к такой церкви и догмам, ею утвержденным, испарилось навсегда, оставив лишь возмущение и ужас перед непревзойденными преступлениями чудовищного своекорыстия, властолюбия, алчности и невежества!» (1, 277). «Эту дьявольскую психологию «блудители чистоты» Учения Христа всеми способами старались вкоренить в сознание темных масс» (1, 277). Речь, кстати, идет о церковном запрете на сатанизм и общение с миром духов. Или: «Да, большой грех лежит на церкви за держание мышления доверенных ей масс в невежестве и тьме средневековья» (1, 264). Ну да — «попы нарочно от нас скрывали, что мы от

³⁸ Кстати, немецкий вариант «нового порядка» Е. Рерих тоже приветствовала: «Можно приветствовать совершившийся переворот в Вашей стране, ибо этим будет создан еще один оплот против невежественной и разрушительной силы» (3, 32. Письмо от 14.6.1934). Если скажут, что в 1933 — 1934 годах переворот произошел не только в Германии, я соглашусь. Но все перевороты в Европе того времени — это приход к власти профашистских сил. А учитывая симпатии нацистов к оккультизму, дружелюбность Рерихов к ним вполне естественна.

В эти годы, кстати, очень дружественными были отношения нацистского режима и вальдорфских школ Р. Штейнера, еще в 1915 году писавшего о себе как о «пророке миссии Германской расы». История взаимоотношений вальдорфских школ и нацистов прослежена в статье голландского профессора И. Д. Имельмана (Jmelman J. D., «Waldorf — Education. An outdated combination of Religion and education» / Panorama. International Journal of Comparative Religions Education and Values. Winter 1992, vol. 4, № 2 — Braunschweig, Germany/).

Хотя бы для того, чтобы потом Россию не обвиняли в государственной поддержке антисемитизма и расизма, стоит-таки для чиновников организовать курсы «культпросвета» и пояснить, что даже из искренней любви к оккультизму не стоит ни организовывать Государственную академию эвритмического искусства (созданную при Министерстве культуры в 1993 году), ни переводить государственные светские школы на преподавание по вальдорфским методикам.

обезьяны произошли», как говорит один персонаж из фильма «Покаяние». И, конечно, из Шамбалы можно лишь приветствовать «атеистическую пятилетку» и курс на уничтожение Церкви в России: «...мертвая догматика убила светлое Учение Христа, потому церковь с такой легкостью разрушилась в нашей стране» (1, 264).

Главное — «Родина наша уже вступила на путь выздоровления и ищет новый славный путь. Самое отрадное явление это, что массы проснулись к сознательной жизни, к пониманию общего сотрудничества, и жажда знания среди молодежи велика. Конечно, перебой неизбежен, но большой сдвиг в сознании народа несомненен» (2, 82). Антихристианский атеизм торжествует по всему фронту — и из Гималаев по этому поводу разносится вопль радости... Вы, отец Павел Флоренский, сами виноваты, что на Соловках оказались, — нечего было цепляться за «мертвую догматику».

Но что же в церковной жизни относится к «мертвой догматике», по убеждению Елены Ивановны? Ведь нет в мире человека, который не считал бы церковную жизнь свободной от недостатков. Даже я (по крайней мере в некоторые минуты) готов в сердцах сказать вслед за Высоцким: «Нет, и в церкви все не так, все не так, как надо!» Может, Рерих предлагает снять с евангельского христианства и с Предания древней Церкви некие искажения и наслоения?

Ничего подобного: во имя торжества идей оккультизма должно быть выброшено христианство как таковое.

Христианство (даже с точки зрения сугубо культурологического рассмотрения) — это конкретная историческая реальность. Это — то понимание мира, человека и Бога, которое возникло в первом поколении учеников Христа и было запечатлено ими в книгах Нового Завета. Можем ли мы претендовать на то, что мы лучше поймем Христа, Его жизнь и слова, чем апостолы? Это довольно рискованное предположение. Для этого необходим личный духовный опыт, не менее потрясающий, чем у апостолов, переживших Пятидесятницу.

У нас нет альтернативных источников информации, которые независимо от свидетельства древней Церкви сообщали бы нам что-то о Христе. И даже если кто-то не желает испытывать доверия к апостолам, он не может не задать себе труда попробовать расслышать их главную весть. Да, человек, отрицающий Боговдохновенность Библии, может считать неадекватными некоторые из ее сообщений. Но Новый Завет неоспорим в одном: он донес до нас то восприятие Христа, какое вдохновляло первое, апостольское, поколение христиан. Быть христианином — значит просто разделять эту веру апостолов. Сколько бы ни было в тексте Нового Завета позднейших вставок или утрат, в нем вполне ясно различима основная его интонация: возвешение спасительной Жертвы Сына Божия.

Главным предметом проповеди Христа является Он Сам. Более всего, чаще всего, по сути, непрестанно Он говорит о Себе. «Я есмь Путь и Истина, и Жизнь»; «Веруйте в Бога и в Меня веруйте»; «Я — свет миру», «Я — хлеб жизни»; «Никто не приходит ко Отцу, только Мною»; «Исследуйте Писания: они свидетельствуют обо Мне». Он проповедует не Свои убеждения, а Себя Самого. Он спрашивает учеников не о том, какого мнения люди о Его проповедях, но о том, «за кого люди почитают Меня?». Здесь дело не в принятии системы, учения, а в принятии Личности. Христос не совершил ничего такого, о чем можно было бы говорить, отличая и отделяя это от Его Я.

Христиане веруют не в христианство, а в Христа. Апостолы проповедуют не Христа Учащего, а Христа Распятого — моралистам соблазн и теософам безумие. Теософия не примет то самое в евангельском свидетельстве о Христе, за что Иисус был осужден синедрионом. Ведь обвинение, выдвинутое против Него фарисеями, гласило: «Он делает Себя Богом!»

Именно здесь Церковь однозначно отмежевывается от гностиков как древних, так и новых: Христос не завещал нам некое «Учение», которое, более или менее публично рассказывая, можно разносить по миру и по векам. Лишь полностью игнорируя Евангелие можно, подобно Елене Рерих, утверждать, что «заветы Христа имеют гораздо больше значения, чем Его происхождение» (2, 354). Сам Христос Своё служение не сводил к роли Учителя. Не перед выходом на проповедь Христос говорит: «На сей час Я и пришел», но перед распятием; не после окончания беседы говорит Он: «Совершилось!» — но на Кресте. С этими словами Христа, кстати, никак не увязать заявления Махатм о том, что «ни один Учитель не считал свою работу конченной» (4, 112).

В конце концов, Рерихи искушают тем же, чем и Сатана: они борются со Крестом. Он им не нужен, мешает. Христос Нагорной проповеди им близок, а Христос Голгофы — нет. Голгофа становится или случайностью, или спектаклем, призванным выдать слезу покаяния из людей, вдруг превратившихся в богоубийц. Любая система, которая не в состоянии пояснить уникальный смысл Креста, не является христианской. Она может говорить комплименты в адрес «Учителя Иисуса», даже утверждать его «божественность» (в теософском смысле) — но так и останется «поцелуем Иуды»...

Для Е. Рерих Голгофа — не более чем подмости для последнего действия: «Если бы Он не пострадал, то Учение Его было бы забыто» (3, 409). «Жертвою Он показал, что можно любить человечество больше, чем себя» (3, 409). То есть Крест не спасает людей, а просто напоминает о некоторых нравственных прописях. Но не о том ли напоминает смерть Иоанна Предтечи? Или мученическая кончина ап. Павла и других апостолов? Чем же смерть Христа отличается от них?

Поскольку исповедание спасительности Крестной Жертвы — это основа христианства, вполне однозначно можно сказать: самой основы христианства Рерихи не приняли и не поняли. «Конечно, совершенно невозможно понимать значение жертвы распятия Христа, как это понимается некоторыми недоросшими сознаниями. Смысл ее в том, что Христос, желая показать силу Духа над физической плотью, принял чашу и запечатлел своей кровью Завет, принесенный Им: „Нет больше любви той, как если кто положит душу за други свои“» (3, 415) — вот все, что они готовы увидеть в Голгофе и Христе. Александр Матросов, заметим, в этом случае ничуть не менее яркий пример.

В понимании Е. Рерих «никто не может спасти другого. Лишь собственными усилиями подымается дух в сужденные прекрасные миры» (3, 416). Христианство для Рерих — «сектантское воззрение, что лишь благодаря появлению Христа человечество было спасено от козней дьявола» (3, 381). Для нее это «страшные кошунственные явления: страшное внушение понятия, что крестная смерть Христа спасла человечество от первородного греха (!) и всех последующих» (3, 121).

Вся новизна Евангелия — именно в тайне Воплотившегося и Распявшегося Слова. Этой новизны Е. Рерих заметить не желает и потому предлагает Новый Завет прочитывать так, как это было бы желательно для более архаичных, дохристианских религиозных систем: «...очень был бы полезен труд, поясняющий Евангелие в свете синтеза всех духовных Учений» (3, 330).

Так вновь мы видим, что проповедь «Живой этики» строится на лжи. Рерих лжет, когда заявляет, что «в христианстве я придерживаюсь веры первых отцов христианства» (2, 9).

Однако я не могу не признать, что рериховское брезгливое отношение к «христианским сектантам» по-своему глубоко обосновано. Оно вырастает из тех глубин, где уже невозможно никакое соприкосновение и тем более объединение мира Востока и мира Библии.

Имморализм Рерихов обоснован достаточно последовательно. Три «благовестия» принесли они европейцам: нет личности; нет Бога; нет свободы.

«Махатма отрицает и говорит против кошунственного человеческого представления Личного бога», «Махатма отрицает Бога церковной догмы» (1, 270 и 272), — свидетельствует Елена Ивановна. Это — правда. Откровение о личности, принесенное в мир Евангелием, не может не быть кошунством с точки зрения «древней мудрости». Как мог, боролся языческий мир с этим новым откровением, порождая ересь за ересью, — и в борьбе с ними Церковь действительно формулировала свои догмы: личность и природа не одно и то же; тайна личности невыразима; и в конце концов: «Какое понятие приобрел ты о различии сущности и ипостаси (личности. — А. К.) в нас, перенеси его и в божественные догматы — и не погресишь», — закрепляет присутствие персонального начала в мире европейской мысли св. Василий Великий³⁹.

В христианской мысли представление о личности связывается со свободой — со свободой не быть ограниченным только пределами своего естества. Личность здесь — некая внутренняя стяженность, центрированность всего опыта. Личность — это субъект действия. Но на Востоке представление о личности связывается с ограниченностью. «Как Великому уложиться в малое и космическому в личное?» — вопрошают Махатмы (4, 550).

³⁹ Св. Василий Великий, «Письма» (Творения. Ч. 6. Сергиев Посад. 1892, стр. 88).

Безликое Нечто должно прийти на смену евангельскому персонализму. «Где возможно следует заменять слово Господь, Бог, Творец — Божественным Началом, ибо слишком уж вкоренилось в сознание масс антропоморфическое представление со словом „Бог“», — советует Е. Рерих (3, 330).

Но если в мире нет божественной Личности, то, естественно, не может быть и речи о молитвенном диалоге. Разговаривать — просто не с Кем. Отсюда — важнейшее этическое следствие системы рериховского пантеизма: запрет на покаяние и исповедь. Именно когда речь заходит об исповеди, Рерих говорит: «В чем заключается самый тяжкий грех церкви? Именно в том, что церковь, на протяжении веков, внедряла в сознание своей паствы чувство безответственности» (1, 279). «Да, именно в этом внедрении в сознание с детских лет, что у человека есть мощная заступница-церковь, которая за пролитую слезу и некоторую мзду проведет его к вратам рая, и заключается тяжкое преступление церкви. Церковь дискредитировала великое понятие Божественной Справедливости» (1, 280). Итак, вина Церкви — в замене закона «собаке собачья смерть» на проповедь милости и любви. Вина Церкви в том, что она проповедовала свободу и покаяние, призывала к раскаянию и исповеди и говорила, что не все предрешено, что именно человек хозяин своего сердца, а не космические законы кармы и справедливости». «Настал час указать, что Величайший Бог <...> это Бог непреложного Закона, Бог Справедливого воздаяния, но не произвола в Милосердии» (2, 260).

«Никто, даже Высочайший Дух, не может простить содеянных прегрешений, ибо это противоречило бы закону кармы» (1, 440). Бог не свободен прощать. Даже «Высший Дух» не властен над законами космических карм. Для сравнения напомним, что авторитетнейший русский богослов XX века В. Н. Лосский статью о том, что значит Господство Бога, закончил словами: «Высочайшее право Царя есть милосердие»⁴⁰. А в «Древнем патерике» описывается, как именно Дьявол просит Бога, чтобы Тот справедливо судил людей, по делам их, — в обоснованной надежде, что в этом случае Бог должен будет отречься от всего человечества⁴¹...

Даже евангельская проповедь прощения может быть переврана для нужд теософии: «Около понятия прощения много непонимания. Простивший полагает, что он совершил нечто особенное, между тем он лишь охранил свою карму от осложнений. Прощенный думает, что все кончилось, но ведь карма остается за ним <...> Сам закон кармы остается поверх обоих участников» (2, 274). Отношения любви и солидарности на такой проповеди построить довольно-таки затруднительно...

Теософия предлагает человеку осознать, что «нет никого, кто мог бы простить ему его грехи или воздать по заслугам, и что лишь сам он есть создатель причин и следствий» (1, 281). Здесь необходимы уже более серьезные пояснения. Я не буду говорить о том, насколько резко подчеркивается нравственная ответственность и вменяемость человека в христианской традиции. Здесь важно иное.

Христианская проповедь покаяния в принципе возможна только в мире, где человек есть личность. Но для теософии «зеркало дьявола есть символ привязанности человека к своей личности или самости» (2, 76). Если «человек есть комплекс сочетаний» (1, 419), если его бытие тождественно набору его природных и частных характеристик, то он не может быть свободен от самого себя. Напротив, если человек есть «природа + личность», то его личность просто в силу того, что она сама не есть некий набор конкретных свойств, а есть тот субъект, который обладает и распоряжается всеми ими, дистанцирована от любой данной конкретности. Я не равен самому себе. «Я не принимаю своей наличности; я безумно и несказанно верю в свое несовпадение с этой своей внутренней наличностью. Я не могу себя сосчитать всего, сказав: вот весь я, и больше меня ни в чем и нигде нет, я уже емь сполна»⁴².

Это значит, что в покаянии я могу сказать: я не хочу быть больше таким, каков емь сейчас. Мои качества — не есть я сам. Мои дела — не есть я сам. Я хочу стать источником иных качеств и иных дел... Но если предполагать, что человек есть просто совокупность данных сочетаний и отношений, то в такой антропологии проповедь покаяния будет восприниматься как нечто абсурдное, ненужное и даже аморальное. Как мы помним, просвещенный йог спокойно проходит мимо

⁴⁰ Лосский В. Н., «Господство и Царство (Эсхатологический этюд)» («Богословские труды». Сб. 8. 1972, стр. 214).

⁴¹ См.: «Древний патерик». М. 1899, стр. 366.

⁴² Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М. 1979, стр. 112.

чужих страданий — он знает действие Космического Закона (4, 65). Интересующиеся могут посмотреть в концовке библейской Книги Иова, что сам Бог говорит о таких «мудрецах»...

Однако — «человек сам может только каяться, отпущать может только другой»⁴³. Только другая личность своим свидетельством и своей помощью (благодаря) может помочь мне на деле выползти из прежней моей души. Итак, в мире безличностном, где некому каяться и не перед Кем, покаяние и исповедь, конечно, излишни. А в посткоммунистической России предупреждения о вреде покаяния, конечно, чрезвычайно своевременны...

Что не перед Кем каяться, теософия подчеркивает особенно старательно. Старший «Махатма» утверждает: «Что касается Бога, то <...> мы не можем рассматривать Его как вечного или бесконечного или самосущего <...> Нет места Ему при наличности Материи, неопровержимые свойства и качества которой вполне нам известны <...> другими словами, *мы верим только в Материю*, в Материю как видимую Природу, и Материю в ее незримости как невидимый, вездесущий Протей» (1, 273). «Природа — наш единственный и величайший Учитель и законодатель» (2, 46). Может быть, такое понимание вполне по сердцу людям, далеким от философии, но к религии в христианском ее понимании это просто не имеет никакого отношения. Или лжесвидетельство, или незнание стоят за утверждениями типа «увлечение Рерихами Востоком не потеснило уважения к традиционным ценностям христианской европейской (и православной) культуры»⁴⁴.

По сути, Е. Рерих проповедует атеизм, а не «религиозный синтез». Бога как Творца, Судию, Искупителя она не знает. Напротив, попытка говорить о Боге, трансцендентном по отношению к миру космических стихий, вызывает у нее возмущение: «Обособление Бога от Проявленной Природы и порождает все ошибки, все страшные противоречия» (1, 378).

Для христианства пантеизм неприемлем.

Во-первых, потому, что если Абсолют неотличим от мира, то все в мире есть не что иное, как Сам Абсолют. Рерих это прямо признает: «Невозможно сказать, что «наша Земля или Проявленный Мир является противоположением Абсолюту», иначе придется предположить, что имеется нечто вне Абсолюта <...> что есть нелепость» (1, 385)⁴⁵. В этом случае человека тоже не существует. В христианской философии, однако, этому мороку абсолютного монизма была противопоставлена формула Декарта: «Мыслю, следовательно, существую». Я могу при достаточной логичности думать, что весь внешний мир — лишь мой сон. Но я не могу думать, что я сам — лишь чей-то сон. Я сам мыслю, сомневаюсь, ищущу — и значит, при всей возможной ошибочности моих поисков, несомненен сам факт, что для того, чтобы ошибаться, должен существовать кто-то, кто ошибается, — то есть я сам. Я существую — и значит, в мире есть нечто, что не есть Абсолют. Значит — нас как минимум двое...

Во-вторых, пантеизм, растворяя человека в «первоединстве», естественно, не может предоставить человеку свободу. Если я — всего лишь «проявление» мировой субстанции, я не могу быть свободен от того, чьим проявлением я являюсь. Отсюда — вполне логичный вывод: «В сущности говоря, ничего, кроме кармы, не существует. Все Бытие есть лишь нескончаемая цепь причин и следствий» (1, 414). «Предопределение есть следствие заложенной причины» (2, 46). То есть все события на земле — это следствия чьих-то грехов на Венере, в наказание за которые более высокие духи обречены воплощаться в «низших мирах». Закон кармы можно назвать «слепым <...> в силу его неизменности, непоколебимости, когда он действует космически непреложно. Закон кармы становится разумным в действиях человека с пробужденным разумом» (2, 95). Последнее очень близко сердцу советского человека, воспитанному на диамате: «Свобода — это осознанная необходимость».

⁴³ Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества, стр. 52.

⁴⁴ Альманах Международного центра Рерихов «Утренняя звезда» цитируется в газете «Сегодня» (5.2.94). Из этого пассажа следует, кстати, что незнание «Махатмами» норм русского языка заразительно. Следовало бы сказать не «увлечение Рерихами Востоком», а «увлечение Рерихов Востоком»...

⁴⁵ О том, как философы с позиции христианства все же это «можно предположить», см. в книге С. Л. Франка «Реальность и человек» (Париж, 1952).

В противовес этому другой христианский мыслитель, Кант, утверждал, что бытие Бога с необходимостью следует из феномена человеческой свободы. То самое «нравственное доказательство бытия Бога», за которое Иван Бездомный мечтал посадить «этого Канта» на Соловки годика на три.

Кант начинает с уже известной нам посылки: ничто не происходит в мире без причины. Принцип детерминизма (то есть причинно-следственных отношений) — это самый общий закон мироздания. Ему подчиняется и человек. Но в том-то и дело, что — не всегда. Бывают случаи, когда человек действует свободно, ничем автоматически не понуждаемый. Если мы скажем, что у каждого человеческого поступка есть свои причины, то награждать за подвиги надо не людей, а эти самые «причины» и их же надо сажать в тюрьму вместо преступников. Там, где нет свободы, там нет ответственности и не может быть ни права, ни нравственности. Кант говорит, что отрицать свободу человека — значит отрицать всю мораль. А с другой стороны, если даже в действиях других людей я и могу усматривать причины, по которым они поступают в каждой ситуации именно так, то как только я присмотрюсь к себе самому, то должен буду признать, что по большому счету я-то действую свободно. Как бы ни влияли на меня окружающие обстоятельства или мое прошлое, особенности моего характера или наследственность, я знаю, что в момент выбора у меня есть секундочка, когда я мог стать выше самого себя... Есть секундочка, когда, как выражается Кант, история всей Вселенной как бы начинается с меня: ни в прошлом, ни вокруг меня нет ничего, на что я смел бы сослаться в оправдание той подлости, на пороге которой я стою...

Значит, у нас есть два факта: 1) все в мире живет по закону причинности и 2) человек в редкие мгновения своей свободы не подчиняется этому закону. И есть еще один принцип: на территории данного государства не подчиняются его законам только те лица, у которых есть право «экстерриториальности», то есть дипломатический корпус. Так вот, человек не подчиняется Основному Закону нашей Вселенной. Это значит, что человек не является ее частью. У нас есть статус «экстерриториальности» в этом мире; мы — посланцы. Мы — послы того, иного, нематериального мира, в котором действует не принцип детерминизма, а принцип Свободы и Любви. В общем: мы свободны — а значит, Бог существует. Русский современник Канта, Гавриил Державин, пришел к такому же выводу в своей оде «Бог»: «Я есмь, конечно, есть и Ты!»

Так что перед нами две внутренние прочные связки: или есть свобода человека — и есть Бог, трансцендентный по отношению к нашему космосу. Или — нет Бога и нет свободы. Итак, дано: христиане фанатично, со свойственным им невежеством и средневековым мракобесием отстаивают свободу человека. Рерихи веротерпимо и современно уверяют, что свободы нет и быть не может. Задача для прессы — доказать, что «Живая этика» более гуманистична и демократична, чем христианство...

Следующая причина неприятия христианством пантеизма — в том, что в мире безличностном, в мире тотальной всерастворенности нет места для столь личностного чувства, как любовь. Как можно утверждать, что Христос был пантеистом, если самая суть евангельских событий выражается словами: «Бог так возлюбил мир, что Сына Своего едиnorodного отдал»... Тут уж или Бог на Голгофе любит Сам Себя (но почему же — так, до смерти?!); или мир не есть Бог и ради этой, внешней, реальности Сын Божий идет на смерть. Евангелие утверждает, что расстояние между Богом и миром есть, и оно столь велико, что лишь Боговоплощение и Крест могут его заполнить.

Когда один из корреспондентов Е. Рерих робко заметил, что Бог есть любовь, а любить может лишь субъект, а не безликий закон, наставница отреагировала окриком «молчать!»: Восток запретил всякое обсуждение Неизреченного, сосредоточив всю силу познания лишь на величественных проявлениях Тайны (1, 439). В другом месте она, правда, пояснила, что «божественная любовь» есть не что иное, как силы космической гравитации: «Божественная любовь есть начало притяжения, или тот же Фохат, в его качестве божественной любви, электрической мощи сродства и симпатии» (2, 12).

Отождествить силы электрического притяжения и любви может только человек, сам никогда не любивший личность. Желаящим «почувствовать разницу» мудрости Востока и христианства напомним слова А. Ф. Лосева: «Заботится ли солнце о земле? Ни из чего не видно: оно ее притягивает прямо пропорционально массе и обратно пропорционально квадратам расстояний»⁴⁶. Тут поистине «мате-

рия обращается во вселенское мертвое чудище, которое, будучи смертью, тем не менее всем управляет. Позвольте, да почему же «мертвое», почему «чудище» — спросит материалист. А потому, что мне некуда деть категорию личности и категорию жизни»⁴⁷.

Итак, либо есть Личный Бог и человек призван к познанию его воли, либо и познавать-то нечего, потому что человек нигде не встретит Собеседника, нигде не встретит тепла любви и свободы, но будет наткаться лишь на безжалостные законы. И здесь уж поистине — «удовольствия мало, если монах и за гробом не находит *никого*, а только *идеи*. Может быть, лучше уж было бы не столь идеально жить и умирать, но было бы устроено так, чтобы там, за гробом, оказался *кто-нибудь*, живая личность, а не общая идея»⁴⁸.

Рерихи не ввели новизны христианства — и поэтому обвинили его в отсталости. Идеи, проповедуемые ими, повергали в ужас еще античный мир. Тут «нужна максимальная честность и непредвзятость мысли, чтобы констатировать всю жизненную реальность <...> того, что люди называют судьбой. Можно сказать так: понятие судьбы перестает играть доминирующую роль только в мировоззрении абсолютного теизма. Тут перед нами жесточайшая и беспощаднейшая, свирепейшая дилемма. Или есть в бытии абсолютная целостность, включая все пространства и все времена <...> включая всю осознанность этого бытия и все его сознательное направление — тогда существует Божество как Абсолютная Личность и тогда, в конечном счете, нет никакой судьбы, а есть только самое большее временное человеческое неведение, или не существует никакой абсолютно-личностной гарантии в бытии, тогда человек ничего не знает о реальном протекании бытия не в силу своей временной ограниченности, но в силу того, что вообще ничего нельзя узнать о бытии в том смысле, что там и узнавать-то нечего, то есть тогда — фатализм и судьба...»⁴⁹.

Глухота Е. Рерих, ее стремление изнасиловать любое свидетельство, не согласующееся с ее концепцией, поразительно. Вроде совершенно очевиден персонализм, проявляющийся в молитве Христа к Отцу. Но нет, теософка и здесь готова видеть пантеизм. «Не понимаю, почему кажется Вам невозможным, чтобы Христос называл «отцом Своим» Непознаваемую Первопричину?» (2, 97). Это прочтение особенно нетривиально, если вспомнить, что Сам Христос говорил: «Отца не знает никто, кроме Сына и кому Сын хочет открыть». Ведь там, где есть воля, — там нет несвободной близости. Это понимает даже сама Е. Рерих и потому настаивает: «Я избегала бы церковных выражений, когда имеется в виду Великий Принцип. Понятия воли и завета уже связаны с личностью, и потому они не вяжутся с представлением Всеобъемлющего Начала» (2, 354). Это сколько же надо цензурировать Библию, чтобы в целях «всеобщего примирения» убрать из нее все, говорящее о Личности, Завете и Воле!

Но за этим мифом, за мифом о всеедином монизме бытия, в конце концов реет тень люциферова крыла. Исповедание тотальной целостности мира, запрет на различение Бога и мира неизбежно сакрализуют наличную мировую данность. Все, что есть в мире, — все свято. Все — Бог. Все — благо. Зла — нет. Различение добра и зла — лишь иллюзия неопытных сознаний. «Проявленная Вселенная в зримости и незримости своей являет нам лишь бесчисленные аспекты сияющей материи, от самого высокого до самого низкого» (1, 327). «Абсолют вмещает все вселенские проявления» (3, 433). «В Абсолюте <...> зла как такового не существует, но в мире проявленном <...> все противоположения уже налицо, т. е. свет и тьма, дух и материя <...> добро и зло и т. д. Советую очень усвоить первоосновы восточной философии — существование Единой Абсолютной Трансцендентальной реальности, ее двойственный Аспект в обусловленной Вселенной и иллюзорность или относительность всего проявленного. <...> Действие противоположений производит гармонию. Если бы одна остановилась, действие другой немедленно стало бы разрушительным <...> Добро на низшем плане может явиться злом на высшем, и наоборот. Отсюда и относительность всех понятий в мире проявленном» (2, 341 — 342).

Итак, зло есть одно из проявлений Абсолюта. Относительность нравственных понятий при этом вполне естественна. Те, кто любят говорить о «десяти запове-

⁴⁶ Лосев А. Ф. Философия. Мифология. Культура. М. 1991, стр. 130.

⁴⁷ Там же, стр. 114.

⁴⁸ Лосев А. Ф. Очерки античного символизма и мифологии. М. 1930, стр. 809.

⁴⁹ Лосев А. Ф. История античной эстетики. Ранний эллинизм. М. 1979, стр. 172 —

дах», об «общечеловеческих ценностях», о «нравственных абсолютах», должны будут немало поломать голову, чтобы примирить свои нравственные идеалы с благоговейным отношением к Рерихам. Для тех-то вопросы «нравственного идеала» решены ясно и однозначно. «Какая формула может считаться безусловной или, как кто-то выражается, абсолютно справедливой в нашем проявленном мире, мире <...> относительности? Даже такая, казалось бы, неоспоримая формула, как «не убий», тоже не всегда применима. Также и другая — «возлюби ближнего как самого себя» — может принести ближнему горе вместо блага» (2, 376). Да и вообще — зачем защищать человека от смерти? «Разве можно назвать смертью смену одной оболочки на другую?» (2, 268). Зачем противостоять злу? В околочку человек со злом справиться не может. А для Материи-Космоса борьба со злом — эта игра в кошки-мышки с самим собой.

Безумный «дух» стоит у истоков мироздания. Неумелый и неумный, он выливает себя в разные частные формы бытия — чтобы познать себя же. Если при этом та или иная форма окажется «неудачной» и как бы греховной, то это сугубо внутреннее дело «волшебника-недоучки». На своих ошибках и наших страданиях он учится воплощаться все совершеннее и совершеннее, ибо, «лишь кристаллизуясь в материю или вливаясь в нее, дух раскрывает свой потенциал и накапливает разум через соприкосновения с миром форм» (2, 357). Когда эту схему смысла мирового развития попробовал предложить европейцам Гегель, даже люди типа Белинского от него в ужасе отшатнулись. И слова Достоевского о «слезе ребенка» и «грядущей гармонии» ведь были сказаны в лицо именно гегельянцам (пусть даже и успешным уже переодетым в одежды исторического материализма). Но сегодня увидев в мире самопознание Безликого Абсолюта, играющего с самим собой, почитается как верх духовного прозрения.

Космос играет сам с собою. Еще Гераклит сравнивал космос с ребенком. Но прежде чем умилиться сходством с евангельским «будьте как дети», стоит заметить, что для Гераклита здесь важен не символ чистоты, а символ безответственности... «Кто виноват? Откуда космос и его красота? Откуда смерть и гармоническая воля к самоутверждению? Почему душа вдруг нисходит с огненного Неба в темную Землю, и почему она вдруг преодолевает земные тлены и — опять среди звезд, среди вечного и умного света? Почему в бесконечной игре падений и восхождений небесного огня — сущность космоса? Ответа нет... „Луку имя жизнь, а дело его — смерть“» (Гераклит, фрагмент В, 48). В этой играющей равнодушной гармонии — сущность античного космоса <...> невинная и гениальная, простодушно-милая и до крайней жестокости утонченная игра Абсолюта с самим собой <...> безгорестная и безрадостная игра, когда вопрошаемая бездна молчит и сама не знает, что ей надо»⁵⁰.

Итак, Гераклитово сравнение космоса с играющим ребенком вполне малоутешительно: также капризно и жестоко, без сострадания Бог может разрушить мир (и разрушает), как ребенок рушит свои песчаные замки.

И так — не только в языческой Греции. «Пармаштин как бы играя создает миры» (Законы Ману, 1, 80). Человек не видит себя, личности и свободы — не может познать истоков падения, а значит, приходит к идее игры. У игры нет мотивов, следует просто знать ее правила... И в том течении «гуманизма», которое хотело «обновить» христианство, а на деле лишь вернулось к древнему безликому язычеству, та же бессмыслица составляет при ближайшем рассмотрении всю сущность «прогресса»: «Развертывается в бесконечное многообразие, но и рушится единый мир, возвращаясь в первобытное состояние хаоса и бессмысленных атомов...» — так описывает это мироощущение Л. Карсавин⁵¹.

И в этом мире есть законное место для зла и сатаны. Настолько законное, что их даже не нужно отличать от Бога. «Высокая мысль Востока давно разрешила проблему существования зла <...> Единое Божественное Начало, или Абсолют, вмещающий потенциал всего сущего, следовательно, и все противоположения, несет в себе и вечный процесс раскрытия или совершенствования... Эволюция создает относительность всех понятий...» (2, 338).

Так «Живая этика» превращается в интеллектуальный сатанизм. Вроде бы в спиритуалистическом пантеизме сатана вообще не должен существовать. Ведь по

⁵⁰ Лосев А. Ф. Античный космос и современная наука. М. 1927, стр. 231.

⁵¹ Карсавин Л. Джордано Бруно. Берлин. 1923, стр. 271.

законам кармической космологии дух, согрешая, уплотняется, становится тяжелее и переходит в более низкий и более плотный и материальный мир. А значит, по законам кармы сатана просто не может существовать: отказ от просветления влечет за собой опускание в мир более плотных энергий, огустение. Поэтому злой дух немислим. Сатана может быть лишь камнем, но даже не растением. Тем более странно, что Е. Рерих как бы признает существование черных духов... Тем более странно, что она считает необходимым взять на себя их защиту.

«Дар распознавания <...> был жертвенно дарован Силами Света. Потому первоначальное имя такого Вестника и было Люцифер-Светоносец. Но с веками на Западе великий смысл этой легенды был утерян. Он остался лишь в сокровенных учениях Востока. В «Сокровенном Учении» есть место, поясняющее этот смысл. Сатана, когда его перестают рассматривать в суеверном, догматическом и лишенном философии духе церквей, вырастает в величественный образ того, кто создает из земного человека — божественного; кто дает ему на протяжении долгого цикла Махакальпы закон духа Жизни и освобождает его от греха неведения...» (2, 344). «Особенно прискорбно, что на протяжении долгих веков укоренилось глубоко невежественное и крайне опасное убеждение, что сатана погубил человечество, дав людям познание добра и зла. Люди привыкли повторять эту возмутительную нелепость и совершенно не задумываются, что же мог представлять собою человек, не знавший, что есть добро и зло? Не был ли он просто безответственным животным? Но кто из людей согласился бы сейчас вернуться к такому животному прозябанию, хотя бы и в райском саду?» (2, 343).

«Конечно <...> Люцифер вполне отвечал данному ему имени и, вероятно, весьма скорбит, что столь прекрасное имя в позднейшие времена стараниями невежественных священнослужителей было узурпировано ими для Его тени — или Антипода» (3, 289). Это пишется Председателю Общества, то есть совсем своему. В письмах для менее посвященных, конечно, Люциферу перепадают не только комплименты, но и ругань. Однако А. Клизовскому, вполне «посвященному», можно написать прямо: «Теософы чтут не сатану, это порождение человеческого недомыслия, но Представителей Великого Разума», которые «вывели человека из его бессознательного животного состояния, о котором, может быть, могут сожалеть хитроумные интерпретаторы легенды о Дьяволе-Искусителе, но не те, кто осознал величие сознания и свободной воли, приближающих нас к отображению Божественного Начала в нас во всем его многообразии» (3, 311).

В конце концов, Люцифер и теософы сами между собой выяснят, кто из них кому служит и кто кого порождает. Тем более что для большинства читателей «Живой этики» «сатана» не более чем метафора. Но трудно ведь требовать от христиан, чтобы они пришли в восторг при виде книги, начиненной такими пассажами о сатане. Если же и это считается обязательным в свете курса на веротерпимость, то тогда уж лучше сразу назначить настоятелем Оптиной пустыни того сатаниста, что на Пасху 1993 года зарезал там трех монахов...

Общение с сатаной как способ приобщения к «многообразию Божественного в нас» — это, конечно, будет очень ограниченной чертой обещанного общегосударственного культа.

О том, как дорогá Елене Рерих эта тема, и о том, кого именно она считает благодетелем человечества, говорит и ее «эзотерическое» истолкование библейского грехопадения. «Древнейшие предания именно женщине приписывают роль хранительницы сокровенного знания, потому пусть и сейчас она вспомнит свою оклеветанную прародительницу Еву и снова прислушается к голосу своей интуиции и не только вкусит, но и насадит как можно больше яблонь познания добра и зла. И как раньше она лишила Адама тупого бессмысленного блаженства, так пусть и теперь она выведет его <...> на битву с хаосом невежества за свои божественные права» (2, 296). Даже проклятие Творца, наложенное на согрешивших людей, истолковывается ровно наоборот — как благословение: «Что же лежит в основе этой легенды? Когда человек, благодаря женской интуиции, пришел к одолению сил природы, тогда его напутствовал Руководитель. Главное напутствие было о значении напряженного труда. Это скорее благословение, нежели проклятие» (1, 365).

Рериховские бог и сатана смотрятся друг в друга как в зеркало и охотно меняются своими местами и функциями. Духи Космоса так и говорят: «Рекорды мышления ужасны и смешны. Истинно, Мы, Братья человечества, не узнаем себя в представлениях человеческих. Наши Облики так фантастичны, что мы думаем, что

если бы люди применили фантазию на противоположное, то Наше Изображение приняло бы верную форму» (4, 481)⁵². Впрочем, «все сокровенное до времени должно быть укрыто. Если бы заранее оповестить о всем сужденном, то <...> сужденное стало бы осужденным, люди растерзали бы его» (1, 322). В самом деле: если бы Министерство культуры России прямо приглашало на «черные мессы», проповедь оккультных откровений Рерихов не шла бы так успешно. Поэтому ко «внешним» надо подходить с разговорами о «культуре» и «духовности», а «посвященным» проповедовать полную безбоязненность на путях «духоведения»: «Вам будут твердить об ужасных оккультных тайнах, но вы будете подходить просто, твердые в себе <...> Неизвестное узнаем, приближаясь к нему. Нечего говорить о нем заранее, ведь даже границы его не знаем» (4, 103). Звучит красиво. Но христианство как раз знает границы Высшего. Христианство догматично утверждает, что Бог может все — но не может делать зло, Он причастен всему — кроме греха... Преп. Максим Исповедник говорит, что знает границы Бога, знает, чего Бог не может знать, — Бог не может знать зло и творить зло⁵³.

А св. Григорий Богослов, возмущенный практическим совмещением языческих верований с христианскими декларациями у части своих современников, восклицал: «Вот что угодно нашим судьям, чтобы бежала отсюда всякая правда, чтобы все слилось воедино — Христос, человек, солнце, звезда, тьма, ангел добрый и денница уже не светозарная, чтоб были в одном достоинстве жемчужина с диким камнем и сток нечистот с чистым источником — чтоб все смешалось между собою и слилось вместе, когда мир был еще первозданным веществом, которое только чреватело миром, но не пришло еще в раздельность!»⁵⁴

Христианство знает, что в мире незримом отнюдь не царит мир. Там идет война. На этой войне бывают расставлены ловушки. На этой войне бывают инвалиды. Этими инвалидами духовной войны и транслируются оккультные откровения.

Радикальный пантеизм не может не сказаться на понимании человека. Если в мире нет ничего, кроме мира, человек есть лишь комок материи. Однако, поскольку человек неотличим от мира, приходится признать, что и мир неотличим от человека. «Человек рождает Вселенную, Вселенная рождает человека» (3, 237) — роняет Е. Рерих и тут же поясняет, что это одна из тех фраз, которую следует утаить от публики — чтобы не обвинили в антропоморфическом понимании Бога. «Если я и давала Вам некоторое освещение, то это было лишь для Вашего личного сведения. Но нигде не будет сказано, что человек рождает Вселенную <...> Чую, что накопила полный карман Кармы за преждевременную выдачу не подлежащего широкому оглашению» (3, 237).

Значит, все, что встречает человек в мире, есть его порождение. Точнее, не его, а некоего космического электричества, *лишь протекающего через человека*. Вновь мы видим, что теософия в принципе не может принять существование Бога. Во всех религиозных действиях и событиях человек встречает лишь самого себя. «Благодать вполне реальное вещество высшей психической энергии<...> Психическая энергия, конечно, проистекает от каждого организма, ее имеющего, но нужно, чтобы получить прямой эффект, собрать и фокусировать ее сознательно» (4, 538).

Что есть Высший Космический дух? «Фохат», который при нужде, то есть для обмана людей, еще не отрехшихся от «христианских предрассудков», Е. Рерих не прочь назвать «святым Духом», «Духом Божиим». Но вот вопрос ставится иначе — и в ответ звучит: «Вы спрашиваете, что есть психическая энергия, — могла бы ответить<...> одним словом<...> ВСЕ. Психическая энергия есть всеначальная энергия... есть та энергия, которая лежит в основании проявления мира <...> Психическая энергия есть Фохат» (3, 165).

Употребление этого вполне «антропоморфного» термина в теософии отнюдь не случайно. Человек остается сам с собою даже когда он молится Богу. «Все исцеления возможны, лишь когда болящий восприняет духом или уверует в целителя,

⁵² В третьем томе «Тайной доктрины» Блаватской сатана вообще оказывается «одно и то же, что и Логос» (цит. по: Зеньковский В. В. Проблемы воспитания в свете христианской антропологии. М. 1993, стр. 67).

⁵³ Преп. Максим Исповедник. Творения, т. 2, стр. 116.

⁵⁴ Св. Григорий Богослов. Творения. Ч. 6. М. 1848, стр. 81.

иначе говоря, если он настолько поднимет вибрации *своей* сердечной энергии, что она сможет принять магнетический поток, идущий от целителя. В этом смысле нужно понять речение, что «Сын человеческий имеет власть на земле прощать грехи» (3, 409). А вот толкование молитвы «Отче наш» в этой системе: «„Не введи нас во искушение“ — в этих словах молитвы подразумевается обращение слабого духа к своему Руководителю, или к Высшему Я, чтобы Он или оно удержало его от проступка» (3, 336). Поскольку Бог явно не есть Я в теософии, то, значит, «Отче наш» — это молитва к себе самому... В 70-е годы студенты психфака МГУ говорили, что диагноз шизофренику можно поставить словами популярной тогда песенки: «Тихо сам с собою я веду беседу»... «Молитесь, чтобы Бог, который внутри вас, помог вам хранить чистоту...» (2, 425).

Но что же такое «психизм», описываемый Рерихами? Оказывается, всего лишь электрические возмущения. Лучи психической энергии той же де природы, что и радиоволны (3, 391). «Фохат, или космическое электричество, — основа всех электрофорных явлений, среди них мысль будет высшим качеством энергии» (2, 299). «Фохат <...> есть космическое электричество» (2, 352). «Психическая энергия есть синтез всех нервных излучений» (2, 273).

В конце прошлого — начале нынешнего века еще можно было восхищаться электричеством и радио. Но спустя столетие поклонение электрическим лампам и розеткам класть в основу религиозного культа можно разве что в глухих деревнях Африки да в университетах России.

Наконец-то найдена основа, на которой могут объединиться все мировые религии: атеизм. Мировая философия и мистика, наука и культура должны кончиться утверждением, что человек и его сознание — лишь временный всплеск мирового электричества. Но если это не атеистический материализм, то, значит, меня зря учили на кафедре научного атеизма МГУ.

Кстати, некоторых моих знаний хватает и на то, чтобы со всем почтением вернуть Елене Рерих упреки в «невежестве». Знает ли Елена Ивановна религии, которые взялась обновлять и соединять?

Меня, конечно, более всего интересует степень ее знакомства с христианством. Но ее представления о буддизме тоже довольно своеобразны. Ради того, чтобы лишний раз уколоть христиан, Е. Рерих, например, пишет: «Будда высоко ставил женщину» (1, 399). Я был бы готов ей поверить, но те мудрые воззрения Будды, что уже были приведены в первой главе, заставляют прийти к выводу, что попытка Е. Рерих обличить христианство за счет женолюбивого буддизма не отличается уважением к историческим реалиям.

Любит Е. Рерих еще поговорить об эзотеризме Египта. Поскольку эзотерики всех стран и народов обязаны быть единомышленными с Еленой Ивановной, то не трудно догадаться, что должны проповедовать (в ее интерпретации) древние египетские жрецы.

«Моисей, как еврей и ученик Египетских Жрецов, должен был знать о законе Кармы» (3, 28). Итак, египтяне, по мнению Рерих, во времена Моисея (то есть на рубеже второго — первого тысячелетий до Рождества Христова) истово верили в перевоплощения.

Действительно, во времена Пифагора появилась такая мода в Египте — но это же полтысячи лет прошло со времен Моисея! Ни один из памятников эпохи Моисея и более ранних времен египетской истории не указывает на присутствие идеи реинкарнации в египетской религии⁵⁵. А вот в тот период, когда греки начали посещать Египет, там уже появилась интеллектуально-столичная мода на индийские пряности. Но и тогда не было в Египте религии перевоплощения, была лишь мода среди интеллектуальных кругов. Нельзя же на основании того неоспоримого факта, что Блаватская и Рерихи родом из России, сказать, что в начале XX века религией России была теософия или что русские монахи и богословы хранили тайну перевоплощения и законы кармы!

А насколько осведомлена Елена Ивановна в самом христианстве?

Вот, например, она пишет: Постановления Соборов «выносились не отдельными светлыми умами, но представителями невежественного большинства <...> все светлые умы среди почитаемых ныне богословов, такие, как Василий Великий, Афанасий Великий, Иоанн Богослов, были гонимы своими же иереями за то, что

⁵⁵ См.: Зубов А. Б., «Воскресение или развоплощение?» («Континент», № 74).

не соглашались с их постановлениями» (2, 262). Насчет «невежественного большинства» возражать бессмысленно. Я могу сказать, что на каждом Соборе прежде всего создавалась богословская комиссия из наиболее образованных епископов⁵⁶. Но ведь для Рерих не невежественны лишь те, кто полностью с ней согласен. Таковых, конечно, на церковных Соборах не было...

А вот конкретные детали заявления Е. Рерих очень характерны — именно потому, что проверяемы. Иоанна Богослова Рерих явно поместила сюда, спутав с Иоанном Златоустом. Златоуста же действительно изгнали из Константинополя — но по интригам императрицы, а не «иереев». Зато Василий Великий хоть и не изгонялся, но страдал от собратьев действительно немало. Вот только страдал он не от православных сторонников «невежественных догм» Первого Вселенского Собора, а от их противников — ариан. И страдал как раз потому, что отстаивал догматы Первого Собора против еретиков, которые, подобно Рерих, не видели во Христе Воплощенного и Личного Бога. Св. Афанасия Великого ариане изгоняли несколько раз в ссылку — и тоже за верность Первому Собору, на котором, кстати, именно Афанасий и был автором принятой формулировки — «Единосущный и Единородный». Все трое однозначно утверждали надмирность Творца и выступили против пантеизма и гностицизма, а потому в союзники оккультным фантазиям Рерих никак не подходят.

Впрочем, у Елены Ивановны есть и запасной список православных теософов. «Ведь не будем же мы с Вами возвращаться к истории церковных Соборов, к гонению на таких великих отцов христианства, как Ориген, Климент Александрийский, Иоанн Златоуст и Григорий и Афанасий Великие и пр., их невежественными коллегами» (2, 269). А не помешало бы вернуться и изучить как следует. Ориген действительно был искалечен. Но своей собственной рукой — кастрировав себя (что было потом поставлено ему в вину Церковью). Позднее Ориген и в самом деле был умучен. Но как раз теми язычниками, чей «пантеизм» так воспевают Рерих. Григория Богослова она, похоже, спутала с Григорием Великим, который был папой римским (кстати, уже не в IV, а в VI веке) и хотя бы поэтому был надежно защищен от всяких гонений со стороны своих «невежественных коллег». А вот с Григорием Богословом действительно сложнее. Он был смещен с константинопольской кафедры Вторым Вселенским Собором, который как раз принял вероучение св. Григория (то есть осудил ересь Аполлинария, с которой боролся св. Григорий, и подтвердил Божественность и Ипостасность Духа). Однако Собор счел недопустимым нарушение древнего церковного правила: епископ не может менять города своего служения. Григорий был посвящен во епископы Сассим и должен был вернуться туда из Константинополя. При этом сам Второй Вселенский Собор принял то учение о Троице, которое отстаивал против гностиков св. Григорий.

Откуда взяты представления о том, что св. Климент Александрийский подвергался гонениям со стороны христиан, вообще непонятно, ибо св. Климент был священником в те годы, когда христианство еще было преследуемо само (конец II — начало III века). Из Александрии он действительно был вынужден бежать — но от гонений на христиан, объявленных языческим императором Септимием Севером. А вот с процикновением «астрально-оккультной космологии» в христианство св. Климент полемизировал неустанно.

Если я начну приводить цитаты из Оригена, в которых он утверждает Личного Бога и проповедует нашу спасенность Жертвой Христа, рерихианцы скажут, что-де писания Оригена подделаны. Хотя нельзя не обратить внимание на то, что сам Ориген отличал апостольское Предание от своих довольно произвольных толкований его⁵⁷ Поэтому я просто приведу несколько свидетельств о том, как относились

⁵⁶ См., например: Карташев А., «1500-летняя годовщина IV вселенского собора («Православная мысль», Париж, 1953, № 9).

⁵⁷ «Мы должны хранить церковное учение, преданное от апостолов через порядок преемства <...> О других же предметах апостолы только сказали, что они есть, но — как или почему? умолчали» (О началах. 1, 1, 3 — 4). Так что действительно есть «тайная доктрина христианства»? Почему о чем-то умолчали апостолы? Сам Ориген отвечает на это очень просто и незотерично: «Конечно, с тою целью, чтобы могли иметь упражнения и показать свой ум наиболее ревностные преемники их» (там же). Это различие собственно церковного Предания и частных богословских упражнений прочно вошло в богословие. Например, св. Василий Великий при пояснении первой главы Бытия пишет, что Библия не говорит об изменениях стихий, «чтобы приучить наш ум к самодеятельности» (Св. Василий Великий и й. Творения. Ч. 1. М. 1845, стр. 24). А вот св. Григорий Богослов: «Поелику как гадаю я

раннехристианские богословы к идее реинкарнации. Согласно доктрине Рерих, «закон о перевоплощении был отменен лишь в шестом веке на Константинопольском соборе» (1, 162). Не забудем, однако, что даже Н. О. Лосский, старавшийся примирить теорию реинкарнации с христианством, не смог привести никаких свидетельств о вере первохристиан в переселение душ.

Согласятся ли теософы признать свидетельство ап. Павла: «...человекам положено однажды умереть, а потом Суд» (Евр. 9, 27)? Расслышат ли возглас Иова: «А я знаю — Искупитель мой жив и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию; и я во плоти моей узрю Бога. Я узрю Его сам; мои глаза, не глаза другого увидят Его» (Иов. 19, 25 — 27)? Или, верные своей методологии, объявят эти места искаженными вставками, как это они делают каждый раз, встречая не удовлетворяющую их мысль в религиозных или философских текстах?

По этому вопросу у Рерих тоже трогательное единомыслие с советским научным атеизмом. «Невозможно допустить, чтобы Евангелия, из которых первое написано чуть ли не через сто лет после ухода Христа и после того, как они прошли цензуру стольких ревнителей, могли в точности выражать мысль Христа» (2, 274). А какое обоснование столь позднего происхождения Евангелия? Понятно, когда атеисты это говорят. Но у них аргумент один: не мог Иисус предсказать конец Иерусалима!⁵⁸ Может, Рерих тоже не верит в возможность предсказывания? Как ни странно, да: «Конечно, никто не может утверждать о всеведении Христа во время его земного прохождения» (2, 393).

Теперь, обнаружив, что принципы понимания и восприятия библейских текстов у нас с теософами слишком различны, отойдем от текстов Писания и посмотрим на отношение раннехристианских богословов к идее перевоплощений.

И здесь мы видим, что уже во II веке реинкарнация решительно отрицается. По убеждению Манунция Феликса, вера Пифагора и Платона в воскресение «была ущербной: они думают, что по распадении тела пребывает вечно душа, которая неоднократно переходит в новые тела. К этому, извращая истину, они добавляют: человеческая душа возвращается в скотину, в птиц, в зверей»⁵⁹.

В III веке младший современник Оригена св. Мефодий Олимпийский ведет с ним жесткую полемику, выступая (прикровенно в диалоге «О свободе воли», открыто — в диалоге «О воскресении») против проникновения языческих идей в церковное богословие.

В IV веке мы видим, что ученик и почитатель Оригена, св. Григорий Нисский, все же не соглашается с идеей переселения душ: «Достоин порицания рассуждение баснословящих, что души жили прежде в особом некоем состоянии... Защитники этого учения держатся еще языческих мифов о переселении из одного тела в другое. Ибо если кто в точности исследует, то по всей необходимости найдет, что учение их клонится к тому, что сказывал о себе один из их мудрецов: «был я мужем, потом облекся в тело жены, летал с птицами, был растением, жил с животными водяными». И, по моему суждению, не далеко отступил от истины утверждающий о себе подобное. Ибо подобное учение, что одна душа входила в столько тел, подлинно достойно или крика лягушек и галок, или бессловесных рыб, или бесчувственности растений»⁶⁰.

Преп. Макарий Египетский (IV век) никак не желает признать уничтожение личности — в том числе и после смерти: «Ибо Петр остается Петром и Павел —

сам и как слышу от мудрых, душа есть Божественная некая струя и приходит к нам свыше или вся или правитель ее — ум» (Св. Григорий Богослов. Творения. СПб., б. г., т. 2, стр. 178). И св. Григорий Нисский так говорит о своем поиске: «Что касается нас, ищущих истину путем догадок и образов, то мы излагаем то, что пришло нам на ум, ничего не утверждая безусловно, как бы упрекаясь» (Св. Григорий Нисский. Творения. М. 1861, т. 1, стр. 137 и 143). Каждый человек опыт своего воспитания, жизни в миру, образования пронесит с собою в Церковь и в богословие. Ориген всего лишь слишком поспешно привычные сюжеты платонической мысли переделал в христианские одежды — как раз не выразив тем самым церковного Предания, а исказив его.

⁵⁸ Место Евангелия, в котором Иисус предсказывает разрушение Иерусалима, может быть, однако, истолковано и противоположным способом. Если бы Евангелия писались после этого события, то автору естественно было бы обратить внимание читателя на то, что это предсказание, столь важное в христиано-иудейской полемике о Мессии, уже сбылось. Отсутствие этих ремарок показывает, что во время написания этих книг столь очевидный аргумент было еще невозможно использовать. Пророчество еще не сбылось. А значит, Евангелия написаны во второй трети первого века.

⁵⁹ См.: Манунций Феликс Октавий (БТ. Сб. 22. М. 1981, стр. 160).

⁶⁰ Св. Григорий Нисский, «Об устройении человека», 28 (Творения. М. 1861, т. 1, стр. 193 — 194).

Павлом <...> каждый, исполнившись Духа, пребывает в собственном своем естестве и существе. А если утверждаешь, что естество разрешилось, то нет уже Петра или Павла, но во всем и повсюду — Бог»⁶¹.

А вот вроде бы уважаемый Рерих св. Григорий Богослов: «То не умных людей учение, а пустая книжная забава, будто бы душа постоянно меняет разные тела, каждое сообразно прежней жизни... Мой узоналагатель не столько богат был душами, сколько — мешками»⁶².

Вообще же непонятно, почему идея реинкарнации должна быть закрытой. Эта идея с огромным энтузиазмом во все века воспринималась европейцами. Это в Индии все религии — от буддизма до кришнаизма — стонут от морака бесконечных перевоплощений и ищут способы выскочить из колеса сансары. Если подойти к индусу и сказать: знаешь, дорогой, ты снова будешь жить и снова и снова перевоплотишься, он закричит: «За что?!» Реинкарнация в Индии называется религией возвращающейся смерти, а не религией возвращающейся жизни. А вот в Европе если уж вам поверят, то будут на руках носить за такую «радостную весть».

Нет, скажите, где и кого в дохристианской Европе преследовали за проповедь реинкарнации? Тогда почему же ее надо было делать тайной? Или ее прятали не от полиции, а от невежественных масс? А почему? Что в этой идее такого, что делало бы ее неприятной и чужой для этих самых «масс»? Она как раз очень понятна и даже способна оказать нравственное воздействие.

Так что я могу увидеть лишь одну причину, по которой теософы уверяют, что учение о реинкарнации составляет суть «тайной доктрины»: эта идея была распространена среди религий Земли гораздо меньше, чем это хотелось бы теософам, настаивающим на универсализме своей доктрины, и для доказательства своего хотения они предлагают универсальную отмычку: да, текстов на эту тему в Египте, древнегреческой, древнеиндийской, еврейской, христианской, мусульманской и прочих традициях нет — но только потому, что там они были ну очень секретны.

«Учение Христа содержало в себе те же великие Истины, но сознание Его современников не было готово к принятию их, отсюда и все искажения, приведшие к мертвым противоестественным догмам» (3, 40). Это к принятию пантеизма и имморализма, к принятию реинкарнации и космического материализма оказались не готовы современники Христа? Но, во-первых, в этих идеях для них не было ничего нового. Во-вторых, языческий мир сделал немедленную попытку переинтерпретировать христианство именно в этих терминах, породив сотни гностических сект, каждая из которых по-своему жонглировала «эонами», «астралами», «планетами» и т. п.

И эти ереси как раз распространялись гораздо быстрее церковного христианства. Церковь боролась с гностицизмом, а элиты, да и массы были готовы принять и космические эоны, и перевоплощения — все, кроме самого Богочеловечества Христа.

«В гностической литературе, — пишет Рерих, — можно найти указания, что именно во время таких (посмертных. — А. К.) появлений Христос передавал ученикам тайны потустороннего мира» (2, 344). Здесь она права. Действительно в литературе околохристианских сект первых веков постоянно пытались оправдать свои расхождения с Евангелием ссылками на «тайное устное предание».

Но вновь непонятно: в тех постулатах, которые гностики пытались выдать за «тайное учение Христа», не было ничего такого, что не могло бы быть радостно принято языческим миром.

Гностицизм возник раньше христианства — и попробовал его ассимилировать, говорит исследователь гностицизма проф. М. Э. Поснов. «Юные христианские общины были окружены плотным кольцом языческого и иудейского гнозиса, который составлял одну из главных ветвей античного синкретизма»⁶³.

Об их методологии, столь похожей на методы работы Рерихов, уже в конце I века говорит св. Игнатий Богоносец: «К яду своего учения еретики примешивают Иисуса Христа, чем и приобретают себе доверие: но они подают смертную отраву в подслащенном виде».

Знание истинного церковного предания освобождает от необходимости выдумывать аристократическую «эзотерику», которую якобы надо скрывать от «толп двуногих».

⁶¹ Преп. Макарий Египетский. Духовные беседы, стр. 148.

⁶² Св. Григорий Богослов. Творения. СПб., б. г., т. 2, стр. 32. Слово 7. О душе.

⁶³ Поснов М. Э. Гностицизм 2 века и победа христианской Церкви над ним, стр. 133.

Что же касается реинкарнации, то, действительно, Церковь, при случае вступая в полемику с идеями перевоплощения, не осуждала их официально до VI века. Но это отнюдь не значит, что она их ранее признавала. Дело в том, что анафема не возглашается посторонним. Анафема — это отлучение от Церкви (а не «проклятие»). Отлучить от Церкви можно только уже принадлежащих к ней. Пока некое учение существует вне Церкви, Церковь не формулирует догматического суждения о нем, предоставляя отдельным полемистам вести дискуссию со «внешней мудростью». Но если собственно церковные люди вдруг начали принимать эту идею и даже проповедовать ее как собственно церковную, вот тут Церковь уже должна предупредить: это не мое!

Анафема оригенизму была провозглашена столь поздно потому, что до этого был один Ориген, но не было вульгарного оригенизма. В Церкви до сих пор нет анафемы марксизму или конфуцианству. Вот если придет в Россию ультрапротестантская «теология смерти Бога» и появятся христианские богословы, уверяющие, что Бога нет, да и вообще не было, тогда Церковь этих богословов отделит от себя — их, а отнюдь не профессиональных пропагандистов научного атеизма, которые и не делали вида, будто они выступают от имени Церкви.

А затем, лет через тысячу, найдется новая пророчица, которая глубокомысленно заметит: смотрите, православные лишь в конце XX века анафематствовали атеизм, а значит, до этого все христиане были атеистами!

В этой связи стоит вспомнить полемику между И. Ильиным и Н. Бердяевым по вопросу о вооруженном сопротивлении большевикам. Ильин эпиграфом к своей книге «О сопротивлении злу силою» вынес евангельский рассказ о Христе, бичом изгоняющем торговцев из храма. Бердяев в ответ небезосновательно заметил, что к большевикам этот образ приложить уж никак нельзя: их нельзя силой выгнать из храма по той простой причине, что они в нем и не находятся. Они invece разрушают Храм⁶⁴.

Так же и здесь: поздняя анафема проповедникам реинкарнации означает лишь то, что сами эти проповедники лишь очень поздно появились внутри церковной ограды.

Так что сторонникам «Живой этики» очень стоит прислушаться к «Совету из Выс. Инст.»: «Не вступать ни в какие споры с ортодоксальными священниками, ибо они безнадёжны и Учение Живой Этики им недоступно <...> И мы именно почитатели Учения Христа, но не позднейшего христианства, ибо одно от Духа, другое от человеческого корыстия» (3, 33).

А это уже другой интересный вопрос — что это за корысть породила христианские догмы? Вот, например, св. Афанасий Александрийский, шесть раз изгонявшийся в ссылку уже христианскими императорами за проповедь главной христианской «догмы» — Трехличностного Бога — корыстен?! Корыстен Василий Великий, чье тело после трехмерных аскетических подвигов молодости затем тихо и быстро угасало, но чей дух и ум отстаивали Троицу? Корыстен Григорий Богослов, ради церковного мира отказавшийся от константинопольского престола и даже в родном городе попросивший избрать другого епископа вместо него?! Какую «средневековую догму» может привести Елена Рерих или ее нынешние последователи, у истоков которой не стояли бы святые, которая не была бы оплачена кровью и слезами утверждавших ее подвижников?

Ладно, несложно встать в модную сегодня позу и сказать, что современная Церковь забыла заветы первохристиан. Но при этом неплохо было бы посмотреть, а как сама первохристианская община относилась к религиозному синкретизму и к окружавшему ее океану язычества.

Мир языческий предлагал христианам до боли знакомые нам отговорки: «Словом только произнеси отречение, а в душе имей веру, какую хочешь. Без сомнения же, Бог внимлет не языку, но мысли говорящего. Так можно будет и судию смягчить, и Бога умиловить». Именно так св. Василий Великий передает увещания палачей, обращенные к мученику Гордию⁶⁵. Рассказывает св. Василий и о мученике Варлааме, ладонь которого насильно держали над языческим жертвенником, положив на нее сверху горящий ладан, в надежде на то, что «Свидетель Евангелия» че выдержит жжения и сбросит с руки ладан — прямо на жертвенник⁶⁶... Такова

⁶⁴ Бердяев Н. А., «Кошмар злого добра» («Путь», Париж, 1926, № 4. Репринт. М. 1992, стр. 81).

⁶⁵ Св. Василий Великий. Творения. Ч. 4. М. 1846, стр. 291.

⁶⁶ Там же, стр. 277.

была «цена слов и жестов». Цивилизация, для которой слова обесценились, уже не имеет права именоваться христианской. А люди, которые между делом, даже по дороге в православный храм, готовы вкусить кришнаитский «прасад», пожертвовать рубль на любой «религиозный» сбор и воскурить палочку с экзотическими восточными запахами перед любым ликом, даже не представляют, с каким ужасом и болью смотрели бы на их поведение апостолы и мученики Ранней Церкви...

Так что — эта Церковь мучеников, по просвещенному мнению Елены Ивановны, не приняла «радикальное и даже прямо революционное ядро моральной части учения Христова» (3, 411)? Нельзя ли конкретнее — какие нравственные нормы были выброшены из Евангелия, какие исчезли из церковных проповедей и когда? В проповедях мучеников? Златоуста? Максима Исповедника? Патриарха Тихона? Какие нравственные высоты она нашла в апокрифах и у гностиков? Неужто у гностиков была более строгая мораль, чем у христиан первых веков или у монахов веков последующих?⁶⁷

Да даже и сегодня — какая корысть, например, движет мною в этой полемике с идеологией синкретизма? Неужели чисто по-человечески мне не легче было бы сказать: все пути равны? Но то, что я знаю и внутренне пережил в христианстве, не позволяет мне делать столь безответственные заявления... А с точки зрения моего общественного статуса или богатства заявление о моем признании теософии принесло бы мне кучу денег и признания. Я же ведь понимаю, чего ждет от меня аудитория, каким словам она будет аплодировать, а за какие будет ругать. Неужели я не понимаю, что через день после того, как я скажу: все религии равно хороши, мне позвонят из «Останкино» и вежливо поинтересуются: «Отец Андрей, а не хотели бы вы возглавить регулярную передачу «Третий глаз — восьмое чувство?»

Как это связать с мнением Рерих, что на вопрос о том, почему церковники отрицают закон кармы, «ответ один: всюду и везде действует одно корыстолюбивое побуждение, дабы не утратить свою власть и преумножить свое благополучие» (1, 281)?

Какую корысть преследовал свящ. Сергей Мансуров, выступая против гностицизма в 20-е годы нашего века? Его «власть и благополучие» умножились от этого в Советском Союзе? А писал он в своих прекрасных «Очерках из истории Церкви...» так: «Значительная часть «образованных» и «разумных», примкнувших к христианству во 2 веке, не ставила себе целью строить жизнь и душу в духе Христовом, а только по своему субъективному вкусу и соображению «углублять», «объяснять» христианство в духе своего времени. И вот вместо Церкви <...> создавались религиозно-философские кружки, где фантастическое толкование или просто всякие подделки и урезки лишали Евангелие первоначального смысла; магизм занимал место духовных сил; исступление — место пророческого вдохновения <...> Сами гностики обычно вовсе не стремились отделяться от Церкви <...> Всем им общо противление Единому Личному Богу, поскольку Он не только <...> первоначало <...> Учитель <...> но и Творец, и Спаситель. Им всем чуждо библейское, подлинно чудесное перевоспитание духа и мысли, личное, живое отношение к Богу и Творцу, которого язычество не знало. Исступление <...> превращалось в философскую систему. Новое учение, вдобавок ко многим прежним, сообщало лишь несколько новых мыслей в старых по существу душах»⁶⁸.

Оккультное учение Рерихов не является «новым». Оно старше христианства и вот уже две тысячи лет серчает на него за его новизну. Оно в сути своей несовместимо с Евангелием. Оно построено на изначальном лжесвидетельстве о своей близости к новозаветной вести. Если кому-то сильно хочется быть обманутым, он может и дальше восхищаться «духовностью» агни-йогов. Православие же просто говорит об этом: «Осторожно, язычество!»

⁶⁷ Если эта тема кого-то заинтересует, я мог бы посоветовать обратиться к исследованию М. К. Трофимовой «Историко-философские вопросы гностицизма» (М. 1979). В нем автор, в частности, показывает, что апокрифическое «Евангелие Фомы» не было принято Церковью как раз из-за своего имморализма: в «логиях», собранных «Фомой», очень много говорилось о познании Бога и о любви к Нему, но не было ни слова о любви к ближнему...

⁶⁸ Свящ. Сергей Мансуров, «Очерки по истории Церкви» (БТ. Сб. 7. М. 1971, стр. 61, 65, 66).

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

Д. ШТУРМАН

*

ДЕТИ УТОПИИ

Фрагменты идеологической автобиографии

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

МЕМУАР О ПОЭТАХ

Звучит пароль: «Я — с улицы, где тополь...»
И отзыв точно выдох: «...удивлен».
И будто где-то скрещивались тропы
И нас качал в пути один вагон.

«Вошла ты». Отзыв: «Резкая, как „нате”» —
То облако над нами навсегда,
Как будто был один у нас фарватер.
Одни созвездья. Общая беда.

Сара Погреб.

1. Переход

В одном из бесчисленных черканных-перечерканных вариантов моего вступления к заметкам о советской литературе (1943 — 1944), набросков, раздумий есть вывод, оценить который, не оговорив наполнения терминов, невозможно. В нашей тогдашней риторике «пролетариат» — это не только рабочие, но и все те, кто не «государство», все, не имущие ни собственности, ни власти. Они и воспринимаются нами как антагонисты государства, его потенциальные устранители из истории человечества. «Производительным» мы считали любой труд, кроме бюрократического и военного (по Фурье, по Марксу), хотя и тот и другой в разумных пределах обществу необходим. Все это были привычные советские штампы:

«Оправданное своими защитно-бюрократическими функциями, государство будет существовать, находясь в растущем противоречии с подвластными ему производительно трудящимися классами. Пролетариат нуждается в государстве — государство использует вынужденную терпимость пролетариата. Это не мирное сосуществование, а временный политический союз, в результате которого в обоих союзниках крепнут именно те «родовые признаки», которые мирно сосуществовать не смогут. В конце концов пролетариат и государство станут лицом друг к другу как единственные враги на земле, последние и смертельные».

Все-таки мы ощущали коммунистическое государство как смертельного врага — своего, писателей, о которых пойдет речь ниже, людей вообще. Не случайно прорвалось в конце этого отрывка: «...как единственные враги на земле, последние и смертельные». Столь страстно воспринимать абстракцию нельзя. Чувство наше (смесь неприязни со страхом) относилось все-таки к данному конкретному беспо-

щадному государству, чем бы мы, опираясь на марксистскую «диалектику», ни оправдывали его существование и всевластие.

Но сколь простым делом виделось приведение к одному знаменателю всей разноголосой, разноликой, разноверной земли! И как не возникало сомнения, что в конечном итоге победим «мы», а не наш «последний и смертельный враг»! В слепящем безумии Схемы крылась наша вера в непобедимость того, что казалось добром. На коммунизме была маска добра — вот что придавало ему в наших глазах такую силу. Разве это не утешительно? Людей соблазнил не звериный оскал, как в нацизме, а маска, скрывающая этот оскал.

Я подозреваю, что в писателях и героях, о которых будет сказано и не сказано ниже, нас поразил одновременно и близкий и альтернативный нам **неидеологический человек**. Близкий — подспудно, альтернативный — осознанно. Ибо себя той поры я определила бы прежде всего как человека идеологического. Именно по этой причине нижеследующий отрывок из моих записок приходится переводить на нормальный язык, выковыривая редкие зерна живого смысла из арматуры идеологического жаргона тех лет. По-видимому, я никак не могла разобраться в мировоззренческом «хозяйстве» любимых писателей. Иначе к чему бы после пространнейшего социально-экономического пролога, рассмотренного в первой части, снова и снова возвращаться все к тем же вопросам? Вроде бы ни к чему. Однако вторая глава моего реферата о советских писателях начиналась так:

«...История не в том, что мы носили,
А в том, как нас пускали нагишом.

Б. Пастернак».

«Мы говорим о приведении в человечество всех классов, об исчезновении национальных разграничений. Мы говорим, что предвидим объединение всех монокапиталистических государственных единиц в масштабах земли в одно сверхгосударство и конечное снятие государственности.

Однако если, с одной стороны, и класс, и нация, и государственность суть проявления внутриобщественной дифференциации, то, с другой стороны, и класс, и нация, и государственность — это также и формы объединения, и после их растворения в обществе последнее внутри себя воле лишится внешних объединяющих институтов».

Надо понимать, что институты эти являются внешними для лица, для человека. Для общества же они внутренние. Речь шла о том (и это отчетливо проявится в последующих текстах), что в бесклассовом, безнациональном, безгосударственном обществе личность лишится своего группового контекста.

«Литература позднего капитализма — ярчайший пример того, как человек, подавленный классовостью, уходит из группы и возвращается к человеку как таковому».

Заметим: литературу мы знали тогда очень плохо, крайне селективно. «Поздний капитализм» и «поздний империализм» — это, очевидно, конец XIX — XX век. «Монокапитализм» — это советский период. Попытаемся всмотреться глубже штампов нелепого языка. И здесь и во многих других фрагментах моих записок сквозила мысль, что человек возвращается от внешних для него социальных объединений к себе — единственной и неповторимой личности. Он перестает быть элементом группы.

«В литературе монокапитализма и позднего империализма нет активно положительного героя (характерно, что советский положительный герой, в том числе и революционер и участник гражданской войны, — для нас положительным героем уже не являлся. — *Д. III, 1993*). Ее охватило чувство отсутствия цели. И не мудрено: человек был силен социально, когда он был членом и деятелем класса, до класса — рода, и только до рода — общества. Освобожденный от классовости и от национализма, он кажется даже себе самому лишенным идей, принципов, целей, нежизнелюбимым и одиноким».

Какое-то провидение одиночества свободного, неидеологического человека здесь было. В этих и подобных (их много) словах мерцала весьма приблизительная догадка о суровости внестадного бытия в мире стад и стай. И пришло это чувство как из литературы, от тех немногих, кого мы к тому времени знали, так, по-видимому, и изнутри нашего мироощущения, нашего небольшого опыта. Расхожий в школьном литературоведении той поры «образ лишнего человека», которого надо было критиковать и одновременно поучать по причине его аполитичности и социальной пассивности, был для нас интуитивно притягателен. Мы чувствовали в нем нечто противостоящее эпохальной суете сует. В официальной школьной словесности «лишних людей» трактовали недоумками. А мы ощущали их взыскующими большего, чем могло предложить время, чем давала жизнь, в первую очередь — «направленческая», подчиненная идеологической тенденции. Мы удивленно обнаруживали некий выпадающий из стандартных рядов своего времени характер во всех эпохах, с которыми успели книжно столкнуться. Супердинамичный американец Хемингуэя в чем-то совмещался с лежащим на диване Обломовым. Мы понимали: по их глубинному ощущению, расхожие ценности не стоят слишком больших затрат энергии.

Моя университетская (и по сей день) подруга Берта Глейх написала на первом курсе филфака работу «Василий Буслаев как фольклорный прообраз «лишнего человека» русской классики». Ее заключительное по курсу фольклора сочинение (1941) было особо отмечено преподавателем. В чем состояло это родство? Девятнадцатилетнему автору сочинения виделось, что бесцельная удаля, сила, растрасченная на пустяки, временами пассивность, безучастность, граничащие с депрессией, проистекали у всех «лишних людей» из одного и того же горького ощущения: «И жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг, такая пустая и глупая штука». То, что вывод юношески-максималистский, нас не смущало: мы были еще моложе. Позднее к этим самоисключенным из общего ряда героям присоединятся Спекторский, и Кавалеров, и персонажи Хемингуэя, Олдингтона, Ремарка... Мы инстинктивно объединяли в своем восприятии людей, выпадающих из общепринятых идеологических, а отчасти и бытовых стереотипов и каркасов: кто — своего, кто — нашего времени. Не без некоторых оснований мы полагали, что всякое социально значимое действие («...даже еда», — писала я в одном из своих категорических рассуждений на эту тему) включает человека в какую-то из групп его времени. На нашем жаргоне это называлось «в какой-то из классов междукоммунистической стадии». И если человек не может или не хочет входить ни в одну из такого рода общностей, он оказывается в своем ощущении одиноким, а для всех общностей — лишним (слова «аутсайдер» в моих записках нет). Он уходит от того, что его давит, или не занимает, или отталкивает, и остается в некоем социальном вакууме.

Я писала тогда о «лишнем человеке» «предбесклассового» и «предбезнационального», как нам виделось, общества:

«Лишенный порабовавших его тенденций и подавлявшей его групповой морали, человек ощущает себя аморальным и опустошенным. Не способный бороться с закономерностью (? — Д. Ш., 1993) и не включенный в процесс прогресса (? — Д. Ш., 1993), он у себя отнимает свое уважение. Он теряет традицию, теряет руководящий этический кодекс».

Мы чувствовали и наблюдали: в условиях, которые мы называли монокапитализмом, социальные зависимости стали крайне жесткими и жестокими. Никаких независимых от государства классов и групп в этом обществе практически не существовало, законных во всяком случае. Живя умом в ирреальной реальности своей Схемы, трагизм положения духовно свободного человека в нашей стране мы понимали достаточно четко. И, что еще важнее, мы его ощущали. Но питали свой ум иллюзией, что обнаружили потенциальный выход из этой безвыходности. Нас успокаивала надежда, что внеидеологическому и внеклассовому отщепенцу на самом-то деле принадлежит будущее. Мы утешались тем, что он на протяжении всей «междукоммунистической стадии» был одиноким странником из бесклассового грядущего дня:

«На смену капитализму в целом идет коммунизм с его бесклассовым и безгосударственным обществом. Коммунистическая мораль — это мо-

раль общественно-личная. Коммунизм действительно освобождает личность от всего, кроме ее органических внутренних качеств и мировоззрения, сформированных всеми переворотами и потрясениями междукоммунистической революции. Переход к коммунизму вовсе снимает и уничтожает идеологию (классовое мышление) и заменяет ее общественно-личным мировоззрением».

Хотя «общественно-личностное мировоззрение» было такой же бессодержательной формулой, как и «общественно-личная собственность» марксизма, нас такая чисто словесная выгородка утешала. Мы заполняли пустоту этой формулы всем, чем хотели заполнить. За ней нам виделось уже встающее солнце полной свободы мысли и действия. «Добро», «совесть», «справедливость», «равенство», «правда» — над наполнением этих понятий мы не задумывались. Их смысл ощущался самоочевидным. А весь ужас реальности представлялся тоннелем, который неизбежно придется пройти:

«Впечатление таково, что, снабженный всеми обязательными и непреложными этическими, политическими и прочими нормами и привыкший считать эти нормы своим субъективно осмысленным достоянием, «лишний человек» лишается их, как лишаются зрения, выйдя на солнце после долгого пребывания в темноте. Естественно, первое, что приходит в голову, это мысль об утрате собственной личности. «Внеклассовый», внеидеологический человек воспринимает себя как нечто лишённое стержня, лишённое обязательного единственного направления (направление, исходящее из источника, стоящего выше земной реальности, в те годы пребывало вне круга понятий, которыми мы оперировали. — *Д. Ш., 1993*).

На самом же деле после всех изменений междукоммунистической стадии личность опять возвращается к праву на самоопределение, и если она приходит не к «сверхчеловеку», а снова к людям, то лишь потому, что суть человека и сила его — в объединении».

Еще бы: нам ведь так хорошо было вместе. Значит, и всем будет так же славно, когда они станут «объединенными».

Далее следует одна из осевых идей нашей тогдашней литературоведческой концепции:

«Даже психологу, избегающему вульгарной схематизации политэкономического анализа, при параллельном исследовании творчества лучших современных представителей литературы зарубежной и немногих не лгущих представителей литературы монокапиталистической (читай: советской. — *Д. Ш., 1993*), становится ясной родственность их творческого метода, мыслей и настроения, родственность, необъяснимая вне признания социально-экономического родства формаций».

Именно это родство формаций автор заметок должен, обязан был истолковать в рамках и в русле своей универсальной Схемы. И еще одно предварительное замечание: чувство исключительности, о котором будет сказано ниже, вернее его потеря, его крах, остро переживается подданными бывшего СССР и сегодня. Как на уровне: «Зато, говорю, мы делаем ракеты и перекрыли Енисей», — так и на уровне: «Умом Россию не понять». Тогда, в 1943 — 1944 годах, в наших глазах нарастающее ощущение сродства между худшими сторонами прошлого (как нам его, это прошлое, представили в школьно-вузовской легенде) и современностью свидетельствовало о крахе веры в великую революцию. Заграница была для нас идентична российскому прошлому, ибо там революции не произошло. И мы изо всех сил стремились доказать себе и другим, что ничего рокового не случилось и что крушение — мнимое. Но вернемся снова в 1943 год:

«Поколения, совершившие, пережившие и принявшие революцию, а еще более поколение, родившееся и воспитанное после нее, привыкли считать себя вне сравнения, вне прямой преемственности с людьми предшествующей эпохи, с окружающими их капиталистическими обществами. Чувство исключительности нашего положения, освобожденность, легализация революционных традиций, сохраненный старшими энтузиазм,

единство долга, убеждений и чувств, свойственные нашим воспитателям, — все это вместе могло бы создать деятельное, цельное и счастливое поколение. Но не создало, так как все убывало на наших глазах в обратном порядке: воспитатели с их оптимистической убежденностью в реальности победы, свобода, живость революционных традиций. Поскольку они заменялись пустотой, подчиненностью и лицемерием, то счастливое детство сменилось труднейшей юностью. И последним, уступив наконец эмпирическим доказательствам, начало колебаться оставшееся дольше всего бесспорным сознание исключительности нашего положения, исключительности именно как советских людей.

Интересно еще одно тогдашнее «предпонимание», некое интеллектуальное предчувствие: уже тогда мы ощутили утрату чувства своего державно-идеологического превосходства над остальным человечеством не только как потерю. Мы начинали смутно воспринимать ее и как единение с миром, как возвращение в человечество, как освобождение, даже как некое приобретение. Признаться, при нынешней встрече со старыми рукописями меня это удивило. За долгие пятьдесят лет я успела забыть хронологию стольких заблуждений и прозрений. И теперь многое в этих черновиках видится как бы впервые. А в них было сказано четко:

«Мне кажется, что нашим существеннейшим приобретением после многих потерь оказалась утрата своей обособленности, как бы ни сопровтивлялись некоторые из нас этой утрате».

Мы решительно отделяли, как свидетельствуют эти заметки, учение коммунизма от практики социализма (монокапитализма). На какое-то время это противопоставление было спасительным для наших иллюзий. По-видимому, свою задачу мы и видели в том, чтобы, испив без уловок до дна всю горечь разочарования в официальной идеологии и практике социализма, обнаружить на этом дне скальное основание безошибочной и безупречной теории коммунизма (не после XX или XXII съездов, не в годы «гласности», а в 1939 — 1944 годах).

Я писала:

«Перед литературой советского монокапитализма были два пути: или слияние с официальной идеологией, несение функций ее маскирующей оболочки, или трагическое одиночество опередивших. Первый путь казался действительно выходом, он обещал жизнь, и в него устремилась основная масса литераторов и людей искусства. Второй в конце концов обрекал на молчание или на смерть (последние три слова были тогда мною зачеркнуты двумя чертами, но читаются совершенно отчетливо. — Д. Ш., 1993). Сначала не отдавая себе отчета не только в трагизме, но и в опасности положения, а несколько позже — сознательно, к этому выходу пошло меньшинство. И первый выход оказался бесславной литературной гибелью, а трагический путь обернулся бессмертием».

Не знаю, как я тогда это поняла и решилась произнести, но вещественное доказательство (мой архив) лежит у меня на столе.

Человеческий язык этих нескольких строк дарован был нам пребыванием не только под опекой официальной нежити, но и в поле воздействия любимых писателей. Я подозреваю также, что и Маяковского в том его сокровенном, что его убило, мы понимали лучше, ближе к его истине, чем, например, Ю. Карабчиевский. Он, как мне кажется, Маяковского непредвзято не перечитал и сокровенному в нем не поверил или этого сокровенного не увидел. А потому отхлестал убившего себя поэта по самым больным местам у него же выхваченными цитатами. Предлагая читателю эти цитаты, критик разрушил и время, и внутреннюю личность поэта, и весь ее катастрофический эпохальный контекст. Точнее, все отрывки, эффектно цитируемые Ю. Карабчиевским в его книге, перемещены из контекста Маяковского в контекст Карабчиевского из 900-х — 1930-го годов в 80-е годы. Пастернак в «Охранной грамоте» склонил голову перед трагическим гением Маяковского. Современный критик не сумел стать в рост этой драмы. Ничего не поделаешь: каждый читает свою книгу, свои стихи, свою жизненную повесть. В моих черновиках много раз переписаны или записаны по памяти, с неточной пунктуа-

цией одни и те же стихотворные строфы. Думаю, потому, что они лучше выражали мое «я» тех лет, чем могла бы выразить я сама. Они писались и переписывались как свое. В юности многое так переписывается. Вот образцы:

Эти сегодня стихи и оды,
В аплодисментах ревомые ревя,
Войдут в историю как накладные расходы
На сделанное нами — двумя или тремя, —

говорит Маяковский.

Ты спал, постлав постель на сплетне,
Спал и, оттрепетав, был тих,
Красивый, двадцатидвухлетний,
Как предсказал твой тетраптих.
Ты спал, прижав к подушке щеку,
Спал со всех ног, со всех лодыг,
Врезаясь вновь и вновь с наскоку
В разряд преданий молодых.
Ты в них врезался тем заметней,
Что их одним прыжком достиг,
Твой выстрел был подобен Этне
В предгорье трусов и трусих, —

откликается Пастернак на смерть Маяковского.

Может, критики знают лучше,
Может, их и слушать надо,
Но кому я, к черту, попутчик?
Ни души не шагает рядом.
Как раньше свой раскачивай горб
Впереди поэтовых арб —
Неси один и радость, и скорбь,
И прочий людской скарб.
Мне скучно здесь одному, впереди, —
Поэту не надо многого, —
Пусть только время скорей родит
Такого, как я, быстроногого.
Мы рядом пойдем дорожной пылью.
Одно желанье пучит:
Мне скучно, желаю видеть в лицо,
Кому это я попутчик?!

(Маяковский, цикл «Париж»)

Напрасно в дни Великого Совета,
Где высшей страсти отданы места,
Оставлена вакансия поэта:
Она опасна, если не пуста.

(Пастернак, из стихотворения «Другу»)

Это стихотворение Пастернака то полностью, то в отрывках встречается в моих черновиках многократно.

2. Как мы читали Маяковского

«Поэт Владимир Маяковский назван Сталиным лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи. Маяковский, застрелившийся в 1930 году, не был поэтом «нашей советской эпохи»... Маяковский — бунтарь и искупитель — сложился до революции и был весь ее предчувствием, ее ожиданием, ее трибуном... Трудно найти более яркий пример трагедии человека и поэта, шагнувшего так далеко вперед в своей коммунистичности, как только могла позволить ему его бесконечная самоотверженность, и не сумевшего ни опуститься вместе со всеми, ни научить себя скептицизму» (1943).

Я и сейчас думаю, что Владимир Маяковский так и не научился глубочайше чуждому его природе скептицизму и не опустился до лжи. До штампа — да. Он

гнул эти свои штампы и так и сяк, изобретая ошеломительные словесные конфигурации. Для чего? Чтобы заставить заданную себе и принятую всерьез идею звучать впечатляюще и убедительно, в том числе и для него самого. Я подчеркиваю: заданную себе собою самим. Этот виртуозно-изобретательный штамп появился тогда, когда в сознании возникло сомнение. До этого была ошеломительная новизна, а не виртуозный штамп.

Маяковский старался верить и убедить других, что непереносимая фальшь казенного слова исходит не от лживости самой его сути, а от беспомощности и нерадивости словотворцев. И потому искал для зла и неправды, которые тщились видеть добром и правдой, неодолимые в своей необычности слова. Но (и он не мог в отчаянье этого не ощущать) его слова постепенно становились броской и звонкой оберткой пустоты, фикции. А то и хуже — зла. Вместе со внутренней убежденностью в правоте слов умирала их сила. Пастернак ведет хронологию этого перелома к смерти заживо от поэмы «150 000 000», а воскресением Маяковского полагает вступление в поэму «Во весь голос».

Повторю: Маяковский не мог научить себя скептицизму, отстраняющему человека от событий или приподнимающему его над ними. То, ради чего он звал к беспощадности, чтобы смертью смерть поправить (и, что страшнее всего, не только своей смертью), скептицизм исключало.

Если Пастернак, который потерял Маяковского-поэта на «150 000 000», обрел его снова во вступлении в поэму «Во весь голос», то для нас это «Вступление» и вовсе было заветом. Мы твердили на все лады пастернаковское: «Ты спал, постлав постель на сплетне», — и две последние строки стихотворения канонизировали нашу версию самоубийства поэта. В моих заметках перед цитированием этих строф я ставила не точку, как у Пастернака, а отточие, ибо для меня две заключительные строки объясняли и раскрывали предыдущий тезис. Кому было это знать как не Пастернаку? И еще мы без конца повторяли пастернаковские же строки из «Высокой болезни»:

А сзади, в зареве легенд,
Дурак, герой, интеллигент
В огне декретов и реклам
Горел во славу темной силы,
Что потихоньку по углам
Его с усмешкой поносила
За подвиг, если не за то,
Что дважды два не сразу сто,
А сзади, в зареве легенд,
Идеалист-интеллигент
Печатал и писал плакаты
Про радость своего заката.

Для нас это был прежде всего — Маяковский. Там, где Пастернак увидел самосожжение идеалиста-интеллигента («Недвижно лившийся мотив сыпучего самосверганья» — там же), Карабчиевский обнаружил садистического версификатора. Для нас же и после всех сенсаций 80 — 90-х годов пастернаковское «Дурак, герой, интеллигент...» остается в силе. Через десятилетия после первого прочтения этих строк нам очень многое досказали «Вехи».

Мы никогда не сомневались в том, что Маяковский был лириком, и никем иным. Эпос давался ему плохо. «Нами лирика в штыки неоднократно атакована. Ищем речи точной и нагой. Но поэзия — пресволочнейшая штуковина: существует — и ни в зуб ногой». Для нас эта нарочитая полумальчишеская грубость звучала предвестием выстрела в себя. Не удалось «стать на горло собственной песне», увиделось (или привиделось? этого мы тогда еще не решили), что не из-за чего было и становиться — и вот выстрел.

Если Маяковский и понял по-настоящему, что совершается, то лишь под навес. И вряд ли он понял, почему совершается. Иной мысли в нас не закрадывалось. Мы твердили заключительную главу поэмы «Про это» («Вот он, большелобый тихий химик...»). И для нас, как и для него, «мастерская человечьих воскрешений» была посюсторонней, земной — пусть через десять веков — мастерской воскрешения человека человеком. Но у нас, неграмотных, не было тех знаний, ассоциаций и реминисценций, которые были у Маяковского, человека другой, не советской, досоветской культуры, другого духовного языка. Для нас «новояз» нашей юности был естествен, и мы мерили своих поэтов на свой аршин. Он же насильно

загонял себя в клетку, решетки которой были заданы яростно-атеистической утопией. Он признал самоцензуру, продиктованную утопией, своим долгом и вогнал себя, «архангела ломового» (Марина Цветаева), в железобетонную казарму. И крылья архангела бились и ломались о ее стены.

На мгновение отступлю от своих старых заметок. В статье «Дехристианизация культуры и задачи церкви» («Новая Европа», 1993, № 1, стр. 33 — 34, Москва — Италия) Рената Гальцева пишет: «За последние два века — по Морису Клавелю, «Два века с Люцифером» — культура, как мне представляется, шла не только под руку с этим бывшим ангелом света: она прошла путь от Люцифера к Ариману (по классификации духов зла, применяемой моим соотечественником и римским гражданином Вяч. Ивановым), путь от павшего ангела с опаленными крыльями к демону распада, когда восставший дух уже растратил энергию заимствованной благодати, потерял отсвет небес, от которых он оттолкнулся и с которых ниспал, когда этот бывший ангел света утратил обаяние бунтарской отваги и достиг в своем падении самого дна».

Маяковский погиб в начале своего отпадения от Света, с едва опаленными пламенем бездны крыльями. Мы понятия не имели тогда о языке, на котором говорит Рената Гальцева. Над нами еще не было критерия нетленного, надлогического. И поэтому не было устойчивых ориентиров, кроме почерпнутых органически в семье и в книгах. Но в душах своих мы надеялись, что «ломовой архангел» (этого величания мы еще тоже не знали) еще взмыл бы в горний мир, если бы пережил момент прозрения, не убив себя. Но и убив себя он остался для нас поэзией, самораспятой на дыбе горчайшего заблуждения, роковой иллюзии: «За всех расплачусь — за всех расплачусь!» («Про это»). Как потрясло нас и озарило его прочитанное через много лет: «Здорово в веках, Владимир!»

А Пастернак примерно тогда же писал:

Мы были музыкой во льду.
Я говорю про всю среду,
С которой я имел в виду
Сойти со сцены и сойду...

Но о Пастернаке — позже.

3. Кавалеров и другие

Снова и снова я перечитываю Юрия Олешу. Прежде всего — «Зависть». В моих старых заметках и Олеша, и «Зависть», и Кавалеров, и братья Бабиचेва мелькают постоянно. Я хочу увидеть эту повесть нынешними своими глазами.

Тогда, в 1943 году, когда мы с Андрюшей Досталем дочитали «Зависть» в читалке алма-атинской Библиотеки имени Пушкина и вышли на улицу, Андрей не увидел огня подходящего к остановке трамвая. В тот вечер он заболел куриной слепотой. Его единственный глаз переставал видеть после заката солнца. Валюша спасала его гематогеном из обкомовской аптеки и печенкой из обкомовского распределителя. Зрение постепенно восстановилось, но потрясение не проходило долго. «Зависть» нас покорила и невероятными по точности образными уподоблениями, и неожиданной новизной смысла. Я вспоминаю, как она захватила тогда же нашего ровесника Аркадия Белинкова (мы с ним так и не пересеклись ни в ГУЛАГе, ни на советской «воле», ни в эмиграции: евклидовой реальности жизни для пересечения наших почти параллельных судеб не хватило).

До того вечера в библиотеке мне писал об Олеше из Алма-Аты в Бухару и потом с фронта в Алма-Ату мой друг Женя Пакуль, вскоре убитый. Он переписывал поразившие его куски, вставлял в треугольные письма военного времени сравнения и метафоры Олеша, словно сам их придумал. В юности часто не отличаешь увиденного писателем от сущего в жизни.

По-настоящему оценить в своих заметках художественную уникальность Олеша я тогда не умела. Да и не стремилась: в отличие от Жени я была занята тенденцией. Вот один из образчиков моего, с позволения сказать, анализа:

«Герой Олеша, Хемингуэя, Пастернака — лирический герой, то есть в огромной степени — автор. Еще одного писателя можно присоединить к этим трем и, по всей вероятности, ко многим другим: Ильфа в его «За-

писных книжках». В чем они сходятся? В первую очередь... в их видении внешнего мира, которое и есть их идея. (Выделено теперь. — *Д. Ш., 1993*)

Все-таки увидеть, что существуют писатели, да еще блестящие, решающие не дидактическую и не идеологическую, а чисто поэтическую задачу, — это было для нас тогда свободомыслием. В этой и других подобных оценках, рассыпанных по моим заметкам, признавалось как самоценный эстетический факт воспроизведение художником своего мировидения, даже более узко: своего видения вещи. Точный и свежий образ вызывал восхищение независимо от наличия или отсутствия идейной заданности или от ее характера. Я писала тогда:

«Поражает любая взятая наугад фраза: «Я развлекаюсь наблюдениями. Обращали ли вы внимание на то, что соль спадает с кончика ножа, не оставляя никаких следов, нож блещет как нетронутый; что пенсне переезжает переносицу, как велосипед; что человека окружают маленькие надписи, разбредшийся муравейник маленьких надписей: на вилках, ложках, тарелках, оправе пенсне, пуговицах, карандашах? Никто не замечает их. Они ведут борьбу за существование, переходят из вида в вид, вплоть до громадных вывесочных букв! Они восстают — класс против класса: буквы табличек с названиями улиц воюют с буквами афиш». Юрий Олеша, «Зависть» (Кавалеров)».

Нас, патологически тенденциозных, поразило, что несколько писателей нашего времени сочли самоцелью и выходом для себя погружение в жизненный поток, спасение посредством этого погружения от жестокой бессмыслицы мира взаимоуничтожительных тенденций. Многократные констатации этого открытия перемежаются в моих тетрадах с бесчисленными цитатами. Вот некоторые из них.

Мне все равно, чем сыр туман.
Любая бль, как утро в марте.

Мне все равно, чей разговор
Ловлю, плывущий ниоткуда.
Любая бль, как вешний двор,
Когда он дымкою окутан...

(Пастернак)

«Лучше взять самое простое, самое обычное. Не было ключа, открывал бутылку с нарзаном, порезал себе руку. С этого все началось... Медливший весь день дождь наконец начался. И так можно начать роман. Как хотите можно, лишь бы начать» (Ильф).

«Я не поверил и притаился. Я не поверил, что человек со свежим вниманием и умением видеть мир по-своему может быть пошляком и ничтожеством. Я сказал себе — значит, все это умение, все твое собственное, все то, что ты сам считаешь силой, есть ничтожество и пошлость. Так ли это? (Олеша). (Выделено теперь. — *Д. Ш., 1993*)

Если бы мы знали тогда обо всем, что еще прочитаем у Олеша и об Олеше. Мы бы не отождествляли свободы Хемингуэя видеть как хочешь и жить как хочешь со страшной несвободой Олеша, с чередой самоотречений, которые составили его жизнь. Самоотречений не внешних — это бы еще ничего: кого не ломали и из тех, кто покрепче телом и духом? Самоотречений внутренних — перед лицом фантома, идеи. Но при чтении «Зависти» Олеша воспринимался нами таким же свободным, как Хемингуэй. Хотя и в «Зависти» он уже себя гнет в три погибели.

И все-таки мы не без оснований объединяли нескольких писателей из числа нам известных в некий орден, которому за бедность нашего языка давали вполне, как сказали бы ныне, совковые определения. Мы просто не умели не по-советски назвать крепнувшего в нас ощущения их негромкой, но неодолимой слабости. Мы не переставали удивляться (в моих записках это отражено) тривиальности футуристов и других экстравагантных и демонстративных новаторов по сравнению с вышеозначенной некривой особостью. Я писала:

«Мы считаем, однако, что Олеша и Хемингуэй — представители направления, качественно более резко отличного от обычного реализма, чем, например, символизм или футуризм».

Эпитет «обычного» в отношении к реализму в моей рукописи был зачеркнут и тут же восстановлен. Ибо речь шла, конечно же, о реализме **обычном**, то есть «критическом» («социалистический» мы реализмом не считали, полагая его разновидностью классицизма, о чем тоже была у меня заметка). «Новый метод» мы воспринимали как реализм, **но не обычный**. Несколько позже я нашла для него определение «субъективный». Но это было в заметках уже лагерных, и они затерялись. Однако продолжим:

«В одном состоянии человек видит так, в другом состоянии он видит иначе. В любом случае он прислушивается к себе самому. Но одни художники склонны свои впечатления **анализировать**, то есть в образах осмысливать их вторично. Другие просто живут на листе бумаги, не повторяя своих впечатлений в очищенном, профильтрованном виде. Нас могут упрекнуть в том, что слишком большое место в характеристике автора мы уделяем техническому приему, но в том и значительность нового метода, что он есть не прием, а мировоззрение».

И дальше:

«Вниманием автора овладевает **частность**. Из бесчисленных частных вырастает новое чувство мира: своеобразие частных — это такое свойство, которое исключает понятия категоричности, групповой однородности. **Частность единственна и неповторима**. Возникает некое простое единство, так как все вещи объединяются тем, что они суть Вещи и имеют неповторимые личные свойства. Вырастает понятие жизни единой, исчезает представление о несоизмеримых плоскостях: внешнее, внутреннее, живое, мертвое, свое, чужое... Писатели, владеющие этим методом, считают (Олеша) свое умение видеть мир по-новому силой своей, своим оправданием, своим определяющим качеством».

Вставленное мною в текст в скобках «Олеша» требует, чтобы вместо «считают» было написано нечто более сложное: «иногда осмеливаются считать» или «считают подспудно». Даже скорее не считают, а только чувствуют — вопреки собственному убеждению, что это неправильно, нехорошо. Если же они начинают над этим размышлять, то «понимают»: без «прогрессивной идеи» и службы ей писатель не имеет морального права претендовать на чье-то внимание. «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан». Подспудно они, конечно же, осознают: гражданин, который поэтом может не быть, в разговоре о поэзии вообще неуместен. Что он Гекубе и что ему Гекуба? Но... закавыка еще и в том, что им, почему-то все более любимым нами писателям, решительно не нравится то, что **должно нравиться**. И неприязнь к тем, кому это нравится, — неприязнь эта трактуется художником как постыдная (для него, для художника, он же лирический герой) зависть.

«Новый творческий метод сводится, в сущности, к подсознательной или сознательной постановке собственной личности во главу угла. Причем не идеи своей, не своих догматических убеждений, которых и нет, а своих ощущений, своих впечатлений, своих непосредственных реакций на явления внешнего мира. При этом на явления всех категорий равно, считая мерою их весомости только значение их собственно для себя».

А мы твердо знали (и даже инстинктивно независимый Кавалеров, и эгоцентричнейший старший Бабичев, то есть Олеша, «знают»), что писатель должен быть не для себя, а для народа и человечества. И вещи он должен поверять их ценностью для идеи, причем вполне определенной, а не силой их на него воздействия. И даже его писательского, художественного, этического инстинкта для проверки смысла и ценности вещей и событий мало: проверка должна быть «исторически объективной». И если вольный стрелок Хемингуэй не стал бы пещься о том, «чтоб в дебатах потел Госплан», ему «давая задание на год», то все же и он прекрасно

помнил, где и за что погиб Байрон. И поехал в Испанию сражаться против франкистов. Правда, написал потом «По ком звонит колокол», а не «Испанский дневник». В 1943 — 1944 годах мы, конечно, об этой книге Хемингуэя и его конце еще не знали, как и он сам. И все-таки вопреки себе они чаще всего оставались прикованными к своему бессонному зрению. Юное ископаемое сталинской эры изъяснялось так:

«Хемингуэй, Пастернак, Олеша, если взять их творчество в самом характерном, в том, что их создает, — что представляют они собой политически, классово? Где та социальная группа, на которую они опираются? Какими социальными качествами они обладают?»

При этом духовный мой эмбрион неожиданно для меня нынешней оказывается способным на оговорку:

«В этих вопросах говорит не только моя ограниченность — ограниченность критика, требующего от художника обязательной классовой специфичности. В них сказался характер всей изучаемой нами литературы — литературы стадии, разбившей человечество на социальные группы и обусловившей мировоззрение человека интересами его социальной группы».

Признание «критиком» (а впрочем, намного ли старше был Добролюбов в год своей смерти?) своей ограниченности вселяет некоторую надежду. Но тут же на сцену выходит необходимость втиснуть тревожащую и покоряющую новизну в трехстадиальную Схему. Ибо мы не можем позволить себе мыслить явления надстроечные вне категорий базисных. В том числе и явления Духа. И возникает потребность дать новому для нас феномену ветхие наименования. Но сразу же приходится оговаривать и необычность того, что втискивается в привычные рамки:

«Если говорить о том, какое из литературных течений прошлого ближе всего этой новой школе, то, конечно же, импрессионизм. Искусство нетенденциозное, глубоко субъективное в творчестве нового направления приобрело лаконичность и сдержанность, строгость и внутренний такт».

В сумбуре прорезывается завтрашний термин «субъективный реализм». Возникает определение «реалистический чувственный субъективизм». На этом листок обрывается, и следующего непосредственно за ним я не нашла. Но ближайший по смыслу, почерку, чернилам, фактуре бумаги лист начинается так (надо думать, что речь идет о тривиальных в нашем тогдашнем понимании писателях):

«Если можно сказать, что любое настроение, любое чувство, любая мысль возникают из бесчисленных частных влияний, из случайных толчков, исходящих извне и изнутри сознания, так отфильтрованных и переработанных, что они изменяются до неузнаваемости, оставляя только некий осадок, и этот осадок обычно и становится тем, что мы называем образом, то новый метод воссоздает именно первопричину — факт, совокупность бесчисленных частных влияний, случайных толчков, рождающих мысль и эмоцию (выделено теперь. — Д. Ш., 1993)... Олеша видит всегда деталь, для него характерно смещение перспективы — приближение, перерастание мелочи в грандиозность, постоянная растворенность в частностях (трава из рассказа «Любовь»... Хемингуэй тоже никогда не утрачивает способности видеть. Его полулирический герой Фред Генри («Прощай, оружие!») теряет любимую жену, но неотвязное свойство фиксировать детали картины не оставляет его даже в минуты всепоглощающего отчаяния: «Я думал, что Кэтрин умерла, она казалась мертвой, ее лицо, та часть его, которую я мог видеть, была серая. Там, внизу, под лампой, доктор зашивал широкую, длинную, с толстыми краями, щипцами раздвинутую рану. Другой доктор в маске давал наркоз. Две сестры в масках подавали разные вещи. Это было похоже на картину, изображавшую инквизицию. Стоя там и смотря на это, я знал, что мог смотреть все время, но я был рад, что не сделал этого. Вероятно, я бы не смог смотреть, как де-

лали надрез, но теперь я смотрел, как края раны смыкались в широкий торчащий рубец под быстрыми, искусными на вид стежками, похожими на работу сапожника, и я был рад. Когда края раны сомкнулись, я вышел в коридор и снова стал ходить взад и вперед». Ни одного слова о своем горе — и такой отчаянный, беспросветный ужас».

Увлеченные и зачарованные зрением Кавалерова, почему-то мы тогда не заметили гениальной зоркости и дара слова старшего Бабичева, Ивана, неудачника, безобразника и ерника. Может быть, потому, что двадцать лет не по уму нам было постичь самоистязание, самоотречение и невольное упорство Олеси, единого в Кавалерове, в Иване Бабичеве и в бесплодных усилиях вынести им — обвинительный, а эпохе — оправдательный приговор. А возможно, еще и потому, что Кавалеров был молод, как мы, а Иван Бабичев в наших глазах несказанно стар? Только в 60-х годах мне стали видны потуги Олеси явиться еще и в образе Володи Макарова и завоевать Валю, дочь Ивана. Для этого моему поколению пришлось вдосталь нахлебаться баланды в одних зонах с Андреем Бабичевым и энтузиастами его поколения. Ведь эта эпоха съела и своих «удачников» первого призыва, и своих неудачников. За эти десятилетия и Олеша успел повитать сломленным духом в их камерах, бараках, у расстрельных ям...

Здесь мы оставим Кавалерова и других «не-членов какого-то социального класса», таинственно притягательных для заполитизированных до полусмерти школяров. Обратимся к поэту, чье влияние на мою судьбу не сравнимо ни с чем иным художественным воздействием. Разве что с пушкинским.

4. «И образ мира, в слове явленный...»

Мама привезла мне однотомник Пастернака 1934 года издания из Москвы примерно в 1936 году, когда я училась в шестом классе. Решительно не сумев в него вчитаться (и не очень стараясь: Алтаузен, Уткин и Жаров, привезенные тогда же, дались мне куда легче), я подарила Пастернака дочери маминой подруги Лиле Г., своей ровеснице, в день ее рождения. Весной 1941 года, бросив очередное и в очередной раз мною заслуженное «дикарь-одиночка», Женя Пакуль заставил меня пойти и выпросить у Лили драгоценную книгу, так ею и не раскрытую. Я подарила однотомник ему. Поздним летом 1942 года, уходя на фронт, он оставил эту книгу мне. Через три дня после нашего ареста сплошь исписанную на полях моими и Жениными заметками книгу с тремя дарственными надписями (Лиле, Жене и мне) забрала у моей мамы Стелла Корытная. Ее арестовали одновременно с нами, но выпустили через три дня. Когда я в Москве попыталась разыскать Стеллу, в частности и для того, чтобы забрать у нее нашу с Женей единственную общую вещь, в Мосгорсправке, где я искала ее адрес, мне сообщили, что она умерла за год до этого. В Москве я была в 1965 году. Незадолго до этого я достала однотомник Пастернака издания 1936 года, но эта книга не несла на своих страницах отпечатка двух жизней, одной — навсегда ушедшей на двадцать втором своем году. Не знаю, для себя ли забрала Стелла в июле 1944 года эту бесценную, как ни одна другая, для меня книгу или по требованию своих мучителей. Боюсь, что и мама, прочитав комментарии, которыми книга была исписана, сожгла бы ее, как не раз сжигала восстановленные мною в лагере и тайком ей переданные мои заметки. Вероятно, и я бы делала так по отношению к своему ребенку.

Заметки о Пастернаке, возвращенные мне КГБ Казахстана, далеко не полны. Даже для тех лет это не окончательные редакции моих докладов, прочитанных в студенческом научном обществе и на кафедре русской литературы КазГУ зимой 1943/44 года. Здесь нет разбора отдельных поэм и стихотворений, нет изложения идей Леви-Брюля и попыток связать «новый метод» с «прагматическим мышлением», которое исследовал Леви-Брюль (см. ниже). Я занималась попытками по-своему прочитать Пастернака до 1959 года. В Харькове в горький час еще одного расставания я безумнейшим образом потеряла в очередной раз все свои тетради: стихи, конспекты исследований, статьи. Больше я к стихам Пастернака в этой плоскости не возвращалась, только читаю их.

Так или иначе, материалы, нежданно вынырнувшие из бездны лет, позволяють мне документально восстановить достаточно многое. Повторю то, что писала в «Тетради на столе»: при обсуждении моего только что дочитанного доклада профессор Н. Я. Берковский (эвакуация забросила его в КазГУ) настойчиво советовал

мне продолжить занятия поэтикой Пастернака и отказаться от исследования его политических убеждений — это в поэтах не главное. А тогдашний декан филфака С. М. Махмудов, на мой кафедральный доклад не пришедший (выручил грипп), напротив, когда почти все студиицы собрались после доклада у него дома, обозвал меня гимназисткой за то, что не дала должного отпора Берковскому. Руководительница нашей студенческой студии, тогда — жена Махмудова, Э. П. Гомберг (по второму мужу Вержбинская), была на моей стороне. Я же не ответила на реплику профессора Берковского лишь потому, что сразу же протестующе зашумели студенты, заполнявшие небольшую аудиторию. Четче всего мне запомнилось белое от ужаса лицо мамы, сидевшей в первом ряду. Помню еще свое головокружение от голода и восторга. Тогдашний заведующий кафедрой профессор Коган сказал, что после недавнего доклада профессора Берковского (тему которого я прочно забыла) на кафедре русской литературы КазГУ такого события, как мой доклад, не было. Могла ли не закружиться двадцатилетняя голова?

Сегодня, перечитывая свои сохранившиеся в «деле» заметки о Пастернаке, я почти не обнаруживаю в них криминала, даже по меркам тех кровавых времен. Вероятно, непоправимо сместились мои собственные критерии. Не вижу я в них ни особой значительности и глубины, а лишь живую и точную симптоматику миропонимания не худшей части моего поколения. Мне нынешней представляется, что одна только советскость моей фразеологии должна была исключить все подозрения в антисоветизме. Но ведь тогда было иначе: чрезмерная ортодоксальность считалась такой же ересью, как нелояльность. Колебаться надо было только вместе с «генеральной линией партии». «Талмудисты» и «начетчики» принимались не более благосклонно, чем «ревизионисты». «Нам не нужны умные — нам нужны послушные», — сказал первый секретарь Харьковского обкома КП Украины Ващенко юному гостю своей дочери, бывшему моему ученику, в 60-х годах. Мы были не очень умными, но и отнюдь не послушными. А годы шли не 60-е, а 40-е.

Итак, все началось с выяснения общественно-исторических взглядов художника, что при нашей тогдашней тенденциозности было неизбежно. Мне трудно сейчас определить даже порядок относящихся к Пастернаку моих записей, сколотых соответственно непонятной мне логике делопроизводителем первого следственного отдела НКГБ Казахстана, трудно установить хронологию вариантов. Постараюсь не повторяться, но удастся ли? Начну с чего-то похожего на конспект одного из моих университетских докладов зимы 1943/44 учебного года. Эти (порой комические и крайне самонадеянные) заметки назывались так: «Творчество Б. Пастернака. Подготовка к исследованию». Далее писалось:

«Это начало работы над автором, первая попытка уяснить себе, что я в нем сейчас могу увидеть. Анализ построен в основном на исследовании мыслей, а не формы (дихотомия «формы» и «содержания» была для автора заметок несомненной. — Д. Ш., 1993). Это объясняется необходимостью прежде всего понять писателя как человека в ряду других людей, представить себе его эпоху в цепи других времен.

Есть у нас и очень распространена поэзия тоже современного, но все иного, по большинству признаков, направления, чем поэзия Пастернака (много ли могла я обо всем этом знать, если даже знаменитых известинских стихов Пастернака о Сталине тогда не читала? — Д. Ш., 1993).

По замыслу это стихи о действительности, по степени внешней политической заостренности это не просто злободневность, а календарная дошность: нет событий, юбилеев...» — на этом первый лист обрывается.

К этому «совсем иному», чем Пастернак, «по большинству признаков направлению» автор еще вернется, и не раз. Пока же он (на той же линованной бумаге, теми же чернилами) начинает свой текст сначала, но уже с рядом эпитафий, хорошо очерчивающих круг читавшихся им поэтов (в рукописи эпитафии пронумерованы):

- «1) Теперь разглядите, кого опишу я
Из тех, кто имеет бесспорное право
На выход в трагедию эту большую
Без всяческих объяснений и справок.

Н. Асеев, глава о Пастернаке из поэмы «Маяковский начинается»

2) Люблю великий русский стих,
Еще не понятый, однако,
И всех учителей своих —
От Пушкина до Пастернака.

Илья Сельвинский».

И далее — уже без нумерации:

«И вся Земля была его наследством,
А он ее со всеми разделил.

Анна Ахматова, «Стихи о Пастернаке».

А в походной сумке — спички и табак,
Тихонов, Сельвинский, Пастернак.

Багрицкий».

Заголовок следующего варианта доклада выглядит так: «Борис Пастернак и современность». Меняются и подзаголовки: «Подготовка к исследованию» превращается в «Тезисы к докладу». Появляется новый эпиграф, в котором лесенка Маяковского превращена в традиционную строфу, записанную по памяти:

Это время трудновато для пера.
Но скажите, вы, калеки и калекши:
Где, когда, какой великий выбирал
Путь, чтобы протоптанней и легче?

Думаю, я потому и не стала литературоведом, что меня всегда более всего занимало время в творчестве и творчество во времени, а не само по себе. И если говорить о внешней стороне моей судьбы, то в этом «таилась погибель моя» как легального советского автора. После освобождения из лагеря, даже в границах после-сталинской оттепели, заниматься легальной литературной работой я не смогла бы ни в одном из близких к моим интересам жанров. Публицист и педагог всегда брали верх над моими литературоведческими интересами. Продолжу, однако, цитирование «Тезисов к докладу» и начну с того, на чем остановилась в предыдущем отрывке (о «календарно-злободневной» поэзии):

«...нет событий и юбилеев, кампаний и пр., на которые бы в поэзии такого типа не нашлось немедленных откликов. Я не делаю специального доклада на эту тему и поэтому не подбираю примеров, но имена корифеев такой поэзии общеизвестны: Лебедев-Кумач, Виктор Гусев и многие, многие другие... Чем способней к стихосложению поэты этого направления, тем, по-моему, они опаснее, то есть «влиятельнее». При чтении, например, стихов Симонова (лирических, то есть наиболее удачных) мелодичность и искренность заслоняют главное и мешают отложить книгу. А главное в следующем: при чтении всех подобного рода стихов, пьес и повестей создается упорное впечатление, что Маяковского, Пастернака, Багрицкого одно из двух — или нет и никогда не было, или они донкихоты и неврастеники».

Слово «влиятельный» имеет в виду доверие читателей, а не номенклатурные связи и весомость перечисленных и подразумеваемых авторов. Все-таки корифеи, о которых говорится здесь с таким презрением, это еще и фавориты власти, и первые лауреаты Сталинских премий, и орденосцы. На советских филфаках тех лет не принято было их ругать. Ироническое «неврастеники» — тоже щелчок по штампам литературно-критического языка тех лет. Сегодня приведенный выше отрывок звучит, как и приводимые ниже, вполне по-советски. Тогда эти слова заставляли студенческую аудиторию взрываться аплодисментами, а преподавателей кафедры — растерянно переглядываться или упорно смотреть в пол. Судите сами:

«Банальность, шаблонность и посредственность поэтических приемов настолько распространены, что исключают мысль о внезапном оскудении страны талантами. Посредственные декаденты и футуристы писали значи-

тельно оригинальнее и смелее. Маяковского же вообще невозможно себе представить предшествующим Симонову или Маргарите Алигер. Это первое. Второе — удивительная беспроблемность такого рода литературы. Словно с того момента, как замолок Маяковский, все проблемы времени свелись к проблеме роста, все трудности — к чисто практическим трудностям, к техническим трудностям, все враждебное человеческой свободе, нашей свободе, нашло единственный оплот в троцкистах, в диверсантах и в немцах. И в остальном все настолько хорошо и, главное, просто, что непонятно: почему говорившие о трудности времени, мучительно постигающие и принимающие правоту времени, спорящие и отстаивающие ее Маяковский и Багрицкий ломались в открытые двери?..

Маяковский, Пастернак, Багрицкий совершенно различны в творческих методах, по складу умов, по манере смотреть и видеть, но, читая их, видишь и чувствуешь одно и то же великое, героическое и трагическое время переворота и роста, ощущаешь, что это время действительно «трудновато для пера», понимаешь, почему оно «трудновато для пера». Багрицкий писал поэму о Феликсе Дзержинском, разумеется, уже в наши, послеоктябрьские времена. Почему в ней прозвучали такие строки, как монолог Дзержинского?

А век поджидает на мостовой,
Сосредоточен, как часовой.
Иди и не бойся с ним рядом встать:
Твое одиночество веку под стать.
Руки протянешь — и нет друзей.
Оглянешься — и вокруг враги.
Но если он скажет «убей» — убей.
Но если он скажет «солги» — солги!

(Того, что Багрицкий здесь во имя идеи века исступленно спорит с Моисеевым десятисловием, мы, конечно, и не подозревали. — *Д. Ш., 1993*)

Из этих трех поэтов жив только Пастернак. Но все-таки я не думаю, что днем смерти Маяковского или Багрицкого ограничивается то время, о котором они писали. Многое из того, что их взгляду доступно было уже тогда, только теперь развилось и развивается в нашем быту и в общественной жизни»

В предшествующем рукописном, а не машинописном варианте тезисов есть строки, не вошедшие в более поздний текст, но для полной картины нашего тогдашнего миропонимания весьма существенные. По-видимому, они продолжают мысль о беспроблемности и бездумности стихоплетов, противопоставляемых великим поэтам, идущим по непроторенным и трудным путям. В них говорится, очевидно, о высокой цене преданности, сознательно выстраданной художником. Вопрос о том, выстрадается ли при честном подходе к своему времени преданность или, наоборот, отрицание, пока не ставится. Но ниже неизбежно возникнет и он. До поры до времени речь идет не о притворстве, не о циничном приспособительном конформизме, не о лжи, а только о разновидностях преданности: бездумной или сознательной, автоматической или выстраданной. Слова «или неприятию» (см. ниже) были мною тогда же при правке рукописи вычеркнуты. Но я их оставляю в тексте и даже выделяю, ибо они весьма симптоматичны:

«Значительно труднее быть справедливым к системе, упорно внушающей мысль о своем исключительном совершенстве и непогрешимости... Преданность, основанная на такого рода внушениях, опасна тем, что она не предполагает и не допускает никаких несовершенств. Первое разочарование чревато для такой преданности непрощающим нигилизмом. Перейти через этот нигилизм — это значит прийти к сознательному принятию или неприятию действительности. А то, что действительность далеко не идеальна, бесспорно при первом объективном взгляде. О лжепоэтах я не говорю. Очевидно, что в такие времена не у многих хватает смелости думать серьезно. Линия первой группы поэтов, о которой я говорила выше, — Маяковский, Багрицкий, Пастернак и близкие к ним наши совре-

менники — это линия наибольшего сопротивления. Большинство же идет по линии наименьшего сопротивления. Литературным течениям соответствуют течения общественной мысли и безмыслия».

И снова кусок машинописи. Я узнаю мамин портативный ундервуд с русским и латинским шрифтами. Все буквы одного размера, без строчных. Машинку прислал мамин старший брат из США в 1933 году. Осенью 1941 года мы эвакуировались так поспешно, что оставили машинку на письменном столике в комнатке мамы. Там она после службы выстукивала бесчисленные страницы, и машинка подкармливала нас вплоть до войны. На ней я научилась печатать. Мама быстрее работала под диктовку, и скучнейшую обязанность диктовать делили со мной мои подруги. Служба, сверхурочное стенографирование, долгие часы над машинкой — так мама с ее двумя высшими образованиями растила двоих детей. Мне до гибели папы она успела дать очень многое (все то главное, что определило мою судьбу). Брат, моложе на пять лет, неуравновешенный и неординарный ребенок, маму, погруженную в заботы о хлебе насущном, видел свободной редкой. Я им не занималась, переполненная в безудержном детском и отроческом эгоизме своими радостями и горестями. Потом каялась, каюсь по сей день, но что толку?.. Мамина сестра бежала из Харькова днем позже нас, с трудом нас разыскала в беженских потоках и привезла нам машинку. Мы ее продали зимой 1943/44 года, чтобы купить на рынке баснословно дорогой тогда пенициллин. Так подарок старшего брата спас тетью от гибели из-за крупозного воспаления легких. А ко мне пришли через полвека последние строчки, отпечатанные в нашем доме на этой машинке:

«...принципиальность критика не должна быть фанатизмом и ограниченностью. Наша критика в стремлении к идейности так гиперболизирует иногда свою обязанность быть политически заостренной, что критический разбор превращается в ильфовскую мебельную фабрику им. товарища Прокруста. Пастернака в немногих предисловиях к его изданиям и выступлениям слишком часто укладывают в прокрустово ложе и в зависимости от того, что удобней критику, вытягивают по мерке или укорачивают по мерке. Делается это технически просто: выхватывается цитата, цитируется от острого угла до опасного поворота... и мысль критика подтверждается. Это повторяется два-три раза — идейное лицо Пастернака выявлено. Мы с вами только собираемся стать критиками, для нас это особенно важно: мы не должны по примеру такого рода литературоведов, которых не меньше, чем плохих поэтов, забывать о том, что писателя надо не только учить и привлекать к ответственности, — у писателя надо учиться... Маяковского тоже схематизирует такого рода доброжелательность критики. У нас нет возможности проверить степень зоркости и правоты Пастернака и Маяковского так, как мы можем проверить, например, относительную (во времени и обстоятельствах) правоту Чернышевского. Один из них еще жив, увиденное и пережитое ими еще совершается и развивается...»

Писателя надо не только учить — это значит, что учить его все же надо. Но не только. Уже великодушно. «Правота Чернышевского» провозглашается нами примерно с такой же долей компетентности и ответственности, с какой слагают свои панегирики времени заклеенные нами бездумные патриоты. Но пока что нас это не смущает: до Чернышевского мы еще в истории общественной мысли самостоятельно не дотянулись. Это далеко впереди.

Итак, мы хотели во всем нелицеприятно разобраться. Но при этом почти не сомневались, что найдем (не можем, не должны не найти) в происходящем высокоценное содержание, оправдывающий его исторический смысл. Мы уже сделали это от собственного имени в своей трехстадийной Схеме, в статьях о монокапитализме. Теперь мы искали поддержки и подкрепления у любимых поэтов, своих современников. Они должны были оценить и раскрыть перед нами правоту времени от своего имени. Это избавило бы нас от сомнений, которые преследовали нас неотступно. Они должны были помочь нам уговорить себя, что все идет как надо. И мы уговаривали себя, толкая их.

Мы не понимали еще, что неотвратимо втягиваемся в ревизию своего вероучения, что мы уже не продолжение нашей святыни — революции, а ступень реакции

на нее. Семья и книги спасли нас от «категорического императива» Багрицкого, наделив зачатками нормальной этики и вкуса. Опираясь на эти спасительные зачатки, мы Пастернаком живем, а читать Лебедева-Кумача не можем. Но мы читали своих любимцев не бескорыстно. Нам надо было понять, как совмещает несовместимое, например, Пастернак. Как он оправдывает происходящее. Тогда и нам стало бы легче производить эту операцию. И я писала:

«Борис Пастернак до Октябрьской революции, верней до того, как он стал писать об Октябрьской революции, прошел уже долгий и сложный путь, подготовивший его неоднократные переключения от основной его темы «сестра моя — жизнь» к разбираемой нами теме — «жизнь общественная». Нам важно отметить то обстоятельство, что ко времени таких переходов Пастернак в своем отношении к революции стоял на вполне определенной позиции: он был за революцию. Ценность общественных событий измерялась для него тем, насколько события отвечали его представлениям о революции».

Вся русская и советская интеллигенция, известная в ту пору нам (жертвам школьно-вузовских и госиздатских компрачиков), была «за революцию». Но существенная ее часть (это мы успели заметить) хотела, чтобы действительность отвечала ее представлениям о настоящей, правильной революции. Поэмы Пастернака «1905 год» и «Лейтенант Шмидт», панегирики революции не победившей (много позже Наум Коржавин скажет о героях революции победившей: «Но их бедой была победа: за ней скрывалась пустота»), как нельзя лучше воплощали грезу интеллигенции о революции. И мы это чувствовали (Коржавин ведь наш ровесник). Недаром в моих заметках не раз встречается полный текст пролога к «1905 году» Пастернака. Прочитую этот пролог, чтобы читатель мог погрузиться в его настроение:

В нашу прозу с ее безобразьем
С октября забредает зима.
Небеса опускаются наземь,
Точно занавеса бахрома.
Еще спутан и свеж первопуток.
Еще чуток и жуток, как, весть.
В неземной новизне этих суток,
Революция, вся ты как есть.
Жанна Д'Арк из сибирских колодниц,
Каторжанка в вождях, ты из тех,
Что бросались в житейский колодец,
Не успев соразмерить свой бег.
Ты из сумерек, социалистка,
Секла свет, как из груды огнив.
Ты рыдала, лицом василиска
Озарив нас и оледенив.
Отвлеченная грохотом стрельбищ,
Оживающих там, вдалеке,
Ты огни в отчужденье колеблешь,
Точно улицу вертишь в руке.
И в блуждании хлопьев кутежных
Тот же гордый уклончивый жест:
Как собой недовольный художник,
Отстраняешься ты от торжеств,
Как поэт, отпылав и отдумав,
Ты рассеянья ищешь в ходьбе.
Ты бежишь не одних толстосумов —
Все ничтожное мерзко тебе!

(Пунктуация по моему черновику.)

О, как это было созвучно нашему настроению! Недаром в упоении повторяется мною последняя строка:

«„Все ничтожное мерзко тебе!“ — в этой строке кроются первые несоответствия между идеалом и реальностью, которые Пастернак должен был объяснить себе, чтобы сознательно принять действительность или не

принять ее. Из этого определения он должен был исходить, преодолевая те прозаические, повседневные, снижающие и опошляющие революцию „детали“, которые отражены им в третьем стихотворении цикла „К октябрьской годовщине“ и в поэме „Высокая болезнь“».

Далее следует в моих заметках отрывок из «Высокой болезни» (сохраняю синтаксис своей записи):

Чреду веков питает новость,
Но золотой ее пирог,
Пока преданье варит соус,
Встает нам горла поперек.
Теперь из некоторой дали
Не видишь пошлых мелочей,
Забылся трафарет речей,
И время сгладило детали,
А мелочи преобладали..

Уже мне не прописан фарс
В лекарство ото всех мытарств.
Уж я не помню основанья
Для гладкого голосованья,
Уже я позабыл о дне,
Когда на океанском дне,
В зияющей японской брешли,
Сумела различить депеша
(Какой ученый водолаз!)
Класс спрутов и рабочий класс.
А огнедышащие горы,
Казалось, вне ее разбора.
Но было много дел тупей
Классификации Помпей.
Я долго помнил назубок
Кошунственную телеграмму:
Мы посылали жертвам драмы
В смягченье треска Фудзиямы
Агитпрофсожеский лубок.

Сколько понадобится лет, чтобы я сумела полностью раскодировать для себя октябрьский цикл, «Высокую болезнь», «Спекторского» и многое другое! И сколько лет дополнительных — чтобы нам стало жутковато от потрясенности тогдашнего Пастернака всего-навсего пошлостью и фарсом ритуальной советской словесности! Ведь он знал уже, не мог не знать, что разворачивалось за этой пошлостью, за этим фарсом. Ведь он уже написал тогда «Столетье с лишним не вчера»!.. Но сила соблазна «труда со всеми сообща и заодно с правопорядком» была, по-видимому, настолько сильна, насколько и безнадежна. Что же мы, ловящие каждую интонацию и проговоруку старших (и каких старших!), могли знать о бездне, в которую они уже давно смотрели? Разумеется, мы сразу же с радостью выделили эту укреплявшую нас защитную подоснову: всего лишь «пошлые мелочи» и «детали», всего лишь «ничтожное», но не злодейское же! Нашлись и другие утешительные соображения:

«Кроме того, эти чисто человеческие качества, которые Маяковским отмечались в отдельных лицах, а Пастернаком обезличенно, легко было отнести за счет недостатков, предрассудков, пороков и прочих изъянов в людских характерах, за счет тормозящей силы исторической, общественной и личной инерции. Недостатки эти, не зачеркивая общего смысла события, могут лишь придать ему характер не идеального подвига, а реального практического сдвига, характер земной, человеческий и осязаемый. Именно так преодолеваются эти преграды и Пастернаком (выделено мной тогда. — Д. Ш., 1993):

На самом деле ж это — небо
Намыкавшей всласть зимы,
По всем окопам и совдепам
За хлеб восставшей и за мир.
На самом деле — это где-то

Задетый ветром с моря рой
 Горящих глаз Петросовета,
 Вперенных в неизвестный строй.
 Да, это то, за что боролись:
 У них в руках метеорит.

На этой строке я прерву цитату».

У меня написано «неизвестный строй». Но в изданиях 1977 и 1985 годов напечатано «небывалый». Что это — моя описка или был и такой вариант? Перерыв в цитате понятен: строка, следующая за «метеоритом», потребует особого комментария. А пока последуем за автором заметок:

«Предпоследняя часть «Высокой болезни» также свидетельствует о том, что «пошлые мелочи» и «детали» были Пастернаком преодолены:

Проснись, поэт, и суй свой пропуск:
 Здесь не в обычае зевать.
 Из лож по креслам скачут в пропасть
 Мста, Ладога, Шексна, Ловать!
 Опять из актового зала
 В дверях, распахнутых на юг,
 Прошлое по лампам опахало
 Арктических Петровых выюг.
 Опять фрегат пошел на траверс.
 Опять, хлебнув большой волны,
 Дитя предательства и каверз
 Не узнаёт своей страны.

Все выступление Ленина, предшествующее заключительному четверостишию «Высокой болезни», является блестящим доказательством того, что Пастернак как никто другой сумел стать в рост развернувшихся событий и не позволил «частностям» и «деталям» спрятать и заслонить «предание».

Однако прерванный нами в середине строфы отрывок из «Октябрьской годовщины» кончается следующими строчками:

Да, это то, за что боролись:
 У них в руках метеорит,
 И пусть он будет пуст, как полюс,
 Спасибо им, что он открыт.
 Однажды мы гостили в сфере
 Преданий. Нас перевели
 На четверть круга против зверя,
 Мы — первая любовь Земли.

В издании 1936 года выделенные нами строки были изменены поэтом или цензурой и в настоящее время выглядят так:

И будь он даже пуст, как полюс,
 Спасибо им, что он открыт.

Еретический смысл, заключенный в первом варианте, был, таким образом, максимально смягчен».

Конечно, смягчен, и еще как! «И пусть он будет пуст, как полюс» — предложение, в общем-то, утвердительное: ладно, пусть будет так, но... Здесь предполагается, что метеорит пуст. Но «будь он даже пуст, как полюс» — это скорее условное предложение (если бы даже он был пуст, как полюс, то и тогда...). Нас ошарашили оба варианта. Значит, для Пастернака не исключено, что метеорит — пуст? Что вся ценность свершившегося — в порыве, в движении к нему, пустому полюсу? «...мы гостили в сфере преданий» не без оснований было прочитано нами, как «мы гостили в сфере утопии». Погостили — и возвратились в реальный мир. Правда, утопия признана очеловечивающей, ибо все же «нас перевели на четверть круга против зверя».

Предание — атрибут прошлого, а утопия — атрибут будущего, но сфера у них общая — сфера мифа. Эту подспудную мысль мы и уловили. И она нас насторожила: нам надо было знать точно, пуст, по убеждению Пастернака, полюс, открытый революцией, или не пуст.

Мои заметки многократно свидетельствуют и о том, как поразило нас еще одно разночтение в двух однотомниках Пастернака. Цитирую:

«В поэме «Высокая болезнь» непосредственно за отрывком, посвященным Ленину и утверждающим его историческую правоту, следуют строки, которые заключали поэму в издании 1934 года, но были исключены из издания 1936 года:

Я думал о происхожденьи
Века связующих тягот.
Предвестьем льгот приходит гений
И гнетом мстит за свой уход.

Остается только процитировать короткий отрывок из «Лейтенанта Шмида» — и явное беспокойство Пастернака по поводу развития и результатов революции станет в глазах читателя неоспоримым (напомню: все это читалось мною в докладах зимой 1943/44 года в студенческом научном обществе и на кафедре русской литературы КазГУ. — *Д. Ш., 1993*):

О, государства истукан,
Свободы вечное преддверье.
Из клеток крадутся века,
По Колизею бродят звери,
И проповедника рука
Бесстрашно крестит клеть сырую,
Пантеру верой дрессируя.
И вечно делается шаг
От римских цирков к римской церкви,
И мы живем по той же мерке,
Мы, люди катакомб и шахт».

Нас не могли не приковать к себе эти пастернаковские строки, ибо они всей своей сутью совпадали с нашим глубинным ощущением неблагополучия времени. Вместе с тем эта роковая смена одних и тех же тезиса и антитезиса, это кружение внутри фатально безвыходного цикла ломали нашу оптимистическую трехстадийную Схему! Причем гениальный пастернаковский стих уже одной только своей музыкой был куда убедительней, чем «исторический» и «диалектический» материализм, из которого наша Схема возникла.

И тут моя мысль (я говорю о своих набросках тех лет) обращается к двум романам, ставшим для нас, нескольких ближайших школьных друзей, настольными раньше, чем стихи Пастернака, в девятом-десятом классах (в 1939 — 1940 годах). Итак:

«Роман Анатоля Франса «Восстание ангелов» сводит к такому же результату любой революционный переворот и заключается афористическим выводом: если бунтарь и мятежник (у Франса — Сатана), восставший против жестокого и ограниченного тирана (у Франса — Бога), побеждает, он превращается сам в жестокого и ограниченного тирана. Сатана Франса увидел свою победу во сне и отказался от уже подготовленного восстания.

К такому же выводу, но на другом, историческом, материале приводит и роман Франса «Боги жаждут», посвященный Великой буржуазной революции во Франции.

Иными словами, вывод и у Франса и у Пастернака выглядит так: идея свободы, победив, создает систему, которая, стремясь защитить себя, становится врагом свободы и уничтожает ее внутри себя».

Нам предстояло еще лет двадцать расти до существенной корректировки этого вывода: не любая, а лишь утопическая идея, победив и будучи не в силах ни при каких условиях реализовать свои (по определению — невыполнимые) обещания, созда

ет систему, которая, стремясь защитить себя, становится врагом свободы и уничтожает ее внутри себя. Так было бы много вернее. Но трудно было требовать от нас понимания этого факта в первой половине 40-х годов. На один эпитет (утопическая) ушло полжизни. А в те поры досталось от нас и Пастернаку и Франсу:

«Для просвещенного литератора XX века мысль о замкнутости цикла исторического развития недостаточно грамотна».

Хлестко, не правда ли? Избавил нас от неприятной необходимости дать тут же любимейшему поэту урок большевистской политграмоты сам Пастернак. Мы нашли спасительный выход и разрешение от всех сомнений в неотразимом «Спекторском» и буквально уцепились за спасательный круг одной строфы. Цитирую весь отрывок, как он сохранился в моих заметках:

«...Вот в этих-то журналах, стороной,
И стал встречаться я как бы в тумане
Со славою Марии Ильиной,
Снискавшей нам всемирное признание.
Она была в чести и на виду,
Но указания шли из страшной дали
И отсылали к старому труду,
Которого уже не обсуждали.
Скорей всего то был большой убор
Тем более дремучей, чем скупее
Показанной читателю в упор
Таинственной какой-то эпопеи,
Где, верно, все, что было слез и снов
И до крови кроил наш век-закройщик,
Простерлось красотой без катастроф
И стало правдой сроков без отсрочки».

(Выделено теперь. — Д. Ш., 1993)

И мы намертво уцепились за «правду сроков» и за «красоту с катастрофами». И не только мы. У Олеси в «Зависти» самый положительный и коммунистически безупречный молодой герой, Володя Макаров, говорит своему приемному отцу Андрею Бабичеву:

«...революция была... ну как? Конечно, очень жестокая. Хо! Но ради чего она злобствовала? Была она великодушна, верно? Добра была — для всего циферблата... Верно? Надо обижаться не в промежутке двух делений, а во всем круге циферблата... Тогда нет разницы между жестокостью и великодушием. Тогда есть одно: время. Железная, как говорится, логика истории. А история и время одно и то же: двойники... главным чувством человека должно быть понимание времени». (Выделено теперь. — Д. Ш., 1993)

Это ли не «правда сроков», то есть правда с отсрочкой, обусловленной «как говорится, железной логикой истории»? Это ли не «красота с катастрофами», которая обязательно станет в конце «циферблата» красотой без катастроф? Имелось у нас и еще одно подтверждение догадки о «правде сроков» — в тех строках Пастернака, которые я уже цитировала: «...за подвиг, если не за то, что дважды два не сразу сто». Не сразу, но все-таки в конце концов будет «сто»?

Вот как пересказ тех же иллюзий, но уже окончательно развенчанных, будет звучать (в тех же устах — моих) через двадцать пять лет:

«Невозможность прямого, открытого диспута долгие годы усугубляется еще и страхом повредить дискуссией, даже конспиративной, не себе, нет, а Великой Непогрешимой Идее, гипноз которой, осуществленный посредством лавинообразных потоков массивной, избыточной неправды и полуправды, обрушиваемых всю жизнь на каждого, преодолеть чрезвычайно трудно и не всем под силу.

Искренний и прозорливейший Пастернак восклицает: «И разве я не мерюсь пятилеткой, не падаю, не поднимаюсь с ней?»... И тут же кается

(перед собой, перед ближайшими, перед родиной и вечностью, а не перед властью): «Но как мне быть с моей грудной клеткой и с тем, что всякой косточки косней?» И делает самоуничтожительный, но логичный вывод: «Напрасно в дни великого Совета, где высшей страсти отданы места, оставлена вакансия поэта: она опасна, если не пуста!»

Маяковский, отдавший себя, казалось бы, безраздельно коммунистическому мессианству, пишет: «Хорошо у нас, в стране Советов: можно жить, работать можно дружно. Только вот поэтов, к сожалению, нету... Впрочем, может, это и не нужно?...» И как искренне он себя ни смирял, «становясь на горло собственной песне», в конце концов он убил эту непокорную песню, выстрелив в самого себя.

Для кого опасна «вакансия поэта», «если не пуста»? Кому не нужны настоящие поэты?! По-видимому, все той же Единственной, Великой и Непогрешимой Идее. И это противоестественное величие, которое боится пророческого дара поэзии, в глазах третьего поколения непрерывно уничтожаемых и самоуничтожающихся литераторов все еще продолжает оставаться величием!

Таков гипноз повторения одного и того же комплекса догматов в течение жизни трех поколений подданных диктатуры.

«Да, он наступил на горло собственной песне», — говорит К. Паустовский, и это ужасное, ничем не оправданное самоубийство духовное, предшествовавшее самоубийству физическому, Паустовский (а мы привыкли его любить: он тонкий лирик, он порядочный человек, он не карьерист — таково общее мнение) называет «подвигом поэтического самопожертвования ради блага своей страны и народа»!..

Мне тоже случалось защищать свою противоестественно слепую веру в утопию в неумелых юношеских стихах: «Но, ограждая высшие черты действительности, тягостной, как камень, мы зажимали собственные рты своими же горящими руками!» Но не будем забывать и того, что к любой степени убежденности примешивается в таких условиях и страх! Нормальная человеческая выносливость, нервная и физическая, не рассчитана на тоталитарные методы устрашения, подавления и мучительства человека. Убежденность под напором жизни уходит, а страх становится главным стимулом поведения.

Это говорит китайский писатель Го Можо: «Прошло более двадцати лет со дня опубликования «Выступлений на совещаниях по вопросам литературы и искусства в Яньани» председателя Мао. Я читал их много раз. Иногда на словах я могу говорить о необходимости служить рабочим, крестьянам и солдатам, о необходимости учиться у них. Но все это остается лишь на словах. Только говорить о марксизме-ленинизме, только писать о марксизме-ленинизме — это не значит работать по-настоящему, не значит претворять его на практике, не значит поступать согласно с указаниями председателя Мао, не значит овладеть идеями председателя Мао... Моя сегодняшняя речь — это выражение моего состояния... Я высказал то, что у меня на душе. Теперь я должен хорошо учиться у рабочих, крестьян и солдат, преклоняться перед ними как перед уважаемыми учителями. Хотя мне уже за 70, но у меня еще есть мужество и воля. Иными словами, если мне нужно повалиться в грязь, то я хочу это сделать, если мне нужно испачкаться мазутом, то я хочу это сделать. И даже если нужно будет обгадить тело кровью в случае нападения на нас американского империализма, то я также хочу бросить в американских империалистов несколько гранат. Таковы мои мысли. Сейчас нужно хорошо учиться у рабочих и крестьян, а если будет возможно, хорошо служить рабочим, крестьянам и солдатам».

От этой сбивчивой, задыхающейся скороговорки (президента Академии наук КНР!), от этого стариковского бормотанья веет смертельным страхом — перед застенком, перед толпой озверевших подростков-штурмовиков. А мы говорим иногда, что Оруэлл утрировал ситуацию. Заметьте: он предусмотрел ее для своей родной цивилизованной Англии, а не для черной Африки!..

А это — Юрий Олеша. Здесь как будто нет потери собственного достоинства: здесь все искренне. Но тем более страшно и горько... видеть,

как дар художника корчится на аутодафе, зажженном в его собственном мозге: «И вот сейчас возник вопрос, в который упираешься, что называется, лбом, — вопрос о перестройке, вопрос о приобретении ленинско-марксистского понимания жизни. Я хочу перестроиться.

Конечно, мне очень противно, чрезвычайно противно быть интеллигентом. Это слабость, от которой я хочу отказаться. Я хочу отказаться от всего, что во мне есть, и прежде всего от этой слабости. Я хочу свежей артериальной крови, и я ее найду. У меня поседели волосы рано, потому что я был слабым. И я мечтаю страстно, до воя, о силе, которая должна быть в художнике, которым я хочу быть».

Послушайте, может быть, это издевательство? Может быть, это чудовищный гротеск в форме авторского монолога? Ведь Олеша был таким тонким стилистом! Не будем обольщаться. Ниже — мольба о доверии, об отсрочке, о праве «перестраиваться» самостоятельно, по своему разумению: «Я, конечно, перестроюсь, но как у нас делается перестройка? Вырываются глаза у попучика и в пустые орбиты вставляются глаза пролетария. Сегодня — глаза Демьяна Бедного, завтра — глаза Афиногенова, и оказывается, глаза Афиногенова — с некоторым изъяном... Я сам найду путь, без кондуктора... Я себя считаю пролетарским писателем. Может быть, через тридцать лет меня будут читать как настоящего пролетарского писателя».

Бог миловал: через тридцать лет его начали читать снова — как незабываемого Олешу, «Зависть» которого так и осталась не панегириком номенклатурному «пролетарию», а горьким реквиемом российскому интеллигенту...

Было отчего умереть. Он не умер, убив себя, но большая часть того, что ему удалось опубликовать, изуродована авторским насилием над самим собой и цензурой, как ноги красавицы китайки — бинтами...

Потом появился самиздат, которого до второй половины 50-х годов почти не было. Но до нелегальности надо дозреть, решиться на нее, переступить через свою естественную законопослушность, через инстинкт самосохранения, не говоря уж о технической трудности нелегальных действий в условиях такой диктатуры. Пока же человек до нелегальности и — тем более — до открытого сопротивления не дозрел и борьба идет только внутри сознания, он подчинен диктатуре и разделяет ее деяния, активно или пассивно...»

Все эти и многие другие здесь не приведенные отрывки из произведений и высказываний советских писателей в моей книге «Наш новый мир. Теория. Эксперимент. Результат» (1968, 1972 — самиздат; 1981, 1986 — зарубежные издания) снабжены точными библиографическими ссылками. В упомянутой выше книге, разумеется, все куда более проработанно, чем в косноязычных и противоречивых юношеских заметках с их прямолинейным социологизмом. Но, во-первых, здесь продолжает развиваться та же тема. А во-вторых, была в тогдашнем нашем косноязычии ныне утраченная неподдельная свежесть — веяние наивности и непосредственности. Мы не резюмировали и не резонерствовали — мы жили.

Но мы еще и не позволяли себе додумывать до конца. Чаще же не умели додумать, не были в состоянии понять всей глубины и обоснованности сомнений, одолевавших наших любимых художников. Мы еще и поучали их большей цельности, большей последовательности в желании и готовности обмануться. Но до чего трудно было себя обманывать:

«Исследователь (то есть я. — *Д. Ш.*, 1993) оправдывает лицемерие догмы и пороки системы как единственную возможность оградить от внешней и внутренней враждебности, защитить и сделать жизнеспособным прогрессивный социально-экономический строй. Без сомнения, идеальная государственная система, отвечающая требованиям исследователя и выполняющая все обещания революции, под действием сил прямой враждебности и бессознательной инерции обречена была бы на славную смерть.

Исследователь успокаивается на том, что если главный социально-экономический сдвиг (уничтожение частной собственности) сохранен, то

все отклонения, сознательные и бессознательные, будут со временем выровнены. Возникает формула «правда сроков» («отсрочка правды»), возникает ссылка на историческую закономерность, на «весь циферблат», на «красоту с катастрофами».

На этом исследователь останавливается. Все то, чего он не смог оправдать, он относит за счет своей подозрительности и своей слепоты. Роль раскрывателей его формул оставлена следующему поколению (слава Богу: кое что успело сделать и наше. — *Д. Ш., 1993*).

Являясь, по сути дела, вопросом (как же осуществится «правда сроков?»), формула эта оставляет в создавшем ее художнике глухую тоску и неудовлетворенность. Пастернак о Кавказе:

И в эту красоту уставая
Глазами бравших край бригад,
Какую ощутил я зависть
К наглядности таких преград!
О, если б нам подобный случай,
И из времен, как сквозь туман,
На нас смотрел такой же кручей
Наш день, наш генеральный план!
Передо мною днем и ночью
Шагала бы его пята.
Он мял бы дождь моих пророчеств
Подошвой своего хребта. (Выделено теперь. — *Д. Ш., 1993*)
Ни с кем не надо было б грызться,
Не заподозренный никем,
Я, вместо жизни виршеписца,
Повел бы жизнь самих поэм».

А сразу же после стихов Пастернака посредине строки мною крупными буквами было написано: «ГАМЛЕТ?!»

Ума не приложу: как мне тогда мог привидеться сквозь все завесы собственной слепоты и времени поздний пастернаковский Гамлет («Гул затих. Я вышел на подмостки...»)? Такова, очевидно, магия пастернаковского стиха. Для меня нынешней это вопросительное восклицание оказалось полнейшей неожиданностью. А за Гамлетом следовало:

«О каких преградах идет здесь речь? О преградах, мешающих принятию окружающего или дающих поэту право сражаться с системой? Последнее — вряд ли. Скорее поэт ждет от преград не оправдания, а отклонения его пророчеств — тревожных пророчеств неблагополучия. Скорее всего поэт жаждет **наглядных преград**, разрушив которые можно было бы разом отбросить все не дающие ему покоя отступления от идеала и все компромиссы...

Маяковский, обрушиваясь на прямых врагов и на все то, «что в нас ушедшим рабым вбито», знал, кого обличать. **Прав он был в этом или не прав...** А Пастернак **вынужден тосковать о наглядности преград, которые дали бы ему одно из двух: уверенность в правоте его пророчеств или уверенность в правоте событий**» (Выделено теперь. — *Д. Ш., 1993*)

А после еще нескольких страниц с отрывками из стихотворений Пастернака и их разбором следует допущение, что:

«...любое изображение этих отрицательных черт в настоящее время было бы направлено не против более или менее эпизодических частных, враждебных системе, а против самой системы. Она же становится все более нетерпимой к любой критике, самой благонамеренной. К чему может формула «правды сроков» свестись теперь? Верить, повинувшись ей, что через некоторое время все искажения революционной правды, все отклонения от идеала, все несовершенства системы смогут быть ликвидированы ею самой и переболевшая самофальсификацией догма начнет соответствовать действительности? Если раскрыть эту формулу так, а не иначе и

отнести замедление ее осуществления за счет обстоятельств или воли умного руководителя — регулятора хода общественного развития, в таком случае остается только молчать и дать всему совершающемуся идти своим порядком.

Почему так? Потому что бороться против отдельных отрицательных частных уже бессмысленно, так как они давно перестали быть частностями...

Есть еще один выход: каждый да будет честен и добросовестен в исполнении своих служебных обязанностей, в партийном горении и в добывании хлеба насущного. Но политика малых дел споткнется о вездесущую фольклорную поговорку «блат выше Совнаркома» и превратится в пожизненную битву с ветряными мельницами (такую жизнь быстро укоротят, дружок. — *Д. Ш., 1993*).

Последний выход: жить так, как живут другие, исповедовать государственную идеологию и ждать, пока кто-то сильный, кто-то думающий за других найдет обстоятельства благоприятными и отменит несоответствия между догмой и истиной. И тогда получится, что лица, пришедшие к такому выводу, проявляют себя абсолютно так же, как сознательные карьеристы и божьи овцы, не подозревающие о возможности каких бы то ни было сомнений вообще. Кольцо замыкается.

Куда же исчезла из русской литературы ее традиционная критическая мысль, ее подлинная революционная направленность? Объяснить отсутствие критической мысли цензурными ограничениями невозможно: никакая цензура, никакой террор не могли подавить эту мысль на протяжении всего ее исторического развития (а когда она видела такую цензуру и такой террор, деточка? — *Д. Ш., 1993*).

Первое, что должно при этом вопросе прийти в голову постороннему читателю, это призвать к ответу автора настоящей статьи».

За этим, как мы знаем, дело не стало. Кстати, когда меня утром 14 июля 1944 года привезли для обыска из общежития на улице Калинина, 101 (я ночевала у так и не пришедшей домой Стеллы) на улицу Центральную, 17, мне предъявили ордер на арест и обыск. Взглянув на него, я сказала: «Понятно...» «Что понятно?» — спросил несколько ошарашенный капитан Михайлов (он присутствовал при аресте). «Не слушайте ее! — в ужасе закричала мама. — Она ни в чем не виновата, она не знает, что говорит!» А я добавила полуутвердительно-полувопросительно: «Это из-за моих тетрадей...» И аккуратно собрала все те листки, над которыми размышляю сейчас. Мне до сих пор кажется, что гражданин Михайлов был искренне озадачен видом преступника, торопящегося вручить следствию вещественные улики. Но я-то считала эти наброски доказательством честности своих намерений! Однако продолжим:

«Автор же на месте читателя обратился бы к себе самому с такими словами: «Судя по всему вами сказанному, вы считаете себя принадлежащим к разряду людей, которых принято называть «критически мыслящими личностями». Как вы реагируете на происходящее? Как понимаете происходящее те, от чьего имени вы говорите?» В том, как мы реагируем на происходящее, по этой статье разобраться нетрудно. Мы рассуждаем. Причем рассуждаем в достаточно ограниченном сообществе (весь университет и соседний мединститут — ст. 58, п/п 10-11 УК РСФСР. — *Д. Ш., 1993*). Как мы понимаем происходящее? Правильней было бы поставить вопрос иначе: почему мы не понимаем происходящего?..

Основа строя — общественная собственность на средства производства (самое страшное все еще принимается за самое ценное, и «общественное» представляется синонимом государственного. — *Д. Ш., 1993*) — сохранена... Вместе с тем отклонения вырастают в плоть системы, они воспитывают поколения, и отменить сверху даже те из них, которые были проведены сверху же, едва ли будет возможно через несколько лет.

В каком положении оказывается «критически мыслящая личность»?

Мешать срастанию, образованию защитного панциря системы — это значит подпиливать ножки стула, на котором сидишь... Но слишком часто шаг, увеличивающий самозащитную силу нового строя, является пре-

ступлением против того, что достигнуто ценой жизни и смерти многих героических поколений. Слишком часто система стремится защитить не столько возможность развития свои достижения, сколько себя самое со всеми своими пороками и несовершенствами, забывая о своем назначении. И опять-таки, несмотря на это, бороться с системой — бессмысленно: это единственная осуществимая в настоящий момент форма защиты нового социального строя от враждебных сил.

Наблюдать и ждать того момента, когда равновесие между положительным и отрицательным смыслом событий нарушится в пользу отрицательного? В таком случае какое имеет право эта «критически мыслящая личность» выносить свое мнение на широкое обсуждение в какой бы то ни было форме?..

Ну а если этот момент будет упущен?..»

Смысл вышеприведенных строк достаточно горек для двадцатилетнего человека, тем более что ответа на этот сакраментальный вопрос я в своих набросках не обнаружила. Все апологетические выводы наши если еще и встречались, то были уже наполовину самогипнозом.

5. «И творчество, и чудотворство»

В те времена не ведали о чуде.
Вещам, текущим зримою струей,
Пустых разгадок не искали люди:
Гром был рычаньем, молния — змеей.
И говорит преданий голос чистый,
Всех домыслов опровергая хлам,
Что наши предки были реалисты
И непредвзято верили глазам.

*Из ранних стихов автора,
конец 40-х годов.*

Мы все-таки совершили визит в общину, прихватив с собой любимых писателей. Мы взяли их с собой, для того чтобы они подтвердили, что в их лице мир возвращается в общину, но уже всеземную и навсегда. Чтобы они признали в себе гонцов из этой общины.

Несмотря на свое доверие к почти еще не читанным «первоисточникам», к советскому информационно-идеологическому муляжу, к селекционированной литературе Госиздата, мы все же решили познакомиться кое с чем лично и персонально. Если бы нас не арестовали так оперативно, мне не пришлось бы начинать чтение «первоисточников» наново ночами, при каганце, в глухом украинском сельце Князеве. Впрочем, первый том «Капитала» и часть второго я успела прочесть до ареста. Но мы тогда не спешили осваивать марксистскую классику. Как это было для нас тогдашних ни странно, мы решили начать не с «основоположников» и их признанных толкователей, а с немарксистов.

Сложилось так, что в алма-атинских библиотеках, кроме книг Энгельса (а начать мы хотели с изучения первобытного общества), нам удалось получить сочинения Моргана, Фрезера и Леви-Брюля. Все это было захватывающе интересно. Но более всего прочего (каждого с иной стороны) увлекло Валентина, Марка и меня «Первобытное мышление» Л. Леви-Брюля («Атеист». М. 1930; с предисловиями академиков Н. Я. Марра и В. К. Никольского). Но вот что странно: получив свои черновики 1939 — 1944 годов, я не обнаружила в них ни одного листка с именем Леви-Брюля. А писала я тогда о его книге очень много. По-видимому, все-таки многие страницы из моей доли «дела» были изъяты. Но без впечатлений от «Первобытного мышления» Леви-Брюля мои воспоминания о нашей умственной жизни той поры были бы существенно неполны. Более того: остался бы незавершенным и собственно «Мемуар о поэтах».

С известными трудностями мне удалось получить то же издание перевода труда Леви-Брюля на русский язык. Все, о чем будет рассказано ниже, кроме цитат из Леви-Брюля, явится, к сожалению, лишь очень тщательной реконструкцией давних размышлений, а не ими самими. При такой реконструкции не избежать не-

произвольной самокоррекции. Но я приложу все доступные мне усилия к тому, чтобы сохранить верность прошлому.

Итак, чем же нас потрясла книга Леви-Брюля, центральную концепцию которой Марр и Никольский в своих предисловиях к русскому переводу 1930 года называли рабочей гипотезой? Тем, что в наших глазах она явилась дополнительным авторитетным обоснованием нашей собственной «рабочей гипотезы». И подтверждение это пришло, как нам тогда виделось, с неожиданной и совершенно вне-идеологической стороны. И уж во всяком случае не по замыслу самого Леви-Брюля. Он в этой книге не соприкасался ни с русской поэзией, ни с марксистской социально-экономической формационной схемой.

Марк заинтересовался этой книгой в связи со своими занятиями лингвистикой и структурой логических операций, лежащих в основе языковых структур. Делиться читаемым было обыкновением всех наших дружб и романов. Марк был увлечен Леви-Брюлем, без конца о нем говорил — естественно, что книгу прочли мы все. Неожиданно для себя я усмотрела в «рабочей гипотезе» Леви-Брюля один из ключей к тайнам поэтики «субъективного реализма». Валентин только апробировал наши соображения. Как ни странно, выводы Леви-Брюля из его наблюдений над первобытным мышлением обернулись — в нашем истолковании — доказательством правоты трехстадиальной Схемы: от единства общинного — через многоплановую дифференциацию — к единству всемирному. Все ли в этой эйфории домислов и обобщений (что ни день, то «открытие») оказалось бредом? Я и сейчас думаю, что не все. Но выдержало проверку временем совсем не то, что нам представлялось главным. Об этом, однако, ниже.

Обратимся к пришедшей ко мне из безвозвратного прошлого книге. Над ее страницами я по сей день вижу горячие головы тех, кого уже нет и кто для меня хотя бы по этой причине уже никогда не изменится и не остынет. Поэтому остается дорогой и книга — именно в этом старом московском издании, которое мы читали вместе.

В одном существенном вопросе мы с Леви-Брюлем раз и навсегда не согласились. А для него, последовательного позитивиста, какими, впрочем, тогда были и мы все, кроме, может быть, Вальки, этот вопрос был фундаментальным. Правда, иногда его можно было свести к расхождению терминологическому. И Леви-Брюль порой противоречил в этом вопросе самому себе. Он (с оттенком некоторой снисходительности — то ли старшего к младшим, то ли юноши к старикам) называл первобытное мышление мистическим, то есть в его материалистическом понимании не основанным на реальном опыте, нарушающем принцип причинности. Мы с этим не соглашались. Мы видели в этом мышлении иное, чем наше, восприятие опыта и в противоположность Леви-Брюлю считали первобытное мышление сугубо реалистическим. На наш взгляд, первобытные люди целно, без тени сомнений и рефлексии верили своим непосредственным впечатлениям и ощущениям («...гром был рычаньем, молния — змеей»). Леви-Брюль сам давал нам пищу для этого вывода. Он очень ярко и доказательно говорит о первобытном восприятии мира, иллюстрируя свои умозаключения массой конкретных примеров. И мы обращались к этой конкретике снова и снова. Леви-Брюль говорит об

«общей основе тех мистических отношений, которые так часто улавливаются между существами и предметами первобытным сознанием. Есть один элемент, который всегда налицо в этих отношениях. Все они в разной форме и разной степени предполагают наличие «партиципации» (сопричастности) между существами или предметами, ассоциированными коллективным представлением. Вот почему за неимением лучшего термина я назову законом партиципации характерный принцип первобытного мышления, который управляет ассоциациями и связями представлений в первобытном сознании... Я сказал бы, что в коллективных представлениях первобытного мышления предметы, существа, явления могут быть непостижимым для нас образом одновременно и самими собой и чем-то иным. Не менее непостижимым образом они излучают и воспринимают силы, способности, качества, мистические действия, которые ощущаются вне их, не переставая пребывать в них.

Другими словами, для первобытного мышления противоположность между единичей и множеством, между тождественным и другим и т. д. не диктует обязательного отрицания одного из указанных терминов при

утверждении противоположного, и наоборот... Все это зависит от **партиципации (сопричастности)**, которая представляется первобытным человеком в самых разнообразных формах: в форме соприкосновения, мереноса симпатии, действия на расстоянии и т. д. ... Вот почему мышление первобытных людей может быть названо **пралогическим** с таким же правом, как и мистическим... Это мышление... не антилогично, оно также и не алогично. Называя его пралогическим, я только хочу сказать, что оно не стремится прежде всего, подобно нашему мышлению, избежать противоречия. Оно прежде всего подчинено **закону партиципации**. Ориентированное таким образом, оно отнюдь не имеет склонности без всякого основания впадать в противоречия (это сделало бы его совершенно нелепым для нас), однако оно и не думает о том, чтобы избежать противоречий. Чаще всего оно относится к ним с безразличием. Этим и объясняется то обстоятельство, что нам так трудно проследить ход этого мышления».

Многочратно возвращаясь к предлагаемым Леви-Брюлем примерам пралогического мышления, мы пришли к выводу, что оно вовсе не относилось безразлично к противоречиям. Напротив: если оно их обнаруживало, то страстно ими (противоречиями) потрясалось. Именно потрясалось и именно страстно, всем существом, а не только умственно озадачивалось. По свидетельствам многих исследователей, пралогический отклик не расслаивался на эмоцию и мысль, на впечатление и оценку. Точь-в-точь как в лирических образах Пастернака и Олеси, **чувство и мысль пребывали в синтезе** не только в миг восприятия, но и в отклике, в самовыражении воспринимающего сознания. И сколько ни разрежь этот итог (образ) скальпелем анализа, чувственно-умственный комплекс остается комплексом на любом срезе, сплав остается сплавом в любом измерении.

У нас сложилось стойкое впечатление, что пралогическое мышление не видело противоречия в том, в чем видели его Леви-Брюль и другие пришельцы из иной реальности. Иными словами, для пралогического мышления его реальность была непротиворечивой. В его вселенной — в мире всеобщей прямой и взаимной сопричастности всего всему — отношения, которые кажутся нам алогичными, мистическими и т. п., были естественны и наиболее ожидаемы (вероятны). Это мы, наблюдатели, называем мистикой (в иной фразеологии — чудом) то, что для него тривиально. «Попутно выясняется: на свете ни праха нет без пятнышка родства. Совместно с жизнью прижитые дети — двory и бабы, галки и дрова» (Борис Пастернак).

Мир первобытного сознания, как и сознания детского, не рассечен на несоизмеримые плоскости, пространства, аспекты, измерения. Ему неведомы категории и типы вещей и явлений, не способные между собой непосредственно взаимодействовать и общаться.

Леви-Брюль называет синтетические чувственно-умственные реакции-представления пралогического мышления коллективными. Это справедливо, думалось нам, только с некоторыми оговорками. Действительно, подобного рода пралогика свойственна всему первобытному сообществу (коллективу). Безусловно, в человеческом сознании живет и накапливается опыт предшествующих поколений. **Первобытное человечество просуществовало многократно дольше человечества культурно-исторического** и не могло не накопить массы **устойчивых представлений**. Однако эти же представления одновременно и глубоко субъективны, непредвзятые, непредуготовленны, нетенденциозны. Ибо, как уже было сказано, каждое конкретное соударение с фактом, с вещью, с «не-я», служащее одновременно и стимулом личного поведения, не подвергается анализу, отделяющему умственную оценку от чувства.

Вернемся к вопросу о реализме и мистике:

«Почему, например, какое-нибудь изображение, портрет является для первобытных людей совсем иной вещью, чем для нас? Чем объяснить то, что они приписывают им... мистические свойства? Очевидно, дело в том, что всякое изображение, всякая репродукция «сопричастны» природе, свойствам жизни оригинала... Первобытное мышление не видит никакой трудности в том, чтобы эта жизнь и эти свойства были присущи одновременно и оригиналу и изображению. В силу мистической связи между оригиналом и изображением, связи, подчиненной **закону партиципации (сопричастности)**, изображение одновременно и оригинал»

Леви-Брюль, по-видимому, отождествляет отношение первобытного человека к показанному ему исследователем портрету (или к собственноручному изображению существ, вещей и процессов) с отношением современного верующего к иконе или сакральной скульптуре. Между тем мы не увидели снова в поведении первобытного человека, описанном Леви-Брюлем, никакой мистики (то есть никакого ощущения чуда и надпричинности), а только доверие к своему непредвзятому первичному восприятию. Портрет только похож на оригинал? Это в наших глазах только похож. Мы знаем, что он только похож (наш религиозный современник верит, что икона не символизирует оригинал, а сопричастна ему, верит, а не знает). А в глазах первобытного человека портрет не только может, но и должен быть оригиналом, коль скоро наличествует в них столь потрясающая тождественность зримых черт. «Похож» и «тождествен» еще не отделены друг от друга. Не накопились эмпирические стимулы к их разделению. Зримое и есть для доверчивого «дикарского» и детского восприятия суть, реальность. Оно не «верует, потому что абсурдно», а видит и знает. Ощущение знания превращалось в веру, в мистику долго и медленно.

Перечитывая книгу теперь, я обнаружила (не помню, видели мы это тогда или нет), что Леви-Брюль говорит не о самых ранних типах мышления, а скорее о сознании, стоящем у истоков отвлеченных и обобщенных понятий, у истоков превращения непосредственных впечатлений в мифы. Возможно, что под давлением опыта, эмпирики естественная по исходному ощущению взаимосвязь всего сущего уже стала нуждаться в некоем дополнительном обосновании. Тут и могло зародиться чувство причинно-следственного противоречия и начать складываться предпонятие мистического, еще подсознательное. Возникла потребность в обрядовом действе, в котором

«сливаются живой индивид, предок, перевоплотившийся в нем, и растительный или животный вид, являющийся тотемом данной личности. Для нашего мышления здесь обязательно имеются налицо три отдельных реальности, как бы тесно ни было родство между ними. Для праологического же мышления индивид, предок и тотем образуют нечто единое, не теряя вместе с тем своей тройственности».

Нас, чьи дни были так же заполнены чтением, как и собственно жизнью, поразило постоянно встречающееся у Леви-Брюля выражение «понятие-образ» (то есть образ — он же и понятие, тезис, нечто не расчлененное и не могущее быть расчлененным на понятие и образ). Так, Леви-Брюль говорит о языках американских аборигенов:

«Все представлено в виде образов-понятий, то есть своего рода рисунками, где закреплены и обозначены мельчайшие особенности (а это верно не только в отношении естественных видов живых существ, но и в отношении всех предметов, каковы бы они ни были, в отношении всех движений, всех действий, всех состояний, всех свойств, выражаемых языком). Поэтому словарь этих первобытных языков должен отличаться таким богатством, о котором наши языки дают лишь весьма отдаленное представление. И действительно, это богатство вызвало удивление многих исследователей». (Далее следует великое множество разноязычных примеров.)

Разве термин «образ-понятие», да еще со специально оговоренной неповторимостью каждого такого «образа-понятия», не относим был без всякой натяжки к без конца повторяемым нами тогда стихам?

В образах и ассоциациях странно единого мира пастернаковской лирики дышала и первобытная свежесть, и рафинированная духовность. В сугубо личном возникало культурное свечение истекших тысячелетий и современности. И главное (мы были в этом совершенно уверены) — «в родстве со всем, что есть», в синтезме умственно-чувственного отклика угадывалось мироощущение завтрашнего единого мира. Именно они, почти отщепенцы, не включенные в школьные программы, а не трагический Маяковский, шагали там, далеко «впереди поэтовых арб». И не в декларациях и лозунгах, в которых можно и заблудиться и лгать, а бессознательно предощущая и предвосхищая завтрашний день. А оно не могло не быть прекрасным, наше единое всеземное завтра (пока я это пишу, догорает Суху-

ми). Из их неосознанной принадлежности будущему проистекает, так нам казалось, то жизнелюбие, которого мы не могли не чувствовать не только в ликующе-пантеистической неуязвимости Пастернака («Но вещи рвут с себя личину, теряют власть, роняют честь, когда у них есть петля причина, когда у ливня повод есть!»), но и в неистребимом наслаждении оплеванного, растоптанного Кавалерова своим всеокупающим умением видеть. В наших глазах это были свободные и великодушные люди завтрашней мировой общины.

Естественно, что из немногих упомянутых мною здесь наших тогдашних впечатлений от книги Леви-Брюля едва ли не самым разительным оказалось воздействие одного его замечания, высказанного им попутно и вскользь:

«...мышление социальной группы эволюционировало одновременно с ее институтами и ее отношениями к окружающим группам».

Эта мысль позволяла поставить наших любимых писателей на твердую, стабильную почву пусть не настоящего, а грядущего дня. «Дикари» мыслили так, как они мыслили, потому что община не знала никаких форм внутренней дифференциации, кроме половозрастных, воспринимавшихся естественно, как собственное дыхание. «Междукommунистическая стадия» разделила людей на классы, касты, страты и нации и расслоила их сознание своими бесчисленными антагонизмами. Она научила их абстрагировать и отделять типическое от частного, ввела в их умственный обиход понятия категорий, аспектов, измерений и несоизмеримостей. Но уже к середине XIX века прорезались в обществе контуры будущего всеединства. Соответственно — в нашем веке возникло в терминах различных наук обоснование единой подосновы всего сущего (субмикромир, тождество материи и энергии и т. д.). У нас было очень много об этом написано. Мышление, заключили мы, эволюционирует не одновременно с общественными институтами, а в предвкушении их неизбежной трансформации. Наши поэты воспринимают мир как единство сплошь с причастных друг другу вещей и явлений, неповторимых и равноправных, потому что предчувствуют восстановление утраченного единства. Это звучало не совсем по-марксистски, зато красиво. И, главное, в высшей степени утешительно.

Я не могу процитировать в этом очерке 370 с лишним страниц и листов своих юношеских заметок. Но видится мне в них предпонимание того преломления трагедий XX (только ли?) века в литературе (и шире — в искусстве), о котором российская литературная критика заговорила массово, «во весь голос», сегодня. Мы знали немногих писателей и уж совсем не знали литературоведческих теорий своего времени и серьезной литературной критики, не говоря уж о всевозможных философских этиках и эстетиках. Но, доверяясь десятку-другому всерьез освоенных нами писателей, мы почувствовали крушение прямолинейного оптимизма XVIII — XIX — XX веков. И не только на примере наших соотечественников, чей оптимизм крошился об утес утопии. Ремарк, Хемингуэй, Олдингтон кричали о том же. В девятом-десятом классах (1939 — 1940 годы) мы с Володей Гольденбергом, уподобляя себя Тони и Кате («Все люди — враги» — или «Вражда» — Р. Олдингтона), чувствовали, что нас вот-вот разлучит такой же шквал, как тот, что разлучил их. Через десять лет я писала: «— Вашему прошедшему много лет? — Очень много. — Дата? — Даты нет. Родились на одной земле Тони и Ката...» И мы понимали: герои Олдингтона, пройдя сквозь ад злости и унижений, растеряв все надежды, кроме своей любви, встретились и остались в конце концов на острове своей первой встречи. Им было хорошо, но им было горько. Мы предчувствовали, что человек, остающийся человеком, не может быть полноценно счастлив без более общего, высокого смысла жизни, чем только гармония двоих. Несколько позже, уже без Володи, который был на войне, мы сочли смерть Кэтрин, возлюбленной Фреда Генри («Прощай, оружие!» Хемингуэя), и пронзительную тоску их счастливейших предфинальных дней свидетельством той же невозможности счастья вне смысла, более жизнеупорного, менее хрупкого, чем одно только совершеннейшее одиночество вдвоем. С подачи Жени Пакуля мне открылись Пастернак и Олеша. И уже после исчезновения в смерчах войны Жени в моих тетрадях появились десятки заметок о том, что когда человек уходит от жестокого хаоса жизни к себе, в себя, в свое зрение и ощущение мира вещей и встреч (не в злобу, не в ненависть, не в замкнутую на себя пустоту), он неизбежно входит в какую-то гармонию, в какое-то единство, более высокое и универсальное, чем оглушивший и обезоруживший его хаос.

Мы не знали ни тогдашних, ни тем более сегодняшних терминов. Но мы чувствовали (и я перечитываю свидетельства этому), что не авангардизм какого бы то ни было толка, а некий **сверхреализм** (у нас — то «импрессионистский», то «субъективный», то просто «новый»; у нынешних критиков — «постреализм») даст искусству возможность выжить. И внутри себя и среди людей. И что именно он, этот — как угодно его назовите — реализм, нащупывает в хаосе спасительные духовно-бытийные координаты, которые пытается растворить в своем испуге и мазохизме капитуляция перед хаосом, от чего бы она ни отправлялась. Наши «субъективные реалисты», во-первых, ощущают огромность мира как утешение (по-видимому, себе в рост), а не как источник самоуничтожения, раздвоенности. Во-вторых, они чувствуют сквозь бессмыслицу жизни гармонию этой огромности. В-третьих, ужас истории не отождествлен ими с ужасом бытия. В-четвертых, он не только не убедил их в бессмысленности высших императивов, но скорее наоборот: доказал им, что выйти из ужаса и не раствориться в хаосе можно, только не отрывая душевного взора от этих ориентиров. Или не выйти — но тем не менее следуя их закону. Почему — необъяснимо: такова органика высоких душ.

Те же, кого именуют то детьми зла, то постмодернистами и т. п., раздавлены даже не ужасом истории и не хаосом бытия, а грязью, тяжестью, бессмыслицей быта. Они потеряли пропорцию. Плотность бессмысленности, грязи и зла в некоем повествовательном объеме у них существенно выше нормы. Причем нормы не только высоких душ, воспринимающих как некое личностное начало гармонию вселенной (у Пастернака: «...входили с сердца замираньем в бассейн Вселенной, стан свой любящий обдать и оглушить мирами»), но и просто обычного человека. Расхожий «постмодернизм» перенимает модель мировой mass-media: стрессообразующее «рекламное» уплотнение ужаса по сравнению с его истинной плотностью в мире.

«Чернушник» — столько же «цветок зла», сколько и дитя страха. И совсем не случайно ярчайшие из тех, кого именуют постмодернистами, невольно выходят на стезю «постреалистов»: талант нащупывает истинное соотношение смысла и хаоса в бытии; зоркое зрение улавливает мерцание вечных ориентиров; рука, ведомая здоровым инстинктом, подсознательно отыскивает поручни сострадания (не только «себе единственному») и поиска. Замечу вскользь: это относится к Шаламову не в меньшей мере, чем к Петрушевской. Те, кто верит самооценке Шаламова, ошибаются, как и он сам: в совокупности его стихов и книг — свет и во тьме светит. Непонятно — откуда, неведомо — как, но брезжит.

Постоянно к этому возвращаясь, я все старалась сообразить: куда же могли попасть мои беспрестанные письменные раздумья начала 1944 года о трехстадиальной диалектике социального космоса и миропонимания человечества, если не в мое «дело»? И вдруг в разговоре о выплывших из водоворота минувшего тетрадах я вспомнила. Сначала я увидела сами записи, бумагу, буквы, более четкие и крупные, чем обычно. Чистовик, а не черновик. Потом отчетливо возникло в памяти предназначение этого чистовика. Мы — Марк, Валюша и я — собирались переводиться в ЛИФЛИ (Валька оставался на физмате КазГУ, при своем учителе профессоре Выгодском). Валюша и Марик учились на английском отделении, и я не помню, что их влекло в ЛИФЛИ. Возможно, я путаю и речь шла о ленинградском Инязе или университете. Но меня привлекал именно ЛИФЛИ, хотя я так толком и не решила, какой из трех его факультетов: философии, литературы, истории?

Мы послали в Ленинград документы и заявления. К своим я и присовокупила рукопись. В ней не было размышлений об отношении Пастернака, Маяковского, Багрицкого (и моем) к Октябрьской революции. Это было подобие реферата о трехстадиальной эволюции человечества: от множества замкнутых дискретных общин — через цепь формационных переходов — к мировому единству. А от эволюции базиса проецировалась эволюция надстройки. Воссоздавался единый пралогический мир сопричастности всего всему. Затем по мере расслоения общества возникал разделенный на несоизмеримые, неслиянные сферы и плоскости мир средневекового сознания, его устойчивых, жестких, «вечных» классификаций. Потом эта статика начинала струиться эволюционными потоками и переходами из одного состояния и бытия в другое. И наконец в науке на ее языках, в искусстве через его непостижимые ходы прорезывался образ единого, по-новому единого мира.

После суда нам дали короткое свидание с матерями. Мама показала мне вызов из ЛИФЛИ — на 1944/45 учебный год.

Говорят, что в 1948 году там было крупное студенческое «дело» с десятилетними сроками в особлагах. Так что мои пять лет в «мягкой» Алма-Атинской области можно считать большой удачей.

На папках приемных комиссий вузов нет черного грифа (большими печатными буквами) «ХРАНИТЬ ВЕЧНО». Мировоззренческая фантазмагория, чуть было не переселившая меня в Ленинград (я его так никогда и не увидела), не сохранилась.

Прошли десятилетия, и то, что казалось нам главным, скукожилось и опало, как убитая заморозками завязь. А оговорки, сомнения и второстепенные соображения, которых в этой реконструкции нет, налились жизнью. Не исключено, что одной из таких догадок было обнаружение чего-то родственного в тайнстве возникновения первобытных, детских и поэтических образов мира. Ведь Пастернак и сам постоянно возвращается к тождеству детского и поэтического мироощущения. И в стихах, и в «Охранной грамоте», и «Детстве Люверс». А что есть пралогическое мышление как не детство разума?

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

НА ВЫХОДЕ ИЗ УТОПИИ

Наверно, вы не дрогнете,
Сметая человека.
Что ж, мученики догмата,
Вы тоже — жертвы века.

Б. Пастернак.

Начав диалог со своим полувековой давности прошлым, я решила не расширять этих воспоминаний за пределы листков, сохраненных моими тюремщиками. Но не раз и не два я уходила в черновики за эти первоначально намеченные пределы. Ведь за исключением десятка-другого страничек все, что ко мне вернулось, относится лишь к 1939 — 1944 (до 14 июля) годам, а прожиты 1923 — 1993 годы. Кроме того, тетради, изъятые при обыске и аресте, вмещают лишь малую толику пережитого и за эти пять лет (1939 — 1944). В них нет большинства тех, чья дружба и любовь, чьи письма, чья жизнь и смерть составили мою жизнь, мою судьбу. В них почти нет событий, кроме духовных. Я попыталась избавиться от этой узости. Но оказалось, что в таком случае в мой архив врывается другая книга, подчиняя меня другой задаче, другой иерархии воспоминаний. После многих раздумий, попыток и вариантов я решила, что полустанок должен остаться полустанком. Я не смогу сосредоточиться на нем и на его особости в моей жизни, если позволю себе войти в поток и двигаться в нем как его частица. Поэтому я откладываю в сторону уже написанные страницы другой книги и остаюсь в пределах изъятых при обыске листков.

Предупреждаю возможный вопрос: почему я думаю, что полувековой давности раздумья нескольких очень молодых тогда людей заслуживают внимания их нынешних современников, погруженных в совсем иные заботы? Потому, думается мне, что я, единственная дожившая до настоящего времени из троих однодельцев, не видела этих записок полвека и смотрю на них словно впервые — глазами человека 90-х годов. С его позиций я вижу в них кое-что небесполезное и небезынтересное. Мы ведь часто спрашиваем себя: как мы могли это допустить? неужели мы ничего не видели? Иногда спрашивают об этом нас, и тогда местоимение первого лица заменяется местоимением второго лица и глагол тоже меняет лицо... Автор обретенных мною записок говорит на неоткорректированном языке того времени. Имеет смысл взглянуть, как это могло получиться и что понимали тогда искренние приверженцы утопии.

Я думаю, что тематически ограниченный диалог между мной и моей юностью — это и есть тот жанр, который М. Чудакова определила как идеологическую биографию. И я согласна с ней в признании за жанром идеологической автобиографии немаловажности нашего времени. Конечно, один сюжетный узел с несколькими входящими и выходящими из него обрывками нитей всей мировоззренческой эволюции человека мой пет вместить не может. В данный очерк не

вошел, например, парадоксальный эпизод моего вступления в КПСС в 1957 году и исключения из нее в 1968-м (см. упомянутые выше «Тетрадь на столе» и «Моя школа», 1979 — 1990). Но все-таки какую-то долю света на «идеологическую биографию» детей утопии мои заметки с их неправленным языком прольют. И это, осмелюсь предположить, важно, ибо люди и много старше и много моложе меня, и притом не самые худшие, ходили какую-то часть своей жизни в детях и пасынках утопии, а не только в лицедеях своекорыстия и жертвах страха.

Имеет смысл поразмышлять над тем, что двигало нами внутренне, когда мы принимали за освобождение (или за историческую неизбежность на верном пути) все более тугую петлю на собственных шеях и на миллионах шей. Мы ведь не относились ни к бездумным, ни к приспособленцам. Правда, мы не принадлежали и к тем, кому посчастливилось (да, именно посчастливилось, а не просто повезло) быть умными, чуткими и зоркими изначально. Сегодня я таких людей знаю, тогда — не видела. Мы казались себе пределом инакомыслия. Вероятно, более трезвые и дальновидные перед нами, неосторожными и наивными, не открывались. И правильно делали.

Не поздно ли вглядываться в лабиринты прошлого? Пока глаза видят — не поздно.

При перечитывании моих заметок я вдруг отчетливо, как никогда ранее, увидела одну из главных причин наших духовных метаний из крайности в крайность. Не буду вдаваться в глубинные основы нравственной жизни своих родителей: мой отец умер, когда мне исполнилось десять лет (умер, чтобы не стать осведомителем), а мать не скоро открылась мне полностью. Но вот, на мой взгляд, одна из первопричин вышеозначенных метаний: правоту и неправоту, добро и зло мы взвешивали лишь на своих ладонях, потому что иных весов, непогрешимых и безотносительных, у нас не было. Я человек внеконфессиональный. Кроме того, жизнь отучила меня употреблять высшие слова всуе. Но сегодня я знаю: если «убей» и «солги» Багрицкого или «мы будем кастетом роиться у мира в черепе» Маяковского не были нами восприняты ни на грош всерьез, а «за всех расплачусь — за всех расплачусь» (Маяковского же) впечаталось в сознание навсегда, то лишь по следующей, я полагаю, причине. Наши родители выросли и сформировались в среде, в которой вера в безотносительность десяти заповедей была еще органической основой личности. Они знали, что идеала достичь нельзя, но для них еще невозможно было себя и других этой мерой не мерить. Нам они передали эту безотносительность как, с одной стороны, бытовую, этический, а с другой — подсознательно духовный императив. В семьях наших друзей-неевреев столь же органически и бессознательно еще бытовали христианские нравственные координаты. Они не помнились — они ощущались. Как совесть и честность. Но когда вмешивалась идеология, когда «польза» начинала отгеснять истину, когда «цель» выдавала индульгенции любым средствам — тогда «ум», «знание», «идея» заглушали органическую ноту совести. «Абстрактное» человеколюбие, «всеядная» жалость побивались «бульжником — оружием пролетариата». Однако тут же на пути у каменный, побивающих жалость и совесть, вставала, помимо родительского начала, еще одна стена — книги. Слава Богу, мы читали хорошие книги, классику, русскую и переводную. Книги, театр дарили нам то же прогивоядие — защиту от нравственной внеположности утопии, — что и наши семьи.

Как это ни странно, я усматриваю прямую связь между своими записками 1939 — 1944 годов и уличным иступлением ветеранов и участниц маршей «пустых кастрюль» годов 90-х. Конечно, они меня на первой же моей фразе послали бы в лучшем случае в Израиль, куда я давно и предупредительно переселилась. Но вот парадокс: я-то прошла большую часть своей жизни их дорогой и пренебречь этим не могу.

Записки эти начала писать советская школьница из потерявшей кормильца и очень стесненной в средствах семьи. Студенткой стационара я была всего один год — в Харькове. В Алма-Ате я училась еще два года (одновременно работая), а потом — тюрьма. Лагерь, село, алкоголизм первого мужа. Болезни, ребенка и свои. Сельское учительство с заочной учебой. Колхозные повинности, как для всех сельских служащих. Огород, хозяйство. Все удобства минимум за пятьдесят метров от дома, вода еще дальше. Массовые больницы и тубдиспансеры. По возвращении в город — низкие вклады, низкие пенсии в семье. Покупка самых необходимых вещей в кредит, бесконечные долги «до полочки». Вплоть до эмиграции — со вторым мужем, детьми и внуком — под угрозой второго ареста. Обретение в Израиле вто-

рого отечества было для нас щедрым и неожиданным подарком судьбы. Но не отдалилось и первое — для старшего поколения.

Итак, ветераны и женщины с пустыми кастрюлями были по уровню жизни и сословному этажу в течение долгих лет людьми моего социального слоя. Однако сродство мое с ними не только в многолетней общности быта, мирного (был ли он мирным?) и военного. Оно и в тех миражах, из-за которых они уже не только орут и колотят в кастрюли, но и дерутся. Вглядитесь в мои записки — и вы увидите одновременно и их перекошенные злым отчаянием лица, и мои нынешние книги. Прочитайте мемуары кристально чистого человека Петра Григорьевича Григоренко — и вы удивитесь тому, как медленно он шел к решению подвергнуть сомнению и анализу не только отталкивающую действительность, но и «великую эпоху», и учение, лежащее в ее основании. Поворотом в его и моей судьбе стало решение идти навстречу сомнениям, а не убежать от них. Проверять любые слова и цели, невзирая на их святость. Но ветераны и воительницы из уличных толп и пикетов не люди умственного труда и не обучены чтению ради осмысления жизни. Да и многие ли из них располагают инструментарием и установкой на такое пиршество духа, как последовательное размышление? Всегда и всюду — немногие, а в мучительной жизни «больших зон» XX века — лишь редкие исключения из правил. Некоторым из нас удалось сосредоточиться на честном, чего бы это ни стоило, поиске. Им — нет. Но и отключиться от происходящего они не смогли. И потому теперь ищут психологической, эмоциональной компенсации и релаксации под знаменами разномастных провокаторов, которые ищут и находят их. А мы пишем статьи и книги, которых они не читают. Мы не говорим на их языке. Мы к ним не обращаемся.

Все сказанное выше не означает, что орущая толпа под чудовищными лозунгами и морем красного не вызывает ужаса и отвращения. Пока это писалось, мы повидали ее вооруженной камнями и заточками, а «детей зла» — и среди убивающих в октябре 1993 года. Даже тут, сидя у телеэкрана в своей тихой комнате, за тысячи километров от этой толпы и от затянутых в черную и пятнистую кожу боевиков, я чувствую, что они движутся на меня, на моих близких. Но я не могу избавиться от мысли и ощущения, что это мы, образованные люди XX века, позволили и продолжаем позволять сводить их с ума.

И еще одно соображение по поводу того, стоило ли ворошить прошлое. Может быть, кому-нибудь мои записки и скажут: нет, образованные и необразованные братья совки, мы не были и в самые страшные времена бездумными, запуганными животными. Оборотень блазнил нас не своими клыками, а маской поскюстороннего спасителя всего человечества, миражем всеобщего свободного благоденствия и братства там, в конце. И великие были соблазнены так же, как малые. Нынче же оборотень клыков не прячет: он откровенен, как был откровенен нацизм. Сегодня он соблазняет цинично и нагло — «днем открытых убийств» (Ю. Даниэль). И если слабое оправдание — не увидеть клыков под маской, не распознать зверя по поведению, то чем же, идя за ним, можно оправдаться теперь?

**Читайте в следующем номере
воспоминания крестьянина Павла Зайцева
«Записки пойменного жителя»**

Вступительное слово Юрия Кублановского

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

АЛЕКСАНДР КУШНЕР

*

СРЕДЬ ДЕТЕЙ НИЧТОЖНЫХ МИРА

Заметки на полях

ОТ И ДО

В 1993 году исполнилось 190 лет со дня рождения Федора Тютчева. Дата не очень круглая, зато в ней бряцает медь: звонкое «д» делает этот промежуточный юбилей значительным и каким-то одически-бодрящим. «Фонетика — служанка серафима», и когда речь заходит о поэте, к ней следует прислушаться. Может быть, в 2003 году мы не обратим на это «д» никакого внимания и, говоря о Тютчеве, пренебрежем «задорной» стороной его наследия ради куда более важных, истинно тютчевских «сердечных глубин». Но сегодня, в связи с происходящими событиями, обратим, возможно, в последний раз свой взор на то, что от него услышать нам странно и даже дико:

...Семь внутренних морей и семь великих рек..
От Нила до Невы, от Эльбы до Китая,
От Волги по Евфрат, от Ганга до Дуная...
Вот царство русское... и не прейдет век,
Как то провидел Дух и Даниил предрек.

Ну как? Звонкое «д» слышно? Неужели эти стихи написал мечтавший «вкусить уничтоженья» Тютчев? Может быть, дерзавший подняться «выше пирамид», взлететь диким «лебедем» Державин? Помните: «С Курильских островов до Буга, / От Белых до Каспийских вод...»?

Вопрос некорректен, потому что вместо Тютчева можно подставить и Ломоносова, и Хераскова, и В. Петрова, и Пушкина, и даже Жуковского, который «голубя не обидит».

«До Стамбула русский гром / Был доброшен по Балкану» — так распаялся кроткий Василий Андреевич, когда дело доходило до наших побед и просторов, и не в XVIII веке, а в 1839 году! Тут ему нередко изменял поэтический слух, но зато никогда не изменяло патриотическое чувство:

...Если царь велит отдать
Жизнь за общую нам мать.

Курсив В. А. Жуковского. Как видим, он и в пятьдесят шесть лет готов был примерить на свой плотный сугубо штатский стан ратные доспехи!

Интересно, написал бы Жуковский эти стихи, если бы за восемь лет до этого, в 1831 году, прочел о себе и Пушкине дневниковую запись Вяземского, назвавшего его «Русскую песнь на взятие Варшавы» и пушкинское стихотворение «Клеветникам России» «шинельными стихами»? «Мне также уже надоели эти географические фанфаронады наши: от Перми до Тавриды и проч. Что же тут хорошего, чем радоваться и чем хвастаться, что мы лежим врястяжку, что у нас от мысли до мысли пять тысяч верст...» (разрядка Вяземского).

Наверное, все равно бы написал, так сильно была эта не только идеологическая, но и поэтическая традиция. Во всяком случае, Тютчев свою «Русскую геогра-

фию», из которой я процитировал вначале вторую строфу, писал еще позже — не то в 1848, не то в 1849 году. «От Нила до Невы, от Эльбы до Китая, / От Волги по Евфрат, от Ганга до Дуная...» — мало ему было «лежать враспяжку», хотелось распластаться так, чтобы дотянуться до Индии и Египта.

Это казалось вполне осуществимым, о том же за сто лет до него мечтал Ломоносов: «...чтоб Хины, Инды и Яппоны / Подверглись под твои законы» (ода на восшествие на престол императора Петра Федоровича, 1761).

Впрочем, «яппоны» Ломоносова — это скорее всего одическое преувеличение. А Тютчев не воспевает — он пророчествует, ссылаясь на библейское предсказание пророка Даниила о царстве, которое «овеки не разрушится». Не мог спокойно спать Федор Иванович, пока Россия не выйдет на Босфор, не завладеет Константинополем; писал он об этом с удивительным постоянством и в 1829-м («...Стамбул исходит — Константинополь воскресает вновь...»), и в 1848-м («Москва и град Петров, и Константинов град — / Вот царства русского заветные столицы...»), и в 1850-м («Не в Петербурге, не в Москве, / А в Киеве и в Цареграде...»), и в 1854-м, накануне поражения России в Крымской войне:

Дни настают борьбы и торжества,
Достигнет Русь завещанных границ,
И будет старая Москва
Новейшею из трех ее столиц.

(«Спиритистическое предсказание»)

Увы, судьба едва ли не всех поэтических пророчеств, тем более «спиритистических предсказаний», печальна: сбыться им не суждено. Пушкин, например, и не пророчествовал, а его «Пророк», сбивший всех с толку и так прославленный Достоевским, — замечательная библейская стилизация. Собственный голос Пушкина все-таки иной, чтобы услышать его, достаточно вспомнить написанное, может быть, за день до «Пророка» и на соседнем листе бумаги «Признание»: «...Сказать ли вам мое несчастье, / Мою ревнивую печаль, / Когда гулять, порой в ненастье, / Вы собираетесь вдаль? / И ваши слезы в одиночку, / И речи в уголку вдвоем...» Не только пророчество, здесь нет и никакого раскаленного глагола — есть живая, человеческая, естественная речь, что и было главным пушкинским достижением и открытием. Разумеется, не только «домашняя», но и «величая», «торжественная» интонация свойственна этому голосу, вот только в позу пророка обладатель этого голоса почти никогда не становился. А некоторые так и думают, что это Пушкин был «томим» «духовной жаждой» и пусть иносказательно, а все-таки «влчился» «в пустыне мрачной», пока не встретил шестикрылого серафима. Ничего себе «пустыня», если в ней только что были написаны «Признание» и «Под небом голубым страны своей родной...» да еще шла работа над «Евгением Онегиным»!

Очень многие лишь притворяются, что любят стихи; на самом деле они вовсе не уверены в необходимости рифмованной речи; тогда и подыскивается какое-то оправдание для ее существования в этом мире, например пророчество. Вот если поэт — пророк, тогда стихи нужны, тогда другое дело.

Тютчев пророчествовал в своих статьях, письмах и политических стихах, противореча собственному остроумному высказыванию о том, что «стихи никогда не доказывали ничего другого, кроме большего или меньшего таланта их сочинителя». Не доказывали и не предсказывали.

Тем не менее он и после поражения России в Крымской войне, правда не сразу, а лет через десять, вернулся к прежней теме. «Молчит сомнительно Восток, / Повсюду чуткое молчанье... / Что это? Сон или ожиданье, / И близок день или далекий? / Чуть-чуть белеет темя гор, / Еще в тумане лес и доли...» Можно подумать, что это просто так называемая «пейзажная лирика», но слово «Восток» недаром написано с прописной буквы, а во второй строфе «полоса», разгоревшаяся на небе и превращающаяся в «благовест всемирный победных солнечных лучей», вот-вот должна известить «о политическом и национальном возрождении восточных славян», как совершенно справедливо объясняет исследователь эту простодушную аллегория. Это 1865 год, а в 1867-м написаны два стихотворения с одинаковым названием «Славянам», одно скучнее другого, да во втором еще зарифмована та великая, та бессмертная, та незабвенная формулировка, что преследует нас всю жизнь, сколько себя помним, только у Тютчева она несколько подмочена неверным геометрическим представлением:

..Ужасно та стена упруга,
Хоть и гранитная скала, —
Шестую часть земного круга
Она давно уж обошла...

Все-таки нас учили точнее: не круга, а суши, суши! Один современный критик, большой ценитель поэзии, с горечью сетует в своих статьях на недопонимание и несправедливое отношение потомков к тютчевским политическим стихам. Очень хотелось бы услышать в его чтении эту строфу: как он прочтет «Ужасно та стена упруга»? Подозрительная, не правда ли, какая-то «русскоязычная» интонация...

Боже мой, как странно видеть рядом с этими «Славянами», на той же странице, написанное тем же четырехстопным ямбом горчайшее тютчевское шестистишие:

Как ни тяжел последний час —
Та непонятная для нас
Истома смертного страданья, —
Но для души еще страшней
Следить, как вымирают в ней
Все лучшие воспоминанья...

Достаточно. Не стану здесь разбирать ни «Современное» («Флаги веют на Босфоре...»), ни «Два единства», ни другие «идейные» стихи Тютчева, которые он писал до самой смерти. Да что, он и на смертном одре, уже после того, как священник прочитал над ним отходную молитву, умудрился спросить: «Какие получены подробности о взятии Хивы?»

15 июля 1873 года, на пороге своего семидесятилетия, Тютчев умер, поэтому в одном и том же году мы можем отметить два юбилея: 190 лет со дня рождения, 120 лет со дня смерти.

Тютчев — мой любимый поэт. И то, что я пишу здесь о нем, продиктовано любовью. Самые горькие ссоры и самые крупные споры у нас с теми, кто нам дороже всех. Особенно когда в самих себе мы находим те же печальные изъяны, что и в любимом поэте. «От Москвы до самых до окраин, с южных гор до северных морей...» Под эту песню мы (говоря о своем поколении) родились; только слишком бодрый, маршеподобный ритм мешает мне назвать ее нашей колыбельной. Что касается слов, то, честное слово, они ничем не уступают тютчевской политической лирике.

Всю жизнь я мечтал пожить «...в маленькой стране, где варят лучший сыр и видит мельницу в окне мгновенный пассажир»; всю жизнь, и даже сегодня, побывав уже и в Голландии, и в Бельгии, не могу представить своей жизни там: «Но нам среди больших пространств, / Где рядом день и мрак, / Волшебных этих постоянств / Не вынести б никак».

Мы стоим на огромной льдине, давшей сразу несколько трещин: обломился северо-запад, отъехала не только Молдавия, но и Украина, Белоруссия, даже Крым, искрошился Кавказ, отвалилась вся Средняя Азия, уже и посреди России, на Волге, вырисовывается нечто странное вроде полыньи или проруби. Не нравится мне это сравнение в духе соцреалистической прозы; Тютчев, несомненно, нашел бы другую, не такую затасканную метафору. Как пережил бы он этот крах? Как перенес бы он развал Югославии, распад Чехословакии, он, призывавший: «Славянский мир, сомкнись тесней...»?

А может быть, нельзя задавать такого вопроса? Нельзя потому, что тогда нам пришлось бы спросить: как пережил бы он Октябрьскую революцию? коллективизацию? аресты? расстрелы? и все остальное?

Тютчевские политические стихи — бог с ними! Чем они хуже, тем лучше, потому что блоковские «Скифы», например, чем лучше, тем хуже.

Увы, что нашего незнанья
И беспомощней, и грустней?

Вот прекрасные стихи, останавливающиеся перед «бездной двух или трех дней», не смеющие заглянуть за непроницаемую завесу, доверяющие тайне жизни и смерти больше, чем рассудочным расчетам и безрассудным пророчествам.

А хорошо бы дожить до 200-летнего тютчевского юбилея! Во-первых, хорошо вообще дожить. Во-вторых, если будет юбилей, пусть с конференциями, пусть с докладами на тему «Соотнесенность оторванной пуговицы на сюртуке Тютчева с его любовной лирикой 50-х годов» или «Роль глухих согласных «т» и «ч» в поэзии Тютчева» — значит, не все пошло ко дну во время великого таяния льда и снега. Будут стихи — будет и Россия.

СРЕДЬ ДЕТЕЙ НИЧТОЖНЫХ МИРА

Читавшие роман Пруста помнят великолепные страницы, посвященные сонате фа-диез Вентейля — сонате, изображенной как живое существо, настолько живое, что Сван, герой романа, захваченный ее обаянием и прелестью, страдал от мысли, что она, так много говорившая его сердцу, не знала его и женщину, которую он любил. Музыка была слишком хороша, чтобы он мог поверить, что старый музыкант из Комбре Вентейль, которого он знал, — автор этой сонаты.

«— Может быть, это он и есть! — воскликнула г-жа Вердюрен.

— О нет! — со смехом ответил Сван. — Если бы вы только взглянули на него, вы бы не задали мне такого вопроса. <...>

— Может быть, это его родственник, — продолжал Сван. — Печально, конечно, хотя, впрочем, может же гений доводиться двоюродным братом старому дураку...»

Еще бы! Как же может быть гением заурядный человек, стеснительный и одинокий, спешивший при появлении гостей поставить ноты на попиптр — так ему хотелось, чтобы его попросили сыграть что-нибудь, но тут же поспешно убиравший ноты, чтобы гости не подумали, что он им рад только потому, что это дает ему возможность сыграть свою вещь. Как может быть гениальным человек, всегда ставивший себя на место других, переводивший разговор на другие темы «именно потому, что они меньше его интересовали»?

Эта оплошность Свана, это недоразумение так простительно, так понятно, а главное, так печально — ведь в трудную для себя минуту Сван в приливе жалости и нежности обращается мыслью именно к Вентейлю, «неведомому брату с возвышенной душой, который тоже, наверно, много страдал. Как он жил? Из глубины какого горя почерпнул он эту божественную силу, эту безграничную творческую мощь?».

Всем нам свойственно рисовать великого человека яркими анилиновыми красками, мы не можем себе представить, что он способен давать уроки музыки, страдать из-за дурного поведения дочери-подростка, говорить пустяки. Знаменитые пушкинские стихи «Пока не требует поэта...» прочитаны нами, но не поняты.

Между тем вот что пишет Вяземский о Баратынском в своем дневнике: «Баратынский никогда не бывал пропагандистом слова. Он, может быть, был слишком ленив для подобной деятельности, а во всяком случае, слишком скромнен и сосредоточен в себе. Едва ли можно было встретить человека умнее его, но ум его не выбивался наружу с шумом и обилием. Нужно было допрашивать, так сказать, буровить, этот подспудный родник, чтобы добыть из него чистую и светлую струю. Но зато попытка и труд бывали богато вознаграждены...»

И еще Вяземский отмечает его «пленительную мягкость в обращении и в сношениях, некоторую застенчивость при уме самобытном, твердо и резко определенном».

А может быть, гениальный человек — это и есть мягкий человек вопреки распространенному мнению, склонному воображать, особенно в нашем «жестоком» веке, гения твердокаменным и негибачимым, на манер тех памятников, что ставятся этим ранним и неуверенным в себе людям после их смерти?

Мягкость — сестра таланта, — скажем, перефразировав Чехова, то есть человечность, отходчивость, впечатлительность, доверчивость, отзывчивость (о, не всемирная, а самая что ни на есть будничная, непосредственно-живая), а без этих свойств великий человек и не сделал бы того, что он сделал, — не надо путать художника с «пламенным революционером».

Те, кто сомневается, пусть внимательно взглянут в автопортреты Рембрандта, и если не поймут, о чем идет речь, им уже ничем не помочь.

Эта «скромность», «застенчивость», «сосредоточенность в себе», о которой вспоминает Вяземский, пленительно проявляется в стихах Баратынского, в сли-

чие от множества его собратьев по перу не только не преувеличивавшего, но склонного преуменьшать свой дар: «Не ослеплен я музою моею...», «Мой дар убог и голос мой негромок...», «А я, владеющий убогим дарованием...»

Это не ханжество и самоуничижение — Баратынский взыскателен, его «бөренья» протекли «с самим собой», а не в состязании с другими. Одно из самых драгоценных свойств его поэзии — тот особый призыв тайной печали, в глубинах которой зарождались его стихи. О нем тоже хочется спросить: «Как он жил? Из глубины какого горя почерпнул он эту божественную силу?..»

Неумение и нежелание производить впечатление, быть в центре внимания, застенчивость (ее, пишет исследователь, он «не мог преодолеть и во время личных встреч с Пушкиным... и чувствовал необходимость иметь еще кого-то, третье лицо в качестве „посредника“», например Вяземского), отсутствие заботы о своей биографии и эффектным поведении — все это необыкновенно привлекательно, но современникам был нужен гениальничающий Н. Кукольник, живший как на ходулях. Замечу еще, что Баратынскому и его стихам свойственно особое душевное благородство: нет в его поэзии скабрзностей, непристойностей, пошлых сюжетов, всего того, что неприятно удивило Мицкевича в нравах даже светских русских литераторов, способных в беседе делиться друг с другом интимными подробностями своих любовных походов. Короче говоря, ни в нем самом, ни в его стихах не было и тени «варварства».

А публике подавай яркую внешность, бросающуюся в глаза необычность поступков, запоминающиеся афоризмы в повседневной речи.

Пастернак, отстаивая подлинность шекспировского авторства, писал, что посредственность «начинает с допущения, что Шекспир должен быть гением в ее понимании, прилагает к нему свое мерило, и Шекспир ему не удовлетворяет. Его жизнь оказывается слишком глухой и будничной для такого имени»

Точно так же разочаровывает своих современников едва ли не всякий большой писатель. Даже Пушкин не удовлетворял расчетов и ожиданий. «Надобно заметить, что, вероятно, как и большая часть моих современников, я представлял себе Пушкина таким, как он изображен на портрете, приложенном к первому изданию «Руслана и Людмилы», то есть кудрявым пухлым юношею с приятною улыбкой... Перед конторкою... стоял человек, немного превышавший эту конторку, худощавый, с резкими морщинами на лице, с широкими бакенбардами, покрывавшими всю нижнюю часть его щек и подбородка, с тучею кудрявых волосов. Ничего юношеского не было в этом лице, выражавшем утрюмость, когда оно не улыбалось. Я был так поражен неожиданным явлением, нисколько не осуществлявшим моего идеала, что не скоро мог опомниться от изумления и уверить себя, что передо мною находился Пушкин. Он был невесел в этот вечер, молчал, когда речь касалась современных событий, почти презрительно отзывался о новом направлении литературы, о новых теориях...» (из «Записок» К. А. Полевого).

Еще менее был похож на поэта Фет, беседам на высокие темы предпочитавший разговор о лошадях и ценах на овес. И внешность тоже имел отнюдь не поэтическую — угрюмый взгляд, «борода до чресел», фуражка с дворянским околышем. Таким он и глядит на нас с фотографии 1890 года «Я. П. Полонский с семьей в гостях у А. А. Фета в Воробьевке». Полонский в светлом летнем пальто, с аккуратной круглой шапочкой вроде ермолки на голове и маленькой европейской бородкою куда более одухотворен и поэтичен. Если вспомнить о тяге Фета к самоубийству, о приступах мрачности и меланхолии, об отращивании его к жизни, станет ясно, какое удовольствие сулило любопытствующему знакомство с ним.

А уж критика проехала по нему таким катком, что на семнадцать лет отбила у него охоту писать стихи; даже Пастернак, даже Ахматова, затравленные партийными требованиями к литературе, молчали не так долго.

Здесь самое время вспомнить о Зошенко. Поэт и переводчик В. Г. Адмони рассказывал, как он встретился с Зошенко в поездке, «где они промолчали весь путь, после чего, прощаясь, Зошенко серьезно поблагодарил спутника за то, что они хорошо провели время, и с тех пор стал отлично к нему относиться».

Вот кто действительно не оправдывал ожиданий! Вот кто никак не походил на знаменитого писателя! «...Зошенко вел себя так заурядно, так тихо и обыкновенно, что любой отменный остряк или рассказчик в этой среде успешней выглядел юмористом, нежели сам Михаил Михайлович, — вспоминает мемуарист. Обкатанные, заранее приготовленные новеллы, заменившие многим живой, непреднамеренный застольный разговор, были ему неприятны и чужды.

«Люди любили его нежно и шли к нему, не зная его, чтобы повидать, послушать; а он утомлялся, иногда мучился этими посещениями и не знал, что сказать, когда ему задавали вопрос: как надо жить? Учить он не умел и не любил...» Я нарочно сделал эту перебивку и ввел отрывочек из воспоминаний о Чехове, чтобы подчеркнуть, так сказать, типологические черты.

Зошенко не выносил развязных, самодовольных и самоуверенных людей, и если в компании оказывался такой человек, умолкал или незаметно исчезал. Есть у В. Маканина рассказ «Антилидер», только его герой не умел незаметно исчезать, а устраивал скандалы в таких случаях и нарывался на неприятности.

Удивлен и озадачен поведением Зошенко был, например, Маяковский:

«— Я думал, что вы будете острить, шутить, балагурить... а вы...

— Почему же я должен острить?

— Ну юморист!.. Полагается... А вы...» (М. Зошенко, «Перед восходом солнца»).

Думаю, что Маяковского как раз и погубило стремление к лидерству, обязательно верховодству. Как тут опять не вспомнить коллективную фотографию? Вот он стоит, со своей знаменитой папирсой, вызывающе и неестественно задвинутой в угол рта, поставив локоть на плечо выкатившему глаза (надо же хоть как-то соответствовать моменту) ошалевшему Пастернаку! Невозможно представить в такой позе, например, Тютчева или Пушкина...

Зошенко принадлежал к тому типу художников, которым органически чуждо чувство превосходства над другими людьми. Умение вслушиваться в то, что говорят другие, не только отличало его, но и питало, поставляя сюжеты для новой прозы. Записные болтуны, как правило, плохо пишут: они выбалтываются в монологах и отсекают от себя тот материал, что подбрасывает неприбранная, неотобранная жизнь в самом обыкновенном разговоре.

Об идеологическом кошмаре, чудовищной проработке, которой подвергся этот тихий, молчаливый человек, вслед за Гоголем прошедший жизнь в бореньях с собственной душой, «без тени улыбки, словно и не был никогда юмористом», говоривший «о самоисцелении тела и духа», с помощью физкультуры и аутотренинга пытавшийся спастись от советской власти, здесь вспоминать ни к чему — все это слишком хорошо известно.

«Мой сочинения? — сказал он медлительным и ровным своим голосом. — Какие мои сочинения? Их уже не знает никто. Я уже сам забываю свои сочинения... — Через три месяца его не стало».

Русскому писателю, говорилось не раз, жить надо долго. За несколько дней до смерти Зошенко сказал: «Умирать надо вовремя. Я опоздал».

Нам остается лишь согласиться с ними обоими.

Вполне вероятно, что и ранняя смерть Баратынского была приближена жгучей раной, нанесенной его самолюбию «неистовым Виссарионом».

Есть у нас еще один поэт, умерший также внезапно, от сердечного приступа, — И. Анненский, тоже глубоко уязвленный обидой, причиненной ему невежественной критикой и равнодушием издателей, — по словам Маковского, слишком благожелательный, миролюбивый, не умеющий приспособиться к ходячим мнениям, несмотря на всю свою «иронию», недостаточно самоуверенный, «чтобы стать властителем дум»

Имя Анненского здесь всплыло не случайно. Один из лучших поэтов XX века, он умер в безвестности в эпоху, когда поэзия опять вошла в моду, гремели имена корифеев символизма, и не только благодаря их стихам, достоинства которых были сильно преувеличены, но и в значительной степени — за счет поведения поэтов, их образа жизни, творимой на глазах «биографии». Установка на беззастенчивую публичность отравила не одно поколение поэтов. Как не согласиться с Буниным, конечно, отставшим от века, конечно, старомодным, многое пропустившим и проглядевшим (символизм — слишком большое движение в искусстве, чтобы отмахнуться от него), а все-таки по-человечески правым в своем недоверии не только к столпам декаданса, но и к тем, кто пришел им на смену. О, как понятно его возмущение «дикарски раскрашенной мордой» Маяковского, страстным и расчетливым стремлением к славе Есенина, проучавшего Мариенгофа, как надо пробиваться в люди: «Так, с бухты-баряхты, не след лезть в литературу, Толя, тут надо вести тончайшую политику. Вон смотри — Белый: и волос уже седой, и лысина, а даже перед своей кухаркой и то вдохновенно ходит».

Конечно, литература, особенно всякое новое, молодое движение в литературе не обходится без игры, без дружеских союзов, основанных на общности литературных интересов, без противостояния «старому» и борьбы с ним, иногда в самых неожиданных, в том числе игровых, вызывающих формах.

Вспомним хотя бы «Арзамас» с его отчасти масонской, отчасти фольклорной, «карнавальной», как сказал бы Бахтин, подоплекой. Но не станем преувеличивать его роли, а главное, согласимся, что эта взрослая игра, это затейливое шутовство было, пожалуй, утомительным занятием для его участников. Достаточно почитать, например, «Речи, читанные при приеме в Арзамасское общество Василия Львовича Пушкина», сохраненные для нас Вяземским, чтобы убедиться в громоздкости, многословности и вымученности этих шуток. «Но ты низложи сего Пифона, облобызай сову правды, прикоснись к лире мщения, умойся водой потока и будешь достоин вкусить за трапезою от Арзамасского Гуся, и он войдет в святилище желудка твоего без перхоты и изыдет из оногo без натуги...» и т. п. Очень смешно, не правда ли?

Душой «Арзамаса» был Жуковский. «Он был не только гробовых дел мастер, как мы прозвали его по балладам, но и шуточных и шутовских дел мастер... При натуре идеальной, мечтательной, несколько мистической, в нем были и сокровища веселости, смешливости: в нем были зародыши и залoги карикатуры и пародии, отличающиеся нередко острой замысловатостью», — вспоминал Вяземский.

Что такое «острая замысловатость» Жуковского в сочетании с мистикой, мы знаем по его подробнейшему проекту оформления смертной казни — превращения ее в особый торжественный ритуал, призванный воспитывать и просветлять и публику, и осужденного на казнь. «Далее, как можно далее», — как сказал бы Гоголь.

Думаю, что и Сверчок-Пушкин, племянник Василия Львовича, не слишком был очарован арзамасским весельем, вспоминал он о своем заочном участии в нем, во всяком случае, не часто и без энтузиазма.

А вот что записала в дневнике Л. Я. Гинзбург о посещении лефовских заседаний: «Только в последний раз я поняла... что мне было скучно и всем было скучно. Ни важные задачи борьбы с мещанством и халтурой, ни крюшон, ни американский граммофон, ни безошибочное остроумие Брика не могли скуку рассеять». Интересно, что эту скуку не могло рассеять не только остроумие Брика, но и присутствие двух гениев — Маяковского и Пастернака.

В таких союзах, содружествах всегда есть что-то принудительное. Это остро чувствовал Анненский, писавший Т. А. Богданович о собраниях Литературного общества: «Взвесив соблазн видеть тебя... и перспективу вечера, где Достоевский был бы лишь поводом для партийных перебранок и пикировок... я решил все же, что не имею права отнимать вечер от занятий... Искать Бога — Фонтанка, 83. Срывать аплодисменты на Боге... на совести. Искать Бога по пятницам... какой цинизм!»

Известно, с каким раздражением и неприязнью вспоминала Ахматова обстановку на «башне» Вяч. Иванова. Вот, например, запись в книге П. Лукницкого: «Когда сегодня днем я диктовал А. А. даты и сведения, полученные от Кузмина, там попала такая строчка: „Вячеслав Иванов грыз Гумилева и пикировался с Анненским“. А. А. обрадовалась: „...И пикировался с Анненским! Так, так, очень хорошо! Это уж я не забуду записать! Это для меня очень важно!“»

Ходасевич, по сравнению с Бунинным наблюдатель куда более беспристрастный и объективный, оставил нам в своем «Некрополе» ряд свидетельств о загубленной жизни, исковерканных судьбах, раздутых и лопнувших, нередко еще при жизни их творцов, поэтических репутациях.

Сейчас, когда стихи не только Бальмонта или Брюсова, но и Сологуба, Вяч. Иванова, А. Белого потеряли свою привлекательность, кажутся глубокой архаикой (по сравнению с ними Державин — наш современник), стало очевидно: продержались они в нашем сознании так долго благодаря партийной политике, на протяжении полувека борющейся с мумиями; не случись этого, никто бы не стал сегодня вытаскивать их на свет божий, распеленывать и перелистывать.

Стихи высохли и поблекли, а литературные портреты и биографии страшноваты. Вспомним хотя бы, что рассказал нам Ходасевич о Брюсове: «Такие молодые люди торговали галантерейным товаром на Сретенке», «Чувство равенства было Брюсову совершенно чуждо», «Брюсов умел или командовать, или подчиняться... Молодой поэт, не пошедший к Брюсову за оценкой и одобрением, мог быть уверен, что Брюсов никогда ему этого не простит. Пример — Марина Цветаева», «Его почтения всегда были обставлены театрально», «У него была примечательная ма-

нера подавать руку... В ту секунду, когда руки должны были соприкоснуться, Брюсов стремительно отдергивал свою назад...». Про подробности интимной жизни Брюсова Ходасевич рассказывает с отвращением.

Здесь мне могут возразить, что жизнь всякого человека, рассмотренная пристально, холодно, посторонним наблюдателем, грустна и почти всегда ужасна. И с этим придется согласиться. «И с отвращением читая жизнь мою», — сказано у Пушкина. Сторонний наблюдатель видит только страшные факты, он не видит «горьких жалоб» и «горьких слез», всего того, что заставляет нас «жить и бедствовать», «мыслить и страдать», а главное — не стирать «печальные строки». Конечно же, нельзя разглядывать человека, как морковь, вытасченную из грядки, помахивая ею в воздухе, стряхивая с нее комья земли.

Иначе жизнь того же прустовского Вентейля, вытасченного из главного, что в ней было, — музыки, окажется жалкой, бедной и внушающей недоумение. В самом деле, что же это: несчастный старик, живущий воспоминаниями об умершей жене, напичканный сословными предрассудками, горячо привязанный к дочери-лесбиянке и страдающий от молвы об этом. Мало того, и по смерти его душа должна была быть глубоко страдать; его портрет, по странной психологической причуде в сознании дочери, втайне казнившей себя за ту «скверну, в которую она стремилась окунуться», был необходим ей и ее подруге «для их кощунственного ритуала» и при их свиданиях с камина переставлялся на столик перед диваном.

К счастью, мы мало знаем о жизни Баратынского. В отличие от Пушкина он жил уединенно, и не в столице, а в основном — в своем родовом поместье, и жена его не была придворной красавицей и вообще красавицей не была, и не оставил он как будто никакой поживы дотошным исследователям, готовым разворошить, например, пушкинскую постель с целью обнаружить в ней медальон свояченицы поэта.

Но и того, что знаем, достаточно, чтобы почувствовать все ту же жалость, и горечь, и неблагополучие:

Когда исчезнет омраченье
Души болезненной моей? —

вопросил он сам себя — и не видел выхода из одолевавшей его тоски и бесчувствия. «Чадный» демон Баратынского не похож на «печального» лермонтовского демона, писать стихи никак не мешавшего, скорее благоволившего к ним. О, если бы эту тоску можно было связать с общественно-политической ситуацией в России 30-х годов! Но это не так. Баратынский воспринимает ее, тоску, как наваждение, как сон души, как неспособность поднять «крылья духа», — все это сказано за тридцать лет до тютчевской жалобы: «Висят поломанные крылья...»

Человек получает от природы редкий творческий дар — и не может им воспользоваться, реализовать его в полной мере. Что делал Баратынский в 1838 году (за весь год им написано что-то около двадцати стихотворных строк)? Что делал Тютчев в 1845, 1846, 1847 году (за три года не написано ни одного стихотворения)? А с другой стороны, насколько это молчание человечней и честней сегодняшнего многописания, не одушевленного подлинным чувством, держащегося на голом профессионализме!

Тяготившийся жизнью, сравнивший ее с прижизненной могилой, Баратынский умер в Неаполе, внезапно и загадочно, 29 июня 1844 года. Накануне с Настасьей Львовной сделался «сильный нервный припадок». Врач, посетивший ее, должен был прийти на следующий день с повторным визитом; он и пришел в семь часов утра, но застал мертвым мужа своей больной, умершего за три четверти часа до его прихода. Единственная свидетельница и участница драмы в письме к родным, написанном в тот же день, несколько часов спустя, объясняет случившееся испугом и беспокоемством мужа за нее. И тут же, в следующей фразе, пишет: «Вы можете быть уверены, что я позабочусь о своем здравье, больше всего я боюсь умереть и оставить детей одних (в поездке с ними были трое детей. — А. К.), я постараюсь поправиться и отправлюсь как можно скорее, в течение недели или чуть позже...» Не стоит ли за «сильным нервным припадком» жены крупный семейный разговор, тяжелая ссора? Не была ли смерть Баратынского самоубийством, скрытым от посторонних глаз? Не знаю. Уж очень такая версия похожа на модные нынче «открытия» по поводу смерти Есенина, Маяковского...

И разве не к ней, Настасье Львовне, было обращено написанное незадолго до смерти, в том же 1844 году, прекрасное стихотворение «Когда, дитя и страсти и со-

мнения...», в котором поэт называет ее «смелой и кроткой» — такой она, по-видимому, и была — и тем самым кладет предел нашим фантазиям.

Что касается Анненского, то его жизни стороннему наблюдателю лучше и вообще не касаться.

«Надо, чтоб поэт и в жизни был мастак». Надо ли? Чем настойчивей поэт старается быть «мастак», тем печальней и горестней результат. И разве жизнь Маяковского не производит еще более тяжкого впечатления? Можно ли придумать что-нибудь жалчей и нелепей того, что рассказала Лилия Брик о жизни втроем, — пересказывать подробности невозможно, так они ужасны.

А жизнь Блока, или Цветаевой, или А. Белого, или даже все понимавшего и так трезво и зорко видевшего Ходасевича, повторявшего в эмиграции, по свидетельству Н. Берберовой, одну и ту же фразу: «Не открыть ли газик?»...

И разве жизнь Фета была лучше, разве не постаралась судьба исковеркать и загубить ее, и разве он сам не приложил к этому дополнительных усилий? А Тютчев с его несчастными женами, и Денисьевой, и влюбленностью в баронессу Услар, к которой его возили уже парализованным? «Он совершенно вне всяких законов и правил... в нем есть что-то жуткое», — записывает о нем дочь в дневнике.

Не следует думать, что этот печальный закон распространяется лишь на «жизнь замечательных людей» — он универсален, относится к любому человеку, особенно если рассматривать его жизнь пристально, в упор. Любая жизнь набита кошмарами. У каждой семьи, как говорит английская пословица, в шкафу спрятан свой скелет. И разумеется, жизнь не сводится к этому ужасу — ужасной она кажется лишь со стороны.

Не потому ли и выглядит столь плачевным стремление людей символистской эпохи сделать из своей жизни произведение искусства, что в результате смешения искусства с жизнью возникает уже поистине нечто такое, что превышает всякую меру? К неизбежным кошмарам прибавляются дополнительные, искусственные безобразия и специальный демонизм. Театрализация жизни — это измена подлинности, измена подлинной трагедии жизни к ее механическим, вымышленным двойниками. Такие игры неприятны еще тем, что их подкрепляют идеологически — философскими и религиозными — подпорками, в них играют для приманки зрителей, для оболъщения и соблазна, «для славы». Все это хорошо известно.

Пастернак, еще заставший эту школу лицедейства и вымученного противопоставления «поэта» «толпе», говорил в 1941 году А. К. Гладкову: «Гений — не что иное, как редчайший и крупнейший представитель породы обыкновенных рядовых людей времени, ее бессмертное выражение. Гений ближе к этому обыкновенному человеку, чем к разновидности людей необыкновенных, составляющих толпу околлитературной богемы... Дистанция между гением и обыкновенным человеком воображаема, вернее, ее нет. Но в эту воображаемую и несуществующую дистанцию набивается много «интересных» людей, выдумавших длинные волосы, скрипки и бархатные куртки. Они-то... и есть явление посредственности...»

Сегодня, когда опять в ходу претенциозность и гениальничание, жульничество, называющее себя поэзией, музыкой, живописью, эти слова снова актуальны.

Вот он выходит, длинноволосый, с запущенной бородой, в состоянии перманентного запоя, на эстраду, несет околесицу, поднимает по-боксерски руки над головой, приветствуя собравшихся, и, как эстрадная дива, прежде чем проорать свои стихи, спешит нас порадовать заявлением: «Я вас всех люблю! Спасибо. Всех люблю. Люблю». Он не сомневается, что мы этим бесконечно счастливы. Это лишь один вариант творца, каждый может вспомнить и другие образы и облики, мы насмотрелись на них и на экранах телевизоров, нас уже не удивит ни черной фашистской рубашкой, застегнутой на все пуговички, ни цветистой, с попугаями, распахнутой до пупа. Что касается стихов, то они или бессмысленны, или поражают каким-то хамским, приклатненным лиризмом.

И дело не только в том, что опять стихи оказываются чем-то второстепенным по сравнению с образом поэта, — все нормальное, человеческое подавляется, в том числе и здравый смысл, способность любить, страдать, испытывать чувство неловкости, вообще что-то чувствовать. А уж когда такие творцы сбиваются в кучу, в стаю, тогда, как говорится, хоть святых выноси.

Но это, так сказать, крайние случаи. Вообще же у поэтов «с биографией» хочется спросить: а зачем вам она? И поэтам, склонным к аффектации и эпатажу, хочется сказать: вам не стыдно? После всего, что мы видели в XX веке, убивавшем «гурьбой и гуртом»? О какой биографии может идти речь, о каком желании пора-

зять публику, когда даже в нормальной, мирной жизни существуют болезни, страх за близких, дети, забота о заработке, необходимость ухаживать за умирающими стариками-родителями, смертельная усталость и тоска! Избежать всего этого — значит пройти мимо центрального человеческого опыта, так и не проникнуть в сердцевину жизни. Самое удивительное, что на этой-то будничной, печальной, тяжелой почве и вырастает поэзия, как вечнокипящий тополь на захламленном городском пустыре.

Обычная человеческая жизнь — это и есть самый трудный подвиг на земле, более трудный, чем все двенадцать подвигов Геракла.

«Я царь — я раб, я червь — я бог», — сказал Державин; разве можно стремиться к тому, чтобы быть в этой жизни только царем или богом? Ты им и не станешь, если не побываешь в нищей одежде, если не узнаешь страдания и унижения. «Давно, усталый раб, замыслил я побег...» — вот именно.

Очень хорошо это понимал Розанов, потому так горячи его страницы, потому его слезы, его жалобы, его горе в связи с болезнью «мамочки», его мысли, в том числе и вздорные, так задевают нас. Потому и нужны эти ремарки в скобках под «мыслями» — «окружной суд, дожидаясь секретаря», «на Волково», «в конке», «едем в лавку», «за нумизматикой», «на извозчике ночью», «в вагоне», «идя к доктору», «в клинике Ел. Павл.».

И разве читая дневники Толстого, особенно дневники последних лет, не удивляешься тому, как умудрился великий писатель угодить в душераздирающий семейный переплет, попасться в домашние силки, — эти страшные, постыдные супружеские сцены, рыдания, истерики, попытка Софьи Андреевны утопиться в яснополянском пруду... Неужели все это могло пройти мимо учителя жизни, спорившего с церковью и царями, во всеуслышание объясняющего, в чем его вера? Не могло. И сердечные спазмы, и детокие уловки, и старческие слезы на ветру... А без всего этого и нет жизни, и не было никогда — со времен Иова и Екклесиаста. Ни жизни, ни настоящих книг

У ВРЕМЕНИ В ПЛЕНУ

Печать времени, не всегда осознаваемая самими авторами, клеймит и самых ярких, талантливых из них, и это почти неизбежно даже в том случае, когда они не плывут по течению, а выгребают против него, сопротивляются общему движению.

Ни Блок не избежал эпохальной безвкусицы символизма, ни Анненский — что ж говорить о Бальмонте или Брюсове! Набоков в «Даре» рассказывает о любви своего героя к современным стихам и о стыде за любимого поэта, когда отец, перелистывая поэтические книги на столе у сына, натывается «на самое скверное у самого лучшего из них (там, где появляется невозможный, невыносимый «джентльмен» и рифмуется «ковер» и «сёр»)». А все эти бутафорские мечи и латы, «шотландские пледы» и «снежные маски», звездные шлейфы и багряные закаты.. Или Анненский, который нам так дорог, но начнешь объяснять, чем и почему, а недоверчивый оппонент, не понимающий разницы между Анненским и Случевским, раскроет книгу наугад и, как нарочно, натолкнется на «лазурь фимиама» или «безумное чайное святынь». А «эмалевые приветы», спросит он, — это вам тоже нравится? Нет, не нравится, так же, как фольклорные стилизации с их псевдонародными словечками и ритмическим приплясыванием: «Жить-то, жить-то будем / На завидки людям...»¹

Или из совсем другой эпохи — Пастернак конца 30-х — начала 50-х. Стиль этого времени держался на державной монументальности, сталинском ампире, с одной стороны; с другой — на «народности», то есть простоте, общедоступности, песенности и патриотизме не без сентиментальности.

К этой второй составляющей эпохального стиля Пастернак был небезразличен.

¹ Свободным от своего времени быть нельзя. Но, может быть, есть времена, свободные от ущербных свойств и черт, например, пушкинское время? Или все дело в художнике, в его способности противостоять ущербу? Таким был Пушкин. И Баратынский. И Тютчев. И Мандельштам. Но не Фет, не Некрасов, не Кузмин, как бы мы их ни любили.

Счастлив, кто целиком,
 Без тени чужеродья,
 Всем детством с бедняком,
 Всей кровию в народе...

(1936)

В таких стихах поэту исподволь мстит не только каждое слово, но и его грамматическая форма: «чужеродья», «кровию».

Или, например, такое:

Пересекши край двора,
 Гости на гулянку
 В дом невесты до утра
 Перешли с тальянкой...

(1954)

Чем же это отличается от Исаковского и других корифеев тогдашнего «простого» стиля: Недогонова, Фатьянова, кажется, Мокроусова? Или Мокроусов — композитор?

Про военные стихи вроде «Смелости», «Бобыля», «Смерти сапера» и говорить не приходится. Но и стихотворение «На ранних поездах», написанное «превозмогающая обожанье», читать неловко:

...В них не было следов холопства,
 Которые кладет нужда,
 И новости и неудобства
 Они несли как господа...

(1941)

«Пряники на меду», «черемуховое мыло», которым восхищается поэт в этом стихотворении, — слагаемые стиля «à la russe», простительного иностранцу, но не человеку, знающему про колхозы, коммуналки, карточки, бараки...

Здесь были бабы, слобожане,
 Учащиеся, слесаря...

Можно подумать, речь идет не о советском поезде с его мешочниками и угрозой проверки документов, но о поезде какого-нибудь благополучного 1910 года. Впрочем, Блок и о тех поездах сказал куда жестче: «В зеленых плакали и пели...»

Заметим, что этим стихам 40 — 50-х свойственна повествовательная интонация, — неперенный спутник упрощения поэтического языка, неопровержимое свидетельство измены специфике поэтической речи. Поэзия 40 — 50-х именно рассказчица, она как будто ничего не знает о великих достижениях «серебряного века»: метафоричности, ассоциативности, ветвящемся, динамичном сюжете, интонационном многообразии. Твардовский, Смеляков, М. Голодный, Уткин — я называю наиболее одаренных — как будто соревнуются с прозой, тягаются с нею, используя стихи не по назначению. Русская проза: Толстой, Достоевский, Тургенев, Чехов... — избавила поэзию от повествовательных задач; регресс оказался возможным только на основе общекультурного одичания тех лет. Увы, он задел и такого замечательного поэта, как Пастернак, чья лучшая книга «Сестра моя — жизнь» как раз являла пример грандиозного обновления поэтического языка, обнаружения его ошеломительных возможностей, не имеющих ничего общего с унылым повествованием².

И еще одно необходимое замечание: поздний Пастернак, разумеется, не сводится лишь к тем стихам, о которых шла речь. Высшие его достижения, такие, как «Август», «Вакханалия», «В больнице», лежат в другой плоскости, вырываются за пределы рассмотренного здесь явления.

² Здесь надо сделать оговорку: повествовательная интонация в лирике возможна, но она требует подспудного, очень тонкого, скрытого преобразования, — в этом смысле интересен опыт Кузмина в его «Фореги» с ритмическими и сюжетными переборами, путаницей и петлянием, неожиданными ассоциациями и уподоблениями. Нечто подобное делает сегодня Е. Рейн.

Примерно то же самое произошло в 30 — 50-х с Заболоцким. Ну, можно ли, например, в его «Ходоках» («Говорил о скудном их районе / Говорил о той поре, когда / Выйдут электрические кони / На поля народного труда...») узнать автора «Столбцов»? Такой рассказ о посещении крестьянами Ленина в Смольном могли написать и Твардовский, и Долматовский... Это поэзия с перебитым хребтом. И не поднимется рука бросить в нее камень — известно, через какие бесчеловечные испытания прошел поэт. Речь идет о другом — об эпохальном стиле, о том «опрощении», которое не только вмнялось в обязанность, но, увы, становилось и собственной авторской установкой. Отсюда и стихотворный выпад Заболоцкого против поэта, «в совершенстве» постигшего «бормотанье сверчка и ребенка», не знающего «настоящей» жизни, превратившего «русское слово» в «щебетанье щегла».

Мандельштам и в самом деле, за исключением, может быть, нескольких срывов в самом конце своей жизни, на краю гибели («Как по улицам Киева-Вия...», «Клейкой клятвой липнут почки...», «Стансы» /«Необходимо сердцу биться...»/), сохранил верность непредсказуемому, головокружительному поэтическому слову.

В поэзии Заболоцкого 30 — 50-х годов воплотились обе составляющие «социалистического» стиля: в «Венчании плодами», «Прощании», «Севере» — одический пафос, державный холод, ампириная мощь, перекликающиеся со «сталинской» архитектурой, живописью Самохвалова или Дейнеки; в «Неудачнике», «Ходоках», «В кино», «Старости», «Стирке белья» и т. п. — советский сентиментализм, простота и доступная философичность, опирающаяся на народную мудрость. Один из самых печальных примеров — стихотворение «Смерть врача» (1957) — нравоучительный рассказ в стихах с затрепанной, почти казенной лексикой, заезженной ритмикой:

В захолустном районе,
Где кончается мир,
На степном перегоне
Умирал бригадир...

И надо же беде случиться, как говорят в баснях, что сельский врач в это время «сам томился в бреду» и не мог помочь сельскому труженику. А все-таки он превозмог боль и спас бригадира:

И к машине несмело
Он пошел, темнолиц,
И в безгласное тело
Ввел спасительный итриц...

Уж не пародия ли это? Сколько таких незабываемых случаев из жизни, героических эпизодов, слепленных из песка и глины речевых газетных штампов, в нашей поэзии 40 — 50-х! И 60 — 80-х тоже, хотя и на другой, обмякшей и осевшей, почве. Совершенно непонятно, зачем сегодня переписывать такие стихи в иронических целях — да еще на современном материале! Что может быть скучнее такого ерничества... какая-то дурная бесконечность, к поэзии не имеющая отношения, студенческий капустник.

Я не говорю здесь о всей советской поэзии, тем более не высмеиваю ее, моя задача — показать, как оседает время на стихах, въедается в них вроде пыли, а нередко и перестраивает поэтическую манеру самых лучших поэтов — неожиданным образом и, может быть, втайне от них.

И опять-таки не забудем назвать стихи позднего Заболоцкого, выламывающиеся из этого ряда: «Прощание с друзьями», «Где-то в поле возле Магадана...», «Бегство в Египет», «Чертополох»...

Ну и конечно, интересно обратиться к Ахматовой, ведь мы как бы заранее уверены, что на ней-то время никак не сказалось, она-то его «пленницей» не была.

Не стану опровергать это мнение ссылкой на такие стихи, как «Прошло пять лет, и залечила раны...», «Песня мира», «В пионерлагере» или «Приморский парк Победы», — то была бы слишком легкая и неблагородная задача, настолько очевидна их подневольная подоплека. Но вряд ли можно назвать вынужденными, написанными из-под палки «Мужество» 1942-го или «Клятву» 1941-го:

И та, что сегодня прощается с милым, —
 Пусть боль свою в силу она переплавит.
 Мы детям клянемся, клянемся могилам,
 Что нас покориться никто не заставит!

Конечно, были куда более зычноголосые мастера трубного жанра. Достаточно вспомнить Н. Тихонова с его Кировым не то в роли Железной маски, не то партийного Каменного Гостя: «В железных ночах Ленинграда / По городу Киров идет...», тяжеловесную риторику других ленинградских поэтов, чьи стихотворные строки нередко в буквальном смысле предназначались не столько для бумаги, сколько для бронзы и гранита.

Могу сам себе возразить, сказав, что державная, твердокаменная поступь военных стихов Ахматовой оправдана патриотическим чувством — и нечего приводить их в качестве примера ампиричного советского стиля; с этим утверждением можно согласиться, хотя надо прямо сказать: есть же стихи о войне без этой оркестровой меди, стихи страшные и жестокие.

Но еще интересней приглядеться к любовной лирике Ахматовой 40 — 50-х и обнаружить в ней черты «монументального» стиля социалистической эпохи. Как часто возникает ощущение, что и эти стихи стремятся быть начертанными на гранитном постаменте:

Ты стихи мои требуешь прямо...
 Как-нибудь проживешь и без них.
 Пусть в крови не осталось и грамма,
 Не впитавшего горечи их.

 И от наших великолепий
 Холодочка струится волна,
 Слово мы на таинственном склепе
 Чьи-то, вздрогнув, прочли имена...

Это сильные стихи, может быть, слишком «сильные», слишком торжественные, и, как это нередко бывает в таких случаях, одно какое-нибудь неловкое слово, как нарочно, вклинивается в общий велеречивый ряд и действует разоблачительно, — такое слово здесь «грамм» (грамм крови!), и пришло оно из советского бытового языка. Советская монументальность вся такая — ненадежная, обнажающая под обвалившейся лепниной пустоты и железную арматуру.

Ораторская интонация в любовных стихах, афористичность, сжатость, впадающая в многозначительность, утяжеляют их, а то и делают — страшно признаться — чуть-чуть смешными:

От странной лирики, где каждый шаг — секрет,
 Где пропасти налево и направо,
 Где под ногой, как лист увядший, слава,
 По-видимому, мне спасенья нет.

Не случайно в поздних ее стихах так часто всплывает слово «слава» («Спяну ли ввалится в горницу слава, / Бьет ли тринадцатый час?...», «...Там мертвой славе отдадут / Меня — твои живые руки», «...За ландышевый май / В моей Москве столглавой / Отдам я звездных стай / Сияние и славу» и т. п.) или его синонимы: «Молитесь на ночь, чтобы вам / Вдруг не проснуться знаменитым».

Но я предупреждаю вас,
 Что я живу в последний раз...

Эти строки, записанные в авторском чтении на магнитофонную ленту, звучат так непререкаемо-торжественно, так неумолимо...

О, безусловно, есть в ее поздних стихах и совсем иные — прелестные, нежные, мягкие речевые извивы и модуляции, — я опять делаю необходимую оговорку³.

³ И еще одно замечание: поздняя любовная лирика Ахматовой прочитывается нами как именно ее, Ахматовой, сугубо интимное дело, в то время как ранняя ее лирика имела непосредственное отношение к каждому читателю и могла быть прочитана им от своего имени, — не так ли мы прикладываем к сердцу, как собственное признание, пушкинские стихи «Я вас любил, любовь еще, быть может...», тютчевские «Любовь, любовь, — гласит преданье...».

«Чем кумушек считать трудиться, не лучше ль на себя, кума, оборотиться?» Вот именно. Наблюдения над стилем больших поэтов учат смирению. Еще посмотрим, что скажут о современной поэзии лет через пятьдесят, какие пятна пления, какие смертные черты сегодняшнего дня обнаружат на ней! И как это назовут: пересмешничеством? эпохальным цинизмом? дешевым сарказмом? паразитированием на классике? продуктом разложения большого стиля? рациональным конструированием? недержанием речи? кашей во рту? Поживем, но, боюсь, не увидим.

КОНЕЦ ИСКУССТВА?

Еще лет десять назад многим из нас, недовольным состоянием искусства и литературы, казалось, что все изменится и искусство возродится, как только мы обретем свободу. Вот мы ее и обрели, слава богу, но литературой и искусством продолжаем быть недовольны: нам представляется, что они пребывают в упадке.

Оглядываясь назад, на 70 — 80-е, вижу все-таки, что мы к той литературе были несправедливы. Конечно, пышным цветом цвела официальная поэзия и проза, поэмы и романы-эпопеи, только не будем делать вид, что мы их читали: читали мы все-таки совсем другое. (Кстати сказать, и сегодня образованный читатель не принимает всерьез авторов того же уровня, пишущих на «противоположные» темы.) Конечно, не все талантливые вещи могли пробиться в печать, а все же не только крапива росла на нашем огороде: в те же годы была создана настоящая литература, опубликованная и в стране, и за рубежом; достаточно назвать таких авторов, как... здесь мне приходится поставить многоточие, потому что перечисление имен заняло бы не одну страницу и все равно кто-то был бы пропущен, забыт. Одних замечательных исследователей литературы наберется несколько десятков, а межуаристы, прозаики... о чем говорить! Очень увлекательная игра: каждый может составить свой список и убедиться в том, как он длинен.

В чем же дело? Почему нас преследует ощущение неудачи, неполноценности, а то и провала? Не потому ли, что позор несвободы, идеологическое насилие, официальная ложь и подтасовка отравили жизнь — и прекрасные книги, созданные в те годы, не способны избавить нас от чувства психологического надрыва.

Между тем можно посмотреть на вещи по-другому. Можно, например, сказать, что понятие свободы включает в себя и такие ее проявления, как способность осмысления собственного положения, противостояние режиму, так сказать, в письменном виде.

Можно вспомнить 1956 год и понять, что он-то и был переломным в нашей истории, что крушение советского режима началось тогда и тот, кто хотел осмыслить события, уже не мог идти как ни в чем не бывало под красным флагом, делая вид, что ничего не произошло. Как это ничего не произошло? А «миллион убитых задешево», это что же — недоразумение, искривление линии, ошибка? Именно с того момента возникло понимание невозможности примирения с Медузой Горгоной тоталитарного государства, необходимости сопротивления ему хотя бы за письменным столом.

Так вот, после пятьдесят шестого года впервые лет за сорок появилась возможность писать хотя бы для себя, отвоевать у государства право на частную жизнь, на самостоятельное осмысление событий. Чтобы согласиться с этим утверждением, достаточно сопоставить пятьдесят шестой год с тридцать седьмым или сорок седьмым.

Как бы то ни было, никто из переживших пятьдесят шестой уже не попадал в ситуацию Зошенко или Мандельштама, заставивших себя поверить в историческую правоту сталинского режима.

Можно представить, как замечательно использовал бы Мандельштам такую возможность — жить в тепле хрущевской пятиэтажки и писать стихи! Заболоцкий, например, успел перед смертью увидеть Италию, и Ахматова сфотографировалась в профессорской мантии Оксфордского университета.

Возможность осмыслить трагический опыт, подогреваемая острым чувством опасности, исходящей от ослабевшего, но все еще сильного чудовища, ощущение радости существования ввиду его гибельности и катастрофичности, понимание ценности бытия и его простых даров — все это и многое другое способствовало возрождению литературы; она еще будет оценена по достоинству где-нибудь в

XXI веке: меньше всего на такую оценку способны современники и сами участники процесса.

Ну что за статья без непонятных слов? Непонятных или по крайней мере модных, фасонистых? Вдруг все влюбляются в какое-то словечко, допустим, «артикуляция», — и тогда всё жаждет артикуляции, и всё помнит об артикуляции, и всё хочет быть хорошо «проартикулировано». Или вот еще слово «калокагатия» — я споткнулся на нем, но вида не подал, что-то смутное попробовал уловить из контекста; обидно, если это смутное совсем не то, за что я его принимаю.

Не придумать ли и нам какое-нибудь такое словцо, например реметризованность (от французского *remettre* — откладывать): наша литература реметризована на XXI век. Шутка.

Итак, в восемьдесят шестом — восемьдесят седьмом мы обрели свободу. А что литература — довольны ли мы ею? Со всех сторон слышны жалобы на «промышленные заботы», на то, что «в сердцах корысть», на то, что «общая мечта» занята «насушным и полезным»: падают тиражи поэтических книг, детективы вытесняют серьезную прозу, театральные залы пусты, в кино показывают американский ширпотреб, на выставки никто не ходит, вместо музыки неистовствуют вокально-инструментальные ансамбли... В словах, взятых в кавычки, читатель узнал жалобы Баратынского из стихотворения «Последний поэт» 1835 года. Ну, Баратынский — известный упрямец и мизантроп. Но вот что писал Пушкин Вяземскому еще в 1820 году: «...что ни говори, век наш не век поэтов — жалеть, кажется, нечего — а все-таки жаль. Круг поэтов делается час от часу теснее — скоро мы будем принуждены, по недостатку слушателей, читать свои стихи друг другу на ухо. — И то хорошо». А век, между прочим, дал и Жуковского, и Батюшкова, и Пушкина, и Баратынского, и Вяземского, и Тютчева... Ах, и XX век тоже, наверное, не век поэтов, но хороша была бы наша поэзия без него! «Только вот поэтов, к сожаленью, нету...» А когда они были?

Вот и Гораций в своем «Послании к Пизонам» не удовлетворен положением дел в поэзии: не называя имен и направлений, он выступает и против неотериков, и против «азиатско-декламационного» стиля, и против архаизирующих аттикистов. Зато современный исследователь пишет с изумлением о том, что «даже при наших очень неполных сведениях о малозначительных авторах можно назвать не менее 50 имен поэтов августовского времени, не говоря уже о том, что все покровители литературы, начиная с самого императора, считали своим долгом упражняться в поэтическом искусстве». Вергилий, Гораций, Тибулл, Проперций, Овидий... Меценат и даже Август (интересно было бы сравнить его стихи с лирикой А. Осенева).

Нет, ни «промышленные заботы», ни спад, а тем более рост благосостояния, ни даже развал поэтического дела изнутри (я имею в виду отказ от рифмы, смысла, ритмики и знаков препинания) не способен погубить поэзию, поскольку Бог позаботился о том, чтобы она была в самой жизни, следовательно, нуждалась бы в словесном воплощении. Философия со всеми ее феноменами, ноуменами, «кажимостью» и «вещами в себе» не в силах определить, обходит молчанием эту золотую подкладку сущностей и явлений.

Но есть, есть еще одна опасность, на которую я хочу здесь указать. Помните то маленькое облачко на горизонте, столько раз превращавшееся в русской прозе в бурю, метель, снегопад?

Это облачко, которое заметил еще Мандельштам, назвав его «армией поэтов», на наших глазах превращается в «тьмы, и тьмы, и тьмы». Если еще в I веке до н. э. империя, по выражению Вергилия, «создала досуг» и литература, в частности поэзия, стала одним из излюбленных занятий римской аристократии, так что Гораций иронизировал: «Мы все, ученые и неученые вперемешку, пишем стихи», то что же говорить о современном мире, где этого досуга тоже хватает, а грамотны все без исключения, в том числе и мы с вами. Человечество растет «как хлеб опара», счет идет на миллиарды, растет и количество пишущих людей «Человек пишущий» — вот кем становится человечество на наших глазах. Если еще в прошлом веке и в Европе, и тем более в России, где большую часть населения составляли крепостные крестьяне, несколько сотен людей, пишущих стихи и прозу, были на виду, поддавались пересчету, то сейчас сосчитать и учесть всех просто невозможно. Счет пошел на десятки тысяч — вот беда.

Называя нынешнее состояние искусства и литературы упадком, ссылаются, между прочим, на отсутствие мировых имен. Словно кто-то истребил больших пи-

сателей, как китобойные флотилии — кашалотов. А может быть, имена есть, да нет шума вокруг них: все тонет в море прозы, поэзии, живописи, музыки? Хуже всего приходится начинающему поэту, прозаику, художнику, композитору, — ему, даже талантливому, не пробиться. Не думаю, чтобы молодой Маяковский или Рембо произвели сегодня на кого-нибудь впечатление.

Ну как, скажите, разглядеть нам, что делается в смежном искусстве, например в живописи? Художников десятки, если не сотни тысяч во всем мире. Мы опять разошлись по своим комнатам, как это было при Пушкине и Тютчеве, вопреки распространенному мнению мало знавших о старой и слабо осведомленных в современной живописи. Братание всех искусств в начале века (Кузмин и Сомов, Манделштам и французский импрессионизм, Хлебников и Митурич, Маяковский и Ларионов, Леже, Пикассо...) нами, к сожалению, забыто. Мы думаем, что живопись зашла в тупик, уперлась в абстракцию и теперь возвращается «по старой смоленской дороге», которая, как известно, усеяна трупами лошадей и к победе не ведет, — мы так думаем и наверняка ошибаемся. Но кто же возьмет нас за руку, отведет в мастерскую к настоящему художнику, о существовании которого знают в этом мире два-три человека? И откуда знаток, взявший нас за руку, знает, что где-нибудь в Луанде или Актюбинске не живет другой художник, десять лет назад уже сделавший нечто подобное, но совершеннее?

Это живопись. А с поэзией и прозой дело обстоит не лучше: настоящая проза почти так же непереводаима, как поэзия. Даже выучив язык, вы все равно рискуете попасть впросак, потому что знание языка и понимание — вещи разные.

Вот и ценят стихи за прогрессивную мысль, общественное звучание, за религиозные мотивы, наконец, за то, что стихотворение одинаково читается слева направо и справа налево. В последнем случае где нам взять несколько тысяч лет, чтобы заявить со всей определенностью будущего исследователя и переводчика, как это может себе позволить сделать М. Гаспаров по поводу некоторых поздних латинских авторов: «Нарочно ради фокуса написаны были «Технопегнии» Авсония, анонимная «Пасифая» в виде подборки всех горациевских размеров, «змеиные стихи» с повторяющимися полустихиями, «анацклические стихи», которые могли читаться от конца к началу; не вошли в эту книгу «фигурные стихи» Порфирия Оптацияна с извивающимися по всему тексту акростихами, бессодержательность которых не оправдывала трудностей перевода». Бедные позднелатинские авангардисты!

Откуда мировому общественному мнению знать, хорош поэт Удушьев или плох?

На мировом конгрессе в защиту культуры в 1935 году Пастернак сказал о поэзии: «...она всегда будет проще того, чтобы ее можно было обсуждать в собраниях». Вот именно. И если, как вспоминают очевидцы, конгресс стоя приветствовал Пастернака, то это может быть объяснено чем угодно: его внешностью, манерой речи, симпатиями к Стране Советов на фоне набирающего силы немецкого фашизма — только не прелестью стихов.

«Быть знаменитым некрасиво», и стать им проще всего за счет биографии, какого-нибудь из ряда вон выходящего поступка: не всем так везет и не все этого хотят. Чем дальше, тем, можно сказать, реже возникает такое желание. Кажется, и слава почувствовала это: там, где она появляется, там, как правило, все кончено.

Об этом предупреждал, например, М. Кузмин Маяковского еще в 1923 году в статье «Условности».

Слава приходит к тем, кого догнали. Хорошо, когда остается зазор.

Это, кажется, понял Пастернак во второй половине 30-х годов: известность едва не съела его, лет десять затем ушло на то, чтобы прийти в себя.

Не то же ли самое имел в виду Сезанн, когда говорил, что не даст себя «закрючить»?

В этом смысле повезло, если можно так сказать, Манделштаму. И еще больше Анненскому: вот кто увернулся от славы, умерев за полгода до выхода «Кипарисового ларца». Что бы я не отдал за то, чтобы им повезло несколько меньше!

Большие числа. Уже в первое десятилетие XX века в России поэтов так много, что XIX век по сравнению с XX кажется безлюдным. Анненский в статье «О современном лиризме», принесшей ему одни огорчения, называет сорок пять имен: от Бальмонта, Брюсова, Сологуба до Дмитрия Цензора и Поликсены Соловьевой. Ими он и был заслонен. С. Маковский, редактор «Аполлона», несмотря на обещание, данное им Анненскому, отложил его стихи и напечатал вместо них Черубину

де Габриак. Этот эпизод, как считала Ахматова, а также недовольство, с которым избалованные корифеи тогдашней поэзии приняли некоторые критические, очень осторожные замечания Анненского в их адрес, да еще издевательство и насмешки со стороны критики (В. Буренин, А. Аверченко), ничего не понявшей в статье, тяжело сказались на его здоровье и привели к внезапной смерти. Так Анненский был загублен чужой неблагодарностью и самоуверенностью, тем самым «современным лиризмом», о котором он писал.

Я увлекся, но не отклонился от темы. Сейчас трудно понять, как такая масса дурных стихов могла казаться когда-то открытием, новым словом в поэзии. Но в том-то и дело, что, кроме стихов, существуют еще их авторы, умеющие производить впечатление. Кроме стихов, есть еще и тело, занимающее место в пространстве, тем активней и энергичней себя ведущее, чем меньше у него на это оснований.

Анненский был не только первым русским поэтом XX века, заговорившим на действительно новом поэтическом языке, но и первой жертвой той печальной тенденции, которая затем набрала силу. Мы вступили в эпоху больших чисел, слишком больших для искусства, для правильной ориентации в нем.

Человечество на наших глазах со многими вещами сталкивается впервые: впервые, например, оно обрело возможность по собственной воле кончить самоубийством.

Поговаривают о конце Истории. Американский философ Ф. Фукуяма вспомнил недавно, что еще Гегель объявил о ее конце после битвы под Йеной, когда победил новый принцип человеческого жизнеустройства, победили «права человека»: все остальное — лишь повторение уже достигнутого, подтягивание отстающих до уровня передовых. И хотя с 1807 года кое-что все же произошло, особенно у нас в России, где мы умудрились наломать таких дров, что никак не можем прийти в себя, с утверждением Гегеля приходится считаться.

Что касается искусства, то оно кончилось (если кончилось) даже не потому, что нет больше общемировых культурных движений и направлений, таких, как символизм или хотя бы конструктивизм, и не потому, что нет, за исключением нескольких отмеченных Нобелевским комитетом, мировых имен, среди которых имя Бродского угадано на редкость счастливо, а потому, что имен слишком много и движений слишком много: каждый самостоятельный художник создает свое направление, сосуществующее с сотнями других.

И так же, как человечество устало от великих людей в политике, от всех этих Лениных, Сталиных, Черчиллей, де Голлей и даже Горбачевых, так же оно не хочет больше производить в великие люди своих ученых, философов, композиторов, поэтов. Зато и разочарований меньше, не правда ли? А то еще назовешь кого-то великим, а он потом сядет тебе на голову, станет всех учить — писать будет все хуже, а учить все больше.

И для художника померк соблазн «быть притчей на устах у всех»: уста какие-то неразборчивые и этих уст слишком много. Нет, соблазн, конечно, есть, но с ним надо бороться. «Читателя! советчика! врача! На лестнице колючей разговора б!» Понимающего читателя, умного разговора!

Конец искусства означал бы конец человеческого бытия: только искусство не дает жизни превратиться, как говорил Фет, «в кормление гончих на душно-зловонной псарне».

А с другой стороны, почему бы и не быть концу света? Его поджидали и назначали неоднократно, последний раз, кажется, в октябре минувшего года. Слишком много крови и страданий. Человечество и начинало-то не слишком праведно и благонаравно — с братоубийства, а уж что было дальше и вплоть до сегодняшнего дня, лучше не перечислять. «Слезы людские, о слезы людские, / Льетесь вы ранней и поздней порой...» Некрасовский звук этих тютчевских стихов, для меня совершенно очевидный, надо бы сказать — ухослышнный («Льетесь, как льются струи дождевые / В осень глухую, порою ночной», — читал, читал Федор Иванович Николая Алексеевича!), подслушан прежде всего у самой жизни.

Еще одна, последняя, цитата: «И разве меж моих друзей двух-трех великих нет людей?» Есть, конечно, и я дорожу их дружбой. А то, что этого не знает какой-нибудь Боб Баркер, живущий в Калифорнии, — что с того? У него свои великие люди, у меня — свои. Зато мы избавлены от притворства: ах-ах, какой замечательный поэт Че-Пу-Хин, пишущий по-китайски!

Увы, уже появившиеся плохо пишущие по-русски, но овладевшие английским языком. Вот кто не пропадет, вот кто объяснит калифорнийцу, что такое рус-

ская поэзия в лучших своих достижениях. Не думайте, что проза избежит печальной участи. Скоро, скоро и она заговорит на языке набоковской «Ады» (чем дороже нам писатель, тем настойчивей наши претензии к нему) — этой гремучей смеси нескольких европейских языков, где русские причастия набраны латинским шрифтом — на радость ученому комментатору, разбирающему ее, как шумеро-аккадский текст, нацарапанный на глиняной дощечке.

Нет ничего бессмысленней международных симпозиумов по поэзии, прозе, драматургии. Все улыбаются друг другу, не умея отличить жульничества от гениальности. Наверное, музыка, на которую не падает тень от Вавилонской башни, в более счастливом положении, но догадываюсь, что и там не все так просто: чтобы оценить новое в ней, надо знать все, что написано на сегодняшний день, а как это сделать? Вдруг вы восхищаетесь отработанным паром? Сложите всю поэзию: английскую, русскую, французскую, испанскую, японскую и т. д. — вот что такое музыка, говорящая на одном, то есть на всех языках сразу.

Все-таки нас накрыла эта туча, эти десятизначные числа!

Философ объяснил нам, что мысль нельзя отложить на завтра, что она не приходит по заказу, но пробегает, как искра, через устную речь и является, как бы это сказать, скоропортящимся продуктом.

Мы же обращаемся с ней, как с костюмом: снимаем с себя, вешаем в шкаф на плечики и совершенно уверены в том, что завтра или послезавтра как ни в чем не бывало извлечем его при необходимости — в целостности и сохранности.

На самом деле это не совсем так: мысль, может быть, и та же, но что-то в ней изменилось. Представьте себе: мы извлекли из шкафа тот же пиджак, за день или два он не стал ни юбкой, ни платьем, но цвет поменял: был синим, стал зеленым.

Вот и моя мысль об опасности, грозящей искусству в связи с ростом народонаселения (мальтузианская ее подоплека меня, воспитанного на подозрении к человеконенавистническим взглядам английского мракобеса, как сказал бы Венедикт Ерофеев, безусловно смущает), приобрела за ночь, пока она отлеживалась в тетради, несколько иную окраску — более светлую, как это ни странно.

Надо научиться жить в новом мире, надо обзавестись новым сознанием. Моя еврейская бабушка говорила, что, как бы ни была велика семья, на каждого новорожденного младенца у Бога найдутся новые дары. Может быть, то же следует сказать по поводу каждого нового художника, только дары эти пора увидеть в другом: не в общественном признании, а в самой радости создания новой вещи, — более чистой, бескорыстной радости, наверное, не существует.



Читайте в следующем номере:

Письма С. Н. Булгакова.

1917 — 1923 гг.

Публикация, подготовка текста, предисловие и примечания
М. А. Колерова.

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Л. АННИНСКИЙ



СПАСТИ РОССИЮ ЦЕНОЙ РОССИИ...

Когда опора ползет из-под ног литературы куда-то вбок, писатель теряет смысл работы. Он делается похож на генерала, которого оставила его армия. Или на оратора, выброшенного кораблекрушением на необитаемый остров. Поневоле вспоминаешь притчу о фанатике-стилисте: на необитаемом острове он продолжает писать, отделявая фразы... для кого? Ни «для кого». Для себя. Просто потому, что умеет. Потому что мастер. Потому что — такой.

Владимов — такой. От него и следовало ожидать чего-то такого. То есть — классического романа, выношенного десятилетиями, отточенного до блеска. И о чем? О событиях полувековой давности! О войне — и это после Гроссмана, после Симонова, после Астафьева и Курочкина. Не говоря уже о Толстом и Солженицыне и вообще обо всей двухвековой русской батальной литературной традиции, в створ которой Владимир становится открыто и осознанно.

Что означает этот роман — сам факт появления такого романа — для теперешней литературной ситуации? Для ситуации духовной, когда под вопросом все: и смысл и сверхсмысл литературы, и реалистическая точность ее, и учительский пафос, — а ведь «Генерал и его армия» — вызов по всем линиям. В том числе и по линии письма. В том числе и по факту публикации в «военном» журнале «Знамя». В апрельском и майском номерах — в очередную годовщину Победы.

Пахнет гарью, танковым выхлопом, ружейным маслом, порохом, кровью. Достоверна фактура, выверена форма: все врезано жестко, все пригнано, взвешено, прокатано, впаяно. И экономно. Иной раз одна деталь держит фронт, но деталь выписана до мельчайшей достоверности. Полевая фуражка Жукова, надвинутая низко и прямо. Наборная рукоятка ножа из пластинок цветного плексигласа и алюминия — только память человека той эпохи удерживает такие мелочи. Кажется, что Владимир щеголяет осведомленностью, не жалеет строк на какой-нибудь портсигар: читатель должен рассмотреть выколотые сапожным инструментом скрещенные, перевитые гвардейской полосатой лентой штык и пропеллер, а выше и пониже рисунка — «Будем в Берлине, Андрюша!» и «Давай закурим, товарищ, по одной».

Иногда, как бы сомневаясь в том, что читатель из поколения, «выбравшего пепси», разберется сам в реалиях военной эпохи, Владимир дает объяснения в сносках. Принцип отбора «непонятностей», правда, не вполне понятен. Расшифрован, например, «КПП»; растолковано, что такое «барражировать», но оставлены без объяснения «антабка», «глизантин» и «ввертные шипы». Оно, конечно, и из контекста более или менее ясно. Так что «уточняющие» сноски тут скорее как бы дополнительные характеристики самой прозы — точеной, граненой, юстированной. Главное же тут — реальность: ее вес, ее тяжесть и осязаемость.

Огранка замечательная. Выверено все по законам правильной русской прозы, с перспективой, определяющей иллюзию читательского присутствия, со встроенными зеркалами заднего обзора, обеспечивающими эффект авторского всеведения.

Скажем, прогуливается шофер Сиротин с сексоткой Зоечкой, как и приказал им майор-особист Светлооков, у всех на виду, чтобы прикрыть «информационный канал» видимостью флирта, — краем глаза следит Владимир перспективу, окружение: вроде бы описывает тех, кто может видеть их, то есть Сиротина и сексотку, но через «встроенное зеркало» оборачивает дело так, что в фокусе — именно окру-

жение: зенитчики, санитары, ремонтники; вы, в сущности, получаете панораму тыла военной части.

Вот как это выписано: «минимальными средствами», но с голографическим эффектом присутствия:

«Могли их видеть возле танковых мастерских, где чинились под брезентовым тентом две пригнанные из боя «тридцатьчетверки»; ремонтники в черных промасленных комбинезонах обстукивали кувалдами разрывы брони, пригоняли заплаты, заваривали шипучей дугой от передвижного сварочного генератора; один, повязавший тряпкой нос и рот, счищал надетой на палку скоблилкой с почерневших башен комочки прикипевшего горелого мяса».

Последняя деталь, приобщенная к тою же невозмутимостью «матерого реалиста», выдает в авторе человека, прошедшего через осмысление Герники и Освенцима, а может, и преодолевшего искус постмодернистского «уравнивания мотивов», но это все — в глубоких «щелях» и «складках» бытия, в блиндажном подтексте, под тремя накатами мастерства, оставляющего на поверхности лишь графично точную разметку ролей и деталей: вспотевший от страха шофер прогуливается с фаянсовой телефонисткой, передавая той сведения на своего генерала для сплетшего всю эту сеть подлеца особиста.

Выверенность сюжетных построений доставляет — чисто читательски — едва ли не наслаждение. Фактурные пласты схвачены сюжетным ритмом, и, углубляясь в глизиантинную топь «военной прозы», видишь, что выстроено все прочно и изящно. И всегда — на минимально необходимых точках. То есть на трех. То есть, вербуя доносчиков из ближайшего окружения генерала Кобрисова, майор Светлоков проходит через три контактных эпизода, и мы получаем три встречных портрета: шофер — адъютант — ординарец. И, соответственно, должна высветиться с трех сторон фигура генерала в центре.

Изящество построения подчеркнуто еще и тем, что этот наглый особист повторяет прием с каждым из троих. Унижая и незаметно подчиняя себе их волю, он просит подтянуть вон ту веточку — сломать прутик для хлыстика. А под конец рассказывает дурацкий сон про соблазнительную бабу, оказавшуюся при ближайшем знакомстве мужиком, и просит истолковать, что бы это значило. И собеседники подчиняются, подавая прутик, вникая в дурацкий сон, непроизвольно подчиняясь особисту в мелочи, а там и в крупном, то есть обязуясь доносить о каждом шаге генерала. Соглашается и перелетный шоферюга Сиротин, для которого что тот генерал, что этот, и цепкий штабист адъютант Донской, для которого этот генерал — ступень к карьере...

Возникает ощущение какой-то потаенной, всеобщей невидимой слабости у всех этих, как сказали бы сейчас, крутых и вроде бы независимых и по-своему достойных «вооруженных мужчин». Ощущение, что Владимов, пытающийся нащупать базис, твердое основание в характерах своих героев, шарит в пустоте и натывается... вернее, не натывается, а, наоборот, упускает опору.

Это смутное чувство беспочвенности перекликается в моем читательском сознании с той давней болью, когда в ранней повести его, в «Большой руде», такой же вольный шоферюга, Пронякин, вдруг почувствовал, как дрогнула и поползла вбок под его колесами дорога...

А Донской? Этот вроде бы покрепче. И имеет основания смотреть в глаза особисту без страха. Суховатый, четкий, исполненный чувства собственного достоинства, весь «под князя Андрея», он-то чего боится, он чего пьитится перед Светлоковым? Но тут возникает, опять-таки в моем читательском сознании, «другая бездна» владимовского мироощущения: безопорность долга. Там воля вольная — тут воля смиряющая. Там — гуляка, перекати-поле, «ветер в лицо». Тут — служака, рыцарь долга, «вооруженный мужчина», апофеоз той верности, той воинской доблести, которая всегда выделяла Владимова в рядах его размашисто-романтического поколения. Однако читатели «Верного Руслана» помнят, конечно, какой ловушкой, какой трагической бессмыслицей оборачивается эта верность, этот долг рыцарский, эта воинская самоотдача, когда высший смысл служения оказывается срезан.

Этот-то проклятый вопрос и сейчас главный. Встает откуда-то из «нижней бездны» нового владимовского романа. Висит в воздухе. Речь вроде бы не о том... Но ведь и в «Большой руде» речь вроде не о том и независимость свою Пронякин бригаде успешно доказывает (о чем и речь). И в «Верном Руслане» бесчеловеч-

ность и подлость лагерной системы доказана (об этом и речь). Но плывет вбок дорожка под накрывающейся машиной и плывет в небытие невостребованная честность верного Руслана, и в «Трех минутах молчания» герой никак не может принять боевую стойку на прыгающей, уходящей из-под ног палубе сейнера. Хотя в «Трех минутах» речь вроде тоже не о том.

И теперь речь — о солдатской работе, о спокойной решимости русских умереть за клочок земли, о котором они никогда слыхом не слыхивали, за Москву, которую они никогда и близко не видели, — речь о спасении России, которая никого не жалеет и за которую идут умирать те самые люди, которых она не жалеет, — и эта громада, твердыня, держава величественно вздымается над кровью. Но... зовут в лесок поговорить майор Светлооков и, похлестывая прутиком, предлагает посотрудничать — и ничего больше нет: ни громады, ни твердыни, ни державы, а только невозможность защититься и тошнотный страх.

А может, это вот так изначально и связано одно с другим — «размазанность» отдельного человека и непобедимость державы? И Владимов с этим смиряется? Вот капитулирует у него шофер Сиротин, за ним — адъютант Донской, и вы ждете, что ординарец Шестериков тоже сдастся, и это будет третья вершина треугольника, и подтвердится «правило трех точек», и завершится охват и штурм с трех сторон — и уже подступает сквозь тошноту от торжествующей подлости читательское наслаждение от торжествующей эстетической стройности, от «хорошо сделанной вещи», — как вдруг ткань романа начинает «ползти куда-то вбок». Ординарец Шестериков, приглашенный особистом Светлооковым в лесок, до леска как бы и не доходит, а ныряет вслед за автором в совсем другую, снежную круговерть, и начинается ретроспекция, «история знакомства», «послужной список», и гигантская сюжетная петля, заложенная Владимовым в прошлое генерала Кобрисова и его верного ординарца, разрушает точность композиции.

На «знаменской» публикации помечено: журнальный вариант. Я не знаю, что тут от редакторских сокращений и стяжек, а что — от собственных авторских исканий. Возможно, полный, книжный вариант романа что-то поставит на место и в чем-то вернет композиции стройность. Но я не думаю, что авторское ощущение реальности окажется там другим. Для меня же самое ценное — это авторское ощущение реальности. Авторское терзание. Авторская неразрешимость. Даже там, где эта неразрешимость ломает строй и портит амуницию литературной вещи. От боли все равно не уйдешь. Ни в краснознаменное прошлое генерала Кобрисова, ни в тевтонское настоящее его военных противников, ни в будущее.. из которого (из нашего сегодня) оборачивается Владимов к кровавой военной поре, решая, чего же в ней больше: святости или подлости? рабства или воли? правды или обмана? На чем выстроилось наше последующее бытие? Чего нам ждать? Как жить? За что мы заплатили пятьдесят лет назад? И какую цену!

Цена победы — вот к чему прикован Владимов. Если десять тысяч душ в городке — и десять тысяч душ надо положить, чтобы его у немцев отбить, — так, выходит, за Россию уплачено Россией же! Как вместить это смертельное уравнение? Кто решится платить по таким счетам? Какой полководец ответит за эту стратегию? Это полководец? Или мясник?

Шеренга генералов, выстроенная в романе, производит яркое впечатление. Поначалу я думал (да и знал по упреждающей информации), что Владимов пишет роман о генерале Власове. Портрет Власова в романе есть, сделан искусно (не прямо, а через Андрея Стратилата, покровителя по святым). Но в центре романа — не Власов. В центре, я бы сказал, групповой портрет — «совещание в Спасо-Песковцах», своеобразно обернутый «Совет в Филях» — обернутый в том смысле, что там Москву сдавали, а тут Киев берут. Толстовский же принцип, когда генерала описывают не как генерала, а как «просто человека» или даже «просто особь», сохранен. Реальные исторические фигуры перетасованы с вымышленными или слегка закамouflированными. Я думаю, историки и специалисты по военной прозе с интересом разберут этот владимовский коллаж, проследив, сколько в Чарновском от Черняховского, а в Рыбко от Рыбалко, у кого из командующих было вечно обиженное лицо и у кого — дочка Майя. Интереснее другое — движение владимовского духа. Отдавая должное движениям его пера, точности письма, и прежде всего — рельефной выразительности фигур Хрущева и Жукова — центральных в этом центральном эпизоде романа, я с удивлением отмечаю почти несдерживаемую авторскую неприязнь к обоим. Это тем более интересно, что драматургически они

здесь противоборствуют: бесцеремонная крутость одного есть ответ на самозабвенное тараруйство другого. Естественно было бы автору принять чью-то сторону. Но Владимову противны оба. Что, впрочем, тоже понятно.

Хрущев противен — идеологическим «приплясом», совершенно бессмысленным в боевой обстановке, дурачками «подарками» командармам да еще и суетой вокруг того, кто будет освобождать Киев: Хрущеву надо, «чтоб это украинец был».

Тут Владимов срывается: «Пойдите же до конца — русских десантников, заодно казахов, грузин — снимите с танковой брони. Летчика-эстонца верните на аэродром. И пусть танкист-белорус вылезет из душной своей коробки, пусть покинет свою сорокалятку наводчик-татарин. Вот еще тех евреев отставьте, у которых целые семьи в этом... яру лежат расстрелянные».

Вообще говоря, я тут подписываюсь под каждым словом. Да вот получится ли на эти темы порассуждать «вообще»? И связать теперешние идеи с тогдашней реальностью? Тогда, в 1943 году, украинский вопрос не стоял так фатально. Иначе «национализм» запросто припаяли бы тому же Хрущеву, как припаяли Довженко. Никто тогда не рисковал доводить вопрос даже и до намека на «незалежність». Это — теперешнее.

Но и в теперешнем контексте, когда эта самая «незалежність» — всеобщий пароль и отзыв, такое рассуждение (вообще говоря, повторяю, правильное) вряд ли будет расслышано. Оно не воспринимается «вообще». И потому способно вызвать обратный эффект. Что же до ткани владимовского романа, то в ней оно производит впечатление публицистического «выпада», то есть работает несколько «невпопад».

Этот мотив «выпадает» из общей мелодии. И не только этот. Я все время ловлю себя на том, что основная владимовская тема, за которой я начал следить, замерла, ушла куда-то в паузу. Магнетическое поле, ведшее меня по первым страницам, ослабло. Особист Светлооков, уже завербовавший генеральского шофера Сиротина и генеральского адъютанта Донского, где-то в лесочке вербует сейчас генеральского ординарца Шестерикова, и если он его сломает (а ведь сломает!), все батальи генерала Кобрисова против маршала Жукова и партаппаратчика Хрущева поползут куда-то вбок.

Я знаю, что Светлооков Шестерикова сломает. Я хочу знать как. Мне интересны подробности, мотивы, степень сопротивляемости. Это в известном смысле более важный вопрос в системе романа, чем те оперативные проблемы, в которые со всей страстью военного прозаика углубляется Владимов. Важнее крутой бесцеремонности Жукова. Важнее того, с какого плацдарма, северного или южного, будут брать Киев. Важнее даже самого страшного для нас вопроса — о количестве жертв.

Потому что количество жертв — это уже не вопрос, это — ответ. Он уже получен. Мы за Россию расплатились Россией. И, похоже, не в последний раз.

Так я хочу знать, откуда в нас фундаментальная склонность к такому принципу расплаты. «Мясник» или не «мясник» был полководец, спасший страну от немцев, об этом уже спорить нечего. Ясно: «мясник». Вопрос в другом: почему с такой готовностью русские люди (и «заодно казахи, грузины... летчик-эстонец... танкист-белорус... и те же евреи») согласны были умирать за любой клочок земли, даже и не имеющий никакого оперативного значения. Согласны были идти за «мясником». Согласны были возлюбить палача, всенародного, верховного, генерального. Ведь это же все осталось: и этот народ, и «мясники», сегодня кричащие о социальной справедливости (или о мировой цивилизации — это уж кто что оседлал). Этот вопрос у Владимова заложен. Он-то и висит в воздухе. Или, лучше сказать, тикает миной замедленного действия.

Генерал Кобрисов выбран Владимовым в главные герои романа именно потому, что он ближе всего к решению. Он помещен в тот центр, где скрещиваются все нити: и те, что идут из неприступной Ставки, и те, что идут из простреливаемого окопа (и те, что из тыловой дачки, где в послевоенном будущем надеется остаться при своем генерале сообразительный ординарец Шестериков).

Этот-то последний менее всего связан общим безумием. На издевательский вопрос особиста, что сон сей значит (охлаживал особист бабу, а оказалась баба — мужиком), Шестериков отвечает лучше всех. Он не проглатывает язык от страха,

как Сиротин, и не отказывается брезгливо от ответа, как Донской, — он отвечает гениально: «А просто погода переменится...», чем вгоняет товарища майора в тихую и зловещую ярость.

А все-таки боится и Шестериков. И не признается любимому генералу, что Светлооков склонял его доносить. И генерал в свой час дает Шестерикову понять, что знает об этом предательском умолчании. И Шестериков признает, что по отношению к генералу это именно предательство.

Хотя все это, конечно, несколько натянуто. Если генерал все знает — по той железной причине, что особист должен вербовать его ординарца (по службе должен), — и вычисляет предательство, так сказать, статистически (то есть признает, что выбора нет ни у кого: ни у Шестерикова, ни у Светлоокова, ни у него самого, генерала Кобрисова), то где тут, собственно говоря, предательство? Тут уж скорее верность верного Руслана долгу и присяге.

Впрочем, споря с Владимовым по частностям (а может, немного и провоцируя его, то есть испытывая его построения на прочность), я в основном принимаю его таким, каков он есть, со всем его нравственным максимализмом. Этот его максимализм, этот кодекс чести (рыцарский, воинский, офицерский, мужской, юношеский, мальчишеский — как угодно) выделил когда-то Владимова из поколения склонных к либеральной терпимости шестидесятников, а потом выделил вообще из литературы его времени, склонной спирать человека на что-то вне его («среда», «почва», «народ»). Владимов всегда говорил: плати сам. В известном смысле это его уникальность. И это то, за что я всегда ценил и ценю его и люблю, хотя «странною любовью», потому что сам я, увы, мяккотел и думаю, что не устоит человек на Руси один: сломается. Или спасется, то есть нырнет «в кучу».

Недаром же и Владимов всю жизнь исчужа вглядывается в людей «кучи», и рядом с верным Русланом, висящим в невесомости, пехает у него какой-нибудь Тобик-Шарик-Трезорка и потертый подваливается под теплый бок к Стуре... И вот теперь, как последний рекрут на пути особиста-смершеца, уже преодолевшего сопротивление Сиротина и Донского, встает этот шустрый, работающий, хитрый, практичный, насквозь «народный» Шестериков. Ну? Выдержит?

Диспозиция: «Если для шофера Сиротина «смершевец»... был всемогущий провидец, властный чуть ли не снаряд остановить в полете, если для адъютанта Донского он был тайная, границ не имеющая сила, восходящая в сферы непостижимые, то для Шестерикова он был лоботряс».

Отлично сказано. Точно ли? Кто он в реальности, всесильный «смершевец»? Исчадь подлости, тайный совратитель, которого Владимов с тончайшим ядом нарекает Светлооковым? Нам не преодолеть мистического ужаса перед этим инквизитором, пока мы не воткнем его в какой-нибудь «жизненный пласт». Владимов хоть и скуп на живопись, однако штрихом-другим умеет же очертить типаж и обозначить корни.

Так когда-то в «Верном Руслане» было скупое, но точно обозначено происхождение лагерного вертухая: с голодавшей Украины. Всякому злу должно быть объяснение. Фарфорово-фаянсовая сексотка Зочка делается понятнее, когда в перспективе лет видишь ее в облике «дебелой партийной бабенки, успевшей переспать со всеми инструкторами обкома», а потом — в облике «опустившейся бабищи, с изолганным, пустоглазым, опитым лицом, с отечными ногами, с задом, едва помещающимся в судейском кресле».

Точно так же мы ищем «типический ракурс» в inferнальной фигуре Светлоокова. И вроде бы двумя-тремя штрихами Владимов нас отсылает к чему-то знакомому. Лыняные волосы, заброшенные за крутой выпуклый лоб... что-то великорусское, может быть, провинциальное... шустрый мальчик, лучший ученик сельской школы, быстрый, сообразительный, с четким счетом. Попадает в артиллерию. Сначала корректировщик, потом, после лейтенантских курсов, батарейный командир... И вдруг все это ползет вбок, в какую-то новую плоскость. Светлооков — поэт. И, видать, неплохой — сам Илья Эренбург шлет ему добрый отзыв, после чего в армейской газете заводят персональную рубрику. Это уже что-то союзписательское, цедээловское, что-то достоаэловское, шаго-кирилловское, неуловимо-неохватное: никакого «дебелого зада», никакого бытового происхождения — то ли ангел, падший до дьявола. то ли дьявол, испытующий в человеке ангела...

Так возникает посреди реалистичных декораций ощущение безвоздушного пространства, вакуума, «полигона», «театра военных действий», в пределах которого (в беспредельности которого) войсковой смершевец потому и кажется «всемогущим провидцем», проводником «непостижимых сфер», что лучше всех отвечает обшей скрытой готовности принять все это.

Владимов пытается преодолеть морок. Шестериков, трудяга, травленный заяц, пензенский мужик, готовый «поливать эту землю потом», — он ведь имеет основания без всякой мистики считать Светлоокова бездельником, наевшим мурло на писании пустых бумажек?

Нет. Не имеет. Ни опоры, ни почвы, ни права. Земля под ним, Шестериковым, урезана, почва отнята, паспорт отобран, сам он — «беспаспортный, крепостной, не могущий никогда наесться досыта, ухватившийся за соломинку...», но «и ту из его рук выдирают...».

Выдирает — Светлооков. Соломинка — в его руках. Все концы и все начала — в его руках. Огромная страна как бы не чувствует себя, не видит себя, не верит себе; она выделяет из себя особую фракцию все чующих, все видящих и все знающих опричников, которые выстраивают из этой гигантской массы воющую машину.

Они все: и «вооруженные мужчины», и «лоботрясы», посылающие их на смерть, — они все на дне своего существования бессильны, безпорны и потому потенциально бесцельны. Это их бессилие компенсируется «особым» существованием: особыми отделами, особыми сотрудниками, особыми органами. Рок России: особое, параллельное, «подлинное» существование, равновеликое существованию «элементарному», ибо элементарное — выморочно и бессильно. Так разменивается жизнь на жизнь. Спасение покупается ценою гибели. Вольность — ценою рабства. Россия — ценою России. Страшен глубинный смысл владимовской метафоры, рожденной «в масштабах плацдарма». Жизнь равна смерти. На смысл существования не остается сил.

Владимов, конечно, так не формулирует. И даже, может быть, не совсем так чувствует. Он занят — непосредственно — проблемами «генеральскими»: оперативными, иногда тактико-техническими. В обрисовке «сексотов» он одержим нормальной диссидентской ненавистью. Но под тканью романа «шестым чувством» все время чувствуется тайна. Иногда ее ощущаешь «по отсутствию», по тому, как уходит из-под описаний «магнитное поле» действия, вернее, даже не действия, а того тайного смысла, без которого действие вянет и дробится.

С литературной точки зрения это, конечно, слабость. Но она ощущается не как слабость текста, а как ослабление подтекста, и это даже интересно по-своему. Генералы спорят о том, как двинуть клинья, автор рассуждает о том, какой вариант операции достоин войти в военные учебники, а вы с тревогой следите за тем подспудным тектоническим зарядом, который оставлен и ждет своего момента.

Иногда это магнетическое поле подступает к самой поверхности текста, раскаляя эпизод до «прозрачности». Как в страшной сцене опознания трупов во дворе орловской тюрьмы — сильнейшие страницы романа!

Эпизод этот достаточно известен историкам: при подходе немцев к Орлу в срок первом году были уничтожены чекистами заключенные местной тюрьмы (там были, в частности, добыты последние эсеры, погибла Мария Спиридонова). Постреляли всех без суда и следствия. Зачем? Какую опасность для советской власти представляли давнопрошедшие оппоненты, когда ей, власти, казалось бы, должно быть не до них?

Задавая этой невообразимой реальности логичные вопросы, Владимир именно и испытывает ее — логикой, то есть тем, что ей изначально не свойственно. Он чувствует, что должен вынести точку отсчета — вовне. Следует чисто толстовский ход — переброс действия «от Кутузова к Наполеону»... то есть к Гудериану.

Вполне по-толстовски немецкий генерал увиден с партикулярной, простецкой стороны. «Старина Гейнц». Воин, рыцарски честный с противником и отечески честный с солдатами. Простой, ясный, благородный. Так что в противовес Толстому Владимир рисует завоевателя без всякого желания разоблачить и выставить на смех. Генерал только в одном отношении выпадает из общей ситуации, к которой душой прикипел Владимир, — именно в том отношении, что Гудериан из нее —

выпадает. Начисто. Он — пришелец. Чужак. Соглядатай. Он даже не злонамеренный чужак. Интонация «должного уважения», с которой описан германский танковый генерал, опять-таки идет вразрез со всей той брезгливой ненавистью, которой обычно окружены в русском сознании такие пришельцы. Стальные конквистадоры всегда входили в Россию, как в пустое пространство. Гейнц Гудериан в отличие от них учитывает, что в «пространстве» живут люди. Их существование его не интересует, но он мыслит логично, то есть подходит к людям с той логикой, какую знает сам.

Он приказывает выложить на тюремном дворе сотни трупов, обнаруженных в подвалах тюрьмы, и приглашает родственников для опознания. По его логике, люди, увидевшие своих родных мертвыми, должны возненавидеть палачей, которые все это сотворили. Он не может понять, почему ненависть людей обращается не на чекистов, а на него, честного немца. Почему люди смотрят с такой злобой? «Кто-нибудь им сказал, что это сделали мои танкисты?»

«Это»... Да разве же можно понять, что значит «это» в стране, где все смешивается и сама реальность под вопросом? Границы мироздания начинают ползти в сознании честного Гейнца. Его танк, оставивший следы ввертнших шипов на дорогах всей Европы, начинает скользить куда-то вбок по склону русского оврага, покрытого грязью и снегом. Европейский интеллигент, расположившийся в Ясной Поляне, читает по ночам «Войну и мир», постигая русскую загадку. Он думает, что мистический смысл ускользает от него из-за чрезмерной энергичности немецкого перевода, меж тем как мистический смысл события состоит в том, что он, немецкий пришелец, сидит в своих «каменных сапогах» за столом Толстого и всякая логика (если логика вообще появится) начнется после того, как эти безумные русские выгонят благородного генерала из яснополянской усадьбы, а его танки размажут по склонам оврагов.

Но ведь чекисты убивали!

А это наша боль, не ваша.

Но ведь генерал Кобрисов, спаситель России, на которого у Владимова вся надежда, в свое время и продотрядами командовал, и раскулачивал, и бунты крестьянские замирал, и целые села переселял в места отдаленные!

Знаем. Но это нас касается, не вас.

И Шестериков, от раскулачивания по миру пошедший, ему же, карателю, служит?!

Ему, не ему — со стороны не понять.

Именно в этом духе (дрогнувшим голосом и со слезами) отвечает Шестериков особисту: «А вам-то какое до этого дело?» После чего они мирно идут по тропинке из лесочка, где состоялся их конспиративный разговор. И в отличие от немецкого завоевателя, который искренне верит в логику и искренне же изумляется русской невменяемости, наш советский особист логикой своего собеседника только «испытывает», то есть провоцирует, то есть запутывает, а сам преточнейше знает что почем.

Старина Гейнц, отвалив с тюремного двора в свой танк, думает о невменяемой массе, братающейся со своими большевистскими палачами, как о безрассудной силе, слепой природе, об урагане, землетрясении.

Наш майор, из массы вышедший, думает иначе: общее всех сплотило. Эта светлая, стокая, светлокая, прозрачная, безжалостная сила — почти «механическое следствие» той темной, рыхлой, непробиваемой, жалостной природной массы, в которой все у нас и вязнет, и спасается. Ей в противовес нужно что-то сухо-беспощадное, скрипуче-пунктуальное, кабинетно-опрятное... опрядное — чтобы все прядки были прибраны — в пику косматой «казахьей» непредсказуемости многопудовых «народных героев». Исчезает Светлооков — выныривает Опрядкин, лубянский следователь: «светло-ледяной взгляд, аккуратный пробор в прилизанных желтых волосах», — за считанные часы до начала войны ставит арестованного генерала Кобрисова на колени, выбивает из того показания...

С началом войны мизансцена мгновенно меняется: следователь протягивает подследственному руку и генерал, поднимаясь с колен, спрашивает: «Стало быть, гражданин следователь, вместе будем теперь отечество спасать?»

Спасать Россию — ценой России...

Генерал Кобрисов — «негромкий командарм», из тех, чье имя может затеряться среди громких маршальских биографий, — для Владимова именно тот человек, который способен опереться на эту зыбкую землю. Владимов его и находит — как своеобразный гравитационный центр воюющей державы. Пониже тех, кто стрелами на карте посылает других на смерть, но выше тех, кто безропотно умирает, не всегда успевая понять, куда и зачем их послали. «Восемь пудов... скорби», Фотий Кобрисов, здоровенный донской казак — «почва» наша, «опора» наша!

Отбывает генерал в Москву. За назначением и отдохнуть. Не доезжает! Садится у обочины выпить-закусить. Вместе с шофером, адъютантом и ординарцем, которые в изначальной композиции вокруг него треугольником и были дислоцированы. Так что сюжетно все замыкается равновесно. Только срывает их всех с места... нет, не вихрь, а словечко, вылетевшее из репродуктора. В очередном приказе упоминает генерала Кобрисова Верховный Главнокомандующий, он же Генсек, он же — главный палач, начальник всех Лубянок, инициатор всех расстрелов, лагерей, ссылок. Он роняет имя Кобрисова в длинном списке отличившихся генералов, и седой казак, «восемь пудов скорби», пускается в пляс прямо на дороге, пьет на радостях с первыми встречными и, плюнув на все, разворачивает машину — обратно. На фронт!

Этот перышком летящий, шутом пляшущий старый генерал — символ той реальности, которую «звериным чувством» чувствует Владимов.

Чуемая эта реальность и составляет для меня главную ценность его романа. Хотя кое-где перекашивается от подспудных эмоций стройная композиция и странные отсветы ложатся на отлично написанный текст.



**Читайте в следующем номере
статью Никиты Елисеева (Санкт-Петербург)
«Человеческий голос» —
о прозе Сергея Довлатова**

ВЛ. НОВИКОВ

*

«ГОРЕ ОТ УМА У НАС УЖЕ ИМЕЕТСЯ»

Письмо Юрию Тынянову

Дорогой Юрий Николаевич!

Извините, что выбрал для обращения к вам недостаточно церемонный эпитет (этикетнее было бы: «глубокоуважаемый»), но слово «дорогой» в данном случае неизменно, ибо, пользуясь вашей терминологией, его основной лексический признак прочно связан с признаками колеблющимися. Для русской и мировой культуры вы деятель дорогой в значении «имеющий высокую цену». Лично для меня вы самый дорогой (т. е. любимый) писатель и филолог нашего столетия. Наконец, есть и третье, глубоко драматичное значение: «стоящий больших усилий». Помните, вы писали Шкловскому в 1928 году: «Требую судьбу <...>. Очень обидно бывает смотреть, как никто не подбирает кошелька»? Кошелек, оброненный вами, не просто большую цену имеет: чтобы его поднять, нужны изрядные усилия. А их люди предпринимать не любят, предпочитая оставаться в бедности. Так что для кого вы очень дороги, а для кого даже и слишком дороги...

Сюжет «Горя от ума», вами исследованный, продолжается. Прежде всего, конечно, в сфере государственного и общественного быта. Был час, когда нынешних Чацких призвали вершить судьбу России. Вскоре, однако, им всем пришлось выбирать между вечной, неминуемой «каретой» или же переходом в Фамусовы-Молчалины: «Как страшна была жизнь *превращаемых!*» Роман «Смерть Вазир-Мухтара» нынешняя интеллигенция, кажется, вспоминает не очень часто. Зато жизнь его перечитывает и даже переписывает — буква в букву.

Потому новые исторические романы с «батюшками» и «матушками», кавалергардами и дуэлями, утраченными иллюзиями и трачеными аллюзиями — все они неизбежно оборачиваются тавтологией и вызывают сожаление о времени и силах, отданных стилизаторскому вышиванию. Подтверждается ваш прогноз: «Я думаю, что беллетристика на историческом материале... скоро вся пройдет и будет беллетристика на теории. У нас наступает теоретическое время». Впрочем, разве «Вазир» — не теоретический роман? Разумник, радеющий о пользе общества и Отечества, всегда будет нелюбим властью и осуждаем оппозицией, прийти он может только к гибели, которую несут бессмысленно-темные силы. Такова теорема о Вазир-Мухтаре. А может быть, даже аксиома?

Да, теоретическое время наступало, но наступило ли оно? Учения, доктрины бывают двух видов: одни ищут в своем предмете его неповторимую специфику, уникальную сердцевину; другие приводят исследуемый объект к какому-нибудь общему знаменателю. К теориям первого типа принадлежит опоязовская наука о литературе, ко второму типу относятся остальные литературоведческие школы нашего века. Они даже не догадываются, насколько они близки друг другу и насколько они вместе противоположны тому духовному способу проникновения в тайну искусства, который обыкновенно обзывают «русским формализмом».

Знаю, что вы не любите таких слов, как «тайна», «дух», «эмоция» и т. п., что вы сознательно и целеустремленно избегали подобных туманностей в литературоведческом анализе. Это было совершенно правильно, но вместе с тем... как бы это сказать? Это было не совсем «педагогично». ОПОЯЗ стал гениальной научной школой, но он не стал школой, в которой учатся. Ваши ученики вынесли из обще-

ния с вами не много, а продолжить дело, если говорить начистоту, не смогли. Но дело даже не в них, я сейчас речь веду о вашей всемирной аудитории, которая, как мне кажется, тоже усвоила опоязовские идеи не лучшим образом.

Вспоминая ваши горькие слова, написанные в 1927 году: «Горе от ума у нас уже имеется. Смею это сказать о нас, трех-четырех людях. Не хватает только кавычек, и в них все дело. Я, кажется, обойдусь без кавычек и поеду прямо в Персию». В данном случае имеются в виду Чацкие не от политики, а от теории литературы. Их драма на фоне человеческой трагедии двадцатого века может показаться случаем не самым страшным и достаточно частным. Ну, не разобрались современники в вашей трактовке литературной эволюции, не уразумели разницу между «сукцессивностью» стиха и «симультанностью» прозы — в конце концов, от этого никто не умер! Но теорема о Вазир-Мухтаре, как мне кажется, верна для всех уровней и этажей человеческого общежития. Горе от ума без кавычек (кстати, в раннем детстве «гореотума» мне почему-то казалось одним словом-существительным, как чукковский «мойдодыр») есть универсалия, реализующаяся во множестве модификаций. А «Персией» бывали гибель в лагере или на войне, ранняя смерть от рассеянного склероза, кончина от сердечного приступа после выступления, медленное угасание в девяностолетнем одиночестве и почтительном непонимании...

После того, как вы с Р. Якобсоном составили в 1928 году тезисы «Проблемы изучения литературы и языка», этот грандиозный, по-таглински головокружительный проект в своей литературной части остался совершенно не реализованным, а теоретическим литературоведением, как отечественным, так и западным, на этой развилке *la diritta via era smarrita*¹. И для меня эта узкоспециальная драма есть часть вековой трагедии, всемирного горя от ума. Почему же все-таки получилось именно так и не могло ли все обернуться иначе?

ОПОЯЗ открыл фундаментальный закон литературы и искусства — природную противопоставленность материала и приема. По-моему, это главное эстетическое открытие не только двадцатого века, но и всех двадцати веков, то есть христианской культурной эры. Открытие, по масштабу сопоставимое разве что с «Поэтикой» Аристотеля. В науке нет ничего окончательного, и возможно, когда-нибудь будет предложено еще более специфичное объяснение сущности литературы. Однако сегодня, 6 июня 1994 года, концепция материала и приема остается наиболее глубоко проникающей в природную сердцевину литературы, именно она обладает максимальной разьясняющей силой. Для тех, конечно, кто ею овладел, кто освоил ее не только разумом, но и душой — простите мне опять это ненаучное слово.

Антитеза «материал — прием» — это динамическая модель, отражающая сам процесс сотворения художественных произведений. Убежден, что различение материала и приема органично присутствует в сознании или подсознании каждого творчески одаренного человека, просто большинство писателей не стремится развивать в себе рефлексивно-аналитические способности, концентрируя всю свою энергию в любви и пристальном интересе к материалу. Более того: модель «материал — прием» глубоко гуманна, она предполагает эстетическую одаренность в каждом читателе. Думаю, что всякий человек, воспринимающий литературу как искусство, чувствует границу между материальными и формальными факторами, даже если он никогда не слышал об этих терминах и вообще о теории литературы. Сложнее обстоит дело с профессиональными литературоведами: они авторитетно апеллируют к терминам, не обладая соответствующими умственными и душевными навыками. Они-то вас и не поняли и в большинстве своем не понимают до сих пор.

Уже много лет я ишу методику разьяснения основной опоязовской антитезы. Как простейшим образом, что называется, на пальцах показать: вот сено, вот солома — вот материал, вот прием? Первоисточники нередко отталкивают читателя своим высокомерным интеллектуальным блеском: метафоры Шкловского («противопоставления мира миру или кошки камню — равны между собой») завораживают, но не облегчают понимание, то же и с Эйхенбаумовским разбором «Шинели»: чтобы его осилить, надо уже обладать достаточным аналитическим опытом, эстетической изощренностью...

Может быть, надо начинать с простейших конструкций, элементарных организмов? С эпиграмм — или, еще лучше, с пословиц. Берем, скажем, такую: «Не

¹ Правый путь был потерян (*итал.*) — Данте, «Ад», I, 3.

всяк Тарас подпевать горазд». Вот ее приемы: ритм, рифма, стремительная краткость. Вот ее «материалы»: раскатистое «а», четырехкратно повторенное, сам этот Тарас, выбранный из множества имен по сугубо фонетическим причинам. Да и мысль, здесь сформулированная, — тоже материал. Она могла бы существовать и вне искусства, могла быть высказана элементарными способами. Как логическое положение она не нуждается ни в Тарасе, ни в игре гласных и согласных. С точки же зрения искусства она достаточно мелка, тривиальна и ценна только как повод для рождения динамической речевой конструкции.

Правда, пускаясь в подобную популяризацию, я испытываю постоянный страх оказаться в ваших глазах тем самым Тарасом, не очень гораздым «подпевать» ОПОЯЗу, но что делать: свой риск есть и в литературе, и в науке, и в педагогике... Иного пути, как от простого к сложному, наверное, нет. А то вот совсем недавно мне такой препотешный эпизод рассказали: сдает американский русист после десятилетней аспирантуры докторский экзамен и, говоря о Гоголе, то и дело повторяет: «Пальто, пальто». Оказывается, он «Шинель» знает по английскому переводу. Не думаю, что он способен разобраться и в переведенной на английский статье Эйхенбаума «How Gogol's 'Overcoat' Is Made». Ему бы в первый класс, чтобы уразуметь: «Шинель» — это не «оверкоут» и даже не «пальто», она прежде всего сделана Гоголем из звуков «ш», «н», «л». Борис Михайлович считал это слишком очевидным — и напрасно.

Антитеза материала и приема — это двойное, удвоенное зрение, стереоскопическое видение искусства. Но волшебные эти очки должны быть подобраны к личным, неповторимым глазам каждого. И тут, как ни странно, легче говорить с простыми людьми, чем с очень учеными. Простой человек честно скажет, овладел он объемным зрением или нет. А профессор или академик даже не допускает такого вопроса, хотя ничего не видит, динамического напряжения между материалом и конструкцией не ощущает, в общем, сохраняет полную эстетическую фригидность.

Есть такое банальное изречение: мол, для того, чтобы стать ихтиологом, не обязательно быть рыбой. Дело в том, что вы, Шкловский и — в известной мере — Эйхенбаум (имею в виду даже не роман «Маршрут в бессмертие» и ранние стихи, а «Мой временник» с динамической композицией, игрой жанров, творческим юмором), вы трое — рыбы, рассказавшие человеческим языком о своем внутреннем мире. Это было слишком грандиозный скачок для ихтиологии! И ваше (именно вас трюих) писательство вовсе не было ущербом для науки, поскольку свою творческую природу вы умели четко рефлексировать, отстраненно наблюдать и отстраненно называть словами. Нелепо было бы теперь ставить вам в упрек, что вы не сумели с педагогическим терпением научить навыкам плавания окружавших вас и боявшихся воды старых и молодых «ихтиологов». Но хочу подчеркнуть, что горе ваше — не только от ума, а еще и от избытка той самой эмоциональной энергетики, которую вы так легко выносили за скобки. Вы с вашим «мильоном терзаний» были по-своему наивны, ожидая понимания от бедняков и середняков, одержимых только одной убогой эмоцией — завистью и неприязнью к «миллионщикам».

Между прочим, кто хорошо понял вас — не только умом, но и эстетическим инстинктом, — так это Бахтин. Не тогда, когда он под маской Медведева осаживал «формализм», а раньше, когда он в статье 1924 года (опубликованной только через пятьдесят лет) говорил о необходимости «войти творцом» в материал. Терминология другая, а по сути близко. Материал и прием — не абстрактные категории, а природные реалии, поэтому всякому позволено называть их любыми словами.

А эстетически фригидное научное сознание после двадцать восьмого года постепенно оформилось в направление, получившее имя структурализма. Имя было дано, как я считаю, по принципу *canis a non canendo*², ибо специфически художественной структурой представители этого направления занимались гораздо меньше, чем ОПОЯЗ. Между тем общим местом всемирной филологии стало «формализм роди структурализм», а лично вам присвоено звание «Иоанна Крестителя структурализма»³. Перефразируя ваш экспромт из «Чукоккалы», Сатурново кольцо пригласило «в попутчики Сатурна».

² Покушей (названа собака) потому, что она не поет (*nam.*).

³ Steiner P. Russian Formalism. A Metapoetics. Ithaca — London. 1984, p. 20.

Коротко говоря, структурализм не овладел антитезой материала и приема, не понял природу творческого усилия, вне которого невозможна художественная динамика. Умом структуру не понять — если речь идет о структуре эстетически значимой. Структурализм занялся знаковой стороной литературы и искусства, что само по себе было бы полезно, но только с учетом одной важнейшей предпосылки: семиотическая сфера всецело относится к материальной, а не конструктивной «половинке» творчества. Структурно-семиотическое литературоведение так и не взяло в толк теорему Шкловского «Мысль в литературном произведении или такой же материал, как производительная и звуковая сторона морфемы, или же инородное тело». А следуя ей, пришлось бы с необходимостью признать, что творчество есть не передача смысла, а его преодоление, что художественное сравнение (главный и главенствующий из приемов) снимает различие между знаковыми и незнаковыми элементами, что тотальная «семиотичность» искусства — это только допущение, в принципе недоказуемое. Подозреваю, что «система знаков» по отношению к искусству — это не столько научное определение, сколько метафора, причем с ограниченным сроком действия: сегодня она уже не обладает разъясняющей силой.

В результате структурализм не пошел дальше ОПОЯЗа, а, по сути дела, вернулся к той же неспецифической, утилитарно-профанной модели «содержание — форма», изобретая для нее множество терминологических одежек. Воспринимая искусство как способ коммуникации, структурализм опять свел эстетическую функцию к обслуживанию нехудожественных задач. (Я-то, грешным делом, полагаю, что ваше понятие «деформации» распространяется на всю коммуникативную сторону искусства — надо только суметь распространить. Может быть, максимум художественности проявляется в «обрывах» коммуникации, в тех ситуациях, когда мы от «понимания» делаем шаг к плодотворному непониманию, ощущая нелепость и бесполезность всех наших «интерпретаций» и «дешифровок», постигая закономерности, лежащие «по ту сторону» нашего ограниченного, «материального» восприятия.) По сути своей, структурно-семиотическое литературоведение близко всем детерминистским доктринам, не случайно его позднейшее смыкание с марксизмом (причем парадокс: мы здесь ждали избавления от марксистского ига, а на Западе многие сейчас сами на себя этот интеллектуальный хомут надевают). Впрочем, может быть, структурализм — одна из тоталитарных идеологий? Недаром так много общего с большевизмом: те занимались переименованием стран, городов, а эти старую эстетическую терминологию подменили уймой семиотических словечек, терминологически нестойких, оборачивающихся на поверку хиленькими эзотерическими метафорами. В общем, все они — переименовыватели.

Когда меня спрашивают о соотношении формализма и структурализма, я отвечаю: соотношение — сто к одному по значимости и применимости. Лично мне как читателю и литератору структурализм не открыл ни одной тайны искусства, не помог понять ни одного текста, ни одного конкретного писателя, ни одного исторического поворота. Сколько замысловатых сочинений прочитано зря! Отсюда, может быть, и моя чрезмерная злость. Наверное, для многих формализм слишком крепок, а однопроцентный его раствор — как раз по вкусу. Может быть, заслуга структурализма в том, что после двадцать восьмого года теория литературы надежно стояла на месте, не уйдя хотя бы далеко назад? Вот сейчас у нас постструктуралистская ситуация, очень постная. Это, пожалуй, еще хуже. Наши модники прослышали словечко «деконструкция» и готовы, задрав штаны, бежать за Дерридоу. А на Западе между тем вызревает отрицательная реакция на всякое аналитическое расчленение текстов. Опять входят в моду плоско-биографический подход, буквалистское описание реалий, что-нибудь вроде «Пушкин и пушки», «Крупный рогатый скот у Гоголя и Тургенева», «Беременность и роды у Толстого и Пастернака»... Аспекты по-своему интересные, только лучше уж они изучали бы все это, не затрагивая художественную литературу.

Немного о другом. Тут у нас некоторые знатоки внутринаучного быта рассуждают: мол, опоязовцы друг с другом перессорились и оттого все их дело развалилось. А я так считаю, что это счастливый случай, что такие гиганты смогли на достаточно продолжительное время соединить свои пути и ход своих мыслей. Хотя, конечно, разрыв Шкловского и Jakobсона — большая драма. Шкловский оплошал по части гражданского и политического поведения, за что Jakobson ему даже книги с инскриптами вернул. Прогрессивная общественность, натурально, посмотрела на ситуацию с позиции Jakobсона. А я все никак не могу забыть фразу

Шкловского, произнесенную весной 1982 года: «Роман Якобсон уехал и там... Обидаться, но я скажу: он там залотмизи... залотманизировался». Имелся в виду Ю. М. Лотман, к которому Шкловский, конечно, был несправедлив и об историческом значении которого речь чуть позже.

Лучшее — враг хорошего. И наоборот. По этой причине хорошие ученые порой становятся врагами своих лучших и гениальных коллег. «Чтобы быть академиком, нам нужно быть глупее вдвое и бездарнее втрое. Предоставим Жирмунскому» — так писали вы Шкловскому все в том же 1927 году. Оппоненты ОПОЯЗа — Жирмунский, Виноградов, Бахтин — были настоящими филологами, любили слово, но оно отвечало им все же не с такой пылкой взаимностью, как трем богатырям-формалистам.

Так уж получается в России, что мы охотнее враждуем не с теми, кто нам заведомо чужд, а с теми, кто, по сути, близок, но с кем мы имеем концептуальные расхождения. Очень ценю смелые идеи Бахтина о смехе, однако его «медведевскую» книгу 1928 года с точки зрения «философии поступка» считаю поступком, как говорится, неоднозначным. Недавно ее переиздали, и комментатор призывает нас «понять „серьезно-смеховой“, амбивалентный смысл бахтинского „марксизма“»⁴. По-моему, так не смешно и совершенно несерьезно: надо не подыскивать игривые формулы, а прочувствовать драматизм ситуации. Конфликт между Бахтиным и ОПОЯЗом сродни взаимонепониманию между Вазир-Мухтаром и декабристом Бурцовым.

Но бедный Бахтин! Какая у него получилась поверхностная и неадекватная слава!⁵ Десятки, сотни болтунов у нас и на Западе с монологическим занудством долдонят о «диалоге», множат безответственный треп об «ответственности». Ничего, мы, «формалисты» и тыняновцы, не забудем М. М. и в ту трудную минуту, когда пройдет мода, когда бахтинский бум навсегда иссякнет.

Да, так что же мы имеем, как говорится, на сегодняшний день помимо банального «бахтинизма»? Скучновато в литературоведении. Иметь идеи не модно. Малые дела, смешки, большое высокомерие... Преобладающий жанр — длинный комментарий к тексту с обилием необязательных соображений и сопоставлений. Художественный прием все еще не стал, как мечталось раннему Якобсону, «героем» научной истории литературы. До сих пор не написана история русской метафоры, метонимии, гиперболы. Один прием, правда, страшно полюбили — цитату и всюду теперь ищут «интертекстуальные» связи — конечно, без учета динамического фактора: сумел автор освоить чужое слово как материал, подчинить его своей задаче или же цитата, реминисценция стала лишь «яркой заплатой на ветхом рубище». Как будто вся литература — сплющенное обезьянничанье и попугайство.. Нового Хлебникова теперь бы не заметили да и не одобрили: цитат мало, Бога с большой буквы в каждой строке не поминает. Критика по-прежнему все оценивает по материальным, а не по конструктивным параметрам.

Теоретический темперамент почти на нуле. Так, может быть, честно дойти до этого нуля и начать все с начала? Так, мне кажется, шел поздний Лотман, разгребая семиотический мусор и возвращаясь к простой венгеровской фактографии. «Семен просеменил в просеминарий» — и мы за ним? Литературоведение оставлено в том же классе на второй век.

Однажды Лидия Николаевна Тынянова показала нам дореволюционный дневничок в кожаном переплете с немецкой надписью «Tagebuch». На первой странице — ваши шуточные стихи, а потом с годовым перерывом стихотворная жалоба от лица бедного «тагебуха», в который никто не хочет писать, с комическими рифмами к слову «тагебух». Жаль, не запомнил, не записал...

Все-таки люблю читать иностранные книжки о «русском формализме» (пусть так называют, раз им это удобнее). Очень занятно, как система опоязовских понятий претворяется в разных языках. Вопрос о переводе носит не только лингвистический характер. Скажем, «Проблема стихотворного языка» очень недурно

⁴ Медведев П. Н. (М. М. Бахтин). Формальный метод в литературоведении. Комментарии В. Махлина. М. 1993, стр. 194.

⁵ Писал об этом тринадцать лет назад в статье «Слово и слава» («Новый мир», 1981, № 4).

переведена на английский Майклом Соса и Brentом Харви. Но необходимы еще и переводы с русского на русский, то есть опыты освоения, применения. А то из всей этой книги у нас зазубрили только «тесноту стихового ряда», да и то не очень осознанно: показать читателю эту «тесноту», помочь ему насладиться ею мы не умеем...

Ну а теперь о монографиях, посвященных ОПОЯЗу. Интересно, как в них прослеживается ваша «предыстория», «корни». Кристина Поморска увидела в опоязовских идеях итог всего «серебряного века» — начиная с символизма. С этим спорить не приходится, но еще раньше Виктор Эрлих заметил, что «формализм» имел и более отдаленные исторические предпосылки: «В восемнадцатом веке критическая полемика сосредоточивалась скорее вокруг проблем просодии и языка, чем проблем идеологии. Также и критика пушкинского времени <...> была по преимуществу эстетической»⁶. Это как бы в подтверждение вашей рифмы «Арзамас — ОПОЯЗ» и к тому, что «формализм» — явление глубоко русское, чего у нас не хотели и до сих пор не хотят признать «начальники науки». Во главе академических литературных институтов по сю пору у нас стоят не ученые, а кадровики, очень озабоченные на тему «пятого пункта», и «русскость» они понимают отнюдь не в духовном плане. Впрочем, они разговора не стоят...

Очень «питательна» книга А. Ханзен-Лёве, где отчетливо показано, что Тынянов и ОПОЯЗ — все-таки не близнецы-братья, что важны и сугубо индивидуальные идеи. В частности, тут подмечена важная роль «тыняновского понятия эквивалента», которое «не утвердилось в терминологии других формалистов»⁷. Думаю, что в этой «мелочи» важнейший познавательный росток, что вопрос об эквивалентности, об условном равенстве неравноценных элементов — ключевой для теории художественного сравнения, как ни странно, еще очень мало разработанной. Степени чисто художественной эквивалентности мыслей, эмоций, образов, сюжетов — это просто открытый теоретический космос...

Но вот что меня волнует и тревожит: изучение «русского формализма» остается все-таки некоторой ретроспективной отраслью славистики. О применении опоязовских идей к исследованию, скажем, зарубежной поэзии и прозы говорить как-то не приходится. Помню, шесть лет назад мы стояли с французским коллегой Марком Вайнштайном у нас на Крылатских холмах и в ожидании автобуса грустно смотрели куда-то в сторону холма Монмартр. «Может быть, я сумасшедший? — спросил Марк. (Мотив сумасшествия, в скобках замечу, непременно присутствует в ситуации «горя от ума!») — Но я не понимаю, почему они всем этим не пользуются: теорией литературной эволюции, концепцией соотношения стиха и прозы?» Я его успокоил, сказав, что если стойких тыняновцев двое или трое (а еще жив был Каверин), то все не так безнадежно.

Марк Вайнштайн за это время успел написать несколько смелых статей (одна из них — о проблеме материала у вас и Бахтина), а вскоре выйдет его книга о Тынянове как основателе современной поэтики. Предвижу прямое столкновение опоязовских идей с господствующей в сегодняшнем мире постструктуралистской филологической конъюнктурой. Оно и неизбежно, и необходимо.

Известные наши тыняноведы М. О. Чудакова и Е. А. Тоддес составили для юбилейных чтений интересный вопросник. Очень правильно, что пунктов в нем тринадцать — это пока число вашей судьбы. Легко и категорично ответил на все вопросы, а предпоследний из них, лично-интимный, вызвал в моей душе и памяти прямо-таки прустовский эффект. Вопрос касался первого знакомства с прозой и идеями Тынянова, первых впечатлений. Должен признаться, что меня, как и, наверное, многих людей моего возраста и образа жизни, настоящие воспоминания уже почти не посещают. Мы перелистываем воспоминания-цитаты, то есть то, что уже вспоминали прежде. А тут неожиданный для научно-теоретической анкеты вопрос вдруг напомнил...

Мне одиннадцать лет, и я на крымском пляже читаю книгу в зеленом переплете: Корней Чуковский, «Из воспоминаний», М., 1958. Она завершается только что написанным и впервые опубликованным очерком «Тынянов». Я страшно испугался этого строгого человека, его испытующий взгляд надолго лишил меня душевного комфорта. В школьные годы прочитал прозу, опять-таки изрядно озадачив-

⁶ Erlich U. Russian Formalism. History — Doctrine. 3^d ed. The Hague. 1969, p. 4.

⁷ Hansen-Löwe A. Der Russische Formalismus. Methodologische Rekonstruktion seine Entwicklung aus dem Prinzip der Verfremdung. Wien. 1978, S. 322.

шую. На первом курсе университета, занявшись теорией и историей пародии, прочел «Достоевского и Гоголя», затем «Архаистов и новаторов» в целом, а также «Мнимую поэзию». Повезло, что узнавал Тынянова по первоисточникам, а не по выдернутым цитатам. «Проблему стихотворного языка» честно не понимал ни в студенчестве, ни в аспирантуре, чувствуя себя безнадежным тугодумом и будучи, как многие тогда, «бахтинистом». Проблески разумения ощутил годам к тридцати. Карабкаясь на этот Эверест, приобрел кое-какие навыки, которым потом взялся учить других. Случай со мной, полагаю, довольно характерен: таким естественным путем от простого к сложному, от глубины к большей глубине, от Бахтина к Тынянову, полагаю, пройдут еще многие.

Не знаю, как вы относитесь к эпиграмме на вас, сочиненной в конце 20-х годов Александром Архангельским:

Он молод. Лет ему сто тридцать.
 Весьма начитан и умен.
 Архивной пылью серебрится
 От грибоевских времен.

Как пародист Архангельский виртуозен (думаю, сопоставим с Козьмой Прутковым), эпиграммы его послабее, а уж эта всегда казалась мне явно неудачной. «Начитан и умен» — комплимент более чем плоский, «архивная пыль» совсем не по адресу... Но вот первая строчка, может быть, не лишена смысла. «Лет сто тридцать» во время опубликования этой миниатюры было Пушкину, Баратынскому, а они, безусловно, ваши ровесники в большом историческом времени. Про Пушкина вы однажды сказали: «Он еще очень молод, этот старик!» Позволю себе переадресовать эту характеристику Юрию Тынянову, который в свои сто невероятно молод и свеж.

Вам предстоит еще серьезно поработать в XXI веке: именно там вижу вашу большую судьбу. В России никого и ничего не понимают, как правило, только первые сто лет. Это относится и к людям, и к идеям. Опоязовской идее сто лет исполнится в 2013 — 2016 годах. Уверен, что к тому времени появится множество людей эстетически зрячих, свободно различающих материал и конструкцию, искусство и неискусство. Снова в «Бродячей собаке» воскресят слово, теперь уже окончательно. Мечтаю встретиться с вами, с Виктором Борисовичем и Борисом Михайловичем, чтобы при не погасшей с того времени свече поговорить в Доме искусств о строении стиха. А когда вам стукнет сто тридцать, наступит столетие «Проблемы стихотворного языка» — и эта «закрытая» книга вдруг предстанет ошелмляюще открытой. Ну и, само собой, ваши Пушкин, Кюхля, Вазир-Мухтар будут ближе свободным людям третьего тысячелетия, чем бедным узникам XX века.

До скорой встречи, дорогой Юрий Николаевич!



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

ТРАГЕДИЯ И МАЛО ЛИ ЧТО ЕЩЕ

Людмила Петрушевская. По дороге бога Эроса. М. «Олимп». «ППП». 1993.

Петрушевская, оказывается, исключительно литературна. Когда читаешь подряд повести и рассказы в новом — самом полном — сборнике ее прозы, эта черта бросается в глаза. Даже в названиях постоянно звучат сигналы литературности, скрытой как будто за сугубой «физиологичностью» и «натурализмом»: «Али-Баба», «История Клариссы», «Бал последнего человека», «Случай Богородицы», «Песни восточных славян», «Медея», «Новые Робинзоны», «Новый Гулливер», «Бог Посейдон»... Причем Петрушевская не бросает эти отсылки всуе, она с ними работает. Так, предположим, рассказ «По дороге бога Эроса» написан как бы по канве сюжета о Филемоне и Бавкиде: «Пульхерия знала, что должна остаться в его жизни — остаться верной, преданной, смиренной, жалкой и слабенькой немолодой женой, Бавкидой». Кстати, и имя героини, Пульхерия, несет в себе память о позднейшей версии все того же сюжета — разумеется, о «Старосветских помещиках». А рассказ «Богема» прямо так и начинается: «Из оперы «Богема» следует, что кто-то кого-то любил, чем-то жил, потом бросил или его бросили, а в случае Клавды все было гораздо проще...» Нельзя не вспомнить, что когда-то Роман Тименчик, известный специалист по «серебряному веку», расслышал в так называемой магнитофонности пьес Петрушевской отголоски бессмертных стихов, музыку языка.

Зачем-то знаки высокой культуры нужны Петрушевской. Самое легкое — объяснить все это тем, что так, дескать, создается тот контрастный фон, на котором отчетливее проступают дикость, безумие и энтропия жестокой обыденности, в которую она неустанно, без малейших признаков брезгливости всматривается. Но в том-то и дело, что в интонации повествования у Петрушевской никогда не прорвется осуждение, тем более гнев (и это резко отличает ее прозу от так называемой чернухи типа Сергея Каледина или Светланы Василенко). Только понимание, только скорбь: «...все-таки болит сердце, все ноет оно, все хочет отмщения. За что, спрашивается, ведь трава растет и жизнь неистребима вроде бы. Но истребима, истребима, вот в чем дело». Вслушаемся в эту интонацию. Максимально приближенная к внутренней точке зрения — из глубины потока обыденности, — насыщенная почти сказовыми элементами той речи, что звучит в очередях, курилках, канцеляриях и лабораториях, в кухонном скандале и внезапном застолье, она непременно содержит в себе какой-то сдвиг, причем сдвиг этот ничуть не выпадает из «сказовой» стилистики — он ее скорее утрирует, добавляя трудноуловимый элемент некой неправильности, логической ли, грамматической, не важно: «Пульхерия увидела, однако, не совсем то, а увидела мальчика, увидела ушедшее в высокие миры существо, *прикрывшееся для виду седой гривой и красной кожей... такой получился результат*», «...у ее суженого был ненормированный рабочий день, так что его свободно могло не быть ни там, ни здесь», «Ребенок тоже, очевидно, вынес большие страдания, потому что родился с кровоизлиянием в мозг, и спустя три месяца врач сказал Лене, что ни ходить, ни тем более говорить *ее сынок* не сможет, видимо, никогда», «Действительно, в положении жены все было чудовищно запутано и даже страшно, *как-то нечеловечески страшно*», «...и не обидеть старуху, у которой уже щеки знали бритву, но которая ни в чем не была виновата. Не виновата — *как и все мы, добавим мы*», «Лена вдруг упала в ноги моей *матушке* без крика, как взрослая, и согнулась в комочек, охвативши мамины босые ступни», «...ясно только одно: что собаке пришлось туго после смерти своей *Дамы — своей единственной*».

Причем эти повороты то и дело происходят и в речи автора-повествователя, и в так называемых монологах — разницы тут нет почти никакой, дистанция между автором и героиней, излагающей свою историю, сведена до минимума. Но важен сам поток повествования, его плотность и видимая однородность, как раз и порождающая эти повороты и сдвиги как итог наивысшей концентрации. Характерно, что два, на мой взгляд, самых слабых рассказа книги, «Медея» и «Гость», построены на диалоге, в них нет этого плотного потока — и сразу же исчезает глубинное течение, и остается некий недоразвившийся до новеллы очерк.

Эти сдвиги, во-первых, фиксируют возникновение какой-то еще одной, добавочной, точки зрения внутри повествования. Проза Петрушевской лишь кажется монологичной, на самом деле она по-настоящему полифонична. Ведь полифония — это не просто многоголосие, это глубина взаимного понимания. Вот для примера рассказ «Бал последнего человека». Здесь по крайней мере три точки зрения. Есть рассказчица («Ты мне говори, говори побольше о том, что он конченный человек, он алкоголик и этим почти все сказано, но еще не все...»), есть голос героини («...когда-то ты все думала, что, может, родить от него ребенка, но потом поняла, что это ничему не поможет, а ребенок окажется вещь в себе...»), есть, наконец, и голос самого героя, Ивана, и это его точка зрения, его вопль: «Поглядите, бал последнего человека» — звучит в названии рассказа. Многомерность видения осознается и самими участниками сюжета: «А ты сидишь на своей тахте, подбрав ноги, и счастливо смеешься: „Я вижу все в четвертом измерении, это прекрасно. Это прекрасно“». Но все три голоса пронизаны одним: отчаянием и любовью. И все они всё друг про друга понимают, и оттого фарсовая сцена выпрашивания спирта восполняется мукой женщины, истово любящей этого Ивана; а его трагически-литературный возглас корректируется саркастическим, но и одновременно таким сострадательным сообщением рассказчицы о том, как «в третьем часу ночи... Иван пойдет домой пешком», потому что у него нет денег на такси — «просто у него нет этих денег, нет вообще денег, вот и все». Откуда взяться в этом контексте какой бы то ни было однозначной оценке, если взаимное проникновение сознаний растворено в самой структуре повествования? Оно-то и создает неприметную, но влиятельную антитезу той разорванности и тому болезненному надлому, без которых, в сущности, не обходится ни один текст Петрушевской.

Во-вторых, и это, пожалуй, важнее, стилистические сдвиги у Петрушевской — это своего рода метафизические сквозняки. На наших глазах предельно конкретная, детально мотивированная, и потому всецело частная ситуация вдруг развоплощается, попадая на краткий миг в координаты вечности, — и оборачивается в итоге притчей, точнее, притча как бы просвечивает сквозь конкретную ситуацию изнутри. Собственно говоря, все это очень своеобразно понятые и органично пережитые уроки прозы Андрея Платонова с его языковыми неправильностями, выводящими в другое измерение бытия. Впрочем, чисто стилистические приемы не способны породить онтологический эффект, если они не подкреплены другими составляющими поэтики. Так по крайней мере у Платонова. Так и у Петрушевской.

В последнее время Петрушевская все чаще работает в жанрах, казалось бы, весьма удаленных от ее обычной манеры, — я имею в виду ее «страшилки» («Песни восточных славян»), волшебные сказки «для всей семьи», «Дикие животные сказки» (с Евтушенко, замыкающим ряд действующих лиц, начатый пчелой Домной и червяком Феофаном). Между тем и в этом повороте прозы Петрушевской нет ничего удивительного. Здесь как бы сублимирован тот пласт, который всегда присутствовал в подсознании ее поэтики. Этот пласт — мифологический. Странно, как до сих пор не заметили, что у Петрушевской при всем ее «жизнеподобии», фактически нет характеров. Индивидуальность, «диалектика души», все прочие атрибуты реалистического психологизма у Петрушевской полностью замещены одним — роком. Человек у нее полностью равен своей судьбе, которая в свою очередь вмещает в себя какую-то крайне важную грань всеобщей — и не исторической, а именно что вечной, изначальной судьбы человечества.

Недаром в ее рассказах формальные, чуть не идиоматические фразы о силе судьбы и роковых обстоятельствах звучат с мистической серьезностью: «Все было понятно в его случае, суженый был прозрачен, глуп, не тонок, а ее впереди ждала темная судьба, а на глазах стояли слезы счастья», «Но рок, судьба, неумолимое влияние целой государственной и мировой махины на слабое детское тело, распростертое теперь уж неизвестно в каком мраке, повернули все не так», «...хотя потом оказалось также, что никакий труд и никакая предусмотрительность не спасут от обшей для всех судьбы, спасти не может ничто, кроме удачи».

Причем судьба, проживаемая каждым из героев Петрушевской, всегда четко отнесена к определенному архетипу, архетипической формуле: сирота, безвинная жертва, суженый, суженая, убийца, разрушитель, проститутка (она же «простоволосая» и «простушка»). Все ее «робинзоны», «гулливеры», другие сугубо литературные по модели персонажи — не исключения из этого ряда. Речь идет всего лишь о культурных опосредованиях все тех же архетипов судьбы. Петрушевская, как правило, только лишь успев представить персонажа, сразу же и навсегда задает тот архетип, к которому будет сведено все существование этого героя. Скажем, так: «Дело в том, что эта... Тоня, очень милая и печальная блондинка, на самом деле представляла из себя вечную странницу, авантюристку и беглого каторжника».

Или же, описывая историю юной девушки, которую «можно считать как бы еще не жившей в этом мире, как бы монастыркой», готовой искренне поверить и подарить себя буквально первому встречному, Петрушевская, не только нимало не опасаясь двусмысленности, но и явно на нее рассчитывая, назовет этот рассказ честно и прямо: «Приключения Веры». Больше того, ее чрезвычайно увлекают причудливые взаимные метаморфозы этих архетипов, и, например, рассказ о «новом Гулливере» будет закончен пассажем, в котором Гулливер превращается и в Бога и в лилипута одновременно: «Я стою на страже и уже понимаю, что я для них. Я, всевидящим оком наблюдающий их маету и пыхтение, страдание и деторождение, их войны и пиры... Насылающий на них воду и голод, сильнопалящие кометы и заморозки (когда я проветриваю). Иногда они меня даже проклинают... Самое, однако, страшное, что я-то тоже здесь новый жилец, и наша цивилизация возникла всего десять тысяч лет назад, и иногда нас тоже заливают водой, или стоит сушь великая, или начинается землетрясение... Моя жена ждет ребенка и все ждет не дождется, молится и падает на колени. А я болею. Я смотрю за своими, я на страже, но кто бдит над нами и почему недавно в магазинах появилось много шерсти (мой скосили полковра)... Почему?..»

Но во всем этом пестром хороводе еще мифом отлитых ролей центральное положение у Петрушевской чаще всего занимают Мать и Дитя. И лучшие ее тексты про это: «Свой круг», «Дочь Ксени», «Отец и мать», «Случай Богородицы», «Бедное сердце Пани», «Материнский привет»... Наконец — «Время ночь».

Другая архетипическая у Петрушевской пара: Он и Она. Причем мужчина и женщина интересуют ее опять-таки в сугубо родовом, извечном и мучительно неизбывном значении. По сути, Петрушевскую все время занимает лишь одно — перипетии изначальных природных зависимостей в сегодняшней жизни людей. И в ее прозе вполне нормально звучат мотивировки, допустим, такого рода: «Собственно говоря, это была у Лены и Иванова та самая бессмертная любовь, которая, будучи неутоленной, на самом деле является просто неутоленным, несбывшимся желанием продолжения рода...» И то, что повествование у Петрушевской всегда идет от лица женщины (даже когда это безличный автор), на мой взгляд, отнюдь не родовая примета «женской прозы» с ее кругом семейных тем, а лишь воплощение постоянного в такой поэтике отсчета от природы в сугубо мифологическом понимании этой категории.

Если же уточнить, что же входит у Петрушевской в это мифологическое понимание, то придется признать, что природа в ее поэтике всегда включена в контекст эсхатологического мифа. Порог между жизнью и смертью — вот самая устойчивая смотровая площадка ее прозы. Ее главные коллизии — рождение ребенка и смерть человека, данные, как правило, в нераздельной слитности. Даже рисунки совершенно проходную ситуацию, Петрушевская, во-первых, все равно делает ее пороговой, а во-вторых, неизбежно помещает ее в космический хронотоп. Характерный пример — рассказ «Милая дама», где, собственно, описывается немая сцена расставания несостоявшихся любовников, старика и молодой женщины: «А потом пришла машина, заказанная заранее, и все кончилось, и исчезла проблема слишком позднего появления на Земле ее и слишком раннего его — и все исчезло, пропало в круговороте звезд, словно ничего и не было». Составляя книгу, Петрушевская выделила целый раздел — «Реквиемы». Но соотнесение с небытием конструктивно важно и для многих других рассказов, в этот раздел не включенных: от все того же «Бала последнего человека» до маленьких антиутопий («Новые Робинзоны», «Гигиена»), в принципе материализующих мифологему конца света. Впрочем, в других фантазмагориях Петрушевской в центре внимания оказываются уже постсмертное существование и мистические переходы из одного «царства» в другое, а также взаимное притяжение этих «царств» друг к другу образуют сюжетную основу многих рассказов последнего времени, таких, как «Бог Посейдон», «Два царства», «Рука»...

Природность у Петрушевской предполагает обязательное присутствие критерия смерти, вернее, смертности, бренности. И дело тут не в экзистенциалистских акцентах. Другое важно: вечная, природным циклом очерченная в мифологических архетипах, окаменевшая логика жизни трагична по определению. И всей своей прозой Петрушевская настаивает на этой философии. Ее поэтика, если угодно, дидактична, поскольку учит не только сознать жизнь как правильную трагедию, но и жить с этим сознанием. «В этом мире, однако, надо выдерживать все и жить, говорят соседи по даче...», «...завтра и даже сегодня меня оторвут от тепла и света и швырнут опять одну идти по глинистому полю под дождем, и это и есть жизнь, и надо укрепиться, поскольку всем придется так же, как мне...

потому что человек светит только одному человеку один раз в жизни, и это все» — вот максимы и сентенции Петрушевской. Других у нее не бывает.

«Надо укрепиться...» Но чем? Только одним — зависимой ответственностью. За того, кто слабее и кому еще хуже. За ребенка. За любимого. За жалкого. Это и есть вечный исход трагедии. Он не обещает счастья. Но в нем — возможность катарсиса. То есть, напомним, очищения, без которого этот неодолимый круг бытия был бы бессмыслен. Не знаю, как для других, но для меня образец катарсиса такого рода — финал рассказа «Свой круг». «Алеша, я думаю, придет ко мне в первый день Пасхи, я с ним так мысленно договорилась, показала ему дорожку и день, я думаю, он догадается, он очень сознательный мальчик, и там, среди крашенных яиц, среди пластмассовых венков и помятой, пьяной и доброй толпы, он меня простит, что я не дала ему попрощаться, а ударила его по лицу вместо благословения. Но так лучше — для всех. Я умная, я понимаю». И в этом тоже важное оправдание подспудной литературности жестокой прозы Петрушевской. Благодаря всем отсылкам к мотивам классической культуры чернухе возвращается значение высокой трагедии. Есть, правда, один трагический сюжет, который почему-то нигде и никак не обыгрывается Петрушевской. Сюжет царя Эдипа — история о человеке, узнавшем, какую жуткую жизнь он не по своей вине прожил, сумевшем принять на себя ответственность за весь этот ужас и с ним жить дальше. Хотя понятно, почему Петрушевская избегает этого сюжета, — вся ее проза именно об этом. Будь моя воля, я перефразировал бы слегка отдающее коммерческим расчетом название ее сборника. «По дороге царя Эдипа» — так, по-моему, точнее.

Марк ЛИПОВЕЦКИЙ.

*

БЕДНЫЕ ЛЮДИ

Юрий Малецкий. Ониксовая чаша. «Дружба народов», 1994, № 2.

В названии «Ониксовая чаша» слышится — мне, во всяком случае, — легкий призыв эстетства. Томные дыхания ассонансов, переливы ювелирных красок как бы обещают того же в тексте — но обещания не сдерживают. Возникающий в силу этого зазор между содержанием и именем едва ли входит в намерения автора — скорее он не нашел соответствия, хотя и пытался. Первоначально, сколько знаю, вещь называлась «Неудачный рассказ» — вполне нейтрально и столь же не по существу. А между тем есть название, точно соответствующее духу повести. Только оно уже слишком известно: «Бедные люди». Конечно, склонный к цитатным забавам постмодернист не остановился бы перед этим препятствием, тем более что тут возникала бы лакомая возможность сыграть на разности значений слова «бедные». Но Юрий Малецкий не играет ни в какие игры с культурной реальностью, просто он естественно живет в традиции русской классики. Той самой, что стремилась пробуждать чувства добрые и, указывая на смиренных, убогих, униженных и оскорбленных, говорила: это брат твой.

Последнее время традиция эта почитается едва ли не исчерпанной. Иные решительные критики поспешили уже похоронить ее (кто почтительно, а кто и с приплясами). Да и те, кому слухи о смерти кажутся преждевременными, не могут же не признать, что нынче в литературе — другие приоритеты. Конечно, мелькают на журнальных горизонтах и социальная критика, и неизжитый дидактизм. Но в общем сегодняшние писатели — особенно те, что условно называются молодыми, — интересуются не этикой, а эстетикой. Жизнь для них — это жизнь, искусство — это искусство, а литературный персонаж — литературный персонаж, то есть некая условность, набор языковых конструкций, а вовсе не «брат мой». Основным делом словесности стало слово — его самоигральные возможности, тонкости и филигрань. «Стиль превыше всего! — констатирует Алла Марченко в том же номере «Дружбы народов», где опубликована «Ониксовая чаша». — Стиль — цель. Стиль — средство. Стиль — форма. Стиль — содержание». А если, случается, холодом повеяет от сих эскзерсисов, что же, жечь глаголом нутро — намного ли лучше?

Юрий Малецкий отвергает подобный подход к словесности — не аргументами, а нравственным усилием, положенным в основание текста, живым теплом сострадательной любви. При этом декларативность или сентиментальность писателю чужды. Напротив, взгляд его трезв, а психологический анализ вполне беспощаден.

Настолько, что подчас даже трудно понять, как эта пронизательная хирургия уживается с «проникающей» жалостью.

Объектов анализа в повести три. Автор не дает им имен, довольствуясь обозначениями: женщина, ее дочь, муж дочери. Помимо этих троих, крупным планом выхвачен персонаж, стараниями которого закручивается нехитрый сюжет, — мужичонка с несколько говорящей фамилией Бузлов. Этот жалкий алкаш, пропивший свою жизнь, но еще сохранивший «золотые руки», не раз делал у женщины всякий мелкий ремонт и после под заработанную выпивку жаловался ей на судьбу, а она жалела «тихого и не злого» пьянчужку. Но однажды, когда с похмелья «просто душу девать некуда было», Бузлов взломал им же самим чиненную дверь и унес десять бутылок водки — обильный домашний запас. Женщина сообщила в милицию, мужика без проволочек арестовали, ему грозит от двух до семи... Вот, собственно, весь сюжет, и не в сюжете дело.

Три голоса — два женских и мужской — попеременно ведут повествование, три бьющиеся об жизнь души обнажают свою «сухую пустоту», горечь, неустроенность, неспособность жить в соответствии со своей верой и свою глубинную какую-то, неизживаемую, незаживающую несчастьность. Женщина, которой автор дает первое слово, страдает менее всех, ибо живет как в тумане. Дочери она абсолютно чужая, но толком не осознает этой отчужденности — только смутно ощущает сосущую пустоту в душе. Чтобы вытеснить чувство неприкаянности, она загромождает свою жизнь бесконечными магазинными походами, старательно-стерильными уборками, муравьиной домашней суетой. Полки, уставленные съестным и спиртным изобилием, придают ей спокойствие и уверенность. Потому-то похищение водки для нее — не просто кража, но грубое разрушение мира, тяжким трудом выстроенного, и даже более — удар по самому ее существу, вспыхивающему в ответ болью, яростью и жаждой мести. Не так ли и Акакий Акакиевич, тихое канцелярское животное, не знал ни злобы, ни отчаяния, пока не лишился любезной его сердцу шинели... Какую бы «дикую животную сказку» сложила тут Людмила Петрушевская, как бы проанатомировала эту почти бессловесную тварь — подобно тому помянутому Гоголем ученому, «не пропускающему посадить на булавку обыкновенную муху и рассмотреть ее в микроскоп!» Современные естество-пытатели обогатили коллекцию насекомых изрядным числом экземпляров из человеческого улья-муравейника. Сложнее увидеть свет человечности в беспросветно закукльвишемся существе, страдающем «умственной непроходимостью», как мать, или не вылезавшем из злобной неврастении, как дочь.

Эта вторая несравнимо несчастней, ибо автор наделил ее и умом, и тонкой восприимчивостью, и, что всего важнее, верой во Христа, которая превращает в бездонную пропасть разрыв между должным и сущим. «Молиться!.. А как молиться, когда на душе только злость. Прежде примирился с врагом своим» — а она не в состоянии даже элементарно посочувствовать своей матери. Зато ударить со всей силы и со всем моральным перевесом — это не задержится... Впрочем, она жалеет и мать, и Бузлова, и всех — жалеет такой жалостью, которая неотделима от ярости и ненависти: «Разве мне ее не жалко? Кто ей звонит каждый день, слушает по часу ее глупости, лишь бы она выговорилась за день? Кто ее пытается вызвать из всех переплетов, куда она по своей же... бедная моя мать. И обокрал ее бедный придурок... Бедные, бедные старички и дворовые детки... бедные вы мои бедняжки, как же я вас... Эту скотскую жизнь». Бедные люди.

Два женских голоса — один тусклый, с малым диапазоном интонаций, трудно ворочающий тяжеловесные мысли, другой истеричный, отчаянный, срывающийся в крик, — ведут разговор о себе и между собой. Писатель, передоверивший им повествование, держится в стороне, лишь иногда подхватывая нить рассказа. Степень его участия определяется художественной необходимостью: он совсем не вмешивается в монолог дочери, способной высказаться самостоятельно, и осторожно, почти незаметно помогает матери, лишенной, по бедности языка, возможности выразить свои чувства, — как бы подсказывая слова и формулировки. От комментариев он совершенно воздерживается, по объективности взгляда напоминая драматурга. И все же сострадательное присутствие автора ощущается постоянно. В чем оно проявляется — может быть, в желании по-настоящему понять другого человека, стать на его точку зрения? Ощутить его боль как собственную? Да, наверное, дело именно в этом — в боли, которая рождает сочувствие. Бедные люди.

Третий голос, мужской, напротив, невольно ассоциируется с авторским. Он вступает в повествование последним и от действия стоит в стороне: пока раскручивался сюжет, муж был в отъезде и вот — возвращается. Этот пожизненный пассажир поезда Самара — Москва, знающий наизусть все километры пути от малой

родины до мегаполиса, имеет общие с Юрием Малецким детали биографии. Уроженец Куйбышева, перебравшийся в столицу; писатель, чья литературная «карьер» движется «от полного непечатания к умеренному печатанию с полным замечанием»; христианин, ушедший из официальной Церкви... Впрочем, дело не в совпадении анкетных данных. Читателя по большому счету и не должно волновать, в какой мере «я» рассказчика идентично авторскому, это личное дело писателя. Но если определенный набор черт и примет, характеризующих повествователя, переходит из текста в текст, складываясь в лицо — личность — художника, это становится уже фактом литературы.

В рассказе «Привет из Калифорнии», которым дебютировал у себя на родине Юрий Малецкий («Знамя», 1991, № 12), речь шла о том, что столь привычное каждому из нас взаимонепонимание порождено отнюдь не невозможностью, но всего лишь нежеланием понять другого, вникнуть в его резоны, стать на его точку зрения. И когда в финале неожиданно и случайно выясняется, что этот другой вовсе не так тупо оптимистичен, прост и элементарен, как казалось, повествователь, несмотря на связанное с этой неожиданностью крушение собственных надежд, испытывает даже нечто похожее на радость. Простую человеческую радость оттого, что все люди — «такие же точно люди, как и я... со вторым и третьим дном. Объемные. Люди как люди».

«Нам только кажется, что такой-то уродлив, смешон, безумен, гадок; на самом деле он просто несет в себе иную, незнакомую нам формулу совершенства». Это уже — из «Баллончика» («Новый мир», 1992, № 8). Голос повествователя звучит здесь нервно, напряженно и страстно. Он рассказывает о своем ужасе перед насильем и ненависти к насильникам; но ярость и страх парадоксально соединяются с любовью в некое неравновесное, но и нераздельное целое. Трепетная любовь к человеку, воплощающему в себе образ и подобие Божие, оборачивается, словно другой стороной медали, жаркой ненавистью к людям, оскверняющим и разрушающим эту богоподобность. Собственную — метафизически, саморазрушением души, чужую — физическим действием, ударом, насильем. Страх порождает потребность в защите, в оружии. Баллончик, напитанное газом твердое тельце, дает слабому силу, но этот же самый баллончик превращает потенциальную жертву в потенциального насильника. И рассказчик мечется по замкнутому кругу в поисках выхода, зная, что выход давно известен. «Его указал апостол: «Совершенная любовь вон изгоняет страх»... Страх разделяет и уединяет, а любовь соединяет... Раскрывая поры души, любовь — голос небесного тяготения — соединяет меня с Тем, Чей это голос, и через Него с любым из созданных Им». К такой любви и стремится писатель Юрий Малецкий; и тем же стремлением он наделяет последнего из повествователей «Ониксовой чаши». Недаром именно в его «партии» проясняется символический смысл названия: отсылка к чаше причастия — образу и знаку Божественной любви.

Конечно, стремление еще не значит осуществление, и на деле герой от этой любви бесконечно далек, и сам ежеминутно чувствует свою «плохость», и выплескивает на жену «гадкое чувство собственной гадости — на кого же еще как не на самого ближнего с краю, самого крайнего из ближних, кого так хочется любить...». И то, что он думает о жене («...в сущности, она делала то, что и предписывала заповедь: относилась к ближнему как к самой себе, но только негативно, ибо именно так она и относилась к себе»), равно приложимо и к нему самому. Как и к такому же безмянному герою «Баллончика», завершающему рассказ словами: «Я никого не люблю, кроме себя; а себя я ненавижу».

Но. Бывают все же моменты, когда любовь дается даром. Нет, не даром — является сама, чтобы изгнать страх. Это происходит на самых последних страницах, когда сюжет неожиданно выходит из тесного круга бытовых неприятностей и душевных неурядиц: привычно изживая вялотекущее поездное время привычно унылыми мыслями, муж узнает вдруг, что в стране переворот.

...Август девяносто первого был потрясением, казалось, должным оставить долгий след. Юрий Малецкий писал «Ониксовую чашу» в 1992-м, когда память о тех трех днях еще не истлела и когда трудно было предположить, что через три всего года они станут далеким прошлым, так же не имеющим отношения к нашей нынешней жизни, как и исчисляемые копейками цены... По идее, такая эмоциональная погруженность в глгучую злобу вчерашнего дня должна идти тексту во вред: ведь вместе с устаревшим политическим фактом устаревает и сосредоточенная на нем литература. Но здесь этого не происходит как минимум по двум причинам.

Во-первых, потому, что вся наша жизнь слишком давно и прочно связана с жизнью государства, и никуда нам от того не деться. Сколько раз уж бывало: чуть

только литература эмансипируется от политики и идеологии, чуть только искусство обратится само на себя, как грянет очередное — революция, путч, террор, «либеральные демократы»... И пусть утрачивается актуальность то или иное событие — актуальность такого «построения сюжета», увы, сохраняется. Сегодня писатели в большинстве не имеют желанья оглядываться на эту (эту тоже!) российскую «литературную» традицию, как не желал подобных оглядок «серебряный век» — а чем он кончился? Юрий Малецкий, как уже говорилось, в традиции живет. В этой — тоже. И сюжет строит соответственно.

И второе. Именно потрясение от конкретного и сиюминутного события размыкает границы времени, открывая путь вечному: «Только одно чувство любви высвободилось и пламенело в нем посреди наступившей тьмы, не то чтобы борясь с ней, а как-то, напротив, зажигаясь, подпитываясь от нее». В этом чистом свете иначе видятся те, к кому поезд везет героя, и обращенный назад луч любви пронизывает весь текст, сжигая раздражение, неприязнь, страх. Потому что любовь дает «видение другого изнутри его. Как самого себя. Не то чтобы ты вдруг понял другого до конца, но ты его — почувствовал. Слегка, но до прожилок; красшком, но до мозга костей. Как и самого себя. Если бы удалось зафиксировать это мгновенное, скоротечное знание, научиться получать его произвольно, направляя в нужную сторону... Быть профессионалом... Если бы я мог быть профессионалом любви, мастером любви...»

Применительно к литературной работе это означает: так написать другого «изнутри его», чтобы и читателя соединить с ним любовью. Как получилось в «Ониксовой чаше». Я не хочу сказать, что Юрий Малецкий создал выдающееся произведение; и я не знаю, сумеет ли он действительно стать «мастером любви». Посмотрим; пока он написал талантливую повесть, которая показывает, что русская литература с ее милосердием, состраданием и жалостью к людям — продолжается.

Алена ЗЛОБИНА.



ПОЛЕТ БЕЗ ИЛЛЮЗИЙ

Гайто Газданов. Полет. «Дружба народов», 1993, № 8, 9.

Почему Газданов, писатель-эмигрант первой волны, к концу 30-х годов завоевавший репутацию тонкого стилиста и достойного продолжателя классических традиций, избрал темой очередного романа «противозаконную» любовь тетки и племянника? Чтобы понять побудительные мотивы писателя (они явно не исчерпывались заботой о читательском спросе), стоит вспомнить, что в те же годы практически одновременно были написаны набоковский «Волшебник» (1939), «Тропик Рака» Г. Миллера (1934), «Распад атома» Г. Иванова (1938). В XX веке литература зачастую чурается как «учительства», так и «свидетельства»; тем не менее перед нами именно свидетельства (независимые, совпадающие, стало быть, достоверные) о характере эпохи: о том, что устои мира подгнили, пошатнулись и сдвинулись, классическая гармония предстала недостижимой или иллюзорной и даже любовь начала нуждаться в некоем «темном» привкусе, в «ощущении несравненной терпкости» (Газданов).

Но каково писательское поведение Газданова в этой ситуации? Хранит он классические нормы, сопротивляясь мировому распаду, или, осознав иллюзорность гармонизирующих представлений о мире (к которому как будто не приложимы более понятия «красота», «истина», «нравственный закон», «счастье»), делает следующий шаг, отбрасывая обманувшие ориентиры? Иными словами: верно ли, что писателем заблаговременно была бита карта, предъявленная ныне постмодернистами, — что у него всегда присутствует незыблемая иерархия ценностей?

Прежде всего: склонен ли Газданов считать разум опорной, безусловно надежной, спасительной ценностью? Судя по многим произведениям, герой рационального типа, как бы олицетворяющий разум, надолго оккупировал воображение писателя. «Рациональный» герой «Полета» Сергей Сергеевич с его исключительным душевным равновесием, легкостью и талантливостью в делах и в отношении к жизни поистине безупречен, к тому же по ходу романа раскрываются все новые его достоинства: всегдашняя снисходительно-насмешливая доброжелательность подкрепляется жалостью к людям (слабость и беззащитность которых он остро чувствует), поразительная терпимость дополняется самыми строгими принципами

(чувством ответственности, верой в значение семейных устоев). Однако отстраненно-аналитическая дистанция, занятая автором «Полета», вынуждает зафиксировать в первую очередь драму этого «насмешливого лунатика», не ведающего страстей и прохладно-ироничного по отношению ко всему на свете. Он непоправимо несчастен (трудно любить совершенство; между тем и совершенному человеку знакомы и тоска одиночества, и приступы отвращения к жизни), с другой стороны, как будто нравственно подсуден — виновен перед близкими, жизнь которых невольно уродует: рядом с ним немыслима непосредственность, и любящие Сергея Сергеевича женщины принуждены подавлять свою женственность как слабость, не может проявиться присущая им «смесь материнского и ребяческого»... В лице Сергея Сергеевича интеллект как бы и сам сознает свою неполноту и даже ущербность: герой соглашается с тем, что потребность в любви, способность к безоглядному увлечению, которыми он от природы обделен, — нечто жизненно необходимое.

Но и чувства на страницах «Полета» не выигрывают поединка с разумом. Большинство персонажей романа — герои чувства, и очевиден иронический свет, в котором предстают вера их в неповторимость каждой новой привязанности (они вечно «опять впервые» влюблены), ослепленность и неспособность разобратся даже в собственных переживаниях, наконец, столь же безотчетный паразитизм (все персонажи, бранящие «рассуждающую машину», Сергея Сергеевича, живут за его счет; один из них прячется от житейских тягот за хрупкие женские плечи как за каменную стену). Любопытно, что ирония оказывается распространена с героев сердца и страстей и на искусство, к которому все они так или иначе причастны (писатель, благодарные читатели, актриса и т. д.), и остается неопровергнутым мнение о том, что искусство — изобретение для слабых и несчастных, всего лишь компенсация неутоленности в поисках любви (столь же бесконечных, сколько безотчетных).

Было бы нетрудно, обнаружив неполноценность как чувств, так и разума, заявить о том, что Газданов ищет их меру и равновесие. Аргументом могла бы послужить кульминация фабулы — попытка самоубийства, предпринятая мальчиком, решившим, что он обманут женщиной. Здесь как будто Газданов настаивает на необходимости гармонии разума и чувств, заземляя размышления в нравственной плоскости, и напрашивается классический выверенный вывод: мол, чувство неотменимо, но, став всепоглощающим, замещающим жизнь, оказывается разрушительным, так что непременно должно быть подчинено разуму, памяти о долге. Однако увидеть в Газданове морализирующего рационалиста, едва ли не классициста, кое-что мешает. Не ограничиваясь ни воссозданием логики, по какой развиваются отношения Лизы и Сережи, ни сверкой этой логики с моральным идеалом, Газданов дает в высшей степени загадочный финал.

Внезапно обрывающий повествование финал — гибель большинства героев в автокатастрофе — выглядит неожиданным, немотивированным. В свое время Газданова упрекали в том, что он в своих произведениях «как-то быстро выдыхается». Однако нет ли возможности прочесть происходящее в финале как художественно осмысленное событие, связанное с развитием главных тем романа?

Интересная закономерность: в финале погибают те из героев романа, которые в жизни и играли. Среди погибших — Сергей Сергеевич, что жизнь провел «точно на сцене», запретив себе душевную обнаженность и скрывшись за маской «олимпийского безразличия» и иронии, Лиза, что из гордости разыгрывала вслед за ним насмешливо-ироническое отношение к их давней и тайной связи, дама, добывавшая у богатых поклонников деньги душещипательными рассказами о хронически голодающих в России родителях, разбитых параличом сестрах и т. п., а также бездарная актриса, что остаток жизни отдала поддержанию «иллюзии своей неувядаемой молодости». Мотив актерства в романе явно толстовского происхождения. В «Полете» бросаются в глаза толстовские приемы: затрудненный аналитический синтаксис, настрой на «срывание масок» — разоблачение всего искусственно-фальшивого, несоместимого с естеством.

Можно ли в этой связи понять финал в духе «аз воздам» классика, уверенного как в нравственной ущербности актерства, так и в разумности правящих сил бытия? Думается, нет. Прежде всего жесткий суд у Газданова бесцелен и сам нравственно небеспорен («дрожащая» рука Лолы Энэ с «ярко-красными ногтями» и в самом деле эффектно демонстрирует, насколько имидж молодящейся Лолы противоестествен и безобразен; но ведь осмеянию подверглись жалкие женские ухищрения, безуспешные попытки скрыть возраст, а не нравственная суть героини). К тому же катастрофа настигает газдановских *homo ludens* в минуту, когда они гото-

вы отказаться от наигрыша и раскрываются во всей душевной нежности и уязвимости; не о возмездии, а о трагедии и нелепости ее должна идти речь.

Не случаен в тексте финала вывод о правящем жизнью слепом и бессмысленном случае. Он мало соответствует классической позиции — как, впрочем, и мысль о том, что смерть бесповоротно обесмысливает бытие (эта тема финала «Полета» не столь уж неожиданна у Газданова, много писавшего об иллюзорности жизни преходящей, обманывающей...). Финал «Полета» заставляет вспомнить экзистенциалистские вариации современников Газданова на темы мирового абсурда: в понимании писателя не только человеческая цивилизация отклонилась от классической нормы, но и сам мир изначально аномален и враждебен человеку. Впрочем, Газданов в «Полете» не помышляет ни отказаться от этого мира, ни уподобиться ему, погружаясь в «распад», — он лишь отбрасывает иллюзии самообманов. Оставляя открытым вопрос о возможности гармонии на земле.

Елена ТИХОМИРОВА.

Иваново.



ПАМЯТНИК ЗАЙЦУ

Андрей Битов. Вычитание зайца. Рисунки Резо Габриадзе. М. «Олимп». «ППП». «БаГаЖ». 1993.
112 стр.

Главный герой этой книги изображен на обложке легким пером Резо Габриадзе: прижав уши, он стремительно пересекает дорогу второму герою, в плаще и цилиндре, и вместе они образуют некий исторический вихрь или водоворот, обрамленный классической колоннадой, поверх которого выведено утрированным почерком: «Вычитание зайца».

Перед нами — еще одна книга о Пушкине.

Отрадно, что это действительно к н и г а, произведение художественно-материальной культуры, продукт совместного творчества писателя, художника, полиграфистов. Остроумные рисунки Габриадзе лишь местами иллюстрируют текст Битова, а в целом составляют самоценный художественный ряд, параллельный тексту и стилистически ему созвучный. Книга напечатана красиво, широко, на плотной тонированной бумаге, макет ее продуман не меньше, чем смысловая структура, — ее приятно держать в руках, что по нынешним временам едва ли не чудо. Эта книга не первая совместная пушкинская работа Битова и Габриадзе: столь же легким, свободным, изящным и остроумным был «Пушкин в Испании», первый выпуск из задуманной серии «Пушкин за границей», но мало кому привелось полистать эту тонкую тетрадку, отпечатанную в Париже тиражом 100 экземпляров. Новое детище их фантазии тоже не пойдет в массы (тираж 1000 экземпляров), а жаль — наш беглый разбор никак не сможет компенсировать то истинное наслаждение, которое доставляет сочетание изысканной литературной и графической игры с россыпью оригинальных наблюдений и рядом точных прозрений.

Андрей Битов давно начал высказываться о Пушкине — как без того прожить большому русскому писателю? Основной вопрос тут не что сказать (многим, кажется, есть что сказать), а как говорить о Пушкине сегодня, когда наговорено столько, что утрачивается способность воспринимать, когда академическая пушкинистика в очевидном мировоззренческом кризисе, а писательская и философская как-то не в чести, отчего и образовался такой разрыв между изучением и пониманием. Вопрос, как говорить, упирается в другой вопрос — для кого? Пушкинисты пишут для коллег, писатели — для всех остальных. Трудно найти ту стилистическую точку, в которой пересекаются профессионализм исследователя и целостный писательский подход, — ее искали в свое время Владислав Ходасевич и Анна Ахматова, чьи работы о Пушкине оснащены профессиональными знаниями и являются при этом литературой. В этой области лежат и разножанровые пушкинские штудии Андрея Битова — и прежние, собранные в «Статьях из романа» (1986), и новые, вошедшие в книгу «Вычитание зайца» наряду с уже не раз публиковавшимся рассказом «Фотография Пушкина» (1985) и послесловием к его немецкому изданию (1990). Но и эти известные сочинения получают в контексте дополнительное смысловое качество, получают акцент на судьбу — тема пушкинской судьбы, ее гипотетических вариантов, нереализованных поворотов есть главная тема битовской книжки. Она и объявлена в названии: «Вычитание зайца».

Про зайца надо читателю пояснить. Речь у Битова идет о том судьбоносном зайце, который согласно рассказу Пушкина перебежал ему дорогу в декабре 1825 года, когда он предпринял побег из михайловской ссылки. Заяц перебежал дорогу, и Пушкин, напуганный дурной приметой, повернул назад, а если б не заяц — попал бы в Петербург ровно накануне восстания, вышел бы с друзьями на Сенатскую площадь, после чего отправился бы вместе с ними в Сибирь. Вычитая из пушкинской жизни этого и других подобных «зайцев», мы можем представить, как это делал сам Пушкин, какие-то варианты его судьбы, чтобы оценить на их фоне провиденциальность случившегося, иными словами — увидеть действие Промысла на путях поэта.

Однако задача на вычитание зайца на поверку оказывается более сложной. Битов размышляет: «Сколько тут суеверия, а сколько собственного пушкинского выбора, в этом зайце?» Вычитаем зайца из декабрьского эпизода и остаемся перед серьезной пушкиноведческой проблемой, связанной с внутренним ростом Пушкина, с его самосознанием в конце 1825 года, с его отношением к декабризму. Вокруг этого и ведет свои разыскания Битов, чуждаясь академизма, труня над ним, маскируя проблемное пушкиноведение жанрово-стилевыми трюками. Поиски формы идут на наших глазах, они доводятся до предела содержательности и порой выводятся за ее предел. В «Исповеди графомана», открывающей книгу, автор чрезвычайно низко оценивает три графоманских занятия: писать стихи, писать про великих людей и думать за Пушкина (последнее, по его словам, — «вершина падения»). Сразу ясно, что именно эти три порочных занятия составляют для автора неодолимое искусство, которому он предается всласть, стыдливо прикрывая свое авторское лицо. Сюжет «Исповеди...» — сочинение стихов о Пушкине. Они настолько непреднамеренно рождаются, что сам автор с трудом поспевает улавливать их смысл и фиксировать его в недоуменном комментарии. «Поэзия... должна быть глуповата» — нещадно эксплуатируя этот пушкинский тезис, сочинитель не хочет тем не менее отвечать за глуповатые стихи (гениально глуповатые, подобно стихам капитана Лебядкина) и сваливает их то на некоего Боберова, пушкиниста-провинциала (читатель Битова давно с ним знаком), то на слесаря Покуботерова, случайно попавшего в Михайловское... Образ автора слонится, плывет, из него и Боберов выглядывает, и Битов, и сам Пушкин, реальность деревенской жизни автора наслаивается на реалии пушкинского Михайловского, спазматически проступает сюжет — что это все: графоманство, или пародия на графоманство, или автопародия? Автор сам с тревогой задает себе эти вопросы — и затрудняется ответить, петляет, как заяц, замечает следы. «Ирония тычется как слепая, утратив адрес». Так или иначе, это игра с чьим-то восприятием, взвесь того, что на сегодня от Пушкина осталось: сумбур биографических фактов и музейных деталей («...чубук, сюртук и трость»). Битов как может отрекается от собственного текста, подобно тому как отрекался Пушкин от «Повестей Белкина» — то ли Белкин их сочинил, то ли девица К. И. Т. и подполковник И. Л. П. (Кстати, Белкин и Боберов не из одного ли семейства лесных грызунов?) Как графика Габриадзе идет от пушкинской графики, так и повествовательные приемы Битова возникли не без пушкинского воздействия, да только стоит за ними совсем иное художественное сознание, со следами распада..

Но в этом хаотическом словесном потоке то и дело натывается читатель на зерна серьезных мыслей такого качества, какое нечасто встречается в работах ученых пушкинистов. Главная такая мысль, которую автор так и сяк варьировал и во всех видах нам представляет, связана с пресловутым зайцем, перебежавшим Пушкину дорогу в декабре 1825 года. Битову мало, что этот заяц уже навсегда попал в нашу историю: он так укрупняет его роль, что предлагает (давно и настойчиво) поставить зайцу памятник с надписью «Косому — благодарная Россия» на том самом месте, где он перебежал дорогу, и открывает в банке счет для пожертвований с обязательной пометкой «Памятник Зайцу». За что же зайцу такая честь? На этот вопрос автор отвечает в «Пояснительной записке к проекту придорожного памятника» и в «Ученом варианте», где излагает предмет уже не стихами Боберова, а смиренной академической прозой. Из «Ученого варианта» мы наконец уясняем себе, в чем истинное значение зайца в нашей культуре. Заяц озаменовал собой важнейший этап внутреннего развития Пушкина. К моменту исторической встречи на дороге Пушкин, недавно закончивший «Бориса Годунова», достиг в своем росте творческой вершины, сопоставимой с мировыми вершинами Шекспира, Байрона, Гёте, и вышел на «мировую дорогу». Сознывая это, он с готовностью отреагировал на появление зайца, принял верное решение и вернулся к письменному столу. «Перебеги заяц дорогу Пушкину в декабре 1824-го, не остановил бы он

его ни от чего, не только от рискованного, но и безрассудного шага. Заяц, который перебегает дорогу в декабре 1825 года, перебегает ее уже другому Пушкину. Пушкина легко остановить на дороге на Сенатскую площадь, потому что это уже не его дорога».

Автор настоящих заметок путем специальных исследований самостоятельно пришел к тем же выводам, недоказуемым с точки зрения строгой науки, и он может только позавидовать писателю, которому достаточно артистизма, чтобы быть убедительным. Однако не во всем пушкинист-исследователь может безусловно согласиться с пушкинистом-писателем. По Битову, Пушкин в Михайловском последовательно брал мировые вершины: в «Цыганах» и в первых главах «Онегина» он перерос и преодолел Байрона, в «Борисе Годунове» — Шекспира, в «Сцене из Фауста» — Гёте. Битову хочется, чтобы это произошло непременно в такой последовательности, и он предлагает датировать «Сцену из Фауста» ноябрем 1825 года, сразу после «Годунова». По его словам, эту датировку нельзя подтвердить, но нельзя и опровергнуть. Действительно, «Сцена из Фауста» всегда датировалась 1825 годом, без уточнений. Но детальные исследования последних лет позволили довольно убедительно определить конкретный промежуток, в который она была написана: июнь — июль 1825 года¹. Как видим, это не совпадает с предположением Битова. Впрочем, тут больше Боберов виноват, автор лишь поддался обаянию его идеи. Гёте явно «позвали третьим» к Шекспиру и Байрону — для полноты и красоты картины.

Итак, в декабре 1825 года заяц помог Пушкину отсечь ложный вариант судьбы, выбрать свой путь. Но сама возможность поворотов на очередных витках жизненной спирали волновала его, интриговала, давала ощущение свободы. В творчестве болдинской осени 1830 года Битов усмотрел то, чего не видели раньше, — перебор жизненных вариантов: в «маленьких трагедиях» осмыслены «варианты путей таланта, варианты поэтической судьбы», в «Повестях Белкина» — «варианты брака». «Будто ступив окончательно на свою дорогу, Пушкин перебирает эти пути, то ли выбирая из них, то ли перечеркивая их для себя». Последний пушкинский период (1833 — 1836) видится Битову в этом ракурсе как «жизнь без вариантов» — еще один ключ к дуэльной истории.

Та же тема вариантов пушкинской судьбы звучит в рассказе «Фотография Пушкина. 1799 — 2099». Этот рассказ 1985 года — бесспорная писательская удача, чистая победа во всех отношениях. Беремся даже утверждать, что «Фотография Пушкина» — лучшая русская проза о Пушкине, в каком-то смысле конгениальная предмету.

Самое трудное в изучении Пушкина и в литературе о нем — его образ. Даже друзья, современники, хорошо знавшие поэта, легко писали о каких-то эпизодах его биографии и, как правило, теряли красноречие, когда им приходилось говорить о самом Пушкине — каким он был. Образ Пушкина ускользает от определенных, его личность — тайна, не поддающаяся прямому описанию. Это символически отражено в рассказе Битова: его герою Игорю Одоевцеву, залетевшему в пушкинское время из XXI века, не удается сделать фотографию Пушкина — «только тень, как крыло птицы, испаривающей перед объективом, и получилась». Но писателю Битову как-то удалось в этом рассказе уловить неуловимое: Пушкин появляется в нашем поле зрения всего несколько раз, и это переживается как моменты счастья. Это главное при множестве замечательных сюжетных ходов и стилистических красот «Фотографии Пушкина».

Перелистав два варианта битовского автокомментария к рассказу, закрываем книжку. На задней ее обложке все тем же легким пером Резо Габриадзе изображен Пушкин: встав на скамеечку и вытянувшись на цыпочках (ростом не вышел), он обрывает яблоки в каком-то (своем ли?) саду. Тут и заяц рядом — с трудом, но узнается в стремительной тени у пушкинских ног. Этой книжкой Битов реализовал две свои заветные мечты: осуществил фотографию Пушкина и зайцу памятник воздвиг нерукотворный. Слово — хороший материал: оно чувствительней фотопленки и «бронзы литой прочней».

Ирина СУРАТ.

¹ См.: Фомичев С. А., «„Сцена из Фауста“ (История создания, проблематика, жанр)» («Временник Пушкинской комиссии. 1980». Л. 1983).

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

«КРАСНО-КОРИЧНЕВЫЕ» — ЯРЛЫК ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?

Сейчас уже не вспомнишь, когда и кем был впервые употреблен термин «красно-коричневые» — в то время на него не обратили особого внимания. Он воспринимался сперва как специально придуманное ругательство, имеющее целью сильнее оскорбить, как пропагандистский ярлык, и думалось, что его судьба — оставаться в лексиконе эстрадных сатириков. Но он перерос эти рамки и стал полноправным элементом нынешнего русского языка. Поскольку язык наш умнее нас, к его подсказкам нужно прислушиваться. Если слово так быстро прижилось, не значит ли это, что за ним стоит нечто реальное?

* * *

Когда говорят о «красно-коричневых», имеют в виду союз коммунистов с национал-патриотами. Но вот вопрос: возможен ли такой союз? Рассуждая теоретически, невозможен. Коммунисты исповедуют интернационализм — патриоты его отвергают; коммунисты ставят во главу угла классовую борьбу — патриоты призывают к социальной гармонии во имя процветания отечества; коммунисты называют религию опиумом для народа и сводят бытие к материи — патриоты поднимают на щит веру и считают материализм опасной заразой, принесенной к нам с Запада. Как же тут получится альянс?

Тем не менее он существует, и не просто существует, а является важнейшим политическим фактором сегодняшней России. Значит, теория чего-то недоучитывает и ее надо подправить. Следует осмыслить явление в его живом виде, поинтересоваться у представителей каждой стороны, как они могут сотрудничать вопреки тому, что должны были бы быть заклятыми врагами. Спрашивая об этом людей, называющих себя патриотами, всегда получаешь один и тот же ответ: сегодня коммунисты уже не те, Россия их переплавил, переварила, они стали нормальными русскими людьми. То же самое говорят о себе и сами коммунисты. Один депутат бывшего Верховного Совета рассказывал мне о своей беседе с местным начальником Ярославской губернии, убежденным коммунистом. Тот сказал, что надо всячески укреплять Православную Церковь. «Так что же, ты веришь в Бога?» — спросил депутат. «Да, верю». — «Какой же ты тогда коммунист?» — «А что, одному не мешает». — «А может, ты и с пролетариями всех стран не хочешь соединиться?» — «Не хочу. Конечно, надо со своими соединиться». — «И продолжаешь утверждать, что ты коммунист?» — «Конечно, коммунист, что такого, что я против интернационализма?»

В общем, объяснения сводятся к тому, что коммунисты переродились и стали близки по духу патриотам. Но если они переродились, то почему не назовут себя как-то иначе? Скажем, если шофер начнет водить не грузовики, а локомотивы, то он станет именоваться уже не шофером, а машинистом, а здесь переименования почему-то не делается. Возникает подозрение, что определение коммуниста как приверженца коммунизма слишком прямолинейно, что существует какой-то иной, более существенный его признак. Подозрение усиливается, когда вспоминаешь слова Ленина: «мы буквально выстрадали марксизм». Оказывается, будущие большевики долго искали подходящее учение, пока не наткнулись на устраивающий их вариант. Выходит, не потому они стали большевиками, что взяли на вооружение теорию Маркса, а потому, что, изначально имея большевистскую природу, искали и нашли подходящую теорию как нечто очень нужное. Так чем же пленил их марксизм? Сами коммунисты объясняют: предельно простой (если не утилитар-

ной) картиной мира, созданной марксистской теорией. Марксизм утверждает, что окружающий мир есть вечный и неизменный по своему устройству автомат, в котором нет ничего, кроме движущейся материи и законов ее движения, так что философия фактически сводится к физике. Что же касается человеческого общества, то согласно марксизму оно всегда развивалось в одном-единственном направлении: повышало эффективность производства, достигая этого сменой формаций, так что все секреты истории открываются этим волшебным ключиком.

Это было для большевиков самым ценным в марксизме. Он дал им возможность разложить все по полочкам и без особого напряжения мысли дать ответ на любой вопрос. Они любили повторять, что «учение Маркса всесильно, потому что оно верно», но на самом деле для них была важна лишь «всесильность», которую они понимали как «всеприложимость», а «верность» была делом второстепенным. Еще в начале нашего века серьезным политологам, историкам и экономистам стало ясно, что марксизм неверен во всех своих компонентах, а уж после того, как блистательно провалились его прогнозы относительно мировой революции и выигрыша экономического соревнования социалистической системой у капиталистической, это сделалось очевидным для всех. Тем не менее марксизм оставался у нас «всесильным» до самого недавнего времени и ушел вовсе не потому, что его ложность сделалась слишком явной, а потому, что наши коммунисты начали склоняться к другому учению, тоже «выстраданному» ими.

Эта их новая всепобеждающая теория состоит в следующем. Основными субъектами исторического процесса являются нации, а также их группы, называемые этносами. Каждая нация и каждый этнос несут в себе исходное божественное начало, наполняющее их созидательной энергией. Когда эта энергия беспрепятственно реализуется, общество процветает и составляющие его люди живут счастливо. Но дело в том, что реализоваться этой энергии будто бы постоянно препятствуют некие с древнейших времен существующие тайные общества, образующие подчиненную единому центру злую силу, преемственно реализующую тщательно продуманный план захвата власти над всем миром. Поскольку жизненная сила наций и этносов, естественно, противится этой силе, своей первейшей задачей заговорщики якобы ставят разрушение национальных организмов, особенно самых крепких и здоровых. В последнее века бельмом у них на глазу была «богоносная русская нация», наиболее чутко распознававшая происки служителей зла и восстававшая против них. По этой причине главные усилия конспираторов направлены сегодня на то, чтобы заставить русских уйти с исторической сцены: расчленив их территорию, сделать их экономику сырьевым придатком Запада, молодежь развратить порнографией и наркотиками, взрослых спойть водкой и т. п. Соответственно основной задачей всякого истинно русского человека является противодействие этим усилиям.

Когда сравниваешь теорию мирового заговора с теорией Маркса, сразу бросаются в глаза их существенные различия. Одна провозглашает приоритет национального притяжения, другая — классового. Одна стоит на позициях традиционализма, другая предельно революционна. Тем не менее большинство коммунистов безболезненно поменяли прежнее кредо на новое, даже не заметив этой перемены. Неужели символ собственной веры не имеет для коммунистов ни малейшего значения? Это не совсем так. Если вдуматься, можно найти общий содержательный элемент обоих учений — отрицание частной собственности и вообще всякого свободного самоустроения человека. Но, пожалуй, еще важнее два внешних признака нового любезного коммунистам учения: его простота и всеохватность. Теории мирового заговора эти признаки присущи еще в большей степени, чем марксизму, что в значительной мере и обусловило ее тихую, но очевидную победу над прежними коммунистическими догмами. В марксизме все же присутствовали какие-никакие общественно-экономические формации и классы, а здесь — только этносы и стремящиеся их разрушить конспираторы. Что же до широты охвата, то в этом отношении новая теория вне конкуренции. Любое негативное явление, где бы оно ни произошло, объявляется результатом злокозненных происков тайных сил и тем самым получает объяснение. Замечательно, что это объяснение включает максимально возможный объем доказательности в самом себе, ибо из него вытекает невозможность отыскать внешние доказательства — силы-то тайные, к тому же столетиями совершенствовавшие искусство конспирологии.

* * *

Коммунисты не принадлежат к людям, которых Евангелие именует алчущими и жаждущими правды, им нужна не правда, а правдоподобие. Зачем? Затем же, зачем им нужны простота и универсальность «единственно верного учения». Простое, универсальное и правдоподобное учение даст им ощущение собственной правоты, без которого нельзя вмешиваться в жизнь других людей и перекорректировать ее на свой лад якобы для того, чтобы она стала счастливой. Такое вмешательство составляет цель и смысл существования коммунистов, когда они получают возможность распоряжаться судьбами тысяч людей и двигать их, как фигурки на шахматной доске, по своим простеньким схемам, они расцветают и испытывают ту степень удовлетворения, которая ближе всего передается туманным словом «счастье». (Поэтому понятно, что минимальным обязательным содержательным моментом коммунистической теории должно быть отвержение частной собственности: человек, опирающийся на собственность, делается независимым и может просто игнорировать всякие попытки организовать его жизнь извне.)

Люди коммунистического склада родились во все времена, составляя какой-то небольшой процент населения — вероятно, не больший, чем процент левшей или альбиносов. В изобилующем разными человеческими типами обществе они находили свое специфическое место, становясь естественными лидерами локального масштаба. Ограниченность не давала подняться им слишком высоко, но апломб и самоуверенность, присущие им от природы, могли увлечь тех, кто был поблизости, на какие-то общие дела. Наверное, их-то и выбирали деревенскими старостами и ставили распорядителями на массовых мероприятиях вроде крестных ходов или празднования интронизации королевских особ. Это был не ахти какой вклад в социальную жизнь, но польза от него все же имелась.

Но на рубеже прошлого и нынешнего веков все резко изменилось. Пословица «бодливой корове Бог рогов не дает» перестала быть верной в отношении коммунистов. Эти люди начали представлять собой смертельную угрозу для человечества. Особенно опасными стали они в России.

В это время стремительно набирал силу давно (еще с эпохи Ренессанса) начавшийся в Европе процесс апостасии — отпадения человека от Бога, — в частности, нашедший свое выражение в общеевропейском, а затем уже и в общемировом культе атеистической науки как монополюющей носительницы истины и средства разрешения всех стоящих перед людьми проблем. Сюжет апостасии весьма банален. Ветхий Завет повествует нам о неоднократных попытках возгордившегося человека обойтись без Бога, руководствуясь лишь собственным разумом. Первую из них предприняли Адам и Ева, пожелавшие «стать как боги», а из других можно указать на затею построить Вавилонскую башню, чтобы разогнать с нее небесные силы. Библия сообщает, что эти попытки кончались очень плачевно, но причину не объясняет. Теперь, после нашего собственного апостасийного опыта, она достаточно очевидна. Дело в том, что при распространении в обществе безбожия оно, общество, лишается того единственного рода управления, который только и может быть по-настоящему эффективным, — религиозно детерминированной этики. Религия есть животворящая сила общества прежде всего потому, что она говорит с человеком о непреходящем — о вечности.

В своей вероучительной части религия дает целокупную и всеобъемлющую картину мироустройства, помогающую человеку понять свое место в мире и жизни, а в обрядовой части создает мистические предпосылки соединения человека с живым Богом. В результате религия делает человеческое бытие равновесным и гармоничным. Из этого равновесия как отдельного человека, так и целую нацию может вырвать только апостасия, так как она приводит к отказу пользоваться невидимой системой духовного питания, делающей нас жизнеспособными. В апостасийном обществе религиозные откровения сначала заменяются философскими рассуждениями, в которых универсальные категории уже не выступают эманациями Бога, а предоставляются своей собственной логике, и это выпадение скрепляющего их высшего понятия открывает возможность произвольного их толкования, что ведет к появлению множества спорящих между собою философских систем. Слово с большой буквы, Которое есть Путь, Истина и Жизнь, заменяется словом с маленькой буквы, человеческим учением, текстом. Идеи отождествляются с формулировками, и определенная совокупность формулируемых в словах идей может

занять в шкале ценностей то наивысшее место, которое раньше принадлежало Богу. Это означает замену религии идеологией.

Учение, призванное организовать «правильную» жизнь, может выдвинуть теперь каждый желающий — от него уже не требуется ни чудодейственного, ни пророческого дара. Однако далеко не всякое учение превращается в идеологию — для этого необходимо, чтобы оно соответствовало общественному сознанию. А сознание это в ходе апостасии становится все более примитивным и рационализированным. И в какой-то момент у людей коммунистического склада появляется головокружительный шанс. Это тот момент, когда основная часть населения спустится на такой низкий уровень духовности, что будет готова принять в качестве идеологии наиболее примитивное и закабальное его учение. До того апломб новоявленных пророков завораживал лишь простодушных односельчан, теперь он начинает завораживать целые нации, и это позволяет самозванцам взять в свои руки власть. Теперь их поведение резко меняется. Для того чтобы провозгласить некое учение абсолютной истиной и пленить им заметное число людей, нужно, чтобы оно было лишь правдоподобным; но чтобы надолго сохранить его в качестве идеологии, необходима и некоторая правдивость, поскольку натяжки обнаруживаются со временем все более ясно. Правдивым же то элементарное учение, которое по плечу коммунисту, быть никак не может, между ним и реальностью непременно возникнет несоответствие. Как же быть? Нормальный способ устранить такое несоответствие состоит в переделке учения с целью приблизить его к реальности, но тот, кто располагает властью, может прибегнуть и к другому способу: переделывать реальность, подгоняя ее под учение. Коммунисты после прихода к власти так и поступают. Мы хорошо помним, как они делали это, став в России правящей партией. В 20-х годах они поселяли людей в коммунальных квартирах, чтобы подтвердить верность предсказаниям марксизма, что после свержения старого мира трудящиеся будут жить вместе, как братья. В 30-х они стали разрушать храмы и ссылали священников, поскольку Маркс не допускал наличия в социалистическом государстве такого опиума, как религия. Понятно, что когда жизнь насильственно организуется по теории, теория становится более «верной», что прибавляет коммунистам ощущения своей правоты, а значит, дает им моральное право усилить давление на общество и еще больше укрепить свою власть. Это в свою очередь увеличивает возможности переделки жизни с целью вогнать ее в рамки учения — и так далее. Начинается лавинный процесс, ведущий к предельной идеологизации и к предельному же тоталитаризму. Те из россиян, кому, как и автору этих строк, около шестидесяти, могли воочию наблюдать этот процесс от начала и до конца. Сейчас цикл как будто завершился и марксисты потеряли свою власть, но радоваться еще очень рано. Вспоминаю сегодня как ночной кошмар то время, когда их учение было действительно всесильным и втягивало нас всех в отвратительную ложь, мы не должны забывать и того, что коммунисты по-прежнему существуют в России и мечтают снова стать нашими хозяевами. И тут не утешись мыслью, что их сравнительно немного, что сама природа не предусмотрела их массовости. Они остаются страшными людьми, так как имеют нынче в России не менее широкую поддержку, чем имели их предшественники перед революцией.

* * *

Теперь, после разговора о «красных», поговорим немного о «коричневых». Кто они такие? Это личности того же психологического склада, что и люди, которые содействовали приходу к власти большевиков в начале нашего столетия. Правда, те деятели поносили государственность и монархию, смеялись над религией и боролись за «народовластие», а эти почитают царя, ходят в церковь и ругают демократию. Но это для них такие же малосущественные детали, какими для коммунистов являются догмы марксизма. Поэтому нужно задаться тем же вопросом, какой мы ставили в отношении коммунистов: в чем состоит не формальная, а подлинная суть этой группы деятелей? Семь известных мыслителей и публицистов начала века уже пытались ответить на интересующий нас вопрос, обозначив эту группу термином «интеллигенция». Сразу надо сказать, что название это условно, ибо среди интеллигентов были и противники революции, а поддерживали революционеров не только интеллигенты. Но сборник «Веки», о котором мы ведем речь, уже не перепишешь, поэтому пусть в данном контексте термин прозвучит так же, как

он звучал в 1909 году, когда сборник был опубликован. Посмотрим, что писали о революционерах и сочувствующем им общественном слое веховцы.

Петр Струве: «В облике интеллигенции как идейно-политической силы в русском историческом развитии можно различить постоянный элемент, как бы твердую форму, и элемент более изменчивый, текучий — содержание. Идейной формой русской интеллигенции является ее отщепенство, ее отчуждение от государства и враждебность к нему». (Разрядка здесь и далее моя. — В. Т.)

Об оторванности интеллигенции от почвы и ее изолированном положении в стране писал в «Вехах» и Сергей Булгаков, но он обратил внимание и на другую ее черту: «Интеллигенция стала по отношению к русской истории и современности в положение героического вызова и героической борьбы, опираясь при этом на свою самооценку. Героизм — вот то слово, которое выражает, по моему мнению, основную сущность интеллигентского мировоззрения и идеала, притом героизм самообожения. Вся экономия ее душевных сил основана на этом самочувствии».

Бердяев, чьей статьей открывается сборник, отметил еще одно качество русской интеллигенции того времени — народнически-утилитарную установку. Он писал, что в ней «любовь к уравнительной справедливости, к общественному добру, к народному благу парализовала любовь к истине, почти что уничтожила интерес к истине».

А вот что писал еще один веховец, Семен Франк: «Если можно было бы одним словом охарактеризовать умонастроение нашей интеллигенции, нужно было бы назвать его морализмом. Русский интеллигент не знает... никаких критериев, никакой ориентировки в жизни, кроме морального разграничения людей, поступков, состояний на хорошие и дурные, добрые и злые».

Многое было подмечено в сборнике с большой зоркостью. Но с тех пор прошли десятилетия, и сегодня можно сделать подсказанные временем уточнения. Некоторые из свойств социальной группы, тяготеющей к коммунистам и оказывающей им поддержку, отнесенные в «Вехах» к постоянной форме, оказались относящимися к переменчивому содержанию — например, антирелигиозность. Устойчивость обнаружили только два признака, и надо отдать должное авторам сборника, как раз на них они останавливались подробнее всего. Прежде всего это внерелигиозный, не укорененный в Боге морализм, выражающийся в постоянном осуждении социальной несправедливости. Вторая черта, впрочем вытекающая из первой, — поза «героического вызова» по отношению к любой власти, проще говоря, фронтирования. Эти признаки, как и свойства коммунистов, вырастают из общего корня, определяются тайной потребностью души. Но это иная потребность. Коммунисту необходимо чувствовать себя правым, его верному помощнику необходимо чувствовать себя праведным. Может показаться, что это почти одно и то же, в действительности же различие тут очень существенно. Коммунисту надо быть правым, чтобы действовать, чтобы организовывать поведение людских масс, а действовать в этой области он должен по самой своей природе. Его союзнику, моралисту, надо чувствовать себя праведным не ради чего-то, а ради самого этого чувства, в котором он испытывает внутреннюю потребность. Чувство это является дальним отзвуком эсхатологических ожиданий, присущих его христианским предкам.

Нужно констатировать, что и марксизм, и теория мирового заговора имеют свои истоки в христианстве. Правда, истоки эти сущностно повреждены и извращены. Обе теории сложились в результате механического и потому порочного вычленения из органичного и гармоничного христианского вероучения одного и того же элемента: признания невидимого слоя бытия материально достижимым и даже существующим. Отвергая Небо, марксизм и конспиралогия как бы экстраполируют небесную метафизику в земную эмпирическую жизнь. Марксизм самонадеянно и кощунственно принимает на себя роль устроителя на земле Царствия Небесного — социального коммунизма. Новое учение, базирующееся на ксенофобии, помещает на землю самое отталкивающее, о чем повествует Священное писание, — сатану с его легионом бесов, и так формулируется теория всемирного заговора, все нити которого сходятся в едином центре. Место бесов занимают «плохие люди», упорно стремящиеся не созидать, а разрушать, — срабатывает принцип моралистов делить все на свете на «плохое» и «хорошее», о котором писал Франк. Деформация истины в обоих случаях имеет столь принципиальный характер, что образующиеся ереси не могут дать даже приблизительного ориентира для правильного жизнеустроения и годятся только для обмана. «Красные» с их помощью профанируют

разум, «коричневые» — чувство. Сегодня этот обман зашел особенно далеко, так как коммуношовинисты объявляют себя верующими, а это неправда. По определению апостола Павла, вера есть «обличение вещей невидимых», а наши коммунисты и квазипатриоты к таким вещам слепы. Апостол говорит: «Оружия воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь: ими ниспровергаем замыслы» (2 Кор. 10, 4), — а они хотят ниспровергнуть замыслы митингами протеста. Такое чисто вещественное понимание проблемы мирового зла требует и вещественного же признака, отличающего носителей зла от «хороших» людей, и им чаще всего становится признак крови — принадлежность к определенной нации.

* * *

До сих пор мы рассматривали «красных» и «коричневых» по отдельности. Теперь попытаемся уяснить причины их союза.

Обозревая нашу недавнюю историю, можно сразу же отметить, что союз этот не случаен и порождается неким хотя и болезненным, но довольно прочным влечением, так что после разрыва он всякий раз возобновлялся. Причем восстанавливался по инициативе вторых, тогда как первые отвечали на эту инициативу не сразу и только тогда, когда видели в этом свою выгоду. В общем, со стороны «красных» это брак по расчету, а со стороны «коричневых» — по любви.

Самый крупный разрыв произошел после большевистской революции, когда победившие коммунисты перестали нуждаться в поддержке либеральной интеллигенции и начали ее третировать. Вознесенный ее руками на вершину власти Ленин оплатил ей тем, что обозвал непечатным словом. Это отношение пошло и в нижние слои: народ употребил в 20-х слово «интеллигенция» не иначе как с эпитетом «гнилая». Иллюстрацией к тому презрению, коим с подачи властей массы награждали тогда интеллигентов, служит образ Васисуалия Лоханкина, созданный ревностными апологетами социализма Ильфом и Петровым. А когда прочно обосновавшиеся в Кремле большевики начали репрессии, один из первых ударов пришелся по интеллигенции. Он был так силен, что та ее часть, которая смогла, бежала за границу. Из оставшейся части одни погибли в лагерях, другие перековались и утратили свое самое главное характерное качество — фрондирование на основе отвлеченного морализма.

Первые годы эмигрантского бытия были, пожалуй, единственным периодом, когда об альянсе не могло быть и речи. Но уже в 20-х все стало возвращаться на круги своя. В среде русской эмиграции оформилось движение «Смена веж». Оно сочло, что девиз «хоть с чертом, только против большевиков» устарел, и в качестве новой вежи выдвинуло лозунг «хоть с большевиками, только против врагов России». Ясно, что подобная формула подразумевала безусловное прощение большевиков, ибо, противопоставляясь врагам России, сами большевики как бы уже и не числились таковыми.

На раскидистом древе русского рассеяния сменовеховцы вовсе не были чужеродным одиноким побегом, на такой же платформе стояли, например, и младороссы и во многом евразийцы. Еще раньше с красными комиссарами примирились Максим Горький, Алексей Толстой и Александр Куприн, а сталинского идеологического агента Эренбурга встречали в русских кругах Парижа с такой же теплотой, с какой встречал его французский коммунист Пикассо. О масштабе же тайного сотрудничества эмигрантов с большевиками и говорить нечего — европейские столицы были буквально напичканы чекистскими агентами из числа эмигрантов, и такие разоблаченные фигуры, как генерал Скоблин или муж Марины Цветаевой Сергей Эфрон, были лишь надводной частью айсберга. Дух компромисса в той или иной степени проник во все слои русского зарубежья, так что внушаемое нам с детства представление, будто вся «белогвардейщина» плела интриги против советской власти, мечтая вернуть в Россию царя, помещиков и капиталистов, не соответствует исторической правде: в ее среде шли бесконечные споры и размежевания вплоть до церковных расколов. И все же сменовеховцев надо выделить особо, поскольку они первыми обратились к большевикам с предложением оставить марксизм и встать на позиции русского патриотизма, обещая при этом им союз и поддержку. Поэтому именно их нужно считать предшественниками современных «коричневых». Однако у них ничего не вышло. Тогда подобная инициатива была обречена на провал. Большевики попали в плен к собственной неистовой пропа-

ганде мирового коммунизма и не могли сменить свои вски так же быстро, как от них ожидали их «коричневые» доброжелатели.

Вторая попытка альянса «красно-коричневых» пришлась на годы второй мировой войны, когда многие патриотически настроенные эмигранты (как, впрочем, и многие граждане СССР) провозгласили Сталина и его банду спасителями отечества от германской агрессии. Из тактических соображений коммунисты были вынуждены на время согласиться с отведенной им ролью патриотов и даже приняли некоторые атрибуты и символы дореволюционной России и распустили в 1943 году Коминтерн (что помогло им безжалостно, бездарно и бессчетно губить россиян на полях сражений и тем сохранить и укрепить собственную власть). В благодарность многие эмигранты и их потомки ринулись в советские посольства выпрашивать себе советское гражданство, а вместе с ним, как впоследствии оказалось, и будущие сроки в сталинских лагерях.

Третья по счету, и более успешная, нежели все предыдущие, попытка сближения национал-моралистов и коммунистической власти случилась уже после смерти Сталина и отстранения от власти Хрущева, на рубеже 60 — 70-х годов, когда народившееся в оттепельные времена диссидентское антисоветское движение в целом оказалось рассеяно и разгромлено. Именно тогда группа традиционалистов-обновленцев провозгласила и сделала своим символом веры примерно следующий постулат: мы не против властей, мы только не вполне довольны их политикой в национальной сфере и будем убеждать их изменить эту политику в сторону поддержки русского патриотизма.

В чем видели основатели этого течения свой шанс? Они же должны были знать, что до сих пор никому еще не удавалось уговорить коммунистов отойти хотя бы на йоту от марксистской идеологии, а следовательно, от интернационализма. Думается, они не столько этот шанс вычислили, сколько его угадали. Новые сменеховцы были людьми достаточно чуткими к социокультурному состоянию общества, и интуиция подсказала им, что в стране возникла новая ситуация, позволяющая поставить на национальную карту. Интуиция не обманула их. Надо сказать, что они выбрали лукавую и мудрую тактику, делая вид, будто коммунистическое учение вполне совместимо с русской идеей: эта ложная презумпция усыпляла партийную совесть коммунистов и давала им моральное право хотя бы выслушать то, что им говорят. Старые сменеховцы не считались с этой совестью, не учитывали психологического фактора, не понимали, что идеология для большевиков священна и неприкосновенна. Новые нравоучители строго воздерживались от выпадов против идеологических основ Маркса вероучения.

Второе преимущество новых сменеховцев перед старыми давали им, так сказать, обстоятельства времени, сам момент, выбранный ими для выступления. За протекшие десятилетия учение о светлом будущем оказалось сильно дискредитированным по той простой причине, что это будущее никак не наступало и не было ровным счетом никаких признаков того, что оно когда-нибудь вообще наступит. Что создавало в стране очевидный идейный вакуум, который весьма опасен для власть предержащих. Номенклатура не могла не сознавать этого, и вопрос о том, чем заполнить вакуум, становился для нее все более актуальным. Поэтому она начала проявлять интерес к возможным вариантам некоторого обновления господствующей идеологии. Инстинкт самосохранения стал излечивать ее от глухоты.

Третьим достоинством «патриотического» течения явилось то, что многие из его зачинателей были для партийного начальства своими людьми, так что их модернизация идеологии шла как бы изнутри партии. Первыми зачинателями были, пожалуй, поэт Куняев, прозаики М. Алексеев, А. Иванов и еще некоторые писатели — активные члены КПСС, вхожие в ЦК и имевшие там друзей. Понятно, что отношение к ним верхов было совсем не таким, как к белоэмигрантскому профессору Устрялову. Ни на один день они не лишались доступа к прессе, к массовой аудитории своих читателей и слушателей. Так капля начала долбить камень.

Отцы основатели нового сменеховства подготовили благоприятную почву, а дальше к ним начали подключаться все новые и новые единомышленники, главным образом из числа творческой интеллигенции, и пропаганда альянса с коммунистами стала распространяться по всей России. Чуть позже абсурдная идея о национальном возрождении страны, находящейся под большевистским игмом, была дополнена не менее абсурдной идеей антиросийского мирового заговора, таково-

му возрождению будто бы мешающего. Никто персонально ее не придумывал, она как бы сама собой начала составляться из шатких гипотез, вольных толкований священных текстов и вовсе уж фантастических домыслов и предположений. Это был ксенофобский фольклор, который в конечном счете оформился в новую «универсальную» историософию, отвечающую запросам русских шовинистов. Национальная идея как таковая не удовлетворяла их запросы, поскольку она вызывает лишь положительные эмоции, а у человека, далекого от Бога, они обыкновенно много слабее отрицательных. Внерелигиозный «патриот», которому необходимы интенсивные внутренние переживания, не может черпать их в размышлении о традиционных русских ценностях. Зато мысль о «планетарных мерзавцах», которые, дескать, хотя эти ценности разрушить, заставляет его сердце учащенно биться. И со временем он настолько сосредоточивает внимание на «мерзавцах-заговорщиках», что сами ценности уходят куда-то на задний план, и он с трудом может ответить на вопрос, в чем же, собственно, они заключаются.

Во второй половине 80-х такого рода фольклор стал распространяться в многочисленных газетах, брошюрах и журналах, которые в совокупности можно назвать новым самиздатом, так как все они печатаются внутри страны в очень дешевом типографском варианте, часто просто на ксероксе. Тиражи этих изданий скромные, так как бумага стоит дорого. Их мало кто читает, тем более что в них перепечатываются одни и те же уже наскучившие материалы о масонах, ритуальных убийствах, сатанинской символике и т. п. Однако главный интерес для нас представляют не те, кто читает подобные сочинения, а те, кто их публикует и распространяет. Обличители мирового зла хотя и думают, что пишут для народа, в действительности же делают это для себя, для собственного самозаблуждения и самоутверждения. Но самонакачки им недостаточно, им необходимы волевые организаторы, без которых они никогда не смогут пойти дальше разговоров в прокуренных комнатах о гнусности демократов и жарких споров за бутылкой водки о путях возрождения России. Осуществить свои программы национал-патриоты не способны хотя бы потому, что постоянно ругаются друг с другом, поскольку каждый из них только собственные идеи считает по-настоящему стоящими. (Пример такой ругани — недавняя статья Глушковой в одной из малотиражных оппозиционных газет, в которой она буквально «размазывает по стенке» своего бывшего единомышленника Шафаревича.)

Другое дело — коммунисты, обладающие умением спланировать в крепкую, дисциплинированную и целеустремленную организацию. И вот именно коммунисты в итоге согласились стать собирателями и оформителями обличительно-«патриотического» движения. Очевидно, что на их решение более всего повлияло то обстоятельство, что теория мирового заговора построена исключительно на ненависти. Большевики лучше, чем кто-либо другой, знают, что рычагом ненависти можно свернуть горы. Ленинскую революцию вдохновляло не что иное, как ненависть к царю, помещикам и капиталистам, гражданскую войну — ненависть к белым, коллективизацию — ненависть к кулакам, и даже трудовой энтузиазм первых пятилеток подогревался не столько стремлением дать народу больше продукции, сколько решимостью сорвать коварные планы «вредителей», пытающихся развалить наше социалистическое хозяйство. Теперь, когда в результате перестройки коммунисты лишились власти, им нужен для ее возвращения еще один подобный рычаг, а именно его и создали шовинисты. Ознакомившись с писаниями ксенофобов, коммунисты подумали: а что, с этими людьми стоит подружиться. И союз наконец состоялся.

* * *

Большевицкий переворот в России в 1917 году называют главным событием XX века. И это правильно, ибо он вызвал цепную реакцию революций и смут по всему свету, в результате которых почти половина населения земного шара очутилась под игом тоталитарных режимов, противостоящих остальному миру и держащих его в постоянном страхе. Только к концу столетия марксизм начал терять свою, так сказать, вирулентность и пораженные этой инфекцией страны начали медленно выздоравливать. Неизбежную после такого тяжкого недуга слабость испытывают практически все, кто его перенес, а больше всех, наверное, мы, россияне. Если бы можно было с уверенностью сказать, что скоро мы окончательно поправимся, потерпеть было бы нетрудно, но, к несчастью, такой уверенности нет.

Страшно подумать, но в ближайшее время коммунисты могут вернуться к власти в России, хотя уже и не под флагом чистого марксизма. Условия сейчас для них, быть может, даже более благоприятны, чем накануне революции 1917 года. Отметим важнейшие из этих условий.

1. **Готовность самих коммунистов взять в свои руки власть.** Ныне она, эта готовность, намного выше, чем в начале века. Тогда большевики просто отчаянно отважились рискнуть, даже не представляя, что у них получится, а сегодня они жаждут вернуть то, что имели и к чему привыкли и считают принадлежащим себе по праву.

2. **Наличие нового общедоступного «универсального» идеологического учения, наполняющего их чувством правоты.** Как мы уже видели, новая идеология гораздо проще предыдущей и лишена ряда существенных недостатков своей предшественницы — например, заведомо неисполнимых обещаний, — а это значит, что такая идеология способна овладеть сознанием куда большего числа людей, нежели собственно марксизм-ленинизм. Марксизм давал своим исповедникам возможность почувствовать свою правоту и непогрешимость не непосредственно, но только через служение некоему абстрактному пролетариату, который представлял единственным истинно элитарным классом. Учение же о мировом заговоре дает возможность ощутить себя элитой всякому, кто в этом нуждается: ему надо лишь заподозрить побольше народу в участии в этом заговоре — и тогда по контрасту он автоматически станет едва ли не апостолом. Поскольку же заговор тайный, то подобное подозрение нельзя ни доказать, ни опровергнуть, так что его можно отнести к кому угодно. Это очень удобно. Так можно «научно» обосновать свои личные антипатии и к тому же самому установить ту меру «схваченности» современного человечества силами зла, которая тебя больше всего устраивает. Есть где разгуляться нынешним идеократам.

3. **Существование симпатизирующего коммунистам социального слоя, способного в решающий момент стать той реальной силой, на которую они смогут опереться в масштабе всей России.** Эта сила — все те же «героические моралисты», которые стали многочисленнее и влиятельнее и более горячо исповедуют нынешнее учение о мировом заговоре, чем их предшественники, русские интеллигенты, исповедовали марксизм. Это означает, что союз «красных» и «коричневых» более крепок, чем союз большевиков и либеральной интеллигенции начала столетия. Люди, желающие быть правыми, и люди, желающие быть праведными, нашли друг друга во второй раз, и теперь их уж водой не разольешь.

4. **Отсутствие твердого чувства правоты у нынешних российских властей.** Причина этого в том, что у многих из них нет вообще никаких серьезных убеждений. Правда, они не соглашались с этим и скажут, что у них имеются твердые убеждения, которыми они руководствуются. Однако при внимательном взгляде оказывается, что эти «убеждения» часто сводятся только к набору избитых прогрессистских сентенций. Например, смысл человеческой истории заключается для них в линейном прогрессе, а национальные проблемы являются пережитком «темного прошлого», который в результате прогресса будто бы отомрет. Понятно, что на таком песке не построишь ничего прочного, отсюда и постоянное ощущение неуверенности в действиях нашей сегодняшней власти. Иногда она взрывается желчными выпадами в адрес оппонентов, выставляя их для самоуспокоения больше смешными, чем опасными, но противостоять им в жесткой и длительной борьбе она вряд ли сможет, поскольку ее противостояние кому-либо, как и все поведение, направляется не идейными, а прагматическими соображениями, а это куда более слабая мотивация для волевых решений и поступков. У коммунистов же есть «железная» теория, позволяющая им чувствовать себя борцами не за власть, но за идею.

5. **Падение авторитета нынешних правителей в глазах населения.** Безыдейность руководства делает его таким же беспечным как в отношении народа, так и в отношении политических противников. И быть может, самым роковым для правительства является его неспособность навести в стране порядок. Недоедание наш народ выдержит, ему это не впервой, но вседозволенность и разгул преступности — вряд ли. А они достигли у нас сегодня небывалого уровня. Все видят это и этим возмущаются. Так в нашем обществе вызревает фактор пассивной поддержки любой силы, которая решится настоящую власть свергнуть. А кроме «красно-коричневых» такой силы сегодня нет.

* * *

Делать прогнозы — занятие неблагодарное, однако те, кто собирается решать нашу судьбу, абсолютно в себе уверены. Их настроенность можно охарактеризовать строкой из песни Высоцкого: «Дважды пытались, но Бог любит Троицу, рано еще поворачивать вспять». Третья попытка имеет гораздо больше шансов на успех, чем первые две. Путч — это что-то легкомысленное, карикатурное. Мятеж — вещь более серьезная, в этом слове присутствует уже грозная интонация. Следующей будет вещь совсем серьезная — бунт, переворот.

Ожидать открытого и мужественного противления злу силою можно и нужно было бы прежде всего от тех, кто находится у кормила власти. Но у кормила находятся прагматики, а они умеют вовремя понять бесполезность сопротивления и найти те компромиссы, которые, по их мнению, помогут им уцелеть после «дня икс». Они уже начали такие компромиссы искать — например, спойкой проглотили вердикт Думы об амнистии организаторов путча 1991 и мятежа октября 1993 года. Вердикт был абсурден, ибо как минимум нельзя амнистировать тех, кто еще не осужден, но его надо рассматривать не как амнистию, а как отмену законного преследования организаторов кровавых погромов, а это равносильно постановлению о правомочности подобных вылазок и впредь. Если можно так выразиться, это был пробный плевок в лицо правящим «демократам»: как они себя поведут? И что же — утерлись. Это значит, что следующий вызов со стороны «красно-коричневых» будет еще более наглым, и «демократы» опять стерпят (а самые «дальновидные», может быть, и выразят молчаливое одобрение). После этого пойдет все убыстряющийся процесс перебегания кадров из «лагеря соломы» в «лагерь силы», и через короткое время безвольная и беспринципная власть даже не рухнет, а просто растает, освобождая место для «железобетонных», непоколебимо уверенных в своей правоте людей, которые подадут свою революцию как падение недееспособного и дискредитировавшего себя режима.

Революционеры «освободят» нас от «антинародной власти» и установят власть античеловеческую. И даже не потому, что обладают такими качествами, как неразборчивость в средствах, коварство, фанатизм и беспощадность, а потому, что такое развитие событий заложено в самой их концепции «спасения» и дальше будет просто переходить из скрытой формы в явную. Сегодня это еще мировоззрение, завтра оно станет уже мироустройением, а то, что в мировоззрении есть ложь, в мироустройении становится человекоубийством. Отменить эту евангельскую истину не дано никому.

Коммуно-националистическое учение о спасении человечества ложно во всех трех своих основных пунктах: как спасать, кого спасать и от кого спасать. Метод спасения в нем коллективный — спасаются не личности, не малое стадо, даже не духовно близкие люди, а сразу целая ватага, собранная и организованная по кровавому, этническому признаку. Спасают же ее коммунисты от злокозненных людей, различаемых опять же по национальному, то есть кровавому, признаку. Истинное же спасение есть только одно — то, которое указано Христом, и оно, во-первых, индивидуально, во-вторых, критерий, по которому отбираются спасаемые, духовный, а в-третьих, это есть спасение от дьявола, от вечной гибели души. Подлинное спасение не только не имеет ничего общего с коммунистическим, но во всех пунктах прямо ему противоположно. Нынешние же национал-моралисты этого совершенно не замечают, поскольку из-за своей безрелигиозности потеряли дар различения духов. Они трактуют коммунистическую концепцию спасения как якобы современное (а в действительности кощунственное) прочтение Евангелия, содействуя тем самым ее популяризации, а следовательно, и победе коммунистов.

Подмена духовного критерия качества кровавым приведет к гораздо более быстрому вырождению русских, чем сегодняшняя их американизация, ибо они приучатся думать, будто национальность изначально и сама по себе гарантирует им статус людей высшего сорта и никакая внутренняя духовная работа над собой не нужна. Но самым чудовищным будет то, во что воплотится ложь о возможности спасти всю нацию скопом. Для того, кто обладает властью, возможность эта равносильна необходимости, поэтому победившие коммунисты будут спасать нас, не спрашивая, хотим мы того или нет. Это принудительное массовое спасение от мирового зла будет ничем не лучше того принудительного массового единодушия, с которым мы недавно строили светлое будущее.

Все вернется назад, все вернется! Нам опять станут предписывать, как нужно думать, в каком свете видеть происходящие события, какие вопросы ставить перед собой и как на них отвечать. Нам будут отвечать, что только выполнение этих предписаний может сделать человека полноценной личностью, но ими-то личность как раз будет убита, так как они отнимут самый главный ее признак — свободу вырабатывать свое собственное мировосприятие. Возвращение под новым знаменем идеи приоритета, главенства коллектива над личностью вызовет процесс, аналогичный образованию в космосе черной дыры. Когда гравитационные силы звезды переходят некоторый предел, она «схлопывается» и перестает быть астрономическим объектом, так как взаимное притяжение ее частей уже не выпускает из нее ни материю, ни излучение. С нами произойдет то же самое: наши спасатели собьют нас в такое дружное стадо, что оно выпадет из истории, — продолжая физически существовать, мы не будем играть в ней никакой творческой роли. Такое уже случалось с нами, и мы знаем, чем это обернулось...

Так вот, и сейчас мы все еще близки к тому, чтобы снова погрузиться в очередную кошмар, когда нынешнее во многом пусть и бесполое время вспомнится нам как удивительное и свободное. Рост цен забудется, разгул преступности забудется, порнография забудется, а ни с чем не сравнимое ощущение личной свободы еще долго будет волновать нас как ушедшее счастье. Страшно, страшно за Россию! Неужели нас опять будет мучить не только обязловка, но постоянное присутствие вокруг нас лжи, в которую каждого из нас так или иначе вовлекут! Вернется политический изоляционизм, оправдываемый необходимостью не впускать в страну лазутчиков тайных обществ, которому будет сопутствовать изоляционизм экономический. Страна с такими ресурсами полезных ископаемых и рабочей силы, как наша, могла бы, наверное, прожить припеваючи и «за чертополохом», но жить мы все-таки будем бедно, так как труд вновь станет подневольным и частная собственность, которая и сейчас-то существует больше на бумаге, исчезнет и с нее. Идеология противостояния мировому злу выведет нас из союза с Западом и заставит искать дружбы со странами-смутьянами вроде Ирака и Ливии, а затем вынудит сделать заявку на то, чтобы возглавить сопротивление «новому мировому порядку» во всепланетном масштабе, то есть создать некий «четвертый интернационал». Если подобное удастся, мир опять расколется на два враждующих лагеря, что как раз и станет слепым и бездумным следованием заветной мечте дьявола — уничтожения людского рода людскими же руками.

Обо всем этом можно было бы сказать подробнее, но тема нашего разговора все-таки «красно-коричневые». С них мы начали, ими и закончим. Бесспорно, что тяжелые последствия новой революции выпадут и на долю самих наиболее активных пропагандистов новой «русской идеи». Доморощенные специалисты по жидомасонству, вооружающие коммунистов необходимой для них идеологией, пострадают если и не первыми, то вторыми наверняка! Но их-то не жалко. Яму, в которую они свалятся, они роют себе сами. Самозабвенно увлекаясь делом «спасения» нации, они не желают задуматься над тем, как и х людей берут себе в компаньоны. Победив в блоке с «коричневыми», «красные» и не подумают делить с ними власть, а поскольку «коричневые» будут иметь очень веские основания претендовать на такой дележ, их просто придется скрутить в бараний рог, как победивший Ленин сделал это когда-то с помогавшей ему интеллигенцией. Так феномен «красно-коричневых» закончит свой очередной круг существования.

Сегодня шовинисты не осознают, что имеют возможность изощрять свою писательскую мысль только потому, что существует свобода, и действуют как безумцы, направляя эту мысль на то, чтобы лишиться всякой свободы. Увы, по ходу дела они лишат ее и остальных. А вот остальных (то есть всех нас) очень жалко.

В. Н. ТРОСТНИКОВ.

ЗАРУБЕЖНАЯ КНИГА О РОССИИ



CECILIA VON STUDNITZ. Maxim Gorki und sein Leben. Droste Verlag. Essen. 1993.

ЦЕЦИЛИЯ ФОН ШТУДНИЦ. Максим Горький и его жизнь.

Вскоре после смерти Максима Горького Иван Бунин высказал достаточно вызывающую мысль: «Как это ни удивительно, до сих пор никто не имеет о многом в жизни Горького точного представления. Кто знает его биографию достоверно?» А ведь к тому времени было опубликовано множество биографических книг о Горьком, воспоминаний людей, с ним встречавшихся, автобиографических текстов самого писателя. И вот через полвека с тех пор, как Бунин усомнился в нашем знакомстве с истинным Горьким, в Германии выходит новая биография Максима Горького, написанная Цецилией фон Штудниц. Любопытно, что немецкая исследовательница неоднократно оговаривается, что не уверена в безусловной истинности своего представления о всемирно известном и вроде бы достаточно открытом русском писателе.

Книга, в которой подробно рассказывается о всех этапах внешней жизни писателя и его внутреннего развития, завершается вымышленной беседой автора с Максимом Горьким в одном берлинском отеле сегодня, когда потерпели крах те идеи, за которые он страстно вроде бы боролся как публицист, общественный деятель и художник, завоевавший огромную популярность не столько благодаря своему мастерству, сколько способности угадать настроения революционных кругов начала века. Первый же вопрос, который фон Штудниц задает тени Горького, звучит так: «Нас интересует Ваше действительное отношение к людям, к жизни, к революции». Явление, признаем, уникальное: автор книги, содержащей более 300 страниц, выражает тем самым сомнение, что весь этот действительно богатейший материал раскрывает самую суть героя исследования. Откуда же это недоверие биографа к результатам своего труда? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно обратиться к методологии работы фон Штудниц над биографией Горького.

Главным источником для фон Штудниц стали художественные тексты писателя, которым немецкая исследовательница полностью доверяет как достоверной информации о жизни и воззрениях их создателя. Книга и начинается с повествования о попытке самоубийства, которую предпринял в молодости Алексей Пешков. Фон Штудниц подробнейшим образом описывает состояние писателя в тот момент, погоду на Волге, людей, нашедших окровавленного юношу. Только плохо знакомому с творчеством Горького читателю неизвестно, что этот эпизод будто бы из жизни самого Пешкова — простой пересказ его очерка «Случай из жизни Макара». По этому принципу и построена чуть ли не вся книга. А так как Горький писал о себе весьма много и даже посвятил этому целую трилогию — «Детство», «В людях», «Мои университеты», — изучение его жизни на основе его же произведений значительно облегчается. Вот между этим доверием к художественному тексту как чуть ли не важнейшему источнику биографии автора и сомнением в его достоверности и развиваются основные линии повествования о Горьком.

Помимо литературных текстов, фон Штудниц привлекает и уже известные жизнеописания Горького, предпринятые и русскими и западными его биографами, а также воспоминания людей, встречавшихся с автором «Клима Самгина». Фон Штудниц — исследователь абсолютной честности, она не исходит из какого-то априорного представления о своем герое, не отбирает материал, долженствующий лишь что-то проиллюстрировать, и не отбрасывает неудобных для априорной концепции фактов.

Из книги немецкого биографа Горького возникает образ страдальца, метавшегося между двумя началами — ленинским и самгинским. Как Тургенев когда-то стыдился своей гамлетовщины и хотел воспитать в себе донкихота, так изображенный фон Штудниц Горький подавлял в душе свою истинную, а именно — самгинскую, сущность и строил себя по Ленину, в ком видел идеал человека революционной эпохи. Самгин не трактуется немецкой исследовательницей как тип отрицательный. Наоборот, Клим Самгин — это-де тайная любовь писателя: разоблачая его индивидуализм, его противостояние претензиям коллектива, его отвращение к партийности, Горький, как полагает исследовательница, выталкивал из себя истинно гуманистическое начало, освобождая в душе место для некоего последовательного, беспощадного борца с эксплуататорским строем. Отсюда и странный гуманизм Горького: нам известны борцы, страдающие за человечество и безразличные к судьбам отдельных людей. Горький же заступался перед палачами за конкретных мучеников и прославлял общественный строй, требовавший для своего утверждения миллионы жертв. Он плакал, получив известие о смерти того или иного ученого, но звал к истреблению «буржуазной интеллигенции». Все это фон Штудниц объясняет шизофренностью Горького, не прибегая к этому термину психиатрии. Горького теснили его двойники, замечает биограф, обнаруживая тему двойничества как раз в «Жизни Клим Самгина».

В Горьком фон Штудниц увидела русского интеллигента с жизненным опытом маргинала и нигилиста. Горький в ее книге — это чудо: гуманист, огромный талант, каким-то образом возникший из российского варварства и, естественно, его возненавидевший и наконец нашедший в большевиках и Ленине тот тип человека, который был способен разрушить эту мерзкую русскую жизнь.

Завороженная левым интеллектуальным сознанием, немецкая исследовательница с полным пониманием относится к горьковскому неприятию российского капитализма, вольно или невольно прощая своему герою переориентацию с анархических маргиналов (босяков) на маргиналов (пролетариев), организованных в большевистскую партию. Не имея ничего против горьковского социализма, фон Штудниц всякий раз выражает удивление, сталкиваясь с горьковским большевистским радикализмом. Она журит своего героя за то, что тот во время московского восстания 1905 года хранил и распространял оружие для революционеров, вряд ли понимая, что в этом случае речь идет не только о политическом заблуждении Горького, но и прежде всего о его серьезных нравственных и мировоззренческих изъянах.

Вообще фон Штудниц сама себя загнала в угол, сосредоточившись на узком пространстве политики и психологии: она совершенно равнодушна к системе горьковского мирозерцания — первоосновы всех его политических симпатий и антипатий. Это повлияло и на изображение исторического фона, который определял развитие Горького. Подробно и достаточно корректно рассказывая о политических событиях первой трети XX века, фон Штудниц ни словом не обмолвилась о религиозно-философской революции в русском обществе. А ведь это было время пересмотра позитивистских представлений, господствовавших в русской интеллигентской среде второй половины XIX века. Горький не только оказался совершенно неспособным усвоить нравственно-духовный аспект человеческого бытия — он (в статьях 1915 года, которые фон Штудниц, естественно, не упоминает) обрушился на гениев русской нравственной философии Толстого и Достоевского, обзывая их ужасно ругательным словом «мещане».

Трудно сказать, известны ли фон Штудниц работы о Горьком русских философов-идеалистов или же она посчитала точку зрения советских горьковедов Груздева и Роскина и кокетничавшей с социализмом графини Марион фон Дёнхов и им подобных заслуживающей большего доверия? Во всяком случае, к анализу личности и творчества Горького, который мы находим в статьях Льва Шестова и Юлия Айхенвальда, раннего Корнея Чуковского и Николая Минского, Философова и Иванова-Разумника, в книге фон Штудниц уважения не проявлено.

Понять Горького, этого безусловно выдающегося художника и работника на ниве российской культуры, человека милосердного в общении с ценными им людьми, но убежденного сторонника большевизма даже в его самом страшном, тоталитарном варианте, невозможно без анализа самой сердцевины его мировоззрения, тем более что это мировоззрение господствовало и поныне господствует в среде европейской и русской интеллигенции. Горький был убежденным сторонником общественного прогресса, понимаемого им как поступательное развитие от

несовершенных форм жизни ко все более разумным и справедливым. Подобно всем представителям цивилизаторского сознания, Горький — в отличие, скажем, от Макса Вебера — рассматривал ушедшие и современные эпохи как свидетельство человеческих заблуждений, достойные лишь отрицания во имя будущего царства правды. Горький путал культуру с цивилизацией. Не принимая этого во внимание, невозможно объяснить ненависть Горького к крестьянству, мещанству: ведь эти сословия были главным препятствием в поступательном движении к новому миру, миру, где нет места личному интересу, где человек растворится в торжествующем коллективе. Цивилизация, конечно же, требует человеческих жертвоприношений, и Горький это принимал в расчет — без всяких комментариев фон Штудниц приводит слова Горького, служащие оправданием ленинских зверств: «Нужно все-таки иметь в виду, что с развитием цивилизации явно понижается цена человеческой жизни».

Социализм был для Горького прежде всего организующей идеей. И его блистательная критика большевизма в первые месяцы нового режима сменилась в 20-е и 30-е годы восторженными песнопениями в его честь потому, что Горький признал — внутренне — свое заблуждение: большевизм — это не анархический бандитизм, как он его обозначал в «Несвоевременных мыслях», но сила, способная подавить человеческий эгоизм, мешающий строительству будущего и вносящий в мироустройство хаос. Как и все люди цивилизаторского мировоззрения, Горький ненавидел природного человека. Отсюда его уважение к Шопенгауэру, солидаризуясь с которым он в письме Ольге Форш назвал природу глупой.

Все эти соображения не умаляют информационную ценность книги фон Штудниц о Горьком. Почти все, что сказано в ней о Горьком, совершенная правда.

Герман АНДРЕЕВ.

Гермесгейм, Германия.



КНИЖНАЯ ПОЛКА (7)



П. Акройд. Последнее завещание Оскара Уайльда. Роман. Перевод с английского Л. Ю. Мотылева. Предисловие А. М. Зверева. М. СП «Слово». 1993. 259 стр. 5000 экз.

Михаил Бутов. Изваяние пана. Рассказы, повесть. М. «Книжный сад». 1994. 237 стр. 5000 экз.

Кроме известных уже читателю «Нового мира» рассказов, в первую книгу молодого прозаика вошли «Воин и танцовщица» и «Реликт», а также повесть «Идентификация».

Анатолий Ким. Поселок кентавров. Мифология XX века. М. «Ковчег». «Сашко». 1993. 460 стр. 100 000 экз.

Лев Лунц («Серапионов брат»). Вне закона. Пьесы, рассказы, статьи. СПб. «Композитор». 1994. 237 стр. 2000 экз.

Валерий Попов. Будни гарема. М. «Вагриус». 1994. 207 стр. 15 000 экз.

Артур Рембо. Озарения. СПб. «Искусство-СПБ». 1994. 255 стр. 5000 экз.

Ян Хенрик Сван. Любовь и приключения. Роман. Перевод со шведского Юрия Гурмана. СПб. ИНАПРЕСС. 1993. 158 стр. 7000 экз.

Первое знакомство русского читателя с молодым шведским писателем, завоевывающим известность на родине. Образчик новой скандинавской прозы. В сюжете романа — странствия молодого шведа по современной Польше.

Э. Севела. Избранное. М. «Терра». 1994. 638 стр. 20 000 экз.

В сборник вошли повести «Легенды Инвалидной улицы», «Моня Цацкес — знаменосец», «Остановите самолет — я слезу», «Зуб мудрости» и другие.

Август Стриндберг. Игра снов. Избранное. Составитель А. Афиногенова. М. АО «Старт». 1994. 544 стр. 3000 экз.

Томас Элиот. Избранная поэзия. Составление, вступительная статья Л. Аринштейна. СПб. «Северо-Запад». 1994. 446 стр. 25 000 экз.

●

Георгий Адамович. Одиночество и свобода. Литературно-критические статьи. СПб. «Logos». 1993. 224 стр. 3500 экз.

Ролан Барт. S/Z. М. РИК «Культура». Издательство «Ad Marginem». 1994. 303 стр. 15 000 экз.

Исследование, ставшее классическим для современного постструктурализма, представляющее анализ рассказа О. Бальзака «Сарразин» и охарактеризованное автором как «замедленная съемка процесса чтения». Написано на основе работы двухгодичного (1968 — 1969) семинара в Практической школе высших знаний.

Давид Бурлюк. Фактура и цвет. Произведения Давида Бурлюка в музеях российской провинции. Каталог. Вступительная статья и составление С. В. Евсевой. Уфа. «Башкортостан». 1994. 5000 экз.

Издание вышло на русском и английском языках в двух выпусках (выпуск I 55 стр., с иллюстрациями, выпуск II — 71 стр., с иллюстрациями).

З. Гиппиус. Гоголь. В. Зеньковский. Н. В. Гоголь. Предисловие, составление Л. Аллена. СПб. «Logos» 1994. 3000 экз.

В. Попов. Б. Фрезинский. Илья Эренбург. Хроника жизни и творчества (в документах, письмах, высказываниях и сообщениях прессы, свидетельствах современников). Т. 1. 1891 — 1923. СПб. «Лина». «Любавич». 1993. 282 стр. 2000 экз.

Притчи. Учебная книга Александра Княжицкого. VII — XI классы. М. МИ-РОС (Московский институт развития образовательных систем). 1994. 216 стр. 50 000 экз.

За разделом «Что такое притча» следуют главы о притчах царя Соломона, евангельских притчах, о притче в творчестве Пушкина, Достоевского, Толстого. Принадлежит к новому поколению учебных пособий. Рекомендована Министерством образования РФ.

Елена Ржевская. Геббельс. Портрет на фоне дневника. М. СП «Слово». 1994. 384 стр. 10 000 экз.

Журнальный вариант книги печатался в «Новом мире» (1993, № 2 — 4). Перевод фрагментов дневника Й. Геббельса осуществлен Л. Сумм.

М. Сафонов. Неизвестный Лунин. Потаенные планы декабристов в Сибири. Иркутск. Восточно-Сибирское книжное издательство. 1993. 207 стр. 5000 экз.

Ирвинг Стоун. Страсти ума, или Жизнь Фрейда. Сокращенный перевод с английского И. Г. Усачева. М. «Мысль». 1994. 35 000 экз.

Тертуллиан. Избранные сочинения. Составление, общая редакция А. А. Столярова. М. «Прогресс». 1994. 444 стр. 10 000 экз.

Карл Юнг. Аналитическая психология. Перевод и редакция В. Зеленского. СПб. МЦНК и Т «Кентавр». Институт личности. ИЧП «Палантир». 1994. 136 стр. 30 000 экз.



«Обновление гуманитарного образования в России» — гриф новой серии учебных пособий для школы, издаваемых в рамках одноименной программы. Плод совместной работы Министерства образования России, Госкомитета РФ по высшему образованию, Международного фонда «Культурная инициатива» и Международной ассоциации развития и интеграции образовательных систем. Цель программы — «гуманизация образования, создание нового поколения вариативных учебников и учебных пособий, ориентированных на ценности отечественной и мировой культуры современного демократического общества».

В. В. Сербилешко. Владимир Соловьев: Запад, Восток и Россия. Учебное пособие для высших учебных заведений. М. «Наука». 1994. 208 стр. 2000 экз.

Монография, посвященная «месту и значению идей Вл. Соловьева в общей традиции русской мысли», включающая биографический материал.

Н. Д. Тамарченко, Л. Е. Стрельцова. Путешествие в «чужую» страну. Литература путешествий и приключений. Пособие по литературе для 5 класса школ гуманитарного типа. М. АО «Аспект Пресс». 1994. 239 стр. 7000 экз.

В качестве учебного материала взяты русские волшебные сказки, мифы народов мира, повести-сказки Андерсена, Лагерлёф, Баума, Толкиена, авантюрно-приключенческая литература Стивенсона, Жюль Верна, Обручева, Буссенара, Уэллса и других. Внешне построение учебника традиционно: вводное пояснение терминов и понятий (беллетристика, персонаж, сюжет и фабула, художественное пространство, мотив и т. д.), собственно тексты изучаемых произведений и вопросник-задание, частично направляющий, частично подсказывающий, а главное, расковывающий мысль ученика. Авторы делают попытку соединить достижения современной литературной науки — структурализма, в частности, — с уровнем и возможностями учебника для среднего школьного возраста.

Составитель С. Костырко.



SUMMARY



Poetry section includes poems by Elena Ignatova, Nadezhda Kondakova, Konstantin Vanshenkin, Gregory Mark and Vladimir Gandelsman.

We begin the publication of part II by Victor Astafyev's military novel, «Cursed and Murdered» (to be continued in No 11 and 12); an adventure story by Alexander Gher-nitsky, «Capable of Anything», is also being published.

In the section «Times and Manners» there is Mark Kostrov's material «Variations of the Transitional Period».

In the section «Religion and Modern World» deacon Andrey Kurayev in his article «Temptations of the Latest Fashion» gives a critical analysis of Elena Rerikh's religions views.

In «Diaries. Memoirs» publication of «The Children of Utopia» is finished (begun in No 9).

In «The Writer's Diary» you can find Alexander Kushner's notes titled «Of the Worthless Sons of the World».

«Literary Critique» contains an article by Lev Anninsky on Georgy Vladimov's new novel and an article by Vladimir Novikov written as a letter to Yury Tynyanov.

In «Book Review» Mark Lipovetsky reviews Lyudmila Petrushevskaya's Collected Stories; Alyana Zlobina — a new story by Yury Maletsky; Elena Tikhomirova — a newly published novel by Gayto Gazdanov; Irina Surat — Andrey Bitov's book about Pushkin.

In «Editorial Mail» there is a polemic article by Vladimir Trostnikov, «„The Red-Brown”: a Label or Reality?».

The section «Bookshelf» (compiled by Sergey Kostyrko) contains a list of recent books.

**Читайте в следующем номере
повесть Игоря Клеха
«Зимания. Герма»**

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Редакция не имеет возможности ходатайствовать по частным делам.

Главный редактор **С. П. Залыгин**

Редакционная коллегия:

С. С. Аверинцев, В. П. Астафьев, А. Г. Битов, А. В. Василевский (ответственный секретарь), **Д. А. Гранин, А. А. Ким** (зам. главного редактора), **С. П. Костырко, С. И. Ларин, Д. С. Лихачев, А. М. Марченко, П. А. Николаев, С. В. Николаев, И. Б. Роднянская, В. И. Селюнин, З. М. Фаткудинов, В. Л. Филимонов** (зам. главного редактора), **М. О. Чудакова, О. Г. Чухонцев**

Коммерческий директор **Э. В. Балашов**

Технический редактор **А. С. Гинзбург**

Свидетельство о регистрации № 138 от 27 сентября 1990 г.
в Министерстве печати и массовой информации РСФСР.

Адрес редакции: 193806, ГСП, Москва, К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 200-08-29.

Сдано в набор 20.06.94 г. Подписано к печати 10.08.94 г. Оригинал-макет изготовлен на компьютере редакцией журнала «Новый мир». Формат бумаги 70x108 1/4. Бумага кн.-журн. Высокая печать. Объем 16 п. л. (22,4 усл.-печ. л., 22,58 усл. кр.-отт.). 28,02 уч.-изд. л.

Тираж 29 000 экз. Зак. 2933. Цена договорная.

При участии издательства «Известия». Москва, Пушкинская пл., 5.

Типография имени И. И. Скворцова-Степанова издательства «Известия».
103798, Москва, Пушкинская пл., 5.

60

ДО КОНЦА 1994 ГОДА И В 1995 ГОДУ «НОВЫЙ МИР» ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ:

- АЛЕКСЕЙ АЛЕХИН. Письма из Поднебесной (путевые записки);
 НИКОЛАЙ АНДРЕЕВ. Пражские годы (воспоминания);
 В. БОГОМОЛОВ. Алина (повесть);
 Академик В. В. ВИНОГРАДОВ. Письма к жене. 20-е годы;
 М. О. ГЕРШЕНЗОН В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ЖИЗНИ. Воспоми-
 нания. Письма (публикация М. И. Фейнберг);
 ПАВЕЛ ЗАЙЦЕВ. Записки пойменного жителя (воспоминания
 крестьянина);
 В. ЗАЛОТУХА. Великий поход за освобождение Индии (киноро-
 ман);
 СЕРГЕЙ ЗАЛЫГИН. «Экологический консерватизм»: шанс для вы-
 живания;
 ИГОРЬ ЗОТИКОВ. Воспоминания о П. Л. Капице;
 АНАТОЛИЙ КИМ. Новый роман;
 ИГОРЬ КЛЕХ. Зимания. Герма;
 Н. КОРЖАВИН. В соблазнах кровавой эпохи (воспоминания,
 часть вторая);
 МАРК КОСТРОВ. Дульные тормоза (рассказы о независимой се-
 верной армии);
 НЕИЗВЕСТНЫЕ ПИСЬМА С. Н. БУЛГАКОВА. 1917— 1923 гг.
 (публикация М. Колерова);
 АНДРЕЙ НОВИКОВ. За десять лет до фашизма;
 АНДРЕЙ ПЛАТОНОВ. Неизданные рукописи. Документы к био-
 графии (из архива М. А. Платоновой);
 БЕЛЛА УЛАНОВСКАЯ. Деревенские рассказы;
 ТАТЬЯНА ЧЕРЕДНИЧЕНКО. Русская опера и геополитика;
 ВИТАЛИЙ ШЕНТАЛИНСКИЙ. Воскресшее слово (материалы о
 советских писателях из архивов КГБ и Прокуратуры СССР);
 АЛЕКСАНДР ШМЕМАН. Воскресные беседы (публикация
 С. А. Шмемана);
 ЮЛИЙ ШРЕЙДЕР. Экологические ценности: три подхода;
- а также новые произведения АЛЕКСАНДРА БОРОДЫНИ, МИ-
 ХАИЛА БУТОВА, АНДРЕЯ БЫСТРИЦКОГО, ГЕОРГИЯ ВЛАДИ-
 МОВА, ЮРИЯ КАГРАМАНОВА, ЮЛИИ ЛАТЫНИНОЙ, МИ-
 ХАИЛА ЛЕОНТЬЕВА, ВЛАДИМИРА МАКАНИНА, МАРИНЫ
 ПАЛЕЙ, ЛЮДМИЛЫ УЛИЦКОЙ, БОРИСА ХАЗАНОВА, ДОРЫ
 ШТУРМАН, ДМИТРИЯ ШУШАРИНА, АСАРА ЭППЕЛЯ и других
 авторов.

**НЕ ЗАБУДЬТЕ ВОВРЕМЯ ПРОДЛИТЬ ВАШУ ПОДПИСКУ
НА ПЕРВУЮ ПОЛОВИНУ 1995 ГОДА!**